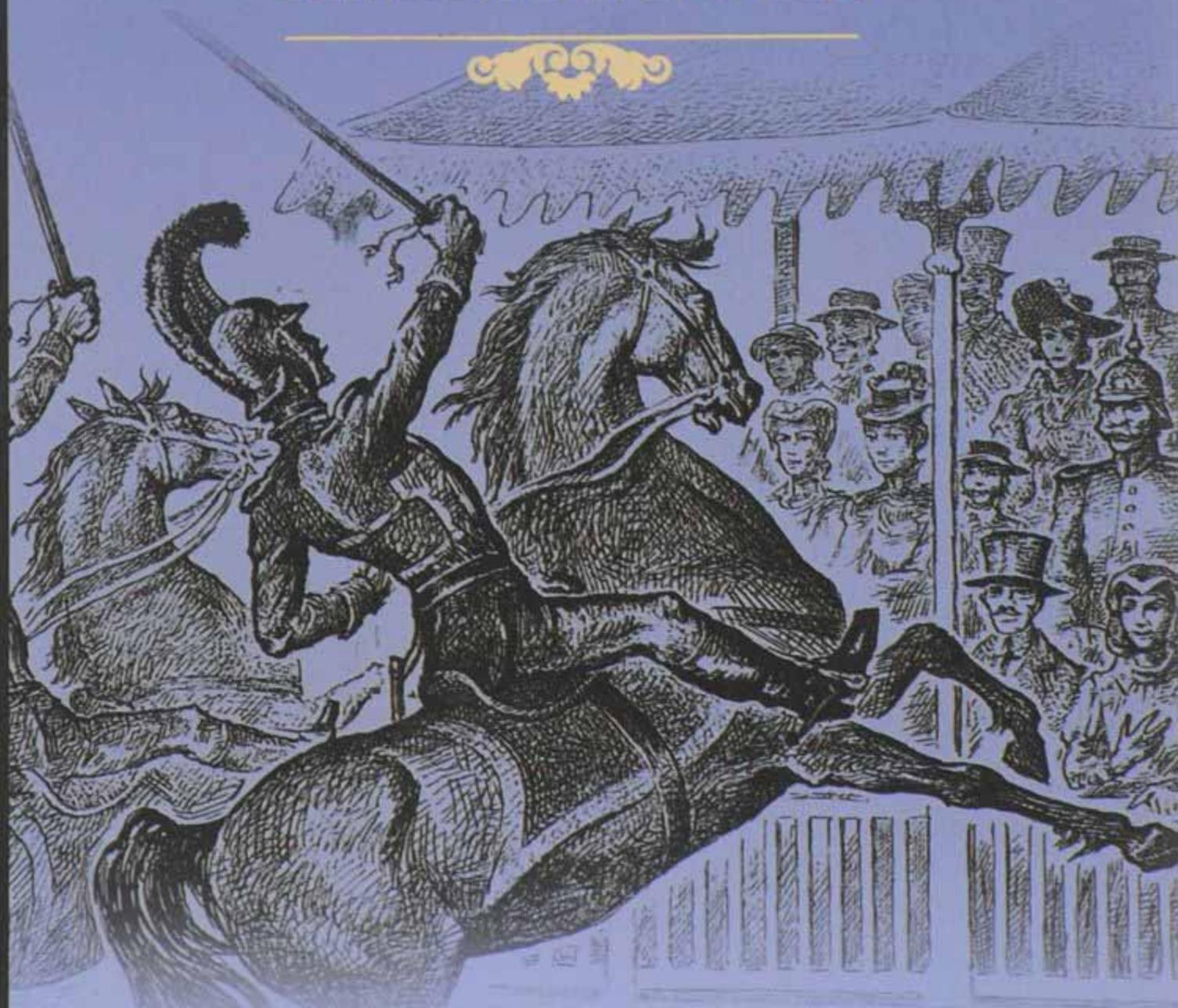


Валентин ПИКУЛЬ



БИТВА
ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ
•
МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Полное собрание сочинений



БИТВА
ЖЕЛЕЗНЫХ
КАНЦЛЕРОВ



МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ RQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ

СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ

Валентин ПИКУЛЬ



БИТВА
ЖЕЛЕЗНЫХ
КАНЦЛЕРОВ



МИНИАТЮРЫ



Москва • «Вече»

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6
ПЗ2

Составление, комментарии А.И. Пикуль

Рисунок на обложке П.Л. Парамонова

Пикуль, В.С.
ПЗ2 Битва железных канцлеров : роман. Миниатюры / Валентин Пикуль ; [сост. и комм. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 416 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-4444-2872-6

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции 12+

В одном из шедевров исторической прозы Валентина Пикуля — романе «Битва железных канцлеров», отражена картина сложных русско-германских отношений в период острейших европейских политических кризисов 50—70-х годов XIX века, когда канцлерами с разных сторон были князь Александр Михайлович Горчаков и Отто Бисмарк. В книгу также вошли прекрасные миниатюры автора о дипломатах и дипломатических отношениях.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2872-6

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В.С., наследники, 2015

© Пикуль А.И., составление, комментарии, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ

Дипломат должен иметь спокойный характер, чтобы добродушно переносить общество дураков, не предаваться пьянству, азартным играм, увлечению женщинами, вспышкам раздражительности... Хороший повар часто способствует заключению мира!

Франсуа де Кальер

Последний лицеист

Электричество уже освещало бульвары Парижа и кратеры доков Кронштадта; люди привыкали к разговорам по телефону; по рельсам Гросс-Лихтерфальде прополз первый в мире трамвай; Алеша Пешков служил поваренком на пароходе, а Федя Шалапин учился на сапожника; автомобиль, похожий на колымагу, готовился отфыркнуть в атмосферу пары бензина, служившего ранее аптечным средством для выведения пятен на одежде, когда здесь, в душной Ницце, доживал дряхлый старик, которому не нужны ни телефоны, ни трамваи, ни автомобили, — он был весь в прошлом, и 19 октября, в день лицейской годовщины, ему грезилось далекое, невозвратное:

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к закату своему.
Кому ж из нас под старость День Лицея
Торжествовать придется одному?

Их было 29 юношей, выбежавших на заре века в большой и чарующий мир, — старик затепливал перед собой 29 свечей, а потом в глубоком раздумье гасил их робкое пламя пальцами, даже не ощущая боли ожогов. Он торжествовал вдали от родины, в пустынном одиночестве: перед ним, дымясь и оплывая воском, тихо догорала последняя свеча — свеча его жизни...

Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков!
Он был *последним* лицеистом пушкинской плеяды.

Он стал *последним* канцлером великой империи...

Ницца жила на свой лад, весело и сумбурно, и никому не было дела до старика, снимавшего комнаты в бельэтаже дома на бульваре Carabacef. Кто бы догадался, что еще недавно он повелевал политической могучей державы, к его словам чутко прислушивались кабинеты Берлина и Вены, Парижа и Лондона. А теперь старческие прихоти обслуживали камердинер из итальянцев да сиделка из немок. Поочередно они приносили ему дешевые обеды из траптории Лалля; старец мудро терпел несвежее масло, равнодушно мирился со скудостью итальянского супа. По вечерам его выводили на шумные бульвары, и Горчаков (воплощение старомодной элегантности!) снимал цилиндр перед дамами, улыбаясь им впалым, морщинистым ртом. Он проносил юным красавицам любезности в духе времен де Местра и Талейрана, которые сейчас, на закате XIX века, звучали забавным архаизмом. Как это и бывает со стариками, Горчаков забывал недавнее, но зато великолепно помнил детали минувшего. Заезжие в Ниццу русские считали своим долгом нанести визит канцлеру; они заставляли его сидящим на диване в длиннополом халате, с ермолкой на голове; в руках у него, как правило, был очередной выпуск журнала «Русская старина» или «Русский архив».

— Подумать только, — говорил он, — люди, которых я знал еще детьми, давно стали историей, и я читаю о них... истории. Я зажил на этом свете. Моя смерть уже не будет событием мира, а лишь новостью для петербургских салонов.

Его часто спрашивали — правда ли, что он занят работой над мемуарами? В таких случаях Горчаков сердился:

— Вздор! всю жизнь я не мог терпеть процесса бумагомарания. Я лишь наговаривал тексты дипломатических бумаг, а секретари записывали... ноты, циркуляры, преамбулы, протесты.

— Говорят, вы были другом декабристов?

— Нелюбовь ко мне Николая Первого тем и объясняется, что, зная о заговоре, я никого не выдал... День восстания еще свеж в памяти. Я приехал в Зимний дворец каретой цугом и с форейторм, как сейчас уже никто не ездит. Единственный я был в очках, что при дворе строго преследовалось, но для ношения очков я имел высочайшее монаршее разрешение. Помню, когда начали стрелять, мимо меня проследовала императрица Александра и от страха нервически дергала головой. А граф Аракчеев сидел в углу с очень злым лицом, на груди его не было ни одного ордена, только портрет Александра Первого, да и тот, если не изменяет память, без бриллиантов...

— Правда ли, князь, пишут историки, будто вас много лет трети- ровали по службе?

Этот вопрос для Горчакова был неприятен:

— Да. И я носил в кармане порцию хорошего яда, дабы отравиться сразу, если нарвусь на оскорбление чести.

С большой осторожностью его спрашивали о Берлинском конгрессе, завершившем войну за освобождение Болгарии.

— Ах, не говорите о нем! — отвечал Горчаков. — Именно там я понял, что изъездился и ни к черту не гожусь. У меня была в одном экземпляре секретная карта, на которой имелось три черты. Красная — границы желаемого Россией, синяя — максимум наших уступок, желтая — предел отступления. И вдруг я вижу, что в мою карту тычется носом проклятый русофоб Дизраэли — Биконсфильд! Я шепчу Шувалову: «Что это? Измена?» А граф глазами показывает на карту, лежащую передо мною. Там тоже три черты: красная, синяя, желтая. Но карта английских претензий. Оказывается, мы с Дизраэли по ошибке обменялись тайными планами. Он глядит в мою карту, а я смотрю в английскую, и оба недоумеваем. Тогда-то я и сказал государю: «*Finita la commedia...* увольте на покой!»

Недавно народовольцы казнили Александра II, и Горчаков показывал гостям карманные часы фирмы Брегета; на крышках часов виднелись профили Наполеона I и Александра I, а под стеклом скрывалась прядь рыжеватых женских волос.

— Мне их прислали из кабинета покойного государя. Это личные часы Наполеона, который в Эрфурте подарил их нашему царю. Они идут хорошо, я не жалуясь. Но в письме из Петербурга не указали, чей это локон. Теперь я часто думаю — может, Жозефины Богарнэ? Или Марьи Нарышкиной, которую обожал Александр, пока она не изменила ему с поручиком Брозиным? Или волосы графини Валевской? Это уже призраки...

Наконец Горчаков ослабел; его посадили в поезд и отвезли в Баден-Баден; от курзала неслась музыка Оффенбаха, а старик в забытьи твердил стихи, которые посвятил ему Пушкин:

И ты харит, любовник своевольный,
Приятный лжец, язвительный болтун,
По-прежнему философ и шалун,
И ты на миг оставь своих вельмож —
И милый круг друзей моих умножь!

Последний лицеист закрыл глаза и отошел в круг друзей, давно принадлежавших русской истории. Это случилось 27 февраля 1883 года, — XX век уже стучался в крышку гроба. Горчакова опустили в землю, и он тоже стал нашей историей.

Со времени его смерти минуло 15 лет; по Неве уплывали к Островам белые речные трамваи, из-под жемчужных раковин садов-буфф выплескивало щемящие душу вальсы-прощания; был теплый и хороший день, когда в здании Министерства иностранных дел у Певческого моста проходила обычная церемония приема послов. Министр Муравьев молча вручил каждому из них бумагу, и дипломаты, никак не ожидавшие сюрприза, с удивлением пробежали ее глазами... Это был знаменитый циркуляр о разоружении, призыв России к созыву мирной конференции государств, обладающих армиями и флотами.

Принц Лихтенштейн, посол Австро-Венгрии, сказал:

— Ваша декларация напомнила мне роман «Всеобщий мир» голландского фантаста Людвиг Куперуса... Подобные идеи мира у него высказывает главный герой Отомар, владыка вымышленного королевства Липарии. Не шутка ли это в русском духе?

Муравьев — без тени улыбки — ответил:

— Наша политика не склонна черпать идеи из бульварной беллетристики. Мы не фантазеры! Наш документ исходит из мирного проекта, выработанного покойным канцлером Горчаковым еще в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году. Сейчас, когда Бисмарк не стало, уже подведен малоутешительный баланс политики милитаризма. Бисмарк обошелся народам Европы в сорок пять миллиардов франков... Не слишком ли мрачные лавры осеняют его надгробие?

Вмешался германский посол Гуго Радолин:

— Ваши проекты — утопия! Разоружение практически невозможно.

— Практически за разоружение еще никто не брался.

— Но полистайте страницы Ветхого и Нового Заветов: божественный промысел заверяет нас, что война будет существовать до конца света. Мало того, войны способствуют расцвету науки и техники. Даже гуманная хирургия лучше всего развивается в излечении фронтовых ранений. Наконец, поэзия, музыка и живопись — что бы они воспевали, если б не было войн?

Муравьев с недовольством сказал:

— Оставим казуистику! Мир — это все-таки не грубая опечатка в летописи человеческого сознания...

Скоро в «Лесном Домике» под Гаагой открылась мирная конференция 26 вооруженных государств; зал украшала аллегорическая картина дружбы народов с надписью на латыни: *величайшая победа та, которой обретается мир*. Простые люди планеты с восторгом отнеслись к этому новому учреждению («голубь с веткой маслины в клюве сделался любимым символом и являлся везде — на почтовых конвертах и в виде брошек на груди признанных красавиц...»).

Из Англии прибыла в Петербург делегация защитников мира, которая сложила к ногам Муравьева 30 томов подписей людей, требующих от правительств мирного разрешения спорных международных вопросов. Рабочие одной немецкой типографии в Берлине объявили забастовку, отказываясь печатать книгу под названием «Будущее мировой войны». Метранпаж сказал:

— Мы встанем к станкам, если автор изменит название. Что значит «будущее войны»? Война не должна иметь будущего...

Но германские газеты цитировали и слова Мольтке: «Вечный мир — *это сон*, и даже не прекрасный, потому что война есть звено божественного мироздания. Без войны свет погряз бы в грубейшем материализме...» Кайзер Вильгельм II говорил:

— Разоружение? Дуракам кажется все так просто. Ради чего же немцы сидели с подведенными животами, довольствуясь сосиской и кружкой пива? Неужели для того, чтобы я вывел броненосцы в море и открыл кингстоны на радость защитникам мира? Да не поднимется моя рука переplавить пушки на ночные горшки для сопливых рахитичных убудков кварталов Кёпеника...

Наконец сторонники разоружения решили устроить «крестовый поход в пользу мира» — нечто стихийное и небывалое. Народные демонстрации должны были выйти из столиц Европы и, слившись воедино в Берлине, проследовать далее — в Петербург, где и завершить дело мира торжественным апофеозом победы над милитаризмом. «Но (как писали тогда в газетах) германское правительство испугалось посещения Берлина международными крестоносцами. Боялись народных волнений и взрыва шовинизма немцев при встрече с французами, если бы они потребовали разоружения Германии... Один лишь старик Август Бебель с обычным чистосердечием говорил на публичных митингах рабочих: «Россия теперь наш союзник и товарищ!..»

Всегда помня о народе как о решающей силе государства, не будем забывать и о роли личности в истории. За давностию лет одни герои прошлого были канонизированы, их имена вошли в «святцы» хрестоматий, в «поминальники» настольных календарей, — другие были беспощадно забыты. Еще сто лет назад историк Петр Бартенева с горечью констатировал: «Мы нестерпимо равнодушны к отечественной истории, да и ко всему на свете. Сколько уже погибло страниц, не озаренных никаким светом». Он прав. Человечество так уж устроено, что умеет многое забывать. Задача истории как раз обратная — вспоминать!

Светлейший князь Горчаков вниманием потомства не обижен. Историки дипломатии вникают в его дальновидные замыслы — он был крупный политик века; историки литературы старательно про-

свечивают его старомодную фигуру, на которую ложились солнечные блики русской поэзии, — он начал жизнь дружбою с Пушкиным и закончил ее дружбою с Тютчевым.

В основе всех политических концепций Горчакова лежало насущное и необходимое во все времена — *борьба за мир!* Канцлер был, пожалуй, самым страстным и убежденным борцом за сохранение мира в Европе и этим резко выделялся среди своих зарубежных коллег. Однако Горчаков унес в могилу не только сияние славы, но и горечь многих своих поражений... Не станем чересчур строго винить его! Иногда даже ошибки государственных деятелей имеют для народа такое же громадное значение, как и те истины, которые стали драгоценным наследием отцов наших...

Борьба за мир началась не сегодня, и не завтра она закончится; эта борьба тоже имеет свою великую историю. Еще в глубокой древности, ступая босыми ногами по золотым пляжам Средиземноморья, философы в развеваемых ветром хитонах рассуждали на кованой латыни о том, как уничтожить извечное истребление человека человеком. Но если политики прошлого века ратовали за мирное *существование*, то теперь, в наши напряженные дни, при наличии двух общественных систем, борьба за мир выражается в мирном *сосуществовании*.

Горчаков вынашивал мысль о создании нерушимой международной институции, которая, обладая обширными юрисдикциями, стала бы залогом сохранения всеобщего мира и сокращения всех видов вооружения. Этот горчаковский проект был положен в основу созыва знаменитых Гаагских мирных конференций, которые и явились как бы прологом Организации Объединенных Наций...

Правда, Гаагские конференции мира не спасли народы от войн. Но они сохранили свою юридическую силу и поныне.

Принципы мирного сосуществования стали нормами международного права. Сейчас наши историки пишут: «Соблюдение этих принципов и норм является обязательным с точки зрения действующего международного права. Несоблюдение их — военное преступление, подлежащее наказанию!»

Советский Союз дважды торжественно подтвердил признание им Гаагских конвенций и деклараций: первый раз в 1942 году, в трудной обстановке кануна Сталинградской битвы, и вторично в 1955 году, в разгар «холодной войны»...

Невольно вспоминается высказывание Гёте: «Ничто не исчезает из старого — все развивается, и новая жизнь наплывает на старые обломки».

А на окраине Петербурга, на кладбище Троицко-Сергиевой обители, тихая тропинка приводит нас к могиле российского канцлера Горчакова...

Я предлагаю читателю сугубо *политический* роман.

Без прикрас. Без вымысла. Без лирики.

Роман из истории отечественной дипломатии.

Рассказывать о прошлом заманчиво, но нелегко...

При этом я вспоминаю, как английский историк Юм, сидя возле окна, писал очередной том истории человечества, когда с улицы вдруг послышался отчаянный гвалт. Юм послал горничную — узнать, что там случилось, и та сказала, что ничего особенного, просто поспорились прохожие. Но пришел лакей, сообщивший, что на улице произошло злодейское убийство. Затем прибежал почтальон и сказал историку, что сейчас была на улице большая потеха — подрались две голодные собаки, заодно покусав мужчину и двух женщин.

Юм в раздражении швырнул перо на стол.

— Это невыносимо! — воскликнул он. — Как же я могу писать историю прошлого человечества, если не в силах выяснить даже того, что творится у меня под самым носом — напротив моего дома!

Однако он все-таки продолжил работу.

...Эта книга является логическим продолжением моего романа «Пером и шпагой».

Часть первая ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ

Запад. Юг и Норд в крушеньи,
Троны, царства в разрушеньи, —
На Восток укройся дальний
Воздух пить патриархальный.

Ф. И. Тютчев (из Гёте)

Германия, где ты, Германия?

Европа еще не ведала погранохраны, путешественник въезжал в пределы стран через шлагбаумы, которые любезно поднимались перед любым мазуриком. А таможенный досмотр казался свирепым, если не разрешали провезти сигар больше, нежели их умещалось в портсигаре, если из пяти провозимых бутылок вина одну конфисковывали (неизвестно — в чью пользу). В германских княжествах строго следили за нравственностью, и суровые чины при старомодных

шпагах с хрустом выдирали из парижских изданий легкомысленные картинки: вид француженки, чуточку приподнявшей платье, чтобы поправить чулок, приводил таможеню в содрогание, как непотребная порнография. Железные дороги обычно имели одну колею, и машинисты паровозов, встретившихся в пути, спорили, как на базаре, кому из них суждено пятиться задом, до ближайшей станции, чтобы потом мирно разъехаться на стрелках. В основном европейцы передвигались еще на почтовых дилижансах, движение которых было отлично налажено по гладким шоссейным дорогам; внутри карет путники невинно флиртовали или кротко подремывали, на имперналах крыш бултыхались их кофры и круглые футляры с дамскими туалетами. Время от времени, сочувствуя природной слабости пассажиров, кучера делали неизбежную остановку, и мужчины с отвлеченным выражением на лицах укрывались в кустах по одну сторону дороги, а жеманные путешественницы, делая вид, будто рады случаю собрать букет цветов, исчезали в зелени по другую сторону...

Немцев было много, а Германии у них не было!

Просторы срединной Европы запутывала феодальная чересполосица немецких княжеств, среди которых Бавария, Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Баден, Гессен и Мекленбург казались даже великанами; другие же княжества бывали столь мизерны, что владетельный герцог, выходя утречком на крыльцо своего замка, с недоверием принимался, спрашивая гофмаршала:

— Чем это так запахло в моих владениях Фуй-Фуй.

— Не иначе, — следовал ответ, — в соседнем с нами государстве скрягакороль опять заварил пережженный кофе.

Венский конгресс 1815 года узаконил национальную раздробленность немцев, что устраивало Австрию, которая своим имперским авторитетом величественно подавляла всю «германскую мелюзгу». Меттерних сознательно поддерживал мистический романтизм в искусстве и философии Германии, дабы, паря в мечтах, немцы не замечали земли, на которой им жить и умирать. Правда, была еще сильная Пруссия под королевским скипетром Гогенцоллернов, но Берлину с Вену не пришло время тягаться. А чтобы держать всех немцев под своим контролем, Меттерних создал Союзный сейм, заседавший в богатом Франкфурте-на-Майне. Германский бундестаг власти никакой не имел — пустая мельница, годами крутившая жернова заседаний одной нескончаемой конференции; размазною бестолковых резолюций здесь скрепляли мнимое единство немцев. Тогда в Европе остряки говорили: «Германия — это глупый и сонный Михель в ночном колпаке и халате с тридцатью восемью заплатками», — ибо 38 немецких государств были представлены в бундестаге, где (неизменно!) главенствовал австрийский посол из сиятельной Вены...

В один из дней венскому послу Антону Прокешу доложили о прибытии нового берлинского посла:

— Отто фон Бисмарк из замка Шёнхаузен на Эльбе!

— Что ж... пусть войдет, — сказал Прокеш.

Было очень жарко, и он сидел в комнатах, среди антикварной обстановки, вывезенной им с Востока, одетый весьма легкомысленно. Австриец хотел сразу же поставить пруссака на место и, закрывшись газетным листом, делал вид, что поглощен чтением. Когда же Прокеш насытил свое тщеславие и решил, что Бисмарк уже достаточно огорчен его невниманием, он лениво опустил газету. Тогда открылось дивное зрелище: посол Пруссии успел раздеться и торопливо стягивал с себя кальсоны.

— Вы правы, — сказал он, — что не носите фрака. Жарища такая, что я решил последовать вашему примеру. Только я намного откровеннее вас и совсем не стыжусь своей наготы...

Прокешу ничего не оставалось, как извиниться и принять должный вид. Бисмарк тоже застегнул сюртук на все пуговицы. Прокеш заметил на отвороте его лацкана скромную ленточку.

— За какие доблести вы украшены орденом?

— Если б орден! — отвечал Бисмарк. — У меня в Померании был конюх, ужасный пьяница, он провалился под лед на Липпенском озере, я его вытащил, и вот меня наградили жетоном за спасение христианской души, явно заблудшей...

Между ним и австрийским председателем бундестага сразу возникла вражда. Бисмарк вызнал, что среди редкостной мебели Прокеша есть бюро из мореного дуба, в котором венский дипломат хранит документы, направленные на подрыв прусского авторитета в германском мире. Попутно Бисмарк выяснил, что Прокеш ради барышей иногда распродает мебель антикварам. «Ага! — сказал он себе. — Любимое зрелище богов — видеть человека, вступившего в борьбу с непреодолимым препятствием. Если так, то пусть же весь Олимп не сводит с меня глаз...»

Бисмарк поспешил в Берлин, где повидался с Гинкельдеем, начальником тайной прусской полиции. Он сказал ему:

— Барон, мне еще никогда не приходилось таскать вещей из чужого дома... А вам?

— Я тоже не жил воровством, — признался Гинкельдей. — Думаю, что при наличии сноровки это дело нетрудное.

— Но вещь, которую надо стащить во благо прусской истории, не оторвать от пола. Она страшно тяжелая!

— Ну что ж, — не смутился полицей-президент, — у меня есть помощник, некто Вилли Штибер, бывший пастор, а ныне адвокат по воровским делам. Очень ловкий парень...

Штибер был тайно представлен Бисмарку.

— Все будет сделано, — обещал он послу.

Ночью Штибер навестил погребок, где коротали время воры и сыщики; он подошел к одному типу, дремавшему над кружкой «мюншенера»; это был берлинский жулик Борман.

— Эй, проснись! — растолкал его Штибер. — Ты уже не Борман, а Самуил Гельбшнабель, у тебя завелась антикварная торговля на улице Центль.

— Это где такая? — спросил Борман, зевая.

— В вольном городе Франкфурте-на-Майне, куда и поезжай утренним поездом. Вот тебе паспорт жителя Чикаго...

— Это где такой? — спросил Борман, допивая пиво.

— Очень далеко. Там тебя никто не поймает...

Прокеш вскоре принял у себя американского антиквара Гельбшнабеля, желавшего украсить Новый Свет перламутровым столиком из турецкого серала. Прокеш заломил немалую цену, но янки невозмутимо отсчитал деньги и сказал, что за столиком придет двух фурманов. Посол собирался выехать в Вену, а потому уверил Гельбшнабеля, что соответствующие распоряжения даст своему дворецкому... Прокеша не было, когда на его виллу вломилась, громящая башмаками, два подвыпивших извозчика-фурмана и без лишних слов дружно ухватились за бюро. Крякнули и оторвали его от паркета. Понесли... Дворецкий стал орать, что герр Самуил Гельбшнабель платил деньги не за бюро.

— А нам плевать! — отвечали фурманы, с треском пропихивая бюро в двери; дворецкий решил не спорить с пьяными, благо надеялся, что антикварий вскоре вернет их с ненужным бюро и заставит взять купленный столик...

Но бюро уже вскрывал топором начинающий дипломат Бисмарк: из секретных ящиков сыпался богатый урожай документов государственной важности. Упакованные в тюки, они были срочно отправлены в Берлин. Публикацией этих документов Пруссия могла выставить перед миром все вероломство Австрии, но правительство... молчало.

Бисмарк, крайне раздраженный, явился в Берлин, где президент Мантейфель объяснил ему:

— Скандалить с венским кабинетом опасно. Единственно, на что я осмелюсь, это на просьбу об отзывании Прокеша.

Бисмарк воткнул в рот дешевую сигару:

— Недавно в Париже нашумел бракоразводный процесс одного графа с женою, бывшею цирковой наездницей. Чудак обратился в суд не сразу! До этого он двадцать четыре раза заставлял свое сокровище в постели с какими-то обормотами и двадцать четыре раза делал жене

кроткие и благонравные внушения. Адвокаты на суде рыдали, как зайцы, до небес превознося своего кроткого подзащитного как образец философского мученичества и небывалой галантности...

— Бисмарк, к чему вы мне это говорите?

— А к тому, что этот выживший из ума рогоносец мог бы еще немало поучиться галантности у Берлина, который прощает Вене любое коварство политики австрийского кабинета...

Прусским королем был тогда Фридрих-Вильгельм IV (по прозвищу Фриц Шампанский). Он начал жизнь с шампанского, а теперь переехал на чистый спирт. В его покоях всегда стояли два графина — один с аракой, другой с кюммелем. Выпив водки, он запивал ее ликером... Король сам и проболтался:

— Бисмарка держите в тени. Он пригодится нам в том случае, когда власть в Пруссии будет основана *на штыках!*

Во Франкфурт, в самый центр немецких разногласий, прибыл русский чрезвычайный посол — князь Александр Михайлович Горчаков; в бундестаге он добивался политического равновесия между Австрией и Пруссией, которые — пока на словах! — бились за преобладание в германском мире... Однажды в номерах франкфуртского H'otel de Russie его посетил посол Бисмарк.

— Как странно, — сказал он, активно приступая к беседе, — вот уже четыре столетия Бисмарки с реки Эльбы звенят мечами, а я родился в день первого апреля, когда принято всех обманывать, и посему избрал карьеру дипломата... У французов, я слышал, есть одно блюдо, которое все едят, но никто не знает, из чего оно приготовлено. Дипломатия напоминает мне эту загадочную похлебку: вкусно, но подозрительно!

Горчаков стоял в черном полуфраке, гладковыбритый, осанистый, на груди его было взбито, словно сливочная пена, пышное кружевное жабо. Он сказал:

— Что такое дипломатия, я вам, Бисмарк, объяснить не могу. Если наука, то нет такой кафедры, которая бы ею занималась. Если искусство, то в числе девяти непорочных муз ни одна из них не согласилась покровительствовать политике. А обман — это не главное, что определяет дипломатию, ибо сплошь и рядом встречаются шарлатаны, которые не утруждают человечество признанием их дипломатической неприкосновенности...

Бисмарк был на 17 лет моложе Горчакова, и он выразил желание, чтобы князь адресировал его в познании политических премудростей. Постигая закулисные тайны европейских конъюнктур, Бисмарк одновременно изучал и своего наставника. А князь, достаточно хитрый, стал изучать и своего способного ученика. За личиною хамо-

ватого простака, любителя выпить и как следует закусить ветчинкой Горчаков вскоре разгадал будущего союзника, а возможно, и противника... Теперь часто можно было видеть, как два дипломата, держа в руках цилиндры, обтянутые черным шелком, гуляли по Либфрауэнбургу, приятно беседуя о венских каверзах, при этом рослый Бисмарк почтительно склонялся к плечу невысокого Горчакова, выражая самое искреннее внимание, как ученик к мудрому учителю.

Однажды в разговоре с князем прусский посол обмолвился, назвав Россию страной отсталой.

— Отсталая? — гневно выпрямился Горчаков, сразу задористо помолодев. — Вы на этот счет не заблуждайтесь. «Отсталая» Россия еще четыре столетия назад сумела спаять себя в нерушимом национальном единстве, которого вы, немцы, даже сейчас, в веке девятнадцатом, обрести не в состоянии.

Вена прислала нового посла — графа Рехберга.

— Курить в бундестаге, — заявил он, — буду один я! Представьте, что здесь будет твориться, если, помимо Австрийской империи, станут дымить и все германские княжества.

Горчаков запустил пальцы в табакерку.

— Господи, — подмигнул он Бисмарку, — какое счастье, что я не родился курящим немцем. И каждый раз, когда встречаю ученика Меттерниха, я заведомо уверен, что принципы политики вкочлены в него молотком, будто гвозди в стенку.

Бисмарк оглядел рабски согбенные головы:

— Германия... разве ж это Германия?

С ногою в стремени

Штутгарт — столица Вюртембергского королевства, которое не больше Петербургской губернии, но когда канцлер Нессельроде предложил Горчакову, словно в издевку, место посланника при тамошнем дворе, князь был вынужден согласиться: важно снова поставить ногу в стремя...

Штутгарт разморило в древней тишине, а семьянина Горчакова вполне устраивала беспримерная дешевизна германской провинции. Под карнизами русского посольства гнездилась уйма ласточек, в небе пиликали альпийские жаворонки; пасторальные закаты над кущами виноградников были прекрасны, по вечерам пожилые фрау выносили на улицы кресла, и, ставя перед собой по кружке доброго пива, вязали чулки внукам, бесплатно услаждаясь музыкой гарнизонного оркестра. На лето Горчаков выезжал с семьей в деревню Содэн, где посреди крестьянских дворов вскипали из-под земли минеральные

источники, воды которых казались не хуже эмеских или баденских. Служба в Штутгарте была для Горчакова необременительна, ее размеренный ход лишь изредка нарушало появление «дикого» русского барина, каким-то чудом занесенного в Висбаден, где он продулся в рулетку и теперь униженно выклянчивал у посла денег на дорогу, чтобы добраться до родимого Вессегонска. Да еще, бывало, у посольства останавливался невообразимый тарангас, в каком не рискнул бы ездить даже Чичиков, из окошка выглядывала растрепанная помещица, а на запятках, вызывая удивление немцев, стоял босоногий лакей в немыслимой ливрее, и барыня визгливо вопрошала посла, где тут удобнее поворачивать на Париж... Такие встречи всегда были неприятны для Горчакова, ибо он стыдился за мятевских «мадам Курдюковых», обнажавших перед Европой тайные пороки крепостнической России.

Здесь, в Вюртемберге, князя и застала революция 1848 года, которую он, подлинное дитя своего класса, воспринял с враждебностью, но (умный человек!) предрек будущее:

— Топор уже стучится в основание социального дерева...

У него были причины считать себя неудачником.

Он окончил Царскосельский лицей первым и получил золотую медаль (которую, кстати сказать, стащили у него благородные милорды, когда он только начинал службу при посольстве в Лондоне). Казалось бы, ему, знатоку истории и политики, только и делать карьеру. Но канцлер Нессельроде умышленно тормозил по службе русского аристократа, слишком независимого в суждениях, а князь, крайне честолюбивый, болезненно страдал от того, что его обходили в чинах и наградах. Тогда русскую дипломатию оккупировали носители германских фамилий, знавшие, что есть такая Россия, а в России есть Петербург, где протекает Мойка, через которую перекинут Певческий мост, возле моста стоит огромный дом, а в этом доме сидит Карлушка Нессельроде, и его надо слушаться так же неукоснительно, как он сам слушается приказов из Вены — от Меттерниха... Горчаков по слухам знал, что в секретных списках чиновников напротив его имени стояла отметка графа Бенкендорфа: «Не без способностей, но не любит Россию!» Глупее такой аттестации трудно было что-либо придумать. Дело, скорее, в том, что Горчаков обладал редким в ту пору качеством — его хребет становился негибким, как палка, перед властью имущими. К сорока годам жизни он поднялся лишь до ранга советника при посольстве в Вене; здесь, прикрывая неприязнь утонченной вежливостью, он противоречил всемогущему диктатору Меттерниху... Горчаков испортил свою репутацию, когда в Вену приехал Николай I; в свите его состоял и Бенкендорф, имевший дерзость наказывать Гор-

чакову: «Потрудитесь распорядиться, чтобы мне приготовили обед». Князь не растерялся. Он тряхнул колокольчик, вызывая метрдотеля. «Вот этот господин, — показал князь на шефа жандармов, — выражает желание, чтобы его накормили...» После этого казуса Горчаков до седых волос не мог избавиться от клички — *либерал!* К этому времени князь проанализировал внешнюю политику России от самого Венского конгресса, когда дипломаты играли модными картами, имея в королях Кутузова, Веллингтона, Блюхера и Шварценберга, — именно тогда, на обломках империи Наполеона, восторжествовал Священный союз монархов, дабы совместными усилиями реакции гасить в Европе любое проявление революционной мысли.

Поэту Тютчеву князь Горчаков говорил:

— Наша политика споткнулась давно! Закончив изгнание Наполеона из пределов отечества, Александр I не нашел в себе мужества остановить могучую поступь наших армий на Висле. Кутузов был умнее царя, и он предупреждал, что поход до Парижа и свержение Наполеона послужат во вред России, а выгоды от побед русского оружия будут иметь лишь Вена, Берлин и Лондон... Так ли уж это было нужно, — вопрошал Горчаков, — добивать раненого льва, чтобы развелась стая волков? Еще тогда, сразу по изгнании французов, мы могли сделать Францию нашей верной союзницей, и вся политика Европы потекла бы в иное, благоприятное для нас направлении...

Подобные высказывания не украшали его служебного формуляра. Дурное отношение к Австрии расценивалось тогда как крамола, а национальный патриотизм именовали «московским бредом». Дипломат загубил карьеру, полюбив веселую вдову, бывшую сестрой княгини Радзивилл, наперсницы царя. Меттерних переслал в Петербург гнусный донос на Горчакова (содержание его до сих пор неизвестно). И как ни дорожил князь службою, он все-таки ее оставил — ради любви к женщине!

Мария Александровна, урожденная Урусова, круглолицая и пышнотелая, любившая щеголять в тюрбане одалиски, принесла князю в приданое четырех сыновей и дочку от первого ее брака с Мусиным-Пушкиным, а вскоре от Горчакова родились два сына — Михаил и Константин... С утра до вечера просторную, но скудно обставленную квартиру на Литейном оглушал гам детских голосов, не было покоя от беготни по комнатам, а Горчаков, на правах отца и отчима, раздавал шлепки и поцелуи одинаково всем, не отличая родных детей от пасынков. Дипломату в отставке теперь приходилось вступать в альянсы с няньками и прачками, денонсировать договоры с пьяными лакеями, дезавуировать дворника, воровавшего дрова. Эта унижительная для него отставка закончилась лишь в 1841 году: Нессельроде предложил ему место в Штутгарте, и Горчаков снова вдел ногу в боевое стремя...

Да, карьера складывалась неважно! Жизнь склонилась на шестой десяток, когда, сохраняя за собой пост в Вюртемберге, он получил назначение на представительство во Франкфурте-на-Майне, — здесь князь и встретился с Бисмарком...

Горчаков был однолюбом, и когда внезапно скончалась жена, ему показалось, что настал конец света. С эгоизмом человека, избалованного вниманием общества, князь требовал от штутгартского священника Иоанна Базарова, чтобы тот, через посредство вышних сил, избавил его от страданий.

— Я ведь не могу так жить! — восклицал он, навзрыд рыдая. — Женщина, которая еще вчера смеялась, играла на арфе и пела в этих комнатах, вдруг лежит в гробу, а я, несчастный, обоняю запах ее гниения... Почему так страшно устроен мир?

Склоняя Горчакова к молитвам, духовник и сам не ожидал, что князь погрузится в мистическое состояние, почти полуобморочное. Базаров позже вспоминал: «Нередко он доводил меня до изнеможения. Но я старался забывать все, видя беспомощность его нравственного состояния...»

Неожиданно к Горчакову приехал Бисмарк.

— Ваш император ввел войска в Дунайские княжества, — сообщил он. — По мне, так лучше бы этого Дуная совсем не было! Тогда австрийцы повезли бы товары через наш Гамбург, а уж мы бы в Гамбурге знали, как надо обдирать их на таможене...

Это сразу вернуло Горчакова к жизни: в нем проснулся политик, не способный оставаться безучастным к нарушению европейского равновесия. Он понял, что в основе конфликта лежит грубейший просчет Николая I, который игнорировал Францию, слепо верил в дружбу с Австрией и уповал на Пруссию. Душевный кризис был преодолен! Но в кризис вступал Бисмарк:

— Еще никому в Европе не удалось развести огня, чтобы Австрия при этом не подогрела свой тощий вассерсуп. Сейчас в Берлине боятся Петербурга, но берлинских дураков страшит и гнев австрийский. Я всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая письмо для короля, чтобы он не совал свой палец под чужие двери...

В трудные для России времена правительство всегда вспоминало о патриотах — Горчакова срочно перевели послом в Вену. Его попутчиком в дороге оказался пожилой англичанин, обложенный брюссельскими и ганноверскими газетами.

— Наконец-то, — радостно сказал он, — Европа взялась за Россию! Я всегда с ужасом взираю на географическую карту: Россия давит, нависая над нами, как грозовая туча.

— Испания, — отвечал ему князь Горчаков, — никогда не нависала над Америкой, где она умудрилась полностью уничтожить амери-

канскую цивилизацию... Я прихожу в ужас не от вашего знания географии, а от незнания вами истории! Мне непонятно, как это Россия может давить на Европу?

— Опять же географически.

— Но разглядывание карты не всегда приводит к верным политическим выводам. Где и когда, скажите мне, Россия нависала над Европой как грозная туча?

— Постоянно... это давний кошмар всей Европы.

— А вы сможете привести хоть один случай, чтобы Россия, вторгшись в Европу, сражалась за свои, а не за общие европейские интересы? Что же касается географических пространств России, то тут я вынужден вас от души поздравить: владения вашей королевы в Америке, в Индии и в Австралии превышают размеры России, но русские, вращая глобус, не ужасаются!

— Вы еще не знаете всей правды о России, — не унимался англичанин. — Русского языка вообще не существует. Его придумал в пору реформ царь Петр, а потом насильно привил его татарам и монголам, велел им всем называться русскими.

Впервые после смерти жены Горчаков улыбнулся:

— Неужели граф Бенкендорф сочинил разбойничью песню «Вниз по матушке по Волге», которую ныне распевают обрусевшие монголы, нависающие, если вам верить, над картой Европы?

— Ах, вы русский? — догадался англичанин.

— Имею честь быть им...

За окном вагона первого класса стелилась Европа — на этот раз чуждая, почти враждебная.

Советник посольства Виктор Павлович Балабин встречал нового посла на венском вокзале.

— Ну, дружок, везите меня в «Империял».

— В посольство? — поправил его Балабин.

— Нет. Я сказал точно — в «Империял»...

Вена была прекрасна, и Горчаков любил этот город. Он любил только город, но не терпел венской политики. Европа часто повторяла афоризм Горчакова: «Австрия — не государство, Австрия — только правительство». Сытые, красивые кони выкатили карету на чистые брусчатые мостовые венского Пратера.

Венская прелюдия

Революция 1848 года разбудила и те народы, что жили в центре Европы. Они словно очнулись от дурного сна: «Где мы?» — и узнали, что находятся в Австрии. «А кто мы?» — и со всех сторон отозвались

люди: «Я чех, я немец, я серб, я итальянец, я мадьяр, я словак, я хорват...» Если это так, то почему же чех не живет в Чехии, а итальянец в Италии? Почему немец не имеет Германии, а мадьяр Венгрии? И что такое сама Австрия, если в мире не существует людей с национальностью австриец? * В чем же сила того злобного волшебства, которое много веков подряд всех нас угнетает?..

Австрия — мыльный пузырь, раздутый Габсбургами до невероятных размеров. Но уже со времен Марии-Терезии не было ни одного Габсбурга, который бы не понимал фальшивости существования их империи. Меттерних потому и велик, что 30 лет не давал никому проколоть этот пузырь, делая вид, что он бронирован. Его проколола революция! Венгры поднялись на борьбу за самостоятельность, и Австрия сразу же стала разваливаться по кускам... Николай I жестоко подавил восстание венгров и этим спас империю Габсбургов от распада. Казалось бы, император Франц-Иосиф до гробовой доски не забудет услуги Романовых. Однако из Вены было сказано: «Мир еще ужаснется от нашей черной неблагодарности!» Сейчас Австрия предъявила России ультиматум: вывести войска из Дунайских княжеств. Валахия и Молдавия оказались под угрозой австрийской оккупации. В порыве откровения царь спросил графа Алексея Орлова:

— Знаешь ли ты, кто из польских королей был самым глупым, а кто из русских монархов оказался большим болваном?

Орлов не нашелся, что ответить своему сюзерену.

— Самый глупый король — Ян Собеский, спасший Вену от турок, а болван — это я! Не подави я тогда мятеж венгерских гонимых — и Габсбургам не плясать бы на моей шее... Гляди, уже не стало места на карте, ткнув пальцем в которое можно было сказать: вот здесь Австрия сделала людям добро!

Русским послом в Вене состоял барон Мейендорф, женатый на сестре австрийского канцлера Буоля; в Зимнем дворце не сразу хватились, что Мейендорф, по сути дела, для того и торчит в Вене, чтобы подрывать интересы России в угоду семейным связям с венской аристократией, — именно тогда-то Николай I и назначил на его место князя Горчакова...

Горчаков, конечно, повидался с Мейендорфом:

— Я знавал канцлера Буоля, когда он был еще молодым человеком, умевшим угождать не только дамам. Что скажете о нем, когда он сделал успешную карьеру?

* Население Австрии состояло из множества народов и народностей, среди которых предпочтение отдавалось немцам (а позже и венграм). В канун гитлеровского аншлюса 1938 года в КПА была развернута широкая дискуссия по этому вопросу, в ходе которой коммунисты вынесли резолюцию, что «австрийский народ не является частью германской нации». *(Здесь и далее примеч. автора.)*

— Мой шури́н имеет двести тысяч годовых.

— Конечно, весьма приятно иметь двести тысяч, но как мне удобнее поддерживать отношения с этим счастливецем?

— Князь, — отвечал Мейендорф, — вы и без моих советов догадаетесь, как следует поддерживать отношения с человеком, который имеет двести тысяч годового дохода.

Горчаков внятно прищелкнул пальцами:

— В данной комбинации, барон, меня волнуют не двести тысяч талеров, а то, что Буоль способен выставить за пределы Австрии двести тысяч штыков, а еще двести тысяч останется в пределах империи для внутренних расходов, дабы подавлять национальные революции в Венгрии и в Италии.

— Об этом я не думал, — отвечал Мейендорф.

— Потому-то у вас такое хорошее настроение...

Франц-Иосиф принял его в Шёнбруннском замке, выпренне выражая свои горячие симпатии к дому Романовых.

— Как жаль, что после стольких любезных заверений вашего величества я завтра же должен покинуть Вену! — Этими словами Горчаков шокировал Габсбурга (тогда еще молодого и не успевшего отрастить пышные бакенбарды, сделавшие его облик анекдотичным). — Увы, я вынужден покинуть Вену, если не будет остановлена ваша армия, собранная в Трансильвании для вступления в пределы Дунайских княжеств, народы которых, валахи и молдаване, уже привыкли к режиму российского покровительства.

Разрыв отношений с Россией был для Вены опасен.

— Вы не успеете доехать до посольства, как я депешую в Трансильванию, чтобы моя армия не трогалась с бивуаков.

Но, сказав так, Франц-Иосиф, кажется, не обратил внимания на слова, произнесенные в ответ Горчаковым:

— Я не спешу располагаться в посольстве.

Горчаков намеренно поселился в «Империале», чтобы здесь выждать визита канцлера. Буоль вскоре появился в отеле, но посетил соседний с Горчаковым номер, в котором принимала мужчин модная темнокожая куртизанка с острова Сан-Доминго. Австрийский канцлер демонстративно провел у женщины весь вечер...

Балабин сказал, что Буоль не придет.

— Может быть, — согласился Горчаков. — Но зато придет такое время, когда канцлер Буоль, как последний дешевый лакей, *подаст вам стул*... Верьте — так будет!

Свидание состоялось на нейтральной почве — в доме саксонского дипломата барона Зеебаха, женатого на дочери российского канцлера Нессельроде. Буоль начал с угроз: союзные державы с населением

в 108 миллионов и тремя миллиардами доходов ополчились против России, у которой 60 миллионов населения и едва ли наберется один миллиард годового дохода.

Блещу очками, Горчаков кивнул: все верно.

— Но еще не родилась коалиция, способная стереть Россию с лица земли, как неудачную формулу с грифельной доски. Я не пророк, но могу предсказать: после этой войны Вена еще очень долго будет дремать вполглаза... А на столкновение с Францией я не смотрю так уж трагично! Наполеон Третий, сам того не ведая, забивает сейчас сваи моста, который перекинется через всю Европу между Парижем и Петербургом.

— Это ваша славянская фантазия, — заметил Буоль.

— Обратимся к фантазии итальянской! Франция не потерпит закабаления вами Италии, возмездие придет... не из Рима.

— Вы думаете... из Парижа? — оживился Буоль.

— Мне трудно говорить за Францию, но, помимо Наполеона Третьего, существует еще и Джузеппе Гарибальди.

— Не ожидал от вас, столь воспитанного человека, что вы станете дерзить мне при первом же свидании.

— Ах, простите! — извинился Горчаков. — Я как-то совсем забыл, что имя Гарибальди считается в Вене крамольным...

Вражда (и границы этой вражды — от Дуная до Рима) определилась. Вскоре русские войска отошли за Прут, а в долины Дуная сразу хлынули австрийцы. Союзные войска высадили десанты в Евпатории и пошли на Севастополь, хорошо защищенный с моря, но зато открытый со стороны суши. В эти трудные для России дни Горчаков держался особенно гордо, тон его речей подчас был вызывающим, а Балабину он однажды сказал:

— Я предпочел бы сейчас с ружьем в руках стоять на бруствере самого опасного Четвертого бастиона в Севастополе, только б не вариться в этой ужасной венской кастрюле...

Европейские газеты писали о нем как об очень большом политике, который в пору небывалого унижения своего отечества умеет сохранять достоинство посла великой державы. Россия вела две битвы сразу: одна — в грохоте ядер — шла под Севастополем, другая, велеречивая и каверзная, протекала в конференциях и заседаниях, где Горчаков — в полном одиночестве! — выдерживал натиск нескольких противников...

1854 год заканчивался; французы колонизировали Сенегал; Макс Петенкофер начал борьбу с холерой; папа римский опубликовал энциклику о беспорочном зачатии Девы Марии.

А весной 1855 года перед Кронштадтом появился флот неприятеля. Петербуржцы смотрели на эту блокаду с философским любо-

пытством. Возникла даже мода — устраивать массовые гулянья в Сестрорецке или на Лисьем Носу, откуда хорошо были видны корабли противника. А когда маршал Пелисье получил от Наполеона III титул герцога Малахова, Петербург дружно смеялся. Французы не знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое название от забудыги Ваньки Малахова, основавшего под сенью кургана дешевой кабак. Так что геральдическое основание для герба нового герцога имело прочную основу — большую бочку с сивухой...

Наполеон III считал войну с Россией войной «платонической», как реванш Франции за 1812 год. Он не желал продлевать вражду с Петербургом, истощая свою казну и обогащая биржи Лондона. Переговоры за спиной Англии он поручил сводному брату — герцогу Шарлю Морни. Через венских банкиров Морни вошел в тайные сношения с князем Горчаковым.

— Россия, будучи нема, — ответил Горчаков, — не остается глухою. Но мир между нами возможен в том случае, если Франция не потребует от России унижительных уступок...

Осенью русские войска покинули Севастополь, но не было силы, которая заставила бы их уйти из Крыма; тогда в России можно было нарваться на оплеуху, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал, — говорили русские, — он лишь оставлен нами». Мира не было, а война заглохла сама по себе. Наполеон III заверил Горчакова, что условия мира не будут отяготительны для русской чести, о чем князь сразу же поспешил сообщить в Петербург — канцлеру Нессельроде.

— Кажется, — сказал он Балабину, — мне удастся вывести Россию из конфликта без ущерба для ее достоинства...

Поздно вечером прибыл курьер из Петербурга, вручил пакет от канцлера. Горчаков сломал хрусткие печати. Едва вчитался в бумаги, как рука сама потянулась к колокольчику.

— Бог мой, — крикнул он вбежавшему Балабину, — всё пропало! Нессельроде повелевает прервать отношения с герцогом Морни, а переговоры о мире с Буолем перепоручает своему зятю, саксонскому барону Зеебаху.

— Но почему же с Буолем? При чем тут Зеебах?

— Нессельроде разрушил дело почетного мира. Тайну моих переговоров с Францией он подло разгласил перед Веною...

Предательство было непоправимо для России! Наполеон III, возмущенный поведением петербургского кабинета, сразу же прервал переговоры. А при встрече с канцлером Буолем князь Горчаков заметил на его лице торжествующую усмешку.

— Теперь, — сообщил Буоль, — условия мира будем диктовать мы... Не скрою от вас, любезный коллега, что России предстоит испытать некоторую чесотку своего самолюбия.

На этот раз условия мира были очень унижительны!
— Я не думаю, чтобы Петербург на них согласился.
— Тогда... война, — злорадно отвечал Буоль.
— Конечно! — сказал Горчаков, нарочито замедленно протирая очки. — С человеком, имеющим двести тысяч годового дохода, я не могу говорить иначе, как только в уважительных тонах. К тому меня обязывают долги и полное отсутствие доходов...

Вскоре он испытал признаки отравления. Слег в постель, его мучительно рвало, в глазах было темно...

— Мсье Балабин, — сказал он, — я хотел бы сдать русское посольство в Вене именно вам, русскому, и вам позволено развить свою ненависть к Австрии до невозможных пределов.

— Когда вы, князь, почувствовали себя дурно?

— Сразу после обеда у этого саксонца Зеебаха.

— Вы имеете какие-либо подозрения против Саксонии?

— Против Саксонского королевства — никаких. Но я имею массу подозрений противу Российской империи, ибо за столом у барона Зеебаха я сидел подле его очаровательной жены, дочери нашего канцлера Карла Вильгельмовича Нессельроде!

...Россия пребывала в политической изоляции.

Капризная русская оттепель

Тютчев не расписался — Тютчев разговорился...

Крымская эпопея надломил его — она и выпрямила!

Новый год был встречен нервными стихами:

Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе,
Но не одни войны тревоги
Принес он людям на земле.

Федор Иванович полагал, что мир замер на пороге небывалого кризиса, а народу русскому уготована судьба роковая — противостоять всей Европе, которую сокрушит изнутри некто «красный», после чего святая Русь вернется на исконные исторические пути, а мир славянства встанет под русские знамена.

— Но этого еще никто не осознает, — рассуждал он. — Жалкие мухи, прилипшие к потолку корабельной каюты, не могут верно оценивать критические размахи корабельной качки!

Лучшие годы жизни (с трагедиями и надрывами) Тютчев провел в Германии; любя немецкий мир, он понимал его национальные терзания; друг Шеллинга и Гейне, поэт грезил о той уютной Германии, которая возникала из идиллических картин Шпицвега — с их виноградными террасами, с инвалидными командами крепостей, усопших в лопухах и бурьяне, с ночными патрулями, которые, воздев фонари, обходят мистические закоулки средневековых городов, населенных сентиментальными башмачниками и пивоварами, Гретами и Лорелеями, ждущими почтальона с письмом от сказочного рыцаря... Но политика удушала поэзию! Тютчев был политическим трибуном светских салонов. В ярком освещении люстр, под волнуемое шуршание женских нарядов, в говоре и смехе юных красавиц поэт становился неотразимо вдохновенен. Будто невзначай, он транжирил перлы острот и афоризмов, а Петербург повторял их как откровение...

Лев сезона — так прозвали его в столице, хотя этот некрасивый и малоопрятный человек меньше всего походил на жуира и бонвивана.

Вот он выходит из подъезда дома на тихой Коломенской, проведя эту ночь не в семье, где его заждалась жена, а опять у Лели Денисьевой, последней своей любви.

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней.
Сияй! Сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней...

Поэт! Впрочем, на поэта Тютчев тоже не похож: щупленький, лысенский, поверх пальто накинут немислимый плед, конец которого небрежно волочится по панели. Не только поэта, но даже камергера двора его величества, каким он был, Тютчев не напоминает. Скорее, пришибленный невзгодами жизни мелкий титулярный советник, корпящий над перепиской казенных бумаг.

Сейчас поэт направлялся в цензуру. Не для того, упаси бог, чтобы с пеной у рта отстаивать свои мысли. Нет, Тютчев сам был цензором. Когда-то советник посольства в Турине и уполномоченный в Мюнхене, он свернул свои паруса в Петербурге, бросив якорь в мутных заводях у Певческого моста, где и числился старшим Цербером, обязанным «тащить и не пущать». А что делать иначе? Как правило, поэт влюблялся в замужних женщин, уже имевших детей, потом рождались дети от него, и, наконец, любимая Леля тоже не бесплодна, — жить как-то надо...

Тютчев горько смеялся сам над собою:

Давно известная всем дура —
Неугомонная цензура —
Кой-как питает нашу плоть —
Благослови ее господь!

Невесело было. Английский флот совершил разбойничье нападение на жителей Камчатки, он обстрелял Соловецкий монастырь, где монахи дали «викторианцам» отпор из пушек времен Стеньки Разина, — а сегодня поэту предстоял неприятный разговор... Канцлер Нессельроде красными чернилами широко и жирно, явно смакуя, вычеркнул из статьи слово «пиратские».

— Помилуйте, — заявил он, — как можно писать о пиратских действиях англичан на море... Лондон может обидеться!

— Но что нам до английских обид, — отвечал Тютчев, — если наше отечество пребывает в состоянии войны с Англией?

— Война здесь ни при чем, а флот ее величества королевы Виктории пиратским быть не может... Кстати, — дополнил Нессельроде, — я крайне недоволен, что вы позволяете публикации о потерях англичан и французов в Крыму. К чему это злорадство, присущее московским агитаторам — Аксаковым, Самариным и Погодиным? Пусть наши газеты пишут только о русских потерях, а Париж и Лондон не следует огорчать упоминанием об их жертвах... Надеюсь, вы меня поняли?

Тютчев не желал этого понимать, и всё, что несли к нему редакторы газет, он пропускал в печать с неразборчивой подписью: «п. п. Ф. Т.» (что означало: печатать позволяется. Федор Тютчев). Уже не обожаемой Леле Денисьевой, а своей свято любимой жене, мудрой и гордой красавице Эрнестине, поэт откровенно сообщал: «Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего дикого кретинизма».

Поэту Якову Полонскому он в эти дни сказал:

— У нас уже привыкли лечить зубную боль посредством удара кулаком в челюсть! Я это не раз испытал на себе...

Сорок лет подряд во главе русской внешней политики стоял горбоносый карлик с кривыми тонкими ножками, обтянутыми панталонами из белого тика, — карлик ростом и пигмей мысли, он обожал тонкую гастрономию, маслянистый блеск золота и благоухание оранжерейных

цветов. О немцах он говорил: «Господь бог при сотворении мира, на восьмой день, даже не отдохнув, взялся за создание человека, и первый, кого он вылепил, был немец». О русских же отзывался так: «Правда, среди них встречаются приятные люди, но, когда я вижу умного русского, я всегда думаю: как жаль, что он не родился немцем...» Российский канцлер Карл Вильгельмович Нессельроде обрзан своим появлением на свет офицеру Пфальнского герцогства от брака с еврейкой Луизой Гонтарь*; он родился на испанском корабле у берегов Португалии, а крещен по протестантским обрядам в часовне английского посольства в Лиссабоне... Космополит не только по рождению, но и по убеждениям души и сердца.

— Ах, оставьте, — морщился Нессельроде, когда речь заходила о России и русском народе. — Я не знаю такой страны, и мне безразличен грязный и темный русский народ. Я служу не народу, а лишь короне моего повелителя!

Загнав русскую политику в тупик, канцлер привел Россию к политической блокаде, сделав из страны нечто вроде европейского пугала. Я склонен думать, что Николай I поступил все же рыцарски, когда, не стерпев стыда поражений, приказал лейб-медику Мандту дать ему порцию яда, от которого и скончался на узкой лежанке, накрытый шинелью рядового солдата. Царь понял крах тех идеалов, которым он поклонялся и всю жизнь следовал. Перед смертью он сказал своему сыну: «Прощай, Сашка... я сдаю тебе под команду Россию в дурном порядке!»

Зимой Александр II провел в Зимнем дворце секретное совещание высших сановников империи. Он сообщил им:

— Я имею телеграмму из Вены от князя Горчакова, который советует отвергнуть ультиматум Буоля и снова завязать переговоры лично с императором Франции, дабы нейтрализовать требования Вены о территориальных уступках в Бессарабии. Наполеон Третий признал, что война обошлась Франции очень дорого, а русский солдат покрыл себя немеркнущей славой. У меня нет оснований подозревать его в неискренности, благо сама же Франция берется умерить неоправданные притязания Лондона.

Начались прения. Все высказывались за мир, ибо боялись полного оскудения казны и arsenалов. В случае отказа от мира следовало ожидать высадки десантов противника на Кавказское побережье; англичане уже запланировали отрыв народов Кавказа от России,

* Л. Гонтарь вышла замуж, будучи уже беременной от венгерского барона Лебцельтерна, отец которого, австрийский еврей, был лейб-медиком императора Карла VI. Это хорошо замаскированное родство русского канцлера, бывшего еврея со стороны отца и матери, сделало его политически зависимым от венских Ротшильдов, ярых ненавистников России, на что уже давно обратили внимание историки дипломатии.

чтобы под эгидою турецкого султана создать особое царство Шамиля — *Черкесию*; существовала и угроза вторжения австрийских войск со стороны Галиции.

Граф Киселев бросил упрек в лицо Нессельроде:

— Спасибо за изоляцию! Россия осталась теперь, как цыган, ночевать в пустом поле. С нами только Пруссия, но и она, под давлением Австрии, может позариться на Прибалтику.

Граф Алексей Орлов (шеф жандармов) сказал:

— Национальная гордость возмущена, в низах народа скапливается громадный взрыв патриотизма... Простонародие, я извещен точно, согласно нести жертвы и далее. Но мир все-таки необходим для сохранения спокойствия в империи.

Престарелый англоман Воронцов тоже стоял за мир:

— Шамиль для нас хуже язвы желудка. Пока Шамиль не побежден нами, мы всегда будем связаны в политике!

Александр II указал Нессельроде:

— Немедленно отзовите Горчакова из Вены...

Горчаков приехал. Он остановился, словно провинциал, в номерах у Демута, совершенно разбитый болезнью. Врачи ограничили его лечение тем, что без передышки промывали ему желудок, и в эти дни его навестил Нессельроде — с угрозой:

— Если вы рассчитываете занять мое место, то предупреждаю, что после этой войны Министерство иностранных дел будет аннулировано как ненужное, ибо впрямь Россия не сможет вести самостоятельной политики, обязанная лишь покорно выслушивать, что ей укажут кабинеты европейские.

— Бог с вами, — равнодушно отозвался князь.

В салонах столицы светские дамы рассуждали:

— Россия унижена, но так жить нельзя! Нам нужна волшебная палочка, чтобы вернуть империи ее прежнее величие.

— Ах, милая Додо, где найти эту палочку?

— Такою палочкой обладает князь Горчаков...

Горчаков, садясь на горшок, говорил врачам:

— Кажется, из меня выходят дурные последствия политики Священного союза монархов... О-о, господи! Прости и помилуй нас, грешных, царица небесная, заступница наша еси...

Под ним стояло изделие фирмы Альфреда Круппа!

Полмиллиона солдат и полмиллиарда рублей — такова цена для России Крымской кампании. Черноморский флот лежал на дне, Севастополь дымился руинами; жители выезжали в Николаев, на горьких пепелищах выли покинутые псы да бродили одичалые кошки. Русский человек не признавал себя побежденным, умные люди даже

приветствовали *поражение царизма*, за которым должно последовать оздоровление государства. Московские славянофилы тогда же пустили в оборот модное словечко «оттепель»:

— Господа, начинается политическая оттепель...

Началась она с того, что Александр II (сам курящий) позволил верноподданым курить на улицах и в общественных местах. Демонстративное курение стало признаком либеральных воззрений курящего, а дворянин, рискнувший отпустить себе бороду, считался уже карбонарием, чуть ли не гарибальдийцем. Возникла мода на папиросы — чисто русское изобретение (хотя название взято от испанской пахитосы, в которой табак заворачивался не в бумагу, а в соломку). «Оттепель» безмерно обогатила табачных фабрикантов Миллера и Гунмана, выпускавших три сорта курева: тонкие и длинные — фerez-ли, толстые и короткие — пажеские, наконец, специально для театралов появились папиросы на две затяжки, называемые — антракт...

В 1856 году Россия провела широкую демобилизацию старой армии — еще николаевской, набранной по рекрутской системе. Старики ветераны получили на руки белые билеты, в коих им наказывалось «бороду брить, а по миру не ходить» (иначе — не побираться). Тысячные толпы людей, вислоусых и беззубых, с нашивками из желтой тесьмы «за беспорочную службу», плелись по дорогам в свои губернии, дабы успокоить кости на родине. Но солдата дома никто не ждал, ибо у него давно не было дома. Взятый на службу черт знает когда (безграмотный и потому не имевший связи с сородичами, тоже безграмотными), он являлся в деревню, где повымерли помнившие его, а те, что сидели теперь за столом, в суровом порядке хлебая щи деревянными ложками, видели в нем лишнего едока. Вот и пошли они, солнцем палимы, по белу свету, а свет велик, и брили они бороды, как велено им от начальства премудрого. Одинокие люди устраивались хожальными в полицию, будочниками у застав в провинции, в ночные сторожа при купеческих лабазах, нанимались в швейцары, шли в банщики или... просто спивались! Бряцая крестами и медалями, гневно стуча клюками в заплеванные полы трактиров, ветераны требовали дармовой водки, уважения к себе и почитания, — ей-ей, читатель, они того стоили...

А что еще сказать об этом времени?

Лев Толстой говорил: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь!» Россию сгибало на переломе эпох, старой и новой, и лишь мудрые старцы сумели найти в себе смелость, чтобы разрешить бурно-кипящей младости: *«Шагайте через нас»*...

Придворный мир, надев позлащенные мундиры, по утреннему морозцу катил в Зимний дворец присягать самодержцу. Тютчев не поехал для присяги новому императору Александру II:

— Я разуверился, что эти господа способны осознать истину. При случае я готов пожертвовать им часть своего ума...

Поэта вызвали к министру императорского двора.

— Однажды вы уже были лишены звания камергера, когда ради свидания с женщиной самовольно оставили пост посланника в Турине, — сказал поэту граф Адлерберг. — На этот раз вы ведете себя столь же неосмотрительно и даже... вызывающе.

Тютчев присягнул. Презируя себя, сказал Леле:

— Все они в основном мерзавцы, и мне тошно глядеть на них, но беда в том, что тошнота не доводит меня до рвоты.

Он побрел к Демуту, чтобы побеседовать с Горчаковым о судьбах русской политики. С крыш уже капало. Это была весенняя оттепель. Безо всякой политики...

Утром Леля спросила:

— О чем, друг мой, говорили вы с Горчаковым?

— О вселенной — никак не меньше того...

Париж и Парижский мир

Вечный город никогда не спит... Еще шумят кофейни, еще фланируют по бульварам гуляки, а уже проснулись зеленщики и огородники, загружающие рынки капустой и артишоками. Стражи отворяют мясные павильоны, где дежурные таксы с лаем гоняют между прилавками ленивых и жирных крыс. В два часа ночи пробуждаются flaireurs (блюдолизы) — инспекторы, которым до рассвета следует обойти рынки и кухни, дабы, полагаясь на свой вкус, опробовать качество продуктов. На винных складах Парижа торговцы уже разбавляют коньяки крепким чаем, а на молочных фермах безбожно льют в молоко речную воду. Публика разъезжается из театров, когда в дешевых харчевнях уже вскипают супы для пролетариев, готовых взяться за труд. На авансцену парижской кулинарии выходят «устроители бульонов» — почти фокусники, рты у которых лучше пульверизаторов. Набрав в рот рыбьего жира, они распыскивают его в мельчайшую маслянистую пыль, и она, осаждаясь поверх супов, украшает их поверхность жирными точками. Первые лучи солнца едва коснулись крыш Парижа, а из ворот Бесетра уже выехала телега с преступником; на площади Рокет стоит гильотина, возле нее — корыто со свежими пшеничными отрубями. Голова, прежде чем упадет в мягкие отруби, рубится возле четвертого позвонка. Быстрота операции поразительна: не успеешь сказать «ах!», как подмастерья уже заколачивают крышку гроба гвоздями...

Слава богу, трудовой день начался!

Итак, читатель, мы в Париже времени Наполеона III, времени пышной Второй империи. Я никого не удивлю, если скажу, что Наполеон I умер в 1821 году на острове Св. Елены, далеко в безбрежной океана. Его сын Наполеон II (обычно его называют герцогом Рейхштадтским), рожденный от австриячки Марии-Луизы, не был отравлен Меттернихом, как принято думать. Говорят, что Меттерних поступил проще — он подослал к нему знаменитую балерину Фанни Эльслер, и женщина вулканического темперамента быстро загнала юнца в могилу. А чтобы приступить к Наполеону III, нам не обойтись без генеалогической справки.

Любвеобильная креолка Жозефина Гаше де Пажери, первая жена Наполеона I, от первого брака с генералом Богарнэ имела дочь Гортензию, которую отчим насильно выдал за своего брата Луи-Бонапарта, назначив этого флегматика королем в Голландию. Гортензия, став королевой, забеременела от голландского адмирала Веруэлла и родила мальчика — будущего Наполеона III. В наследство ему мать оставила любовь к приключениям и сочинила музыку к стихотворению *Partant pour la surie*, которое во времена Второй империи он сделал французским гимном. Наполеон III творил большую политику заодно с братом Шарлем Морни, которого королева Гортензия родила опять-таки не от мужа, а от гусара Флахо. Этот Флахо, в свою очередь, был приبلудным сыном князя Талейрана, что давало повод Морни быть вдвойне гордым своим происхождением. Однако если император и герцог Морни приходились Наполеону I десятой водой на киселе, то граф Валевский — это уж точно! — был подлинным наполеонидом, рожденным от связи императора с полячкой Марией Валевской. Сейчас он ведал иностранными делами Франции. Носитель старых польских традиций, Валевский не мог, конечно, относиться к царизму благосклонно, но сейчас политика Франции обязывала его искать дружбы с Россией...

На этом пока и остановимся. Пора за круглый стол!

.....
Париж меняется, но неизменно горе,
Фасады новые, помосты и леса,
Предместья старые — все полно аллегорий.
Воспоминания, вы тяжче, чем скала.

К открытию Парижского конгресса на набережной д'Орсэ закончили отделку нового здания Министерства иностранных дел, и теперь это имя — Кэ д'Орсэ — стало символом всей французской политики. Конечно, из Берлина прикатили на конгресс и представители Пруссии, но австрийский канцлер Буоль, желая унижить пруссаков, не допустил их в зал заседаний:

— Если глупым Михеям так уж интересно, что тут происходит, я разрешаю им подглядывать в замочную скважину...

От имени России главной фигурой на конгрессе выступал граф Алексей Федорович Орлов, брат декабриста Михаила Орлова и шеф корпуса жандармов; Орлов был плохим жандармом, презиравшим дело тайного сыска, но зато был отличным дипломатом, влюбленным в политику.

Сначала он повидался с Морни и Валевским:

— Это самый абсурдный конфликт между Россией и Францией, которая, вернувшись к пагубной системе кардинала Ришелье, сражалась в Крыму не за себя, а за Турцию... Я не понимаю, какие серьезные причины могут быть для неудовольствий между нашими странами, лежащими на двух концах Европы?

— Никаких, — четко согласился Морни. — Но мы связаны союзом с Англией, а эта страна всегда имела глаза в десять раз больше своего желудка. Договоримся сразу: Валевский будет гласно афишировать свой альянс с лордом Кларедоном, но пусть вас, русских, не смущают его громкие фразы.

Орлов (стареющий красавец гигантского роста с элегантною клокотом седых волос на лбу) развернулся в сторону Валевского, сказавшего, что Париж с нетерпением ждал его приезда.

— А если вы меня ждали, так я надеюсь рассчитывать, что на конгрессе вы избавите меня от всяких неприятностей.

— Ваша неудача была бы неудачей и для Франции...

Наполеон III был женат на жгучей испанке Евгении Монтихо; Орлов, честно говоря, побаивался встречи с этой красавицей, которая, словно червь под землей, прогрызала запутанные норы в политике. Но, к счастью, Монтихо была на сносях, и Наполеон III принял русского посла наедине. Внешне император был карикатурен: маленький, с кривыми ногами и слишком коротким туловищем; на подбородке — козлиная бородка, а усищи — в стрелку, как два отточенных стилета; под глазами — темные мешки от почечной болезни. Наполеон III сразу же озадачил Орлова резким выпадом:

— Последняя война с вами вдребезги сокрушила Священный союз, а вероломная политика Австрии нанесла России неслыханное ущемление чести... Не пора ли нам сообща пересмотреть всю политику Европы от истоков Венского конгресса?

Вторым представителем России на Парижском конгрессе был Филипп Иванович Брунов (посол в Лондоне, он обессмертил себя тем, что во время придворных празднеств скрыл кончину жены, а чтобы труп не разлагался, Брунов целую неделю обкладывал его льдом, который сам и заготовлял). Брунов настолько погряз в дипломатических выкрутасах, что Орлов, ловкий мистификатор, нашел применение и его «способностям».

— Барон, — сказал он ему, — буду лбом таранить форты Вены и Лондона, а вы тем временем прожевывайте любой вопрос до тех пор, пока всем врагам не станет тошно.

Брунов доводил конгресс до умопомрачения нудными речами, предлагая одну редакцию статьи за другой, а когда статья была отшлифована до нестерпимого блеска, он мудро изрекал:

— Это следует изложить совершенно иначе...

Турецкий визирь Али-паша, умный и образованный человек, в основном помалкивал, предоставляя сражаться за Турцию англичанам и австрийцам. Русская армия до сих пор держала в своих руках турецкую крепость Каре, и лорд Кларедон, приняв трагическую осанку, сделал заявление:

— Англия согласна воевать с Россией еще сотню лет, но никогда не уступит русским обладание крепостью Каре.

Орлов не спросил лорда — ваша она, что ли, эта крепость? Вздернув породистую голову, он построил вопрос иначе:

— Насколько я вас понял, турецкая крепость Каре крайне необходима Англии ради безопасности британской короны?

Али-паша, продолжая разумно молчать, медленно обвел всех матовыми черными глазами и тяжело вздохнул.

— Мы, — отвечал за него лорд Кларедон, — отлично сведущи в том, что Кавказ — это открытые ворота в Индию.

— Но, обладая Индией, — парировал Орлов, — зачем же вы, милорд, хотите колотить стекла в русских окошках?

Кларедон невозмутимо подверг сомнению права России на обладание Кавказом и всем побережьем Черного моря от устья Кубани, но получил отповедь от графа Валевского:

— Не делите то, что вам не принадлежит...

Орлов понял, что пора спускать собаку с цепи: по его сигналу барон Брунов начал усыпление конгресса мелочными соображениями, старательно подчеркивая их чрезвычайную важность, и он произносил изнурительную речь до поздней ночи, пока дипломаты не забыли, ради чего они тут собрались... Они тревожно переглянулись:

— Простите, а на чем же вы остановились?

— На том, — поднялся Орлов, — чтобы сделать перерыв в заседаниях, дабы здраво обсудить предстоящие решения...

Симпатии французов к России нисколько не пострадали от войны, в Париже с большим уважением отзывались о русском солдате как благородном, стойком противнике. Но зато всеобщее возмущение вызывало крохоборство Австрии, подлое желание Вены насытиться за чужим столом. Орлов это учитывал и, выводя Россию из политической изоляции, он решил затолкать Австрию в пропасть политической бездны...

Алексей Федорович сознательно предложил перерыв в работе конгресса, дабы на обеде в Тюильри заручиться поддержкой императора. Наполеон III видел в Англии препятствие для своих «бонапартистских» захватов в Европе, он мечтал об изгнании Австрии из Италии, а в результате ему была нужна опора на Россию, и Россия ему поможет, но долг платежом красен... Орлов жаловался, что требования англичан чудовищны:

— Они требуют скрытия фортификаций на Аландских островах в Балтике, уничтожения судостроительных верфей в Николаеве.

— Валевский, — отвечал Наполеон III, — для видимости будет отстаивать союзную точку зрения до предела, и вы до предела сопротивляйтесь. Когда предел наступит, Валевский развеет руками и скажет, что России надобно уступить...

Буоль уже вторгнулся с войсками в Бессарабию:

— Если Россия побеждена, ей следует подчиниться!

Орлов, оскорбленный, встал:

— Австрия, может быть, и привыкла заключать мир после многих своих поражений, но Россия в таких позах еще не бывала! И вы ведите себя приличнее, ибо, если верить газетам, Севастополь взяли не вы, а доблестные французы.

Валевский, выбрав момент, шепнул Орлову:

— Вам все-таки предстоит отрезать кусок степей, и пусть Буоль стрижет там «золотое руно» с цыганских баронов...

Орлов произнес слова — пророческие:

— Вы, австрийцы, еще не знаете, какого моря слез и крови будет вам стоить это несчастное исправление границ...

Вслед за этим Валевский испортил настроение Габсбургам на множество лет вперед: он заявил, что Европа желала бы видеть Дунайские княжества объединенными в единое государство. Орлов, как опытный игрок, перехватил этот «мяч» в полете и мастерским ударом послал его за сетку противника:

— О воссоздании самостоятельного и свободного государства Румынии можно говорить лишь в том случае, если из земель валашских будут выведены войска Австрии и Турции!

При этом молчальник Али-паша вяло осунулся, «а Буоль (писал очевидец) столь яростно возражал против объединения княжеств, что временами казалось — он потерял рассудок».

— Как вам не стыдно! — кричал он. — Ваша армия высадилась на острове Змеином и контролирует все дунайское устье...

Орлов был сегодня при мундире, он водрузил громадную длань на золоченый эфес великолепной сабли и ответил так:

— Змеиный — известковая скала, на которой, по преданию, погребено тело Ахиллеса, размером остров не больше тарелки, и я не

понимаю горячности графа Буоля, упрекающего нас в наличии русской прислуги на маяке острова Змеиного...

— А там есть маяк? — тихонько спросил Брунов.

— Если нет, так завтра будет, — шепнул Орлов...

Но политика султана турецкого — это политика Лондона, а объединение Дунайских княжеств в Румынию — это начало развала Турецкой империи. Кларедон упрекнул Валевского:

— Вы желаете быть русским более самих русских...

Лишь под конец конгресса в зал заседаний были допущены прусские представители, делегацию которых возглавлял берлинский бюрократ Отто фон Мантейфель. Орлов дружески тронул его за локоть и доверительно сказал:

— Я покажу вам, что пишет мне государь...

Александр II писал: «Мы, конечно, не можем забыть, что из всех великих держав одна Пруссия не была нам враждебна...» Петербург с Берлином сковывали давние родственные узы Гогенцоллернов с Романовыми, а мать Александра II была внучкою короля Фридриха Великого.. Пушечными выстрелами перед Домом инвалидов, где покоился прах Наполеона I, Европа была извещена о наступлении мира. Итак, все кончено. Кларедон подошел к Орлову, предлагая руку для пожатия.

— Ну что там рука! — с радушием отвечал Орлов. — Позвольте мне, милорд, обнять вас по русскому обычаю.

Он обнял лорда, подержав недолго в своих медвежьих объятиях, потом развел руки, и британский дипломат вялым мешком опустился на землю в обморочном состоянии.

— Это от чистого сердца, — сказал Орлов, — за то, что он потребовал уничтожения наших верфей в Николаеве...

В разгар конгресса Евгения Монтихо родила Наполеону III сына, прозванного «принц Лулу». Орлов от души поздравил императора и выразил желание обнять его.

— Умоляю — не надо, — уклонился счастливый отец.

Александр II ознакомил Горчакова со статьями Парижского трактата... Александр Михайлович долго хранил молчание.

— Орлов сделал все, что мог, и даже больше. Я смею думать, что, когда на Москву наезжали послы Мамаю и Тохтамыша, дабы собирать ясак натурою с наших прашуров, положение российской дипломатии было все-таки намного хуже, чем наше. Меня утешает в этом трактате одно: пишу никогда не едят такой горячей, какой она готовится на плите...

Царь отчеркнул ногтем статью трактата.

— Вот! — сказал. — Самый нетерпимый и оскорбительный пункт — нейтрализация Черного моря: мы не имеем права возрождать флот на Черном море, заводить порты и арсеналы.

— Да, — согласился Горчаков, — Европа схватила нас за глотку, и я почел бы за счастье дожить до того дня, когда Парижский трактат с его позорными статьями будет уничтожен.

Император ухватился за эти слова:

— Вам и карты в руки...

Что означало: берите портфель от Нессельроде!

Горчаков отнекивался, ссылаясь на старость и недомогания. Пожалуй, были причины и более серьезные: он ведь знал о германофильстве царя, и это мешало бы ему сводить Россию в альянс с Францией... На уговоры царя князь отвечал:

— Когда человек в моем возрасте начинает солировать, то следует помнить, что слушать его способны одни ангелы. Вы молоды, а я стар: мы же с вами будем ссориться! Ах, лучше оставьте меня — я разбит смертью любимой женщины...

Проба голоса

В дворцовой церкви свершался придворный молебен по случаю Парижского мира; среди коленопреклоненных сановников и свитских дам шелестел шепоток: «Горчаков, кажется, возьмет портфель у Карлушки...» На выходе из храма об этом же заговорил с царем и граф Адлерберг — возмущенно:

— Можно ли назначать министром человека, знавшего о заговоре декабристов, друзья которого до сих пор в Сибири?

— Но Горчаков ведь не торчал тогда на Сенатской площади: он сидел во дворце и ждал, чем все это закончится...

Император увольнял в отставку сановников, доставшихся в наследство от батюшки, которого Герцен прозвал «неудобозабываемым». Правда, смена кабинета далась нелегко, пришлось даже выдержать истерику матери. Почерневшая и сухая мегера, внучка Фридриха Великого, кричала на сына:

— Как ты собираешься управлять страной дураков и воров без верных слуг отца — без Клейнмихелей! Без Нессельроде!

Царь дал матери ответ, ставший историческим:

— Мой папа был гений, потому мог позволить себе окружать трон остолопами. А я не гений — мне нужны умные люди...

В царском поезде, единственном в стране, который имел «гармошку» (для перехода из одного вагона в другой), император с Горчаковым ехали в Царское Село. Разговор шел о пустяках, а когда показалось Пулково, Александр II сказал:

— Вижу, вы уклоняетесь от бесед о политике.

— Нисколько! Но я хотел бы обратить ваше высочайшее внимание на то, что внешняя политика — сестра политики внутренней, и раз-

деление их невозможно, ибо эти близнецы порождены одной матерью — природою государства. Пусть же начало вашего царствования отметится благородным актом милости...

— К чему эта возвышенная прелюдия?

Горчаков пылливо взирал из-под очков.

— Государь! Верните из Сибири всех декабристов, кои остались в живых, возвратите им честь их званий.

— Я сделаю это. Но только в день коронации...

С поезда пересели в придворный экипаж. Недавно прошел весенний дождь, молодая зелень приятно сквозила за окошками кареты, ехавшей, как по паркету, по великолепной мостовой. Царь настаивал на принятии дел иностранных:

— При Нессельроде они были, скорее, странные...

— Пока нас никто не слышит, — отвечал Горчаков, — я выскажусь... Парижский трактат хорош уже тем, что определил цели русской политики на ближайшие годы. Не в силах скрыть от вас и своего простительного тщеславия... Да! Я хотел бы стать имперским канцлером только затем, чтобы, не выкатив из arsenалов ни единой пушки и не тронув даже копеечки из казны, без крови и выстрелов, сделать так, чтобы наш флот снова качался на рейдах Севастополя.

— Разве это возможно... без крови?

— В политике, как и в любви, все возможно...

Решено! Нессельроде сдал дела Горчакову.

— Что вы тут собираетесь делать? — хмыкнул он. — Россия вышла из европейского концерта, ее голос потерял прежнее очарование. Сейчас нам предстоит лишь бисировать на галерке признанным певцам Вены, Парижа и Лондона... Я вам не завидую, — сказал Нессельроде на прощание.

— Да, — согласился Горчаков, заглядывая в чернильницу, — положение отчаянное, а я, как влюбленный Нарцисс, буду любоваться своим отражением в чернилах, налитых сюда еще во времена Венского конгресса, ибо с тех пор они не менялись...

Политический пигмей на цыпочках удалился.

Немецкая страница дипломатии была перевернута.

Открылась чистая — русская, патриотическая.

Тютчев проводил Нессельроде злыми стихами:

Нет, карлик мой, трус беспримерный!

Ты, как ни жмися, как ни трусь,

Своей душою малoverной

Не соблазнишь святую Русь...

Горчаков поставил перед собой «скромную» задачу: отомстить Австрии за ее поведение в Крымской войне, подготовить мир к уни-

чтожению Парижского трактата и юридически закрепить наши границы на Амуре. Проавстрийская дворцовая партия навязывала Горчакову барона Мейендорфа, чтобы князь взял его на пост товарища министра. Горчаков решил «стародурам» не уступать и вызвал венского прихлебателя к себе:

— Я вам предлагаю быть послом в Лондоне...

Таким образом он хотел изолировать Мейендорфа от венских влияний. Но Мейендорф намекнул, что побережет здоровье от английской сырости, дабы дожидаться, когда Горчаков сломает себе шею на антиавстрийской политике (а тогда барон и сам займет его место).

— В таком случае, — жестко ответил князь, — я обещаю вам следить за своим драгоценным здоровьем. Каждый год я стану отдыхать на лучших курортах Швейцарии, чтобы не доставить вам удовольствия плестись за моим траурным катафалком...

И он пережил Мейендорфа на 20 лет!

Я не берусь соперничать с Альфонсом Доде, который, будучи секретарем герцога Морни, описал его в своем знаменитом романе «Набоб». Из критики этого романа известно, что Морни умер не от приема возбуждающих снадобий, а был пронзен шпагой в самое непристойное место супругом той женщины, которую он имел неосторожность посетить. Для нас Морни интересен тем, что сразу же после Парижского конгресса он был направлен послом в Россию. Я не знаю другого французского дипломата, который бы оставил в русской литературе столько следов о себе, сколько герцог Морни! Именно по этой причине я и постараюсь быть предельно краток... Морни вез в Россию винный погреб, который с трудом вылакал бы даже полк лихих изюмских гусар, коллекцию гобеленов и картинную галерею, способную составить филиал Лувра. На границе его ожидал курьер от Горчакова, а в одной деревне крестьяне встретили посла «серенадой, в которой, — по словам Морни, — наверное, скрывались самые лучшие намерения». Всю его свиту из 120 человек разместили во дворце Воронцова-Дашкова на левом берегу Невы. При свидании с послом Горчаков показал Морни аметист в оправе из старинного серебра:

— Этот талисман подарила мне ваша матушка, королева Гортензия, когда я, еще начинающим дипломатом, часто бывал ее гостем во Флоренции... Посол Парижа — на берегах Невы! Что ж, это очень доброе предзнаменование будущего Европы...

Морни был принят в Петергофе царем, который сказал ему:

— Ваше присутствие означает конец того положения, какое не должно больше повторяться. Я никогда не забуду влияния, какое в ходе переговоров на Парижском конгрессе оказал в нашу пользу им-

ператор Наполеон III. Граф Орлов сообщил мне также, что он не мог нахвалиться графом Валевским...

Близилась коронация. Накануне ее Александр II с женою и детьми ездил в Гапсаль — на купания. Гапсаль (нынешний город Хаапсалу) — аристократический курорт в Эстляндской губернии, издавна прославленный целебными грязями и купальнями. В эту поездку царь пригласил и Горчакова, чем очень растрогал пожилого человека:

— Благодарю, государь! Ведь я в Гапсале родился, когда мой батюшка командовал там пехотной дивизией...

Императрица Мария Александровна (родом из Гессенского дома) была женщиной некрасивой и тихой, как амбарный мышонок; она была глубоко несчастна из-за частых измен мужа, что не мешало ей с немецкой добпорядочностью регулярно поставлять клану Романовых все новых и новых отпрысков. Однажды, идя от купальни, она тихонько сказала Горчакову:

— Мой Сашка сейчас в таком добром расположении духа, что вы, князь, можете просить у него что вам хочется. И ни в чем он вам не откажет...

В поезде, отвозившем царское семейство в Москву на коронацию, Горчаков завел с императором серьезный разговор:

— Государь, три года тягостной войны отразились на жизни России, и я осмеливаюсь посоветовать вам сократить расходы на пышности церемоний... Дайте вздохнуть народу свободнее!

За окном вагона стелилась блеклая мгла, в которой лишь изредка мерцали лучинные огни забытых богом деревень.

— Я не могу обещать вам сокращения издержек на коронацию. Поверьте, лично мне этот блеск не нужен, но, если блеска не будет, Европа может счесть это за ослабление моей власти и дурное содержание казны... А за совет благодарю.

— Тогда, — подхватил Горчаков, — вам следует снизить пошлину на заграничные паспорта. Ваш незабвенный родитель выпускал верноподданных за рубеж сроком на полгода под залог в пятьсот рублей. Такую роскошь мог позволить себе только очень богатый человек.

— Сколько же, по вашему мнению, брать за паспорт?

— Пяти рублей вполне достаточно... Слава богу, мы ведь не китайцы, считающие, что в изоляции лучше сберегается их мудрость. Европа, — доказывал Горчаков, — сама по себе — громадный резервуар знаний, и, сливая в него русские достижения мысли и науки, мы будем вправе черпать из него все новое и полезное для развития русской жизни...

Вслед за царским поездом проследовал посольский поезд со свитой Морни, и французы были ошеломлены рекордной скоростью — до Москвы они доехали за 16 часов! В Первопрестольной для них были

забронированы два особняка — Корсакова и Рахманова; обилие свободных стенок позволило Морни развесить все картины и гобелены. Послу досаждали колокола московских церквей, звонившие с утра до ночи «с достойным сожаления соревнованием». А в день коронации Морни невольно обратил на себя всеобщее внимание тем, что оставил свой кортеж за два квартала до Успенского собора, проделав остальной путь пешком и обнажив голову, что не укрылось от взора императора Александра II:

— Благодарю вас, посол! Все было бы отлично, если б не эта постная физиономия лорда Гренвиля, который выступает здесь с таким видом, будто я не вернул Англии долгов...

Англичане старались помешать союзу России с Францией, и Гренвиль — под громы колоколов — заметил Морни:

— У нас политику делают ради прений в парламенте, а дипломаты интригуют лишь ради насыщения архивов документами о своем остроумии... Не пойму, ради чего стараетесь вы?

— Не смейтесь! — отвечал Морни британцу. — Я разглядел в России неразработанный рудник для экономической эксплуатации. Вам-то хорошо сидеть на угольных копиях Ньюкасла, а французы никогда не знают, чем протопить свои каминьы...

Прусское королевство на коронации представляли два человека, столь различных, что их неловко сопоставлять: великий ученый Александр Гумбольдт и генерал Гельмут фон Мольтке. Автор «Военных поучений» врезался в память человечества жестким профилем волевого лица, обтянутого сухим пергаментом старческой кожи, а тогда — на коронации — это был тощий и моложавый, удивительно ловкий в движениях человек, с румянцем во всю щеку, восторженный поклонник танцев, которым он и отдавался — почти самозабвенно...

После мазурки царь приветствовал его:

— А-а, Мольтке! Что скажете хорошего?

На ломаном русском языке, клокоча звонкой гортанью, будто орел перед взлетом, Мольтке отвечал:

— Не стройте крепостей — стройте железные дороги. В Берлине не считают, что Россия потерпела поражение — просто Россия не смогла выиграть победу из-за отсутствия рельсов, протянутых к черноморским портам. Увы, государь, бог Марса отвернулся от ваших воловьих упряжек...

И он закурился в вальсе! Издали наблюдая за его костлявой фигурой, императрица Мария сказала Гумбольдту:

— Посмотрите, как упоенно танцует ваш Мольтке.

— А что ему делать? Это лучший танцор Берлина... Правда, — добавил Гумбольдт, — я слышал, Мольтке что-то еще фантазирует

в генеральном штабе, но я не могу представить, чтобы человек, пылко отдающийся танцам, был способен одержать хотя бы одну серьезную победу на полях роковых битв...

Горчаков равнодушно взирал на вальсирующую публику, вскользь заметив советнику министерства — барону Жомини:

— Я бы охотно променял Гумбольдта и Мольтке на одну лишь голову прусского политика... Это нужно не только Берлину, но, думаю, пошло бы на пользу и Петербургу.

— Пруссия не имеет политика, — отвечал Жомини.

— Точнее, она не имеет политики. Но политик уже есть... Я говорю о Бисмарке, что застрял во Франкфурте, где он каждый вечер надувается, как пузырь, дешевым вином.

Потом была пышная иллюминация и обед в Грановитой палате, напомнивший застолья Ивана Грозного, когда к пирующим несли лебедей с бриллиантами, вставленными вместо потухших глаз. Коронация обошлась народу в 18 000 000 рублей, и, определив стоимость этой церемонии, я заканчиваю ее описание.

Русский дипломат Жомини, всю жизнь выглядывая из-за плеча Горчакова, обожал тень. Оттого-то читатели больше знают его отца*, которого обессмертил Денис Давыдов:

Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова!

Александр Генрихович Жомини считался «Нестором русской дипломатии», как никто другой знавший все ее тайны, и, подобно Горчакову, он долго был гоним по службе канцлером Нессельроде. Горчаков сразу же сделал Жомини главным советником министерства, приобретя тем самым «золотое перо» лучшего стилиста в искусстве дипломатической переписки. Документы, вышедшие из канцелярии Горчакова, снискали в мире славу подлинных шедевров политического красноречия, но историки давно потеряли надежду выяснить — кто их автор, Горчаков или Жомини? Скорее, они работали совместно, стремясь к тому, чтобы политический документ возвысился до уровня художественной классики. О своем помощнике Горчаков сам не раз говорил: «Про барона Жомини можно сказать, что он словно Иисус

* Г В Жомини (1779—1869) — крупный военный мыслитель, родом из Швейцарии, покинув армию Наполеона I, в 1813 году поступил на русскую службу, организатор Военной академии в России. в 1840-х годах удалился во Францию на покой, но во время Крымской кампании счел своим долгом вернуться из Франции в Россию, где и оставался вплоть до заключения Парижского мира

Христос в евхаристии — его все едят и пьют, но никто его еще никогда не видел...»

Сегодня Жомини скромно доложил министру, что от острова Мальты отошла большая английская эскадра.

— Конечно, — сказал Горчаков, — они покинули Мальту, чтобы войти в Черное море, где у нас один кукиш...

Граф Эстергази, посол венский, и лорд Гренвиль, посол лондонский, разводили перед Европой кляузы, будто русские укрепляются на острове Змеином... Из-за этого островка Александр II тоже донимал Горчакова:

— Гренвиль предлагал мне свои корабли для эвакуации наших людей со Змеинового... Какой плевок! Подумать только, сколько терплю я унижений от этой склочной Англии...

Гренвиль с Эстергази сделали князю заявление:

— Не рано ли вы стали насиловать Парижский трактат?

— Ваши скучнейшие разговоры об острове Змеином, — ответил Горчаков, нюхая табак, — я регистрирую как примечание петитом к своему вопросу, набранному крупным шрифтом: когда из Греции, и без того страдающей, будут удалены оккупационные войска ея величества королевы британской?

Морни тоже сделал заявление — от имени Франции:

— Я смотрел карту, но нигде не нашел острова Змеинового, и французам безразлично, кто его населяет...

Желая закрепить «провод» между Парижем и Петербургом, Морни срочно женился (кажется, по любви) на юной княжне Софочке Трубецкой, что вызвало бурю негодования в Англии: там сочли, что свадьба — дело рук хитреца Горчакова. Окрутив Морни с русской красоткой, Петербург теперь по рукам и по ногам свяжет политику Кэ д'Орсэ... Гренвиль сказал:

— Вы бы, Морни, никогда не женились на русской, если бы могли осознать стратегическое значение острова Змеинового. Россия, потеряв Дунай, оставила за собой островок, который, словно пробка, запечатал Австрии выход в Черное море.

— Поверьте, — отвечал Морни, — что, когда мы с женою гасим свечу, мы меньше всего думаем о стратегическом значении острова Змеинового...

В один из четвергов Горчаков закончил свой доклад и собирался откланяться, но царь задержал его:

— Вы извините меня, князь, но я, по совести сказать, так и не ведаю, чей же это остров — Змеиный?

— Этого, государь, не знает никто... Но полагаю, что если англичане шумят о нем больше всего, то это значит, что остров необходимо сохранить за матерью-Россией!

Справка: остров Змеинный, бывший Фидониси, расположен на подступах к Одессе, в 37 милях от устья Дуная; площадь острова 1,5 кв. км; остров принадлежит СССР.

Горчаковский циркуляр

Парижское Кэ д'Орсэ, лондонский Уайтхолл, берлинская Вильгельмштрассе, венский Балльплатц, русский Певческий мост — в этих адресах заключен жесткий «пятиугольник» европейской политики, где все взаимосвязано на основе экономических интересов и традиций прошлых альянсов. «История, — писал Горчаков, — это великая школа, богатая поучениями, но для того, чтобы эти поучения не были простым усилением памяти, нужно применять их к обстоятельствам, в которых находишься...» В его голове держались политические связи России не только с соседями, но и со всем миром; стареющий человек, он цепко хранил в памяти основные пункты трактатов России за последние сто лет, знал их выгоды и слабые места, понимал нужды государств, их опасения и симпатии. Горчаков свободно плавал в необозримом океане имен и фактов, всегда точно оперировал датами. При этом посмеивался над собой:

— Но я так и не знаю, что же такое дипломатия? По-моему, это высшее проявление культуры человеческих отношений. Без дипломатии не может существовать наша цивилизация...

Поздними вечерами, когда в здании министерства погасали свечи, Горчаков любил остаться в кабинете, за бутылкой вина «Эрмитаж» обожал поболтать с Тютчевым и Жомини.

— Европа считает нас азиатами. Но мы принадлежим Европе в такой же степени, что и Азии. Всем своим громадным телом Россия распростерлась по азиатским просторам, выставив босые пятки на Алеутские острова, но голова нашей отчизны извечно покоилась в Европе... Сейчас Россию хотят публично отлучить от большого европейского концерта. В давние времена папа римский отлучил от церкви германского кесаря Генриха Четвертого, и тот, прибыв в Каноссу, посыпал главу пеплом, покаянно разорвал на себе одежды, неделю простоял на ногах под дождями и солнцем, со слезами умоляя папу не отвергать его. Но ежели Европа надеется, что Россия тоже пойдет в Каноссу на покаяние, то она заблуждается... не пойдём!

Отхлебнув вина, он спрашивал у Жомини:

— А кто у нас посланником-то в Ганновере?

— Там уже давно сидит Георг-Герберт барон Гротгауз, граф Мюнстерцу-Люденбург.

— Ишь какой важный боярин... исконный «русак». Не попросить ли нам его оттуда подобру-поздорову?

Горчаков чистил штаты министерства, удаляя с постов за границей политических наемников, видевших в России один «Певческий мост» как источник чинов и наград, и которые, говоря об Австрии, полагали, что «старый друг — самый верный». Горчаков, напротив, открыто проклинал традиции интимных связей Священного союза монархов и где-то в глубине души, несомненно, даже благословлял подлость венского кабинета, развязавшего ему руки в крупной политической игре...

Недавно парходом доставили из Европы багаж министра — массу милых сердцу вещей, хрусталь и бронзу, картины и мебель, сервизы и скульптуру, которые сопровождали его в частых перемещениях с поста на пост по столицам королевств, империй и герцогств. Наконец вещи разобраны на казенной квартире в Петербурге, и Горчаков невольно захандрил, разбирая красочные акварели, сделанные покойной женою. Боже, как она любила рисовать интерьеры комнат, где они жили в счастье. Вот и его кабинет на вилле Торреджиани во Флоренции — свежий ветер вздувает занавеси, на широкой оттоманке возлежит красивая женщина в турецком тюрбане, а за столом сидит он сам. Читает газету... Увы, ничто невозвратимо!

Его навестили пасынки, графы Мусины-Пушкины, военные люди под тридцать лет, звенящие саблями и шпорами, строгие и внимательные. Они привели с собою и друга детства, графа Льва Толстого, доводившегося Горчакову троюродным племянником. Александр Михайлович завел с Левушкой речь о его «Севастопольских рассказах», подчеркнуто именуя их «очерками»... В ответ на критику автор отвечал:

— Но мой «Севастополь в мае» прошел тройную цензуру, из восьмидесяти тысяч печатных знаков цензура выкинула тридцать тысяч. Как же при таком насилии писать правду?

— Мой юный друг, — ответил Горчаков, — скоро все изменится, и на эту тему я тоже буду говорить с государем...

Предстояло говорить и со всей Европой! Утром он принял венского посла Эстергази, который решил учинить ему выговор.

— Сорок лет, — сказал посол, — Австрия и Россия дружно отстаивали консервативные начала дружбы монархов, а теперь вы требуете проведения народного плебисцита в Дунайских княжествах, чтобы валахи и молдаване сами решили свою судьбу. В этом сиятельная Вена усматривает (не без оснований!) призыв к национальной революции... О какой Румынии вы хлопчете? Консерватизм русской внутренней политики должен неизменно сочетаться с консерватизмом внешней политики.

— Но я, — отвечал Горчаков, — не возглавляю министерство дел внутренних, определяющее консерватизм внутри России, я возглавляю министерство дел иностранных, которое с консерватизмом прежних монархических принципов отныне порвало... Посмотрите на мои руки, посол! Они ничем не связаны. Война разорвала все прежние трактаты. Теперь я вправе избирать тех союзников, с которыми России жить выгоднее...

Казалось, Нессельроде прав: России сказать нечего, Россия унижена, Россия отодвинута, Россия бессловесна...

Был обычный осенний день, когда в Петербурге застучал телеграф, рассылая по столицам мира циркуляр министра, обращенный вроде бы к русским послам за рубежом, на самом же деле адресованный ко вниманию всей Европы.

Темные небеса Востока озарились молниями...

— Обстоятельства вернули нам полную свободу действий, — провозгласил Горчаков честно. Далее он предупредил мир, что отныне Россия будет строить свою политику исключительно в собственных интересах, и она, убогая и обильная, великая и гордая, более не станет насиловать свои национальные принципы ради исполнения устарелых и отживших обязательств, навязанных русской дипломатии прежними комбинаторами.

Главная задача — развитие внутренних сил страны.

Но это не значит, что Россия замыкается в себе.

Напротив, она готова активно участвовать в политической жизни всего мира, и в первую очередь — в Европе...

Телеграфы отстукивали решающий аккорд Горчакова:

Говорят, что Россия сердится.

Нет, Россия не сердится.

Россия сосредоточивается.

Последнюю фразу с французского языка в столицах мира переводили по-разному, а зачастую она звучала с угрозой:

— Россия усиливается...*

Сказав то, что лежало на сердце, он отъехал в деревушку Лямоново, что захилилась среди псковских лесов и кочкарников, забытая и печальная... Ах, боже мой! Вспомнилось, как в пору младости, проездом из Европы, заглянул он в Лямоново, откуда недалече и Михайловское. Горчаков тогда лежал в простуде, Пушкин приехал к нему, они обнялись... Целый день вместе! Он как раз писал «Го-

* Для читателей, знакомых с французским языком, привожу эти фразы Горчакова дословно: «La Russie boude, dit on. La Russie ne boude pas. La Russie se recueille».

дунова», читал отрывки. Как давно это было... В памяти остались драгоценные строки:

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе! — фортуны блеск холодной
Не изменил души твоей свободной,
Всё тот же ты — для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой:
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Проселочной дорогой, мимо старых ветел и мужицких гумен, из ворот которых вылетала, кружась, отсеянная солома, ехал Горчаков в деревню Лямоново — возвращался в юность... Поля, поля, поля! Бричку дергало на ухабах, бревенчатые мосты забавно тараторили под колесами. Жарко было. Но уже проплывали в воздухе осенние паутины-седины, и, подоткнув подолы, глядели из-под руки русские жницы на пылящую вдоль проселка барскую бричку...

Русь! О Русь, Русь... многострадальная!
Кормилица, поилица и воительница наша...
На косогорах белели тихие прозрачные церквушки.
В скорбной желтизне шелестели упругие овсы.
Всплывало уже не пушкинское — тютчевское:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взгляд иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной...

Слева — деревня Мордюковка, направо повернешь — село Зыкино, а ему ехать прямо. Вот и завечерело... Встретилась босоногая крестьянка — красивая баба. Стояла она, опустив вдоль чресел могучие руки. Опиралась в землю крепкими загорелыми ногами — нерушима, как монумент, поставленный здесь на века. Рубашка была изодрана, а из-под дражья просвечивала нежная кожа большой и обильной груди. Крестьянка повернула лицо к Горчакову, сказала причитающе — не ему, а себе:

— Опять загулял мой родненький... Был у меня горшочек с цветочками синенькими. Намедни купили на ярманке в Вольшеве, так

и горшочек об печку он чебурахнул. Меня-то саму побил да из дому выгнал... Кто ж скотинку-то доить станет?

Вдали уже показалась обветренная солома крыш Лямонова; князь поймал себя на мысли, что эта русская баба на распутье, сильная и обиженная, чем-то напомнила ему сегодняшнее положение России в европейской политике.

— Тпррру! — сказал кучер. — Вот и приехали...

Горчаков не сразу выбрался из брички. Еще думал.

...Парижский трактат надобно денонсировать.

«Как это сделать? Без крови? Без выстрелов?»

Вечером он поужинал простоквашей с кислым деревенским хлебом, спал на душистом сене, слушая, как в старом доме поют старые сверчки. За лесом лежало Михайловское, но там уже никто не живет, и никто не приедет к нему, и никто его не обнимет. Горчакову хотелось немножко поплакать...

И снова дорога... Поезд имел недолгую остановку во Франкфурте-на-Майне, которой и воспользовался прусский посол при Германском бундестаге. Горчаков дружески принял его в своем роскошном вагоне. Бисмарк торопливо спросил:

— Насколько справедливы слухи, что ваш император должен встретиться с императором Франции?

— Я допускаю, что это возможно.

Бисмарк в нетерпении куснул набалдашник трости:

— Но император Франц-Иосиф, желая замазать щели в своем трухлявом корабле, тоже не прочь бы повидать царя.

— Я не допускаю, что это возможно.

Бисмарк апеллировал к чувствам старого товарищества между ними по совместной службе в австрийском «лисятнике» и почти слезно умолял князя высказаться откровенно (без дипломатии). Горчаков несколько свысока продекларировал Бисмарку, что у него нет солидарности с прежним консерватизмом николаевского царствования, а разрушенный Священный союз можно воссоздать при условии, что место Австрии в коалиции теперь займет Франция.

— И, конечно, ваша Пруссия, дабы заодно с нами указать предел австрийскому честолюбию не только в делах восточных, но и в той срединной Европе, где слышна немецкая речь...

Брякнул гонг, поезд тихо тронулся.

— По вашим глазам, — сказал Горчаков, — я вижу, что вы не доверились мне. Жаль: ведь я был искренен...

Отворив двери вагона, Бисмарк спрыгнул на ходу.

Поезд рассекал Германию, которой не существовало.

Это роковое слово — Польша!

По старой привычке, унаследованной от нищенской юности, Наполеон III не выбрасывал рваные носки, а отдавал их в штопку. Красноречивым императора назвать трудно, зато его хладнокровию можно было позавидовать. Принцесса Матильда (разведенная жена Анатолия Демидова) рассказывала Флоберу:

— На днях лакей выпустил ему за шиворот полный сифон сельтерской, а он без малейшего признака недовольства протянул ему пустой стакан с другой стороны. Пшик — и выпил. Вот уж если бы я стала его женой, так обязательно разломала ему голову, только бы узнать, что в ней находится!

Наполеон III однажды с оттенком горечи заявил:

— Меня среди монархов Европы именуют парвеню. Ну что ж! Я способен гордиться даже званием выскочки...

«Выскочка» начал жизнь офицером в швейцарской артиллерии, а к престолу Франции подкрадывался со стороны... Рима! Он был связан с карбонариями, боровшимися за освобождение Италии от австрийского и папского гнета. Экспедиция на Рим была разгромлена, Наполеон III с английским паспортом в кармане бежал во Францию, но она его изгнала. Начались годы скитаний и сочинения брошюр, в которых будущий император рисовал себя убежденным республиканцем. Надев треуголку знаменитого дяди, он устроил заговор в Страсбурге, потерпел фиаско и уплыл за океан. Великолепный иллюзионист-фокусник, он, если верить слухам, мечтал о блестящей цирковой карьере. В 1840 году прах Наполеона I с острова Святой Елены перевезли в Париж, что дало повод для развития бонапартизма в стране. Наполеон III высадился с друзьями в Булони, обвиняя Орлеанов в деспотии, и где бы он ни появлялся, над его головою всегда парил выдрессированный орел, который в самые патетические моменты, распластав крылья, с клекотом садился на треуголку своего хозяина. Неисправимого заговорщика пожизненно заточили в темницу, а орел улетел. В крепости Наполеон III постигал экономику, изучал историю, вступил в переписку с Луи Бланки, нашел друзей среди социалистов. Шла большая игра за власть, и он не скупился на авансы: «Рабочий класс не владеет ничем; его нужно сделать собственником!» Через шесть лет во время прогулки арестант в блузе пролетария подхватил на плечо доску и под видом рабочего спокойно вышел из тюрьмы на свободу... Беглец скрывался в Англии, пока революция 1848 года не избрала его депутатом Учредительного собрания. С трибуны он заявил, что, избранник воли народа, он отказывается от претензий на престол. Всеобщим голосованием его провели в президенты Французской республики, а в ночь на 2 декабря 1851 года — это

дата Аустерлица! — Наполеон совершил переворот. Париж вышел на баррикады, была страшная бойня, в канавах навалом лежали убитые — так он стал императором...

Для полного счастья не хватало императрицы! Но «выскачка» не мог найти невесты ни в доме Гогенцоллернов, ни в шведской династии Ваза — всюду отказывали. Тогда-то он и женился на испанке Евгении Монтихо, сам же признав, что это «брак с досады». Сейчас эта красавица плыла в венецианской гондоле, которую тихо покачивали воды прудов Фонтенбло, а на веслах сидел... Кто бы вы думали? Ну, конечно же, карбонарий-итальянец. Точнее: посол Сардинского королевства, граф Коста Нигра (наполовину Дон Жуан, наполовину Макиавелли), который прекрасно поставленным голосом пел императрице Франции любовную серенату... Гондола мягко ткнулась в зеленую травку. Со смехом подобрав воланы платья, Монтихо чмокнула любовника в лоб и спрыгнула на берег. Здесь, на берегу, ей подал руку пожилой человек в черном сюртуке, делавшем его похожим на сурового лютеранского пастора. Это был русский посол во Франции — граф Павел Дмитриевич Киселев.

На пустынной тропинке к павильону императрица сказала ему:

— С вами, посол, я всегда искренна, и я не думаю, чтобы сейчас моему супругу была необходима встреча с вашим царем... Я понимаю, чего домогается ваш Горчаков! На одном краю Европы — богатая и славная Франция, у которой множество друзей, а далеко-далеко, где-то за Германией и Польшей, нищая и пристыженная Россия, у которой друзей нет.

«Какая подлость!» — подумал Киселев и, склонив седую голову, благоговейно приложился к руке интриганки.

— Увы, — произнес он, — ваш высокий супруг уже сделал приглашение России к политическому танцу...

Предстоящее свидание было замаскировано от взоров Европы желанием царской семьи навестить лечебницы Киссингена, ибо императрица Мария после очередных родов нуждалась в укреплении здоровья. Конечно, встречам глав двух государств всегда предстоит долгая и кропотливая работа дипломатии, которую незаметно для других и проделал князь Горчаков.

Летом 1857 года от причалов Кронштадта отошел пароход «Грозный» с военной командой и придворной прислугой. Романовы были плохими мореплавателями, и потому в их каютах матрасы заранее были сложены на полу, на них царственная семья в лежку и валялась до самого датского Кия. Отсюда путь лежал на германские курорты, где царскую семью часто навещали сородичи — гессенские, веймарские, дармштадтские, баден-баденские и прочие. Александру II нанес

визит король Вюртембергский, взявший на себя роль примирителя Романовых с Габсбургами; король силился доказать:

— То недоразумение, какое возникло между Веною и Петербургом во время Крымской войны, легко урегулировать и снова сплотиться против бонапартизма и революций.

При этом король просительню, ища поддержки, взирал на Горчакова, которого хорошо знал, как бывшего посла в своей столице — в Штутгарте. Но князь молча указал рукою на венценосного повелителя, и Александр II сказал, что о прежнем сближении Австрии с Россией после всего, что случилось, и речи быть не может... Дымя папиросой, царь заключил:

— Россия еще со времен Петра так много сделала доброго для Австрии, что в период Крымской войны все русские имели право воскликнуть: «Как? И ты, Брут?..»

Горчакова серьезно обеспокоило срочное отплытие Наполеона III на остров Уайт, где в замке Осборн состоялось его свидание с британской королевой Викторией. Переговоры проходили в условиях секретности, на какую способны только англичане. Осборн был полон лондонскими сыщиками. Дело дошло до того, что они скрутили руки даже французскому послу графу Персиньи, который возымел скромное желание помочиться возле забора, наивно думая, что его никто не видит. Но Горчакову все же удалось выяснить, что, умасливая Наполеона III лестью, королева Виктория не дала императору Франции никаких шансов на «исправление карты Европы».

Горчаков со смехом сказал барону Жомини:

— Для нас свидание в Осборне уже не загадка. Но зато теперь в Осборне поломают голову над загадкой Штутгарта, когда здесь появится Наполеон Третий с обворожительной женою...

Удар настиг министра со стороны для него неожиданной. Жена Александра II вдруг почему-то сочла неудобным для себя снизить до встречи с Евгенией, девическое прошлое которой было далеко не безупречно. Свои высокомерные взгляды она изложила в письменном виде, а почтовый шпионаж Европы работал превосходно, и русский посол Киселев был ошарашен, когда императрица Франции сунула ему к носу это послание.

— Не слишком ли жестоко? — спросила разгневанная испанка. — Я не знаю, от какого бродяги происходят Гессенские, но мой-то предок сражался с маврами бок о бок со святым Альфонсом Кастильским... это уж точно! После такого письма я и сама не желаю видеть вашу многолетнюю императрицу.

Киселев по телеграфу предупредил Горчакова.

— А чтоб их всех... бабье! — выругался князь.

В сентябре Наполеон III с графом Валевским были встречены на вокзале Штутгарта королем Вюртембергским, который и отвез их в свой замок; туда же (в скверном настроении, проклиная поступок мешанки-жены) пешком отправился и Александр II. Двери с двух сторон большого зала были отворены одновременно — два монарха появились в них разом, быстро сходясь посреди громадного пространства, гулко резонировавшего при каждом их шаге. Наполеон III был в белом мундире, царь предпочел остаться в цивильном сюртуке, который он украсил розой, купленной только что на улице.

— Империя — это мир! — провозгласил Наполеон.

Царь отвечал ему уклончиво:

— Я думаю, нам стоит уединиться...

В пустынном зале остались Горчаков с Валевским.

— Присядем, — сказал князь. — Не знаю, как вы, любезный граф, а я едва таскаю ноги. Мы с вами отдохнем. Сейчас такое время, когда идеи рождаются быстрее кроликов. Но идеи тут же превращаются в акции, а великие проекты становятся шарлатанством... Наши отцы и деды были счастливее нас!

Понятливые лакеи затворили двери.

Выказывая любезность, Наполеон III начал так:

— Глубоко сожалею о ваших потерях в Севастополе.

— В основном, — отвечал царь, — мы страдали от ваших нарезных ружей Минье, стрелявших не круглыми, как у нас, а коническими пулями, летевшими на большое расстояние.

— У нас не было целей продолжать эту бессмыслицу, тем более что Крым для парижан казался дальше Кайены...

Александр II этот разговор был неприятен, но он умолчал, что в Крыму сражалась лишь четверть русской армии, а три ее четверти дымили бивуаками на западных рубежах империи, готовые отбить нападение Австрии, а может быть, Швеции и даже... Пруссии! Австрия, как и следовало ожидать, костью торчала в горле французского императора.

— Ее надобно устранить из Италии! — Он завел речь на тему, которая в Осборне была отвергнута Викторией. — Франция должна вернуть естественные границы по Рейну и Альпам. Согласитесь, что Рейн для французов — то же, что Босфор для русских... Мудрое равновесие Европы разрушено Венским конгрессом. Прошло уже столько лет! Боже мой, сколько лет...

Царь намекнул: Россия согласна на забвение условий Венского конгресса 1815 года, если Франция поможет России аннулировать Парижский трактат 1856 года.

— Я и сам считаю его лишь временной комбинацией, как передышку мирного времени, чтобы снова поставить вопрос о войне... Вернемся к страданиям Италии!

Наполеон III увлекал Александра II на открытую схватку с Австрией ради освобождения итальянцев и создания единого государства на Апеннинском полуострове. Но в памяти русского царя были еще слишком свежи воспоминания восьмилетней давности, когда его отец взялся своими руками разгрести чужой жар в Венгрии, а кончилось это тем, что его отблагодарили войной с коалицией. Александр II сухо заметил:

— Сейчас важнее контакты России с Францией...

Горчаков привез проект договора о русско-французской дружбе, который и ложился в основу штутгартского свидания. Но императоры сходились медленно. Поначалу царь показался Наполеону III человеком хмурым и тугодумным. Постепенно он оживился, стал откровеннее и сердечнее. Этим сразу же и решил воспользоваться император Франции.

— Все прекрасно, — сказал он, — но между нашими странами затесался шекотливый вопрос, тревожащий не одного меня, но и всю европейскую дипломатию. Франция имеет нравственные обязательства не только к страданиям Италии, но и к страданиям угнетенной вами Польши...

Александр II с трудом сдержался перед Наполеоном:

— Любое вмешательство извне во внутренние дела России может испортить любые, самые наилучшие намерения...

Но перед свитой он уже не стал себя сдерживать:

— Со мной осмелились говорить о Польше! Вы подумайте, господа, он осмелился говорить со мной о Польше...

При этом подбородок царя дрожал. Горчаков, нагнувшись к уху барона Жомини, шепнул ему:

— Неужели вся наша работа — псам под хвост?

Тут некстати к нему подошел Бисмарк, срочно прибывший из Франкфурта, дабы пронюхать, чем благоухает в Штутгарте, и почтительно просил князя представить его русскому самодержцу. Александр II скользнул по Бисмарку рассеянным взглядом, еще продолжая высказывать бурное негодование:

— О чем бы говорить, но только не о Польше!

Бисмарк все волновался — не было ли разговора о Шлезвиг-Гольштейне? Горчаков обидел Бисмарка, с презрением — нескрываемым! — отозвавшись об этой чисто немецкой проблеме:

— Послушайте, мой друг, речь идет о сильной головной боли, а вы тревожитесь о сохранении прически...

Взяв себя в руки, Александр Михайлович сохранил хладнокровие. Валевскому он предложил вкрадчиво:

— Основа для переговоров сохранилась в целости. Думаю, мы с вами встретились не для того, чтобы изображать бездушные декорации, на фоне которых столь выразительно играют наши коронованные дилетанты. Давайте продолжим...

После того что произошло, Горчаков не мог не заговорить о Польше — тем более с Валевским (поляком же!):

— Мы неповинны в страданиях польской нации. Почему ваш император апеллирует именно к нам, русским? Россия никогда не жаждала раздела Речи Посполитой, но Екатерина Великая была вынуждена пойти на это, когда увидела, что Польшу стали раздирать по кускам — то Австрия, то Пруссия...

Валевский молчал. Горчаков вздохнул:

— Австрия и Пруссия поляков германизируют, жестоко преследуя их нравы, язык и обычаи. А в русской Польше все осталось «пше прошем», мы не собираемся делать из поляков русских... Вы же сами, граф, провели юность в Варшаве! И вы знаете: всюду слышна польская речь, вечером открываются польские театры, звучит польская музыка, вы читаете газеты на польском языке... Нет, мы не стеснили поляков. Я даже полагаю, что мы их спасли от неизбежной германизации.

Разрядив гнетущую обстановку, он сказал:

— Пусть наши цесари сердятся и дальше. А мы ведь политики, и Франции с Россией еще предстоит решить немало общеевропейских задач... Если вы станете воевать с Австрией, Россия сохранит позицию, выгодную не для Австрии, а для Франции. Сразу положим это на весы! На другую чашу весов вы кладете свою поддержку России в делах восточных. Говоря очень много об итальянцах, не станем забывать о миллионах славян, попавших под двойной пресс угнетения — мусульманской Турции и не в меру благочестивой христианской Вены...

Лишь под утро Горчаков вернулся к себе, где его поджидал неутомимый друг — Жомини. Князь сразу переменял сорочку.

— Мокрая, — сказал. — Пришлось попотеть. Налейте мне стаканчик мозельского. Сейчас это не повредит.

Жомини спросил о конечных результатах.

— Основа для союза с Францией сохранилась, но после рокового слова «Польша» проект договора не подписан...

— Чего же следует теперь ожидать?

— Войны, — ответил Горчаков и пошел спать.

По дороге на родину, задержавшись в Веймаре, царь все же согласился на встречу с австрийским императором. Словно в извинение себе, он сказал Горчакову:

— Я ничего не простил Австрии, и в этом смысле вы можете быть за меня спокойны. Кесарь будет выклянчивать у России прощения, но я Габсбургам не верю... ну их!

Франц-Иосиф приехал за милостью, прося о ней глазами и изогнутой спиной, как собака просит мозговой кости. Горчаков хотел присутствовать при встрече, но царь сказал ему:

— Зачем это вам? Не доставит удовольствия...

Франц-Иосиф и сам понял, что главное препятствие в его планах не царь, а Горчаков, и, желая задобрить министра, он наградил его орденом Св. Стефана. В таких случаях положено отдариваться, но Горчаков предупредил царя, чтобы тот не вздумал награждать русским орденом канцлера Буоля.

— Вы меня ставите в неловкое положение!

— Неловкое положение — обычное для политика...

Издали наблюдая за монархами, гулявшими под ручку среди цветников, министр тогда же зрело решил, что Австрия будет непременно отшмена — независимо от того, о чем беседуют сейчас эти два европейских фараона... Покидая Веймар, князь сделал политический жест — орден Св. Стефана он забыл на подоконнике ванной комнаты. Газеты сообщили Европе, что можно забыть часы или кошелек, но забыть высший орден Австрийской империи... тут, простите, что-то не так!

Нещадное курение в бундестаге

Тиргартен еще не был тем знаменитым парком, каким стал для берлинцев позже: по ночам тут воры раздевали прохожих, на рассветах дуэлировали оскорбленные, в полдень сходились с детьми няньки и кормилицы, чтобы завести роман с солдатами из ближайшей казармы. Однажды утром в Тиргартене громыхнул выстрел... Пастор склонился над убитым дуэлянтом:

— Боже, что мы скажем теперь королю?

Так погиб барон Гинкельдей, начальник тайной полиции: он погиб из-за женщины, хотя король накануне запретил ему дуэлировать. За гробом своего верного альгвазила шел сам Фридрих-Вильгельм IV, неся в руках черно-белое знамя, а процессию замыкал Штибер... По возвращении в замок король, громко плача, обнял адъютанта — барона Мюнхгаузена: «Мой бедный Гинкельдей уже пирует в Валгалле,

кто может заменить мне его?» Пройдя в спальню, король «сел перед столиком, на котором стояли графины с водкой и кюммелем, напитоком каменщиков... начал пить быстро, большими глотками, приставив горлышко к губам. Два лакея стояли по сторонам почтительно и бесстрастно, давно привыкшие к такому зрелищу». В день похорон полицай-президента Фридрих-Вильгельм IV начал пороть чепуху. Врачи давали ему лекарство, которое он запивал графином водки. При этом король рыдал:

— Какой я король? Я манекен, похожий на него...

Власть над Пруссией хотела взять его жена, но вмешался братец Вильгельм, ставший регентом. Сумасшествие короля и регентство над ним брата от народа Пруссии скрывалось. А сыщика Штибера за многие преступления отдали под суд! Сам адвокат, он построил свою защиту умно: я, мол, исполнял только приказы его величества. Справиться же у короля — так это или не так, было невозможно. Сыщика выкинули со службы без права на пенсию. Бедствуя, он пригнулся в русском посольстве, исполняя мелкие шпионские поручения за аккордную плату. По вечерам, вернувшись домой, зябко дрожащий Штибер снимал со стены портрет сумасшедшего короля, отодвигал потаенную щеколду — и сразу механически отворялась филенка шкафа, а там, в глубине затхлой ниши, хранилась секретная картотека на 40 000 добрых пруссаков... Это — его будущее, будущее всей Пруссии, судьба всей Германии! Здесь была и карточка на Бисмарка, восьмой год сидевшего послом во Франкфурте; Штибер охотно вписал в досье тайную резолюцию из анналов берлинских архивов: Бисмарк — красный реакционер; от него несет кровью; к его услугам мы обратимся впоследствии.

Было так: если в Берлине министры плохо слушались короля, он вызывал из Франкфурта Бисмарка, словно желая сказать: «Вот, дети! Прибежал серый волк из темного леса, он вас может скушать», — и появление Бисмарка делало министров покорными. Но это не значило, что король хотел бы иметь Бисмарка своим министром. В роду Гогенцоллернов хранилась древняя заповедь: «Никогда не давать ходу этим дерзким людям с Эльбы — Бисмаркам!»

Во франкфуртском дворце князей Турн-и-Таксисов, где собирались послы отжившего феодального мира, Бисмарк олицетворял старую Пруссию, заветы юнкерства и бранденбургскую спесь. Коллеги видели в нем лишь заядлого абсолютиста и грубого выпивоху с замашками студента-эпикурейца. Они ошибались? Бисмарк изучал в бундестаге хитросплетения венской политики, а сам Германский союз неуважительно именовал «лисятником, где уже нечем дышать от вони...».

Австрийский посол граф Рехберг спрашивал:

— Если вам нечем дышать, господин Бисмарк, зачем же вы с за-
видным усердием посещаете заседания бундестага?

— Просто я еще не изучил все ваши норы...

Прусский посол во Франкфурте снимал хорошенький особняк в девять окон, смотрящих на Ландштрассе с фасада, обвитого вечно зеленеющим плющом. Здесь он жил с семьей и посольским штатом. В глубине двора был тенистый садик, а в саду стояла беседка вычурной мавританской формы. Всю жизнь Бисмарк обожал садовые беседки, и сегодня, наполнив кувшины пивом и прихватив с кухни тарелку с чибисовыми яйцами, он принимал у себя дорогого друга своей бесшабашной юности...

— Садись, Александр, я так рад тебя видеть!

Гость был издалека — из России, друг его студенческих дней, звали его Александром Андреевичем Кейзерлингом. Это был ученый-палеонтолог, видная фигура в русском научном мире. Отхлебнув пива, Кейзерлинг рассказывал Бисмарку о своих приключениях в устье Печоры; как он чуть не погиб в безлюдье Тиманской тундры; вдохновенно поведал о поисках каменного угля в донецких степях Приазовья, о романтических кочевьях в киргизских улусах...

Бисмарк, естественно, перевел разговор на политику:

— А как у вас относятся к Австрии?

— Россия ее не любит, — отвечал ученый.

— Пруссии в спорах с Веною надо быть жестче.

— А не приведет ли эта жесткость к Иене?

(Иена — страшное поражение Пруссии в 1806 году.)

Бисмарк обколупал пестрое чибисово яичко.

— Но почему же сразу к Иене? — спросил он. — Моя позиция может привести к битве под Лейпцигом! Наконец, доставить Пруссии и лавры Ватерлоо...

От пива Бисмарк краснел — ученый друг его бледнел.

— Отто, ты уверен в будущей войне с Австрией?

— Пруссия обязательно будет с ней драться.

— Но о таких вещах открыто не говорят.

— А я говорю... Австрия — это зловонный труп, который разлагается посреди дороги немцев к объединению. Ты посмотри, приятель: после каждого сильного дождя у многих немцев все их отечество прилипает к подошве башмака...

Он окликнул своего лакея Энгеля, велел подать еще пива да заодно принести в беседку офицерский мундир ландвера, в который и облачился, явно красясь.

— Ты не смейся надо мной, Александр, — сказал Бисмарк, — мундир для пруссака все равно что корсет для парижанки. — Опыанев,

он расчувствовался: — Берлин не любит меня! Мне уже за сорок лет, а я еще таскаю чин поручика. — В уголках глаз Бисмарка блеснули искренние слезы обиды. — Черт их всех раздери, когда же мне дадут эполеты ротмистра?

.....
История личности — это история ее предков...

Бисмарки происходят от буйного портняжки из Штендаля, бывшего таким задирой, что его даже отлучили от церкви (так и умер без покаяния). За 400 лет существования этого рода только один из Бисмарков не взял в руки меча; он основал замок Шёнхаузен, после чего старшие сыновья в роде Бисмарков получали к своей фамилии приставку «Шёнхаузен». Из глубины веков дошли до нас портреты Бисмарков, и разглядывать их весьма поучительно. Мужчины, как правило, забронированы латами, в руках дымятся мушкеты, лица бульдожьи, улыбки уст каверзны. А женщины некрасивы, без жеманства и кокетства; на портретах они замерли по стойке «смирно», словно сознавая свое абсолютное подчинение вооруженным до зубов мужьям.

Наш герой унаследовал от предков железное здоровье, презрение ко всяким иллюзиям, умение опираться на грубую животную силу и феноменальную волю в достижении желаемого. Один лишь вид препятствия, возникшего на пути, приводил Бисмарка в первобытную ярость. Бисмарк вобрал в себя и приметы «юнкерства» — любовь к охоте, к обильной еде и выпивке. Церковь не соблазняла его. «Что делать? — не раз говорил он. — Смолоду люблю длинные сосиски и коротенькие проповеди...»

Мать его была из профессорской семьи Менкенов и не желала видеть сына военным. Бисмарк учился сначала в Геттингене, потом в Берлине. «Она, — говорил он о матери, — хочет сделать из меня умного Менкена, но я решил остаться неглупым Бисмарком!» По ночам он шатался по улицам, распугивая прохожих, слонялся по трактирам. В корпорации буршей славился умением открывать бутылки выстрелами из пистолета. Науками он себя не изнурял, зато за три учебных семестра имел 27 дуэлей на рапирах. Глубокий шрам над верхней губой, обычно белый, становился багровым — в гнев... Но бурш не был глуп. Кейзерлинг, учившийся вместе с ним, знал, что Бисмарк замыкается на целые недели в аскетическом одиночестве, самоучкой постигая прошлое мира. «Изучая минувшее, — мечтал он, — можно предугадать будущее. История поможет мне распознать границы возможного: политик обязан знать, где кончается тропинка, ведущая его в пропасть...»

Из чиновной службы Бисмарк вынес ненависть к прусской бюрократии. Он не верил в ее способности и возненавидел дотошную

аккуратность в чистописании казенных бумаг, которые никогда и никому не нужны. Бисмарк рассуждал так:

— Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живет населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали...

Бисмарк и сам убедился, что с его brutальным характером начальству не угодишь, а потому, плюнув на чиновную карьеру, зажил померанским помещиком. Слава о его буйных похождениях облетела всю Померанию. Бисмарк получил прозвище «бешеный юнкер»: он будил гостей выстрелами из пушки, ударами плети загонял в дамскую спальню диких визжащих лисиц. В результате ни одна девушка не пожелала стать его невестой. После смерти отца в 1845 году Бисмарк водворился в родовом замке Шёнхаузен. Знакомая ему семья фон Путкаммеров особенно невзлюбила Бисмарка в роли жениха. А так как любое сопротивление только усиливало энергию Бисмарка, то он своего добился — фрейлейн Путкаммер стала его женою. Эта очень некрасивая и сухопарая женщина была верным спутником его долгой жизни. Бисмарк не любил, если халат и туфли подавал лакей — пусть подает жена! «А что ей еще делать?» — рычал он... В ту пору он был здоровым мужчиной, неутомимым и бодрым, до бесцеремонности откровенным...

Революция 1848 года стала для него рубежом, за которым он разглядел мир, ненавидимый им! В юнкере проснулся дух предков, которые в лесных чащобах, услышав цокот чьих-то копыт, сразу хватались за мечи, готовые рубиться насмерть. Бисмарк поднял крестьян на новую Вандею, чтобы раздавить «большие города», как источники революций. Он на коленях умолял короля быть тверже кремня, не щадить ядер и пороху, а принца Вильгельма (нынешнего регента) довел до истерики чтением каких-то дурацких стихов, в которых оплакивалось уроненное в лужу знамя Гогенцоллернов. Кровожадные взгляды Бисмарка напугали берлинский двор. «Бешеного юнкера» стали бояться, но зато его все запомнили!

Революция тоже стремилась к объединению всех немцев под крышею единой Германии, но Бисмарк стоял по другую сторону баррикад: ему хотелось создать Германию не снизу, а сверху — не от народа, а от королевской власти. Из революции он вынес убеждение в слабости Гогенцоллернов, он презирал их тряские, как желе, душонки. В прусском ландтаге он занял крайнюю правую скамью. При этом еще издевался над теми, кто сидел левее его. Они тоже глумились над ним, но Бисмарк спокойно покрывал шум парламента гремящим басом:

— Нечленораздельные звуки — это не аргументы!

Да, Бисмарк никогда не скрывал, что реакция, как и революция, тоже способна воздвигать баррикады поперек улиц. Бисмарк — зверь, опасный для всех. Потому-то его и засунули во Франкфурт, как за-тычку в пустую прогнившую бочку.

Представители германских княжеств в «лисятнике» с рабской покорностью выслушивали венские окрики. Никто не осмеливался возражать графу Рехбергу, на лице коего запечатлелся сиятельный отблеск бывлой политики Кауница и Меттерниха.

Во время дебатов курил один лишь Рехберг!

Остальные нюхали, чем пахнут его сигары...

Наконец Бисмарку это надоело. Он раскрыл кожаный портсигар-складень, в карманах которого лежали отдельно две сигары и два гусиных пера. Прусский посол не спеша подошел к креслу председателя бундестага, сказал:

— Желаю от вас спичку, чтобы раскурить сигару...

Несовершенство тогдашних спичек заставило Рехберга немало повозиться, прежде чем сигара в руке Бисмарка не обдала его клубом противного дыма.

— Вот теперь хорошо, — сказал Бисмарк.

При гробовом молчании бундестага, пораженного строптивостью Пруссии, курили два человека — Рехберг и Бисмарк. Робкие послы немецких княжеств дождались вечера и разбежались по квартирам, дабы срочно сообщить сюзеренам о дерзком курении Пруссии. В частности, они спрашивали — как быть в этом случае? Можно ли им тоже курить в присутствии высокого посла Вены? Но княжеская Германия безмолвствовала...

Бисмарк спросил у посла Баварии, бывшей (после Пруссии) самым крупным государством в немецком мире:

— Вы получили ответ от своего правительства?

— Увы, — отвечал тот, — Мюнхен молчит.

— А без Мюнхена сами курить не можете?

— Но... что скажет Вена?

Бисмарк пожертвовал Баварии свою сигару.

— Решение этого вопроса, — сказал он послу, — вам предстоит взять на свою личную ответственность...

Вслед за Баварией с опаской задымили Саксония с Вюртембергом, даже робкий Ганновер разжег желтую испанскую пахитосу, только Гессен-Дармштадт не мог преодолеть в себе природного отвращения к табаку. Бисмарк шепнул гессенцу:

— Да суньте хотя бы трубку в рот и терзайте ее в зубах, чтобы побесить этого венского зазнайку...

Граф Рехберг, обкуренный со всех сторон германскими вассалами, приблизился к Бисмарку со словами:

— Но ведь это... революция! Господин прусский посол, за оскорбление моей имперской особы я делаю вам... вызов!

Бисмарк только того и желал. Раздалось рычание:

— Едем в Бокенгеймскую рощу... Эй, шпаги нам!

Рехберг ожидал от Бисмарка только извинений:

— Я не могу дуэлировать без разрешения Вены.

— Вы бесчестны, как и ваша занюханная, паршивая Вена! Господа, будьте свидетелями... составим протокол!

Их растащили в стороны, как уличных драчунов.

Бисмарк прямо в лицо Рехбергу выпалил:

— Вы понюхали лишь табачного дыма, но придет время, и я заставлю Вену глотать пороховой дым артиллерии...

Французский посланник во Франкфурте, дружески относившийся к Бисмарку, застал его в беседе на Ландштрассе.

— Коллега, — сказал он, — из вас никогда не получится дипломата, ибо вы крайне неосторожны в выборе слов.

Бисмарк в ответ оглушительно захохотал:

— А не выпить ли нам по этому поводу?..

Рехберг нажаловался в Вену, возникла кляузная переписка с Берлином, и принц-регент сказал генералу Роону:

— Не мешало бы для Бисмарка найти такое прохладное местечко, где бы он мог остудить слишком горячую голову. Наверное, петербургские морозы пойдут ему на пользу...

Осложнения со взрывами

Горчаков навестил Алексея Федоровича Орлова, который после Парижского конгресса получил титул князя и заседал в комиссии по освобождению крестьян от крепостной зависимости, относясь к реформам крайне враждебно. В разговоре с ним, между прочим, Александр Михайлович спросил:

— А что вы можете сказать о графе Кавуре?

Кавур — премьер-министр Пьемонта, иначе Сардинского королевства; он действовал путем интриг, почти ювелирных, ловко используя в своих целях и патриотизм гарибальдийцев.

— Меня так затеребили в Париже, — отвечал Орлов, — что было не до Кавура. Когда страсти конгресса поутихли, я сам подошел к нему и сказал следующее: «Граф, пусть это останется лишь историческим анекдотом, что ваш Пьемонт, не в силах изгнать Италию от австрийцев, уже позарился на захват нашего русского Крыма...»

— Что он вам ответил, этот делец?

— Кавур, как всегда, потирал руки, говоря, что они люди бедные, а из всей России один лишь Крым по климатическим условиям годится для расселения там итальянцев...

К беседе подключился и сын Орлова — Николай Орлов, красивый меланхолик с черной повязкой через лоб (он потерял глаз в Крыму во время перестрелки с французами).

— Я недавно из Парижа и могу кое-что добавить об итальянских каверзах. Я был представлен дамам из свиты Евгении — Валеvской, Галифэ и мадам Пурталес, среди них была и Кастильон, любовница Наполеона Третьего, имеющая в Тюильри огромное влияние. Она родная племянница Кавура, но о дяде отзывалась пренебрежительно. И с презрением говорила о короле Викторе-Эммануиле. Я помню ее слова: «Вы думаете, эти людишки способны освободить Италию? Италию сделают свободной вот эти два лепестка...» — при этом женщина красноречивым жестом показала пальчиком на свои прелестные губы.

— Наполеон, — сказал в ответ Горчаков, — не такой человек, чтобы строить политику на фундаменте альковных утех. Планы императора грандиозны, и когда-нибудь он сломает себе шею. Сейчас он залезает в Кохинхину* и Камбоджу, ему уже снятся белые слоны Сиам. Но я согласен и с вами, Николай Алексеевич, что побочные детали, вроде этих лепестков капризных женских губ, способны ускорить грядущие события.

— И когда же они грядут? — спросил старый Орлов.

Горчаков неуверенно пожал плечами:

— Бонапартистские аллюры на цирковом манеже не поддаются учету моей канцелярии, и я не знаю, когда он замахнется на Австрию... Франция изменяет Англии, напропалую кокетничая с нами, что меня приятно интригует, как бульварный роман. Сознаюсь, я побаивался встречи Наполеона Третьего с королевой Викторией в Осборне. Но опасения оказались излишни: Наполеон поехал преподать Англии урок французской тирании, а получил от нее урок английского лицемерия...

События ускорили не губы женщин, а — бомбы!

Париж, вечер 14 января 1858 года, приборы Реомюра отмечали морозец в 12 градусов, в Гранд-опера давали «Марию Тюдор», заглавную роль в ней вела знаменитая Адель Ристори, которая сегодня прощалась с публикой... Наполеон III с женою уселся в карету, лошади взяли

* Кохинхина — так было принято среди европейских политиков называть нынешний Вьетнам: во вьетнамской литературе это название никогда не употреблялось.

разбег, в эскорте скакали гвардейские уланы, возле окошек кареты, словно приклеенный, качался петушиный гребень на каске корсиканца Алессандри — начальника охраны императора. Кортёж проезжал вдоль бульваров, освещенных яркими горелками... Вот и театр. Карета завернула в переулок Лепелетье, остановилась под перистилем оперы. Император не успел открыть дверцу, как со страшным треском что-то трижды лопнуло. Газовые фонари мигом потухли, в многоэтажных домах со звоном выпадали стекла, во мраке кричали люди. Алессандри снаружи открыл двери кареты. Но император, решив, что это лезет один из заговорщиков, ударил его кулаком в глаз («Это меня мгновенно успокоило», — говорил потом Наполеон III журналистам).

Из щеки Евгении Монтихо торчал острый осколок стекла. А площадь перед оперой напоминала поле битвы: в упряжи бились копытами раненые кони, вокруг развеяло взрывами 156 улан и прохожих, люди стонали, агонизировали и умирали. Наполеон III спросил окровавленного генерала Роже:

— Что это было?

— Гремучая ртуть, черт ее побери.

— А кто бросал эти погремушки?

— Ученики дьяволов — Бакунина или Мадзини...

Это верно: сколько уже было покушений на Наполеона III, и всегда их устраивали итальянцы. Мадзинисты и бакунисты считали, что империя Франции воздвигалась, как рудут, мешая освобождению Италии. Тремя бомбами они хотели открыть революцию в Париже, чтобы оттуда экспортировать ее в Рим... На боках кареты император насчитал 86 отметин от осколков.

— Вернемся в Тюильри? — спросил он жену.

Уланы выстрелами добивали искалеченных лошадей. На сиреновом атласе платья императрицы ярко горела кровь.

— Но ведь мы, кажется, хотели слушать Ристори...

Ристори была сегодня в ударе, и после «Марии Тюдор» исполнила акт «Немой из Портиччи». Она еще вела любовную арию, когда в руках полиции оказались все участники покушения. А среди них и славный революционер Феличио Орсини («Мой патриотизм, — писал он накануне графу Кавуру, — должен состоять не из слов, а из дела...»).

В тюрьме его посетил начальник полиции Пьетри:

— Вы совершили большую ошибку: Франция — единственная страна, готовая выступить на защиту Италии. Что, если бы ваше покушение увенчалось успехом? Италия навсегда бы осталась австрийской провинцией. Я прямо из Тюильри, и сейчас там шел пикантный разговор о вас... Наполеон и его нежная супруга просили меня о вашем помиловании.

— И как вы решили? — спросил Орсини.

— Я решил отрубить вам голову...

Орсини написал Наполеону III очень откровенное письмо, в котором заклинал его спасти Италию от австрийского рабства. Это письмо император вручил адвокату Жюлю Фавру, а тот зачитал его в открытом судебном заседании Парижа, потом это письмо опубликовали в газетах... Карбонарии шли на казнь с пением «Гимна жирондистов». В последний миг жизни, уже брошенный под нож гильотины, Орсини успел воскликнуть:

— Да здравствует Франция! Да здравствует Ита...

Евгения Монтихо собрала игрушки своего сына, «принца Лулу», и переслала их в подарок детям обезглавленного Орсини. Наполеон III мыслил гораздо шире — одними игрушками от итальянцев не отделаешься. Киселеву он показывал свою треуголку, протыкая палец в одну из дырок на ее полях:

— Видите? Удивительно, как уцелела моя бедная голова. Я-то уж знаю, что с итальянцами шутки плохи.

Стоявшая подле красавица Кастильон добавила:

— Покушения на вашу жизнь будут продолжаться до тех пор, пока вы не двинете армию на освобождение Италии...

Горчаков вскоре докладывал Александру II:

— Сейчас император Франции попытается запрячь русского медведя в свою колесницу. Мы должны быть мудры и осторожны, чтобы оставить за собой свободу действий.

— Что за газета у вас в руках? — спросил царь.

— Парижская «Монитэр». Орсини бросал бомбу в карету императора, но получилось так, что он бросил вызов Австрии. В этом номере газеты Наполеон Третий показал нам, как надо делать большую политику на маленьком листочке бумаги. Предсмертное письмо Орсини писано столь прочувствованно, что общественное мнение Франции уже повернулось к войне!

Горчаков проводил жаркое лето в прохладе фонтанов Петергофа, в каждом из царских дворцов для него были отведены отдельные апартаменты. Он узнал со стороны, что на курорте Пломбьер состоялась тайная встреча Наполеона III с графом Кавуром. Герцога Морни в Петербурге уже не было, он укатил в Париж с молоденькой женой, где Софья Морни сразу же вплелась в пышный букет русских аристократок, чувствовавших себя в Сен-Клу не хуже, а даже лучше, чем в Царском Селе. Как правило, это были женщины, бжавшие от мужей и жаждавшие пожить вольною жизнью куртизанок, вступая в мимолетные связи — сегодня с принцем Плон-Плон, а завтра с заезжим из Неаполя баритоном, уснащавшим их будуар

запахом чеснока и вина-мастики. Некоторые из женщин активно включались в политику, становясь как бы «эгериями» русского Министерства иностранных дел. На своих губах они переносили пыльцу секретных сведений для отечества, которое покинули из чисто женских соображений. Под ликующие всплески фонтанов Горчаков гулял в Петергофе с новым послом Франции — маркизом Монтебелло.

— Нас никто не слышит, — сказал тот, — и я могу вам доверить опасную тайну переговоров в Пломбьере.

— Не стоит, — ответил Горчаков. — Все уже знаю.

— Откуда же? — поразился Монтебелло.

Министр, конечно, не выдал ему своих «эгерий»:

— Как это ни странно... из Вены! Австрия уже почуяла угрозу и собирает войска в Ломбардии — против Пьемонта.

— Давайте же и мы объединим наши усилия!

Горчаков тросточкой поддел на дорожке камешек.

— Ломбардия... так далека от нас, — вздохнул он.

Этим он заставил Монтебелло проболтаться:

— Тогда... возьмите у австрийцев Галицию.

— Львов и Перемышль нас не волнуют.

— Что же мне депешировать на Кэ д'Орсэ?

— Так и напишите, маркиз, что Певческий мост согласен на моральное единодушие с Францией в период ее войны с Австрией при условии уничтожения статей Парижского трактата.

— Мой император, боюсь, к этому еще не готов.

— А мой, боюсь, еще не готов к войне...

В сентябре он вместе с царем выехал в Варшаву, куда III прислал своего кузена, принца Плон-Плон. Горчаков предупредил, что рассыпаться перед гостем в авансах не следует. Принц, как и ожидал министр, склонял Россию к возмущению южных славян, на отрыв Галиции от Австрии, — Горчаков при этом дремал, подобно Кутузову-Смоленскому на знаменитом совещании в Филях... Неожиданно он взбодрился.

— Как вы мыслите будущую Европу? — спросил резко.

— Англия потеряет прежнее значение. По бокам материка встанут Франция и Россия, а в центре мы, может быть, позволим чуточку расшириться Пруссии за счет Австрии.

Горчаков дал понять, что переговоры окончены. В поезде он до поздней ночи беседовал с Александром II:

— Они мажут нас по губам Галицией, а в уничтожении Парижского трактата сулят лишь эвентуальную поддержку. При таких условиях нельзя вести точный учет разумной политики.

— Что вы предлагаете? Рвать с Францией?

— Ни в коем случае, — убеждал Горчаков. — Отказаться от союза с Францией — значит толкнуть ее обратно в объятия Англии. Наполеон Третий замышляет войну к весне следующего года. О сударь! У нас еще немало времени подумать.

— Не забывайте, что я жажду отмщения Австрии.

— Я удовлетворю ваши чувства, совпадающие с моими. Нейтралитет не будет пассивен: мы поддержим его боевым корпусом у самых границ Галиции.

Внутренние дела — душевные

В одном старинном альбоме читаю: «Сегодня на Невском со мною встретился поэт Федор Иванович Тютчев. В большом шерстяном платке, яко в ризе. Шел в глубокой задумчивости, что-то шептал и качал в такт головою. Вероятно, творил...»

Тютчев! Я иногда теряюсь перед этой загадкой. Какая мучительная раздвоенность в страсти к женщинам, между поэзией и политикой. Где муж и где любовник? Где поэт и где политик? Разделяющая грань отсутствует.

Тютчев писал стихи лишь по случаю, на клочках бумаги, разбрасывая их где попало. Зато политика заполонила его душу целиком.

Федор Иванович навестил семью, где его ожидало холодное отчуждение взрослых детей. Дочери он сказал:

— Аня, хоть ты... сжался, побудь со мною.

В дедовских шандалах колебались огни свечей. Сбоку он глянул на тонкий профиль дочери, помешал угли в камине.

— Итак, — начал он, глядя на синие угарные огни, — одно поколение, словно волна на волну, набегают на другое, совсем не зная друг друга. Ты не знала своего деда, а я не знал своего. Дед помнил Кунерсдорф, я запомнил Бородино, а для тебя вехою жизни стал Севастополь.. Ты и меня не знаешь, Анечка! Мы — два мира. Тот, в котором живешь ты, уже не принадлежит мне. А ведь и я был молод, как ты...

Когда восемнадцать лет твои
И для тебя уж будут сновиденьем, —
С любовью, с тихим умиленьем
И их и нас ты помяни

Он замолк. Дочь поправила на нем плед.

— Папа, пойди к маме. Она тебя очень любит.

Да! В этом-то и было несчастье поэта: все женщины любили его и всё ему прощали. Страсть увядающего отца к молодой Денисьевой была непонятна. Но общество не осуждало Тютчева — оно строго (очень строго!) судило Лелю Денисьеву.

Федор Иванович прошел на половину жены.

Она сидела на полу
И грудь писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала

Эрнестина Федоровна бросала в огонь старые письма. Те самые, которые писал он ей. О любви своей.

— Я тебе не помешаю? — тихо спросил он.

— Ты ведь никогда не мешал мне...

Он смотрел, как его письма корчатся в пламени:

О, сколько жизни было тут,
Невозвратно пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой

Тютчев (на коленях!) поцеловал край ее платья:

— Прости... Каким мелким и жалким чувствую я себя рядом с тобой. Даже если б ты любила меня еще во много раз меньше, все равно я был бы недостоин даже крупинки твоей любви.

— В том-то и дело, Федор, что я слишком тебя люблю... Прости и ты меня, Федор.

— За что?

— Ах, все равно! За что-нибудь и ты прости...

Грустный, он побрел ночевать к Леле Денисьевой. На улице пурга взметывала за его спиной старенький пледик, совсем не похожий на романтический плащ Дон Жуана. Он спотыкался.

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной?
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

Леля сидела перед зеркалом, две свечи по бокам освещали ее лицо, он подошел к ней сзади, она не обернулась, продолжая смотреть в глубину, отражавшую печальные глаза обоих.

— Я больше так не могу, — сказала она. — Мои дети носят твою фамилию, а я, всеми презренная, должна помереть Денисьевой...

Тютчев смотрел в зеркало, где горели ее глаза.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина!

Эта женщина была концом его сложной жизни.

Дышал он, грустный, углубленный,
В тени ресниц ее густой.
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой...

— Федор, я ведь скоро умру, — сказала Леля, и он увидел, как тонкая змейка крови, словно красный шнурок, обвивает ее подбородок...

Тютчев послал лакея за врачом, всю ночь колот лед, не отходил от постели. Под утро Леля уснула, а пурга утихла. Яркое солнце освещало сугробы снега, в которых уютно покоился дивный град Петербург. Тютчев, невыспавшийся, пошел в Комитет иностранной цензуры, в котором Горчаков сделал его председателем. Там лирик будет ставить клеймо, всепрощающее: «п. п. Ф. Т.». А помощниками ему в этом занятии — еще два тонких лирика: Аполлон Майков и Яков Полонский...

Навестив министра, Тютчев спросил — нет ли отзыва императора на его записку о засилии цензурного ведомства?

— Я буду говорить с государем, — ответил князь.

Горчаков уже дважды спасал от запрещения журнал «Русский вестник», он избавил от ссылки писателя Ивана Аксакова (который, кстати сказать, был женихом дочери Тютчева). Не раз выступая в Государственном совете, Горчаков говорил:

— Без ошибок правительства революция невозможна, в каждой революции кроется вина правительства...

Деловой день Александра II начинался с того, что он, прощу прощения, посещал нужное место. Если при этом учесть, что император страдал хроническим запором, то, смею думать, по утрам происходил акт государственной важности. Отхожее место было огорожено китайскими ширмами. Перед ними расставляли стулья для публики, а в кресле, словно земский начальник в канцелярии, располагался лейб-медик Енохин... Государь заседал около часу! При этом он неизменно курил кальян (самый настоящий, турецкий, при котором табак

проходил через клокочущую воду). Император считал, что курение кальяна способствует облегчению желудка. А публика допускалась для развлечения императора. Близкие ему люди рассказывали анекдоты и свежие столичные сплетни, забавлявшие царя, как и булькающий кальян. Попасть на процедуру испражнения его величества — мечта многих сановников. В нужнике Александра II многие сделали быструю карьеру и обвешались орденами, но за это жестоко заплатились несмываемой кличкой — *кальянщик!*

Горчаков был слишком брезглив, и в царском нужнике его никто никогда не видел. Независимость, с какой он держал себя по отношению к императору, и не снилась канцлеру Нессельроде. Как всегда по четвергам, он и сегодня появился в приемной Александра II, украшенной картинами Крюгера, на которых были запечатлены исторические «въезды» Николая I в Берлин и Вену... Царь в конце доклада упрекнул его:

— Вы никогда ничего не просите для себя!

— Прошу... Необходимо пособие вольной гласности. Россия будет иметь большой авторитет в политике, если внутри страны исчезнут разорение, бесправие, неурядицы. Осмелюсь напомнить, что Тютчев уже подавал на ваше высочайшее имя записку о засилии цензуры в жизни Российского государства.

— Это какой Тютчев? — спросил император.

— Камергер двора вашего величества.

— Если б камергер... он еще и писатель! Вы извините меня, князь, но от писателей исходит одна суета. Почему они всегда суются не в свое дело?

— Тютчев не только поэт — он еще и цензор.

Царь движением плеча вздернул эполет дыбом.

— Странно, что цензор восстает против цензуры...

Продолжать разговор далее было бессмысленно, а Тютчева он предупредил, что «послабления» в ближайшее время не будет. Федор Иванович упрекнул князя в том, что он не был слишком энергичен в отстаивании мыслей о свободе слова и печати. Это не понравилось Горчакову, слухи об энергии которого блуждали по кабинетам Европы; вспылив, он отвечал Тютчеву, что подобные упреки неуместны:

— С этих пор вы теряетесь для меня в толпе.

— В толпе поклонников вашего таланта.

Горчаков сразу остыл:

— А все-таки вы тонкий человек. Удостойте меня чести отобедать со мной сегодня чем бог послал... от казны!

В полдень открылись белые с позолотой двери в обеденный зал министерства, где вокруг гигантского стола высились прогербованные стулья, а над прибором из бронзы и малахита (дивном создании

ювелира Лемуара Раврио) свешивались жесткие перья никогда не увядающих пальм. Из гостей сегодня были бразильский посланник Рибейро да Сильва и папский нунций из Ватикана. Вся эта экзотика министерства иностранных дел дополнялась свежей парниковой клубникой и щедрым сиянием морозного дня в стрельчатых окнах, за которыми валил снег. Нунций говорил о страданиях папы римского Пия IX от «злодейства» итальянцев-гарибальдийцев, а посланник Бразилии рассуждал о небывалых трудностях в изучении русского языка... Рибейро да Сильва сказал:

— Мне остался последний способ — жениться на русской.

— Женитесь, — от души посоветовал Тютчев. — Кстати, — спросил он с интересом, — я слышал, что Гарибальди, будучи в Бразилии, добыл себе в жены Аниту Рибейро да Сильва с боем и стрельбой... Что там было у них? Вы не родственник ли этой замечательной женщины?

Рибейро да Сильва с испугом глянул на папского нунция, в глазах которого блеснули искры подозрительного внимания. Горчаков очень ловко перевел разговор на тему о полезности русских морозов для сохранения женской красоты...

31 декабря граф Валевский спросил Киселева, в каком состоянии пребывает русский корпус, что будет двинут к рубежам Галиции, какова его мощь и численность. Посол отвечал:

— Простите, но это наше внутреннее дело...

1 января 1859 года в Тюильри был торжественный прием: дворец заполнили нарядные дамы, дипломатический корпус выстроился, как на параде, щеголяя белыми штанами в обтяжку, держа под локтем треуголки, украшенные эмблемами и плюмажами из перьев, тихо позванивали шпаги военных атташе. Наполеон III задержался возле австрийского посла Гюбнера.

— Я глубоко сожалею, — сказал он, не подавая руки, — что наши отношения с венским правительством стали менее дружественными, нежели мне бы этого хотелось...

От этих изысканных слов мир в Европе сразу заколебался!

Посол прусского короля

Зима в Европе была снежной, и Франкфурт-на-Майне тоже лежал в белом пуху. Бисмарк в хорошем настроении встретил новый день, мурлыкая под нос песенку, которая в переводе с немецкого звучала так: «75 бюрократов — много воплей, но никакого дела, 75 аристократов — родина, считай, что ты уже предана, 75 профессоров — родина,

ты уже погибла!» Бисмарк любил эту песню, ибо она выражала его презрение к парламентаризму. Но при этом он сам оставался членом ландтага и собирался ехать на открытие зимней сессии... В спальню вошла жена.

— Как ты провел эту ночь? — спросила заботливо.

— Прекрасно! Ни минуты не спал. До утра ненавидел!

— Кого же, Отто, ты ненавидел?

— Олухов из ландтага, которых я вскоре повидаю...

В перерывах между заседаниями ландтага Бисмарк не избегал придворных балов, и однажды в замке Бабельсберга, что близ Потсдама, граф Штильфрид намекнул ему слишком ясно:

— Кажется, вам предстоит покинуть милый Франкфурт, чтобы затем через тернии рвануться прямо к звездам...

Штильфрид был иезуитом, а эти господа славились осведомленностью в тайных делах бюрократических перестановок. Бисмарк, обеспокоенный, подошел к военному министру Роону:

— Дружище, разве меня изгоняют из бундестага?

Роон, жесткий и колючий, отвечал:

— Не надо было тебе устраивать свару с графом Рехбергом, время драки с Веною еще не пришло. Пойми, как мы можем соперничать с Австрией? У нас нет даже отличной кадровой армии, один народный ландвер.

Бисмарк выслушал и спросил, куда его переводят из Франкфурта.

— Еще не решили точно, но, кажется, не севернее широты Петербурга, — ответил Роон.

Психическая болезнь короля Фридриха-Вильгельма IV не поддавалась лечению, и власть над Пруссией все круче прибирал к своим рукам принц-регент Вильгельм.

— Кто же еще, — сказал ему Бисмарк, — может лучше меня знать лазейки «лисятника» Союзного сейма? При всем желании я не могу передать своему преемнику весь богатейший опыт общения с послами княжеств и грызни с австрийцами!

— Разговор напрасен. На ваше место назначен Узедом, жена которого, англичанка, обладает эксцентрическими манерами, и потому мы не можем послать Узедома ни к какому приличному двору Европы... именно из-за невоспитанности его жены.

— Значит, — сказал Бисмарк, — я совершил большую ошибку, беря в жены особу с благовоспитанными манерами. Будь у меня жена исчадием ада, вы бы не изгоняли меня в Россию!

— Что вы, Бисмарк, так огорчаетесь? — пробурчал регент. — Место посланника в Петербурге всегда считалось высоким назначением для дипломатов Пруссии, и вы должны видеть в этом знак монаршего

доверия. Это доверие к вам я укреплю тем, что покажу сейчас своего внука...

На днях в доме Гогенцоллернов было прибавление семейства. Принцесса Виктория (дочь английской королевы, жена кронпринца Фридриха) произвела на свет полумертвого младенца. Потеряв сознание от жестоких мучений, мать долго не приходила в чувство, а врачи занялись оживлением новорожденного. Они его раскачивали в воздухе за ноги, пытались оживить грелками и шлепками по телу. Полтора часа шла борьба акушеров за жизнь ребенка. Наконец он слабо пискнул и... начал жить! Но в суматохе врачи не сразу заметили, что левая рука младенца от рождения парализована, связки плечевого сустава разорваны, — рука была безнадежно искалечена. Так родился этот уродец, будущий кайзер Вильгельм II, который разрушит многое из созданного Бисмарком и в конце концов свергнет Германию в чудовищную бойню Первой мировой войны...

Бисмарк склонился перед колыбелью в глубоком, прочувствованном поклоне. Его даже прошибла сентиментальная слеза, ибо, невзирая на все свое буйство, в душе он всегда оставался верным рабом Гогенцоллернов... Принц-регент Вильгельм поднес ему рюмочку винца, а его жена Августа угостила дипломата мандаринчиком. Ну что ж — и на том спасибо!

Во Франкфурте его поджидало письмо от еврейского банкира Левенштейна, который являлся тайным агентом канцлера Буоля, связывая политику венского кабинета с банками Ротшильда:

«Настоящим позволю себе почтительнейше пожелать Вашему превосходительству счастливого пути... В наше время нужны люди, нужна энергия... Я совершил сегодня маленькую операцию, которая принесет, надеюсь, хорошие плоды... В Вене очень встревожены Вашим назначением в Петербург, так как считают Вас принципиальным противником... Было бы очень хорошо наладить нам деловые отношения...»

Бисмарк никаких выводов из письма делать не стал.

— Собирай вещи! — велел камердинеру Энгелю.

Покинув Франкфурт, посол задержался в Берлине, где остановился в гостинице. 23 марта он должен был выехать в Петербург, когда за час до отправления на вокзал его навестил сам автор письма — банкир Левенштейн... Нет, он посла не подкупал — он лишь соблазнял Бисмарка принять участие в одной финансовой сделке, которая даст прибыль:

— Двадцать тысяч талеров... вас устроят?

— Но я не могу войти в сделку, — отвечал Бисмарк, — ибо небогат и у меня нет свободных капиталов для взноса.

— О! — сказал агент Ротшильда. — Вместо денег вы, господин посол, можете внести в наше дело свою энергию.

— У меня энергии — как у застоялого жеребца, — отвечал Бисмарк. — Вы не бойтесь, что я развалю вашу конюшню?

Левенштейн сказал, что Вена будет крайне благодарна Бисмарку, если при дворе Петербурга он станет защищать интересы не только Пруссии, но и Австрии... «Учись, Бисмарк, учись!» — подумал посол и хотел поймать жуликов на слове:

— Тогда пусть ваш канцлер Буоль подкрепит это заманчивое предложение письменным обязательством.

Левенштейн на удочку не попался, а цену повысил:

— Тридцать тысяч талеров... вы довольны?

Бисмарк глянул на часы с таким вниманием, будто их стрелки показывали сумму, за которую ему стоит продаваться.

— Скоро отходит поезд... пора! Но о таких вещах не следует говорить здесь... попрошу вас следовать за мною.

На лестнице отеля он развернул банкира задом к себе.

— Одумайтесь! — заверещал Левенштейн. — Или вы не боитесь иметь своим врагом великую империю Габсбургов?

— Увы, не боюсь, — отвечал Бисмарк и ударом колена под дряблые венские мякоти он спустил банкира с лестницы, послав вдогонку слова: — Честные послы короля неподкупны!

Провожать его пришли на вокзал брат Бернгард и сестра Мальвина фон Арним; брат считал назначение в Петербург «почетной ссылкой», а сестра, бывавшая в России, завидовала ему... Бисмарк загреб в объятия своих детишек — Марию, Герберта и Вилли, сочно перецеловал их румяные лица.

Гугукнул паровоз — жена подставила сухие губы.

— Поехали, — пихнул он в купе камердинера Энгеля...

Надвинулась ночь. Бисмарк сказал:

— Одно меня беспокоит: говорят, в России очень высокие цены на дрова... просто не по карману мне!

Еще не побывав в России, посол испытывал уважение к этой стране. Те русские, которых он встречал в Европе (Горчаков, Глинка, Титов, Кейзерлинг), позволили ему сложить о русском народе выгодное впечатление. Они разрушили в глазах Бисмарка европейскую легенду о русских как о беспечных фаталистах и лежебоках. Напротив, Бисмарк отметил про себя, что русские натуры энергичны, остры и впечатлительны. Не забыл он и княгини Юсуповой, которая в пору его молодости взяла Бисмарка за руку и впервые ввела в высший свет Берлина...

Сумеречный рассвет застал их где-то за Варшавою.

— Вот мы и в России, — пригорюнился Энгель.

За окном вагона едва угадывались сиреневые дали без признаков жилья — лес, сугробы, безжизненные поля.

— Зловещая картина! — хмыкнул посол. — Как хорошо, что никто из моей родни не соблазнился в восемьсот двенадцатом году маршировать на Москву заодно с Наполеоном... Иначе я слышал бы сейчас, как скрежесут их кости под колесами. Да, Энгель, вон растут те самые березы, из которых загадочные русские натуры производят розги для души и веники для тела... Да, Энгель, да!

До самого Ковно железной дороги еще не было; путники добирались дилижансом или в санях до станции Остров (на Псковщине), откуда поезда доставляли их со всеми удобствами прямо в Северную Пальмиру.

Бисмарк встречал чиновник в мундире Министерства иностранных дел, поверх которого наопахь была накинута шуба.

— Его сиятельство князь оказали мне честь, поручив встретить ваше превосходительство и сопроводить до квартиры...

Энгель ташил на себе тяжелые баулы своего господина, который поскупился нанять носильщика. На вокзальной площади посла ожидали санки с кучером, похожим на важного барина. Бисмарк с удивлением обозрел его лисью шубу, покрытую фиолетовым бархатом. Кони пошли рысистым наметом, вывернули сани на Невский, и чиновник пояснил, что это — уникальнейшая «улица веротерпимости», ибо здесь, без тени вражды, разместились храмы божии всех религий, кроме синагоги и мечети. Взметывая гривы, кони уже мчались вдоль Невы, в твердыни льда которой до весны вмерзли корабли и баржи с дровами. Бисмарк, конечно же, не преминул осведомиться у чиновника о стоимости дровишек в условиях русской действительности... Чиновник цен не знал:

— Дрова — это дело наших дворников.

Через Неву, протапывая дорогу в сугробах, шагала рота солдат со свертками белья и вениками (возвращались из бани); пар валил над парнями, топавшими по льду валенками:

Грянули, ударили,
па-анеслись на брань
и в секунду с четвертью
взяли Еривань!

Набережная называлась Английской; за устоями Николаевского моста кони всхрапнули возле двухэтажного особняка с крыльцом и балконами (этот дом и доныне хорошо сохранился).

— Дворец графов Стейнбок-Ферморов, — сказал чиновник. — Он снят для размещения вашего превосходительства...

Бисмарк поспешил навестить Горчакова в его министерстве, заполнявшем многоэтажный корпус поблизости от Зимнего дворца. Князь принял его в кабинете, окруженный милыми для его памяти вещами, сидя под овальным портретом покойной жены. Здесь же стояло мягкое канапе для приятного отдохновения после утомительных дебатов с иноземными послами... Встретились они, как старые приятели, что облегчило Бисмарку трудное вхождение в таинственный мир русской политики.

— Садитесь, коллега, — сказал Горчаков, посверкивая очками. — Все прусские послы в Петербурге, как правило, делают потом на родине блестящую карьеру. Желаю и вам того же!

Бисмарк похвастал, что вскоре надеется украсить мундир эполетами ротмистра. Горчаков извлек большой платок, уголком вытер слезившиеся от усталости глаза.

— С государем, — посоветовал, — держитесь просто, как это и принято всеми берлинскими послами. Вы и сами знаете, что, помимо политики, тут много родственных наслоений...

При свидании с послом царь, одетый в венгерку, перевитую на груди брандесбурами, сам пошел навстречу:

— С приездом, Бисмарк! Мы познакомились в Штутгарте, когда император Франции осмелился заговорить о Польше... Как здоровье моего дядюшки, принца-регента Вилли? А как поживает тетушка Густа? Все так же вяжет нескончаемый чулок мужу?.. Рад вашему прибытию. Не будь я царем России, я хотел бы стать королем Пруссии! Садитесь, милый посол. Если вы еще и охотник, так мы с вами составим неплохой дууплет.

Бисмарк сказал, что он уже охотился в русских пределах — в лесах Эстляндии, где гостил у своего друга:

— У графа Кейзерлинга, члена вашей Академии.

— Знаю. Дельный чиновник. Сейчас он в Дерпте...

Далее заговорили о повадках лисиц и зайцев.

— К сожалению, я оставил свои ружья в Шенхаузене.

— Ну, Бисмарк! У меня тут целый арсенал...

1859 год — как бы промежуточный, затерявшийся между соседними громкими датами. Но он не так уж безобиден, каким внешне кажется. За четырьмя цифрами гражданского летосчисления затаились события, которым суждено отразиться в будущем. Это был год, когда на трассе будущего Суэцкого канала арабы подняли первую лопату грунта; появилась книга Чарлза Дарвина «Происхождение видов»; Альфред Нобель изобрел грохочущий динамит, заменивший в бомбах

гремучую ртуть; в Америке начали пробное бурение первой нефтяной скважины...

Горчаков вел откровенные разговоры:

— Никакое государство не способно существовать, основывая свою политику на одних просчетах и ошибках, поэтому я уже давно слышу, как скрипит перо истории: это разгневанная Немезида подписывает Габсбургам жестокий приговор.

Странное русское «ничего»

Петербург! Иностранцев всегда поражала широта проспектов, почти морской простор Невы, безлюдные гигантские площади и отточенная прямизна планировки. Старые города Европы выросли из феодальных крепостей, в них было уже не повернуться. А Петербург, созданный с удалецким размахом, вобрал в себя массу воздуха, света, воды и зелени. Бисмарк приятно удивила чистота русской столицы. Правда, эта иллюзия рассеивалась на задних дворах с их выгребными ямами (вывозка отходов в те времена была сопряжена с немалыми расходами), но, смею думать, что посол на помойки не заглядывал.

От него не укрылась ненависть русского общества к Австрии: жену он информировал: «Совсем не представляют себе (в Берлине), как низко здесь (в Петербурге) стоят австрийцы: ни одна собака не примет от них куска мяса». Бисмарк пришел к выводу, что искреннего дружелюбия к немцам вообще встретить в петербуржцах невозможно. Молодежь была проникнута симпатиями к гарибальдийской Италии, к революционным традициям Франции; Бисмарк писал жене, что к молодым здесь лучше не обращаться по-немецки («они не прочь скрыть, что понимают язык, отвечают нелюбезно или вовсе отмалчиваются»). Лишь среди остатков престарелой и чванной аристократии, помнившей королеву Луизу и бравурный 1813 год, посол встретил приятное расположение к пруссакам. Но это были давно угасшие тени прошлого — теперь в жизни страны они уже ничего не решали...

Осмотревшись зимой в столице, Бисмарк летом совершил путешествие в Москву. По «чугунке» русские ездили тогда весьма основательно — с одеялами и подушками, детей везли прямо в люльках, в дорогу брали уйму съестных припасов и всё волновались — как бы поезд не ушел без них! Расписаниям русские не верили (и, кажется, никогда их не читали). «Да кто его там знает, — отвечали с недоверием. — Если б лошадь: запряг и езжай, а тут машина... вот возьмет и уедет, а мы останемся, как дураки, с билетами!» Заранее забравшись в вагон, пассажиры крестились, потом открывали дорожные корзины и начинали безудержное насыщение, которое было вроде некоего желез-

нодорожного ритуала: ели днем и ели ночью... Глядя в окно, Бисмарк выделил: «Не помню, чтобы я замечал возделанные поля; точно так же не замечал ни вересков, ни песков; одиноко пасущиеся коровы или лошади возбуждали мое предположение, что вблизи где-либо могут жить люди». Остановившись в московском «Отель де Франс», посол сразу же уселся за письмо жене: «Я хочу, моя возлюбленная, послать тебе, по крайней мере, весточку в то время, когда я дожидаясь самовара, а позади меня молодой русский парень в красной рубашке мучается в усилиях растопить печку...» Обычно иностранцам Москва не нравилась. Бисмарк, напротив, очень тонко распознал ее своеобразную красоту и потом всегда говорил, что «обрусел» именно в Москве. Но жене он пожаловался, что в «Славянском базаре» с него содрали 80 копеек за никудышный кусочек сыра. Это его взбесило! Ночевать же он ездил в «деревню» княгини Юсуповой, куда она его давно уже звала, и Бисмарк был потрясен, когда на берегу пруда, на глади которого дремали черные лебеди, вдруг вырос сказочный дворец. Впрочем, удивление посла вполне извинительно, ибо «деревня» князей Юсуповых называлась — *Архангельское!*

Бисмарк осмотрел и сокровища Оружейной палаты; блеск бриллиантов в коронах оставил его равнодушным, но зато он с почтением озирали богатырские мечи русских витязей. Его принял московский генерал-губернатор князь Долгорукий, показавший гостю ценную библиотеку. При входе в книгохранилище Бисмарк невольно заметил слугителя — старого солдата, грудь которого, помимо русских крестов и медалей, была украшена прусским Железным крестом, основанным в честь битвы при Кульме. Бисмарк сердечно поздравил старца: со времени Кульма минуло уже 46 лет, а он все еще выглядит бравым молодцом. Долгорукий перевел ответ ветерана.

— Я бы и ныне еще показал всем вражьиим силам!

Газеты много писали о делах в Италии, и посол спросил: за кого бы он дрался — за Австрию или за Италию?

— Конечно, я бы пошел с Гарибальди, потому как он хочет всем людям на свете свободы, а цесарцы венские свободы не дают никому, и я бы их бил так, чтобы дух из них вон!

«Таково настроение против Австрии у всех в России, от генерала до солдата», — сообщал Бисмарк жене. В столицу он возвращался по «сидячему» билету, не желая ехать в спальном отделении, чтобы не лишиться себя удовольствия еще раз понаблюдать за русским бытом. Посол опять смотрел, как россияне истребляют жирных цыплят, снимают рыжие пенки с топленого молока в кувшинах, вовсю хрустят солеными огурцами, а молодой смышленный купец, с недоверием поглядывая на Бисмарка и его лакея, плотоядно обкусывал громадную телячью ногу. Камердинер Энгель быстрее посла освоился с русской речью, и Бисмарк спросил его — о чем сейчас говорят русские?

— Очень жалеют нас, что мы ничего не едим.

Какая-то старушка сунула Бисмарку ватрушку:

— На, родимый... покушай, бедненький...

Бисмарк вернулся из поездки, убежденный в том, что Россия имеет два могучих сердца — в Москве и Петербурге.

Ну ладно Бисмарк — он с голоду не помрет, а вот что делать студенту, если ему всегда есть хочется? Врачи давно заметили: фантазия лучше всего работает на голодный желудок. А потому студент Петербургского университета некто В. Алексеев, терзаемый нищетой, изобрел новую методу ускоренного освоения русского языка*. В знании его больше всего нуждались иностранные дипломаты, но, не осилив сложности произношения, они, как правило, бросали занятия и зачисляли в штат посольства своих соотечественников, живших в России. Алексеев толкнулся было в двери иностранных посольств, но к нему отнеслись с недоверием, как к шарлатану. Наконец согласился брать уроки баварский посол Перглер де Перглас, который вскоре, к всеобщей зависти дипломатического корпуса, уже свободно общался с русскими людьми. После этого сразу нашлись охотники изучать язык по методу Алексеева, и студент зажил роскошной жизнью, каждодневно обедая в кухмистерской, а там лучше, чем в раю: щи вчерашние, шницеля шире лаптя, потом пирогов спросишь... Ух!

В доме гамбургского консула на Литейном к Алексею подсел Бисмарк, на лысине которого размещался скромный и не дающий тени оазис из трех последних волосинок:

— Вы с юридического? Значит, коллеги. Я тоже долбил римское право в Геттингене... На слух мне нравится русский язык, рокошущий и резкий, как полковой барабан. Говорят, его трудно освоить. Но я все-таки решил отделаться от наемных толмачей, которые шляются за мною по пятам, а я не терплю, если при разговоре присутствуют посторонние... Герр Алексеефф, сколько вам платит за урок барон Перглер де Перглас?

— Полтора рубля, — ответил студент.

— А сколько уроков насчитывает ваш курс?

— Всего тридцать два...

— Ага! — прикинул сумму Бисмарк. — Хотя я и не богат, но все же прошу вас быть моим учителем.

* Приношу извинение читателям, что не могу сообщить о самом В. Алексееве никаких сведений. Я перебрал в своей картотеке всех Алексеевых с именем на букву «В», но не обнаружил человека, несомненно, унесшего в могилу очень интересную методу преподавания русского языка. Этот В. Алексеев оставил любопытные воспоминания о встречах с Бисмарком.

Алексеев посещал Бисмарка дважды в неделю, отворяя по утрам тяжеленную дверь особняка Ферморов на Английской набережной. Посол выходил к студенту в темно-синем узорчатом халате с шапочкой из черного бархата на макушке и сразу же щедро угощал Алексеева отличной сигарой:

— Прошу вас, коллега. Премного обяжете...

Ни один дипломат не вел себя по отношению к студенту так тепло и радушно, как Бисмарк; прусский посол держался запросто, сохраняя стиль чисто товарищеских отношений. В процессе учения он был старателен и усидчив, при всей его занятости всегда находил время выполнить домашние задания. Кстати, Алексеев заметил, что посол не терпел карандашей, а все записи делал исключительно гусиным пером.

— Карандаш, — говорил он, — я предоставляю изнеженным белоручкам и слабеньким лживым натурам. Сильный и волевой человек доверяет свои мысли чернилам, а перо — как меч!

Первое время беседовали на смеси русского с немецким, потом Бисмарк заговорил по-русски. Он был счастлив, когда, ломая язык, произнес присказку: «От топота копыт пыль по полю летит». Недавно он вывез из Берлина семью и пригласил студента к обеду. За столом рассказывал жене и детям:

— За три рубля в неделю я закручиваю язык в трубку, потом загоняю его в желудок, стараясь произнести «ы»!

Под столом, забавляя детей, возился мохнатый медвежонок, привезенный недавно из-под Луги, где на охоте Бисмарк застрелил его мать.

Учеба проходила успешно. Скоро посол начал переводить «Дворянское гнездо» Тургенева, на его столе Алексеев видел свежие номера герценовского «Колокола» — большая приманка для студента, и Бисмарк сам же предложил ему:

— Вы читайте, не стесняйтесь! Я знаю, что «Колокол» в России запрещен, но посольства получают его свободно...

Между учеником и учителем, естественно, возникали откровенные разговоры на политические темы. Об Австрии лучше было молчать: при одном этом имени шрам над губою Бисмарка наливался кровью. Но Алексеев однажды пожелал узнать, что думает посол о России и русском народе.

— Мне, — охотно ответил Бисмарк, — нравится ваша жизнь, кроме дней церковных праздников, когда по Вознесенскому и Гороховой колеблется волна пьяных людей, средь которых не редкость и чиновник с кокардой на фуражке. Но это не главное мое впечатление! Россия будет иметь великое будущее, а народ ее велик и сам по себе... Вы, русские, — добавил он, — очень медленно запрягаете, зато удивительно быстро скачете!

Алексеев однажды употребил слово «германцы» (как собирательное для всех немцев), но сразу же получил отпор:

— Германцы не имеют права так себя называть. Саксонцы, баварцы, мекленбуржцы, ганноверцы... дрянь! Пруссия должна свалить всех в один мешок и завязать узел покрепче, чтобы эта мелкогерманская шушера не вздумала разбежаться...

Все шло замечательно, пока не напоролись, словно на подводный риф, на обычное русское словечко «ничего».

— Как это «ничего»? — не понимал Бисмарк и от своего непонимания просто осатанел.

Сколько ни толковал ему Алексеев, что ничего — это, в общем-то, и есть ничего, не хорошо и не плохо, а так, средне; жить, значит, можно, — Бисмарк продолжал не понимать.

— Ничего — это фикция! — бушевал посол...

Он выплатил Алексееву по рублю за урок.

— Однако, — покраснел студент, — мы ведь договорились, что каждый урок вы оплатите мне в полтора рубля.

— Дорогой коллега! — радушно отвечал Бисмарк, пожимая ему руку. — Верно, что договор был о полутора рублях. Но вы забыли стоимость тех сигар, которыми я угощал вас...

Он заказал себе перстень из серебра, в печатке его было выгравировано странное русское слово — ничего.

В один из дней Бисмарк был в кабинете царя, который вел беседу с Горчаковым; посол напряг слух, понимая, что разговор очень важный — о недоверии к французскому кабинету, о делах Гарибальди и интригах Кавура в Пьемонте... Вдруг Александр II заметил внимание в глазах прусского посла.

— Вы разве меня поняли? — резко спросил он.

Бисмарку пришлось сознаться — да, понял!

— Правда, мне с трудом дается произношение звука «ы». Но я решил осилить даже это варварское звучание...

Горчаков с усмешкой привел слова из немецкого же языка, в которых буква «й» ближе всего подходит к русскому «ы».

— Значение слов «авось» и «ладно» я освоил, — признался Бисмарк. — Но не понял слово «ничего». Русские при встрече на вопрос о жизни отвечают, что «живут ничего». Сейчас, когда я ехал во дворец, извозчик на повороте вывернул меня на панель, я стал ругаться, а он отряхивал на мне пальто со словами: «Ничего... это ничего». Между тем из словаря я уже выяснил, что «ничего»... ничего, и только!

— Бог мой, — сказал Горчаков, — сопоставьте наше «ничего» с английским выражением *never mind*: они же тождественны...

Вернувшись домой, Бисмарк хватил себя кулаком по лбу:

— Какой дурак! Зачем мне надо было сознаваться, что я понимаю русскую речь? Сколько б я имел выгод...

Посол любил совершать вечерние моционы по тихим линиям Васильевского острова, где в основном селились немецкие мастеровые, пекари и переплетчики, башмачники и позолотчики, каретники и кондитеры. Однажды он видел, как на улице дрались немцы — Фриц Шиллер колотил Ганса Бауэра.

— Именем короля Пруссии — прекратите!

Но добрые пруссаки продолжали волтузить один другого. Вмешиваться в их драку посол не стал, а кликнул с угла городского, жестом руки указав ему взять обоих в участок.

— А ну! — сказал тот, хватая немцев за цугундеры...

Напрасно драчуны взывали к Бисмарку, что он, сам немец, поступает сейчас «антинемецки», вручая их жалкую судьбу в руки полиции. Посол не внял обличительным воплям. Глядя вослед соотечественникам, которых могуче и властно увлекал «на отсидку» русский полицейский, Бисмарк четко сказал себе:

— Кажется, всех немцев только так и можно примирить — полицейскими мерами! Вот посидят оба за одной решеткой, тогда поймут единство национальных идеалов... *Ничего!*

Последнее слово он произнес уже по-русски.

Война и мир

Иностранцы дружно отмечали, что русский человек был хорошо развит политически; в ресторанах и кондитерских часто возникали горячие споры, даже лавочники в рядах Гостиного двора листали «Голос», который Горчаков сделал громогласным рупором своего министерства. Сейчас Россию больше всего тревожили дела итальянские, и среди прочих тем, близких русскому сердцу, часто поминался далекий апельсиновый рай Пьемонта... В наши дни Пьемонт — промышленная область на севере Италии, откуда разбегаются по миру юркие «фиаты», а раньше, со столицей в Турине, он был Сардинским владением, где королем был Виктор-Эммануил II, а премьером Кавур; итальянский народ верил, что будущая Италия (разрозненная, как и Германия) может собраться лишь вокруг Пьемонта, а папский Рим станет столицей...

Итак, война решена! Горчаков сказал Бисмарку:

— Парижу с Туринском предстоит прежде подумать, как сделать Австрию стороной нападающей. Конституция Германского сейма обязывает всех немцев, включая и Пруссию, встать с оружием на за-

шиту Австрии, если на нее нападают. Но если агрессором становится сама Австрия, немцы могут сидеть дома...

Бисмарк ответил, что Кавур с Наполеоном такие мазурики, которым обести венских придурков — пара пустяков. И правда: Турин с Парижем заранее стали раздражать имперское самолюбие Вены — Наполеон III срочно женил своего брата на принцессе Клотильде, дочери сардинского короля, Кавур вызывающе поставил весь Пьемонт под ружье, а Гарибальди возглавил бесстрашных волонтеров — международную дивизию храбрецов и вольнодумцев. И когда Вена была доведена нападками до белого каления, Кавур заголосил, что мир — это как раз то, чего не хватает Европе, а Наполеон III под сурдинку стал плакаться, что бедная Франция совсем не готова к войне...

«Ах, вы не готовы, господа?» — решили на Балльплатце, и сразу 200 000 австрийских солдат форсировали реку Тичино, вторгшись в пределы Пьемонта. Но... Что это? Небеса над Галицией зловеще высветлило заревом тысяч и тысяч бивуачных костров, зеленые холмы огласило протяжным пением: это русская армия встала у границ Австрийской империи.

Канцлер Буоль в панике вызвал к себе Балабина:

— Каково отношение Петербурга к этой войне?

— Нейтральное.

— А к этим разбойникам... к Пьемонту и Франции?

— Видит бог, мы ко всем нейтральны.

— Но правительство моего императора не понимает, ради каких целей ваша армия собралась возле нашей Галиции?

Ответ Балабина прозвучал как нотация:

— Русская армия вправе совершать любые маршруты внутри своего государства, и я не понимаю вашего волнения...

При этом канцлер Буоль, вроде лакея, придвинул к Балабину кресло. Однако русский посол, довершая мщение, не воспользовался этой услугой и сел в другое кресло... «Что задумали эти русские?» Франц-Иосиф кричал на Буоля:

— Тусклая бездарность, это вы поссорили меня с Царским Селом... Срочно посылайте в Петербург фельдмаршала Кандида Виндишгреца, и пусть он вырвет у Александра монаршее заверение, что Россия не собирается нападать на Австрию!

Балабин сказал, что царь Виндишгреца не примет.

— Как не примет? Фельдмаршал — не последнее лицо в Европе, он даже охотился с вашим государем на зайцев.

Балабин отвечал Буолю — чересчур резко:

— Есть у нас егерь Михайла Авдеев, лучший загонщик зайцев, он каждую среду охотится с государем, но скромность не позволяет ему набиваться на приемы в Зимнем дворце...

Оголив рубежи и опустошив казармы гарнизонов, Австрия собрала резервы на галицийских рубежах. Вена сражалась в Италии с оглядкой назад: русские штыки, приставленные ко Львову и Перемышлю, покалывали Габсбургов через их шерстяные кавалерийские рейтузы. В этом, кажется, и заключался «благожелательный нейтралитет» России, которая угрозой второго фронта заранее обеспечила победу французам, сардинцам и гарибальдийцам. А ведь прошло всего три года после Парижского конгресса...

— Кто бы мог тогда подумать, — говорил Горчаков, — что Россия так быстро включится в «европейский концерт»!

Дробясь на мириады сверкающих брызг, всюду шумели дивные фонтаны Петергофа. Владыка русской внешней политики выходил в парк, постукивая тростью по беломраморным ступеням. Слева и справа от него, как ассистенты вокруг знаменитого ученого, выступали ближайшие советники министерства. Горчаков вспоминал удачные строчки Баратынского, рассуждал о живописной манере Каналетто-Беллото...

Он отдыхал. Он наслаждался. Он блистал непревзойденным красноречием.

Русским военным атташе при сардинской ставке был Михаил Иванович Драгомиров*, изучавший опыт европейских армий. За скромным завтраком, где макароны с сыром были главным украшением стола, Виктор-Эммануил II спросил его:

— Каков, по-вашему, будет исход войны?

— Вы победите австрийскую армию. Она будет разбита, ибо в ее рядах масса славян и венгров. Нет дурака, который бы, сидя в тюрьме, сражался за честь своей тюрьмы.

Возле премьерера Кавура, элегантного франта с золотыми очками на носу, Виктор-Эммануил II казался жалким босяком. Понимая, что сейчас на него смотрит вся Италия, он ходил в дырявой куртке, пищу принимал единожды в день, пил только воду. Если перед ним ставили изысканное блюдо, король отворачивался. Чтобы сразу пресечь всяческие нарекания, он составил придворный штат из мужчин, любящих своих жен, и из женщин, преданных своим мужьям. Внешне король Сардинии был похож на старую обезьяну, а гигантские усищи, которые он закручивал до выпученных глаз,

* М. И. Драгомиров (1830—1905) — русский военный мыслитель, профессор Академии Генштаба, автор многих военных трудов, которые до сих пор не утратили своего научного значения в практике «психологической» подготовки воина к бою. При издании первой в нашей стране «Памятки красноармейца» по совету В. И. Ленина, в ряду афоризмов Суворова и Кутузова в «Памятку» были включены и боевые призывы Драгомирова.

еще больше усиливали его безобразия. Между тем это был умный и храбрый человек...

Вскоре загромыхла первая решительная битва при Мадженто. Драгомиров, стоя на холме, видел, как среди убогих деревень, утопая в зелени рисовых посевов, топчутся, залпирюя из ружей, более ста тысяч человек. Надрывно трубили рожки, ободряя робких. Виктор-Эммануил II сам повел кавалерию в атаку. Драгомиров прищипнул коня, чтобы видеть подробности боя. Сардинский король, стремившийся добыть себе корону Италии, запомнился ему так: «Со взьерошенными волосами, со вздернутым носом, знаменитыми усами и глазами, выступавшими, как фонари, он походил на кондотьера или оперного героя, и мне трудно было решить — начнет ли он петь любовную арию или бросится на смерть...»

Помятый в свалке кавалерийской «лавы», Драгомиров отбил от штабной свиты и под пулями австрийцев прогалопировал в лагерь Наполеона III, где на барабане сидел профессор истории Тьер и доктринерски обсуждал тактику боя. Здесь же Драгомиров встретил человека, перед талантом которого всегда преклонялся. На понурой сивой кобыле возвышался почтенный старец с язвительным лицом Вольтера — славный стратег Жомини, помнивший еще пожары Москвы и Смоленска в 1812 году... Драгомирову он сказал по-русски:

— Вы и сами убедитесь, что здесь все идет не так, как надо. — Вслед за этим звонким голосом он крикнул Наполеону: — Сир, судьба битвы не решается на циферблате часов!

— Когда же все кончится? — отвечал император, пряча часы в карман. — Я не вынесу этого кошмара... где Мак-Магон?

Королева Гортензия называла сына «тихим упрямым», но в битве при Мадженто Наполеон III не сумел проявить себя даже в упрямстве: приказывая, он тут же отменял приказ; выслушав лекцию Тьера, искал совета у Жомини, снова приказывал и вновь слал гонцов с отменой приказа... А битва шла своим чередом, и все новые полки, вскинув на плечи ружья, уходили по залитым водою полям, чтобы помереть с возгласами:

— Вива ле имперьер! Вива Италияно!

Но вид крови, бьющей из ран фонтанами, но вид пораженных лошадей, дергавшихся в траве, но пушки без лафетов, опрокинутые навзничь, — все это приводило Наполеона III в содрогание. Он часто спрашивал: «Где же мерзавец Мак-Магон? Когда он подведет свои колонны?..» Потом, опустив поводья, застывал в седле и казался полностью отрешенным от битвы. «Нет уж! — решил Драгомиров. — В таких делах, как это, лучше быть сорвиголовой вроде Виктора-Эммануила с его удалецкой грудью, подставленной под

пули...» Жомини тихо подогнал свою развалину-кобылу к императору, тронул его за плечо:

— Ваша гвардия повыбита. Но уже близок Мак-Магон, и сейчас он обрушится на правое крыло австрийцев... Позвольте мне, старому солдату, поздравить вас с громкой победой!

За ужином в сардинской ставке Драгомирову удалось перекинуться несколькими фразами с Кавуром; как всегда, деличаясь потирая руки (что раздражало его собеседников), Кавур заговорил о своем Пломбьерском договоре с Наполеоном III:

— Он просил у меня Тоскану для своего кузена Жерома, но что он запоет теперь, когда Тоскана восстала, а итальянцы не желают из-под гнета Австрии угодить в ярмо Франции...

При деревушке Сольферино, что лежала под Мантуей, сражались сразу 350 000 человек, и Наполеон III, забравшись на колокольню церкви, тоскливо взирал на губительное действие своих пушек с нарезными стволами. Вдруг стало темно-темно, долину битвы пронзало клинками молний, втыкавшихся в землю посреди мертвецов. Жара сменилась ужасным холодом, по кирасам забарабанил град величиною с вишню, и бурный ливень низринул на войска. Австрийцы бежали вслед за своим императором... Драгомиров слез с коня, чтобы подтянуть размякшую от дождя подпругу. К нему, держа над головою раскрытый зонтик, подъехал верхом на лошади граф Кавур в сопровождении четырех мальчиков-грумов. Он спросил русского атташе:

— Как вы думаете, когда это прекратится?

— Уже конец. Вы победили.

— Я вас спрашиваю только о дожде, — ответил Кавур...

Через две недели Драгомиров видел, как этот человек, схватив палку, в ярости высаживал стекла в доме королевской ставки; при этом Виктор-Эммануил II ободрял премьера:

— А ну дай, а ну тресни! Еще... так... молодец...

Вдевая ногу в стремя, король сказал свите:

— Наполеон — собака! — и тут же ускакал...

Оказывается, Наполеон III тайком от Италии повиделся с Францем-Иосифом в местечке Виллафранке, и там они состряпали перемирие. В этом было что-то предательское. Французские генералы бросали в футляры свои сабли, говоря с возмущением:

— Император сделал из нас посмешище... Ради чего мы дважды побеждали и проливали кровь французских солдат?

Европа сочла, что вид людских страданий был невыносим для взорov Наполеона III и Франца-Иосифа, посему они и пошли на мировую. Но в основе мира таились иные причины, которые из Виллафранке перекочевали в кабинеты Берлина и Петербурга.

Дело освобождения Италии народ Италии из рук королей брал в свои руки, и это устало монархов, готовых простить друг другу прежние обиды, лишь бы не было новой революции в Европе. В самый разгар боев за Ломбардию князь Горчакову пришлось сдерживать *furor teutonicus** Берлина. Принц-регент Вильгельм не мог стерпеть, что итальянцы, словно играючи, покатали прочь из Италии короны герцогов Тосканы, Модена, Болоньи и Пармы. Пруссия, забыв давние распри с Веней, подняла армию по тревоге и двинула ее к Рейну — только перемирие в Виллафранке спасло Францию от войны на два фронта... Горчаков упрекнул Бисмарка за пробуждение в пруссаках тевтонского национализма. Бисмарк огорченно ответил:

— Наши берлинские тугодумы не могут понять, что сейчас *Пьемонт делает в Италии то самое дело, какое вскорости предстоит свершить и нашей Пруссии в германском мире*

Александр II, боясь как бы пожар из Италии не перекинулся в Польшу, тоже готов был союзничать с Австрией.

— Подумайте, господа! — судачил он. — Герцогиня Мария Пармская, милейшее существо, вынуждена бежать от своих голодранцев. Мало того, эти пармезане еще устроили народный плебисцит и путем варварского голосования постановили, чтобы она больше не возвращалась в свои владения... Вот как все стало просто: проголосовали — и до свиданья!

Бисмарк с присущим ему цинизмом заметил, что отбытие герцогини Пармской вряд ли испортит вкус пармезанского сыра. Александр II в эти дни пошел на поводу прусского принца-регента, который в письмах поучал племянника: мол, во всех безобразиях Европы повинен Наполеон III, известный «заговорщик и карбонарий». Горчаков вклинивался в семейную переписку. «Лично вам, — доказывал он царю, — позволительно жить в разладе с Тюильри, но России невыгодно ссориться с Францией; нельзя же строить политику на советах из Потсдама!» Объяснение с царем получилось слишком бурное, после чего Горчаков... пропал. Тютчев с трудом отыскал его на задворках Павловска, где министр скрывался на захлавленной даче Надин Акинфовой, своей внучатой племянницы; здесь, в тенистой тиши, князь затаился от проклятых «принципов легитимизма», а его племянница — от мужа, которому она изменяла с уланами.

— Я ничего не желаю знать, — закричал министр, завидев поэта, — я плюю на всякую политику... ну ее к чертовой матери! Европа может забыть, что был такой князь Горчаков...

Вдоль забора росли широченные лопухи и высокая крапива. Придерживая вороха раздуваемых ветром юбок, на визжащих качелях

* Тевтонская ярость (*лат*) — выражение Тацита

взлетала к небу «соломенная вдова». Горчаков выглядел скверно, салопоподобный шлафрок делал его смешным.

— Наполеон, — начал Тютчев, — из роли освободителя Италии вдруг стал ее предателем. Венеция так и осталась за Габсбургами. Австрия отдала лишь Ломбардию, да и то не Италии, а самому Наполеону... Если итальянцы под знаменами Гарибальди устроят хорошую революцию, то не возродят ли наши фараоны Священный союз монархов?

Горчаков не вытерпел — стал рассуждать:

— Признаюсь, что иногда, слушая своего государя, я ловлю себя на мысли, что времена Меттерниха и Нессельроде уже вернулись. Но удушить Италию — значит гальванизировать Австрию к ее прежней агрессивной жизни... на это я не способен!

Когда престолы с треском рушились, он испытывал невольное беспокойство. Горчакова, как и царя, тоже пугала революция, и он тоже вступался за монархов, сверженных народом, — все это в духе дипломата империи. Тут ничего не исправишь и не убавишь, а искажать образ Горчакова, лакируя его, неуместно. Но цилиндр на голове министра (все-таки цилиндр, а не корона!) делал его гораздо смелее монарха...

Через двор, обжигаясь о крапиву, уже шагал скороход из Царского Села, он нес письмо: его величество ласково просил его сиятельство вернуться к своему портфелю

— Все-таки нашли меня, без Горчакова не можете. — Князь провёл ладонью по заросшей щеке. — Господи, так хорошо жил, а теперь опять — надо бриться, надо кланяться!

В этом году Россия закончила войну, длившуюся 50 лет: солдаты славной Кавказской армии штурмом взяли неприступную скалу, на вершине которой, в ауле Гуниб, засел Шамиль со своими мюридами. Пленный имам был встречен в Петербурге с почетом. Шамиля возили по театрам и институтам, он посетил Пажеский корпус, где когда-то учился его сын, позже погибший в горах от безумной тоски. Шамиль выразил желание повидать его педагогов, а в разговоре с ними бурно разрыдался... При осмотре электромашин Шамиль сказал:

— Об этом мне рассказывал покойный сын, но я думал, что он в России сошел с ума. Оказывается, вот в чем тут дело!

В арсенале, разглядывая новейшие пушки, Шамиль долго не мог оторваться от горного орудия с вьючным лафетом. Памятью о кавказском обычае — дарить гостю все, что ему нравится, начальник арсенала великодушно сказал, что дарит ему эту пушку. Шамиль отвечал доброму генералу — со вздохом:

— Если бы вы догадались сделать это пораньше...

От его зоркого глаза не укрылось множество нищих возле храмов. Шамиль не понимал, какой толк оделять их по копейке, как это делали русские, и, взойдя на паперть, имам обошел ряды нищих, выдав каждому сразу по сто рублей...

Впервые на Кавказе перестали стучать выстрелы.

Но зато начинались волнения в Польше!

Бисмарк переслал Горчакову чудовищный совет:

«Бейте поляков так, чтобы у них пропала охота к жизни; лично я сочувствую их положению, но если мы хотим жить, нам не останется ничего другого, как только истребить их...» Горчаков сказал:

— Наверное, Бисмарк выпил лишнего. С ним это бывает!

Заключение первой части

В приемной зале министерства собрались послы и посланники, поверенные в делах и консулы иностранных государств. К ним вышел седенький, умиротворенный Горчаков в строгом черном фраке, поверх жесткого пластрона манишки слегка покачивался при ходьбе орден Золотого Руна (злосчастный библейский телец, перехваченный под животом муаровой лентой). Стало тихо; секретарь подал министру сафьяновый бювар. В конце пространной речи, зовущей государства к мирному сосуществованию, Горчаков вдруг захлопнул бювар с таким треском, будто выстрелил из пушки, и на высокой ноте выделил слова:

— Господа, считаю приятным долгом сообщить, что Россия выходит из того положения сдержанности, какое она считала обязательным для себя после Крымской войны...

Подозрительное молчание. Кто-то спросил:

— Не означает ли заявление вашего высокопревосходительства, что Россия склонна нарушить условия Парижского мира?

— Нет, — без промедления отвечал Горчаков, — ни одного из пунктов Парижского трактата мы нарушать не намерены.

Папский нунций, которого это дело меньше всего касалось, попросил князя повторить заявление. Горчаков охотнейше повторил. Опять молчание. Думали. Но придаться было не к чему, и дипломатический корпус откланялся... Возвращаясь в кабинет и бросая бювар на стол, Горчаков сказал советникам:

— Я дорого бы дал, чтобы послушать, о чем они говорят сейчас между собою, спускаясь по лестнице к каретам.

— Не важно, о чем говорят, — хмыкнул Жомини, — важно, что они опишут своим дворам и кабинетам.

— А мое заявление оформлено столь же обтекаемо, как и подводная часть английского «чайного» клипера — ни одной заусеницы... Но я сделал заявку на планы будущей политики.

Вечерело. Ах, как дивны эти сиреневые вечера...

Петербург уже зажигал в окнах теплые огни.

Отвечая своим мыслям, Горчаков рассмеялся.

— Разве может Европа жить без России? Удивляюсь я нашим критикам, — сказал он, явно довольный. — Да они там все передохнут от черной меланхолии, если нас не станет...

Трудолюбивая Россия молча «сосредоточивалась».

Часть вторая СОТВОРЕНИЕ КУМИРОВ

То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно... отныне наше будущее широко раскрыто перед нами!

Ф. И. Тютчев

(из переписки с дочерью)

Популярность

20 июня 1860 года капитан-лейтенант Алексей Шефнер привел в бухту Золотой Рог транспорт «Манджур», с которого сошли на берег 40 саперов с топорами и пилами, построили барак и баньку. По вечерам из чащи выходили мягко ступавшие тигры и, усевшись рядом на свернутые в колечко пушистые хвосты, желтыми немигающими глазами подолгу следили за работой людей...

Россия оформляла восточный фасад, окнам которого теперь извечно глядеться в безбрежие Тихого океана! Скоро здесь бросили якоря «Воевода», «Боярин», «Посадник», «Пластун», «Джигит», «Разбойник» и крейсер «Светлана» (в честь последнего пролегла главная улица — Светланская). Так начинался славный град Владивосток, в гербе которого уссурийский тигр держит в когтистых лапах два золотых флотских якоря.

Трудами мастеровых и матросов созидалась большая политика на востоке страны, а Горчакову сразу прибавилось дел... Но иногда

от дел становилось неумогу — расслабленной походкой министр отправлялся в Эрмитаж, где садился на диванчик перед полотнами старых мастеров, всматривался в благородную темноту древних красок. У него тут завелся даже приятель — дверной страж Эрмитажа из отставных гренадер, богатырь ростом, бывший одногодком министру, у которого, по странной случайности, были те же хвори, что мучили и его сиятельство... Горчаков жаловался драбанту:

— Опять не спал. Вот тут ломило. Всю-то ноченьку!

— А вы скипидаром пробовали?

— Да не помогает. И в глазах — мухи зеленые.

— Жениться вам надобно, тады воскреснете.

— Да ведь я уже старенький.

— А вы на молоденькой...

В министерстве Горчаков просматривал газеты, не брезгуя прочитывать даже критику своих действий, — князь всегда учитывал силу общественного мнения, которым дорожил.

— Нет ничего гибельнее для страны, — утверждал он, — чем апатия народа к внешней политике своего отечества...

Горчаков был популярен не только за рубежом, но и внутри России (по тем временам такое положение — редкость). К нему уже потянулись депутации обиженных, не имевших никакого отношения к дипломатии, и министр иностранных дел, посреди пышного казенного великолепия, участливо принимал раскольников, землепашцев и купцов. Однажды он промурыжил в приемной английского посла: «Когда я говорю с народом, амбасадор королевы Виктории может и подождать...» Современник отмечал: «Впервые у русского министра нашлись нужные слова не только для салонов, но и для публики. Его блестящие речи, острые и меткие слова доходили до просвещенных дам и помещика в провинции, до скромного студента и блестящего гвардейца». Правда, князя иногда упрекали в излишней самоуверенности — обычный упрек для человека, который все уже зрело обдумал, и такой человек, конечно, не станет сдавать своих позиций перед первым же встречным... Между тем интеллигенция, почуяв в нем родственную душу, заваливала Горчакова письмами со множеством советов; князь говорил своим близким:

— Ученые и писатели пересылают мне в основном цитаты из философских учений. Надергают из Бойля, Гизо или Токвиля и доводят до моей милости с наказом, чтобы я, используя свое влияние, немедленно приложил их к русской действительности, вроде лечебного пластыря. Им интересно знать, что из этого получится. А вот мне совсем не интересно, ибо я заведомо знаю, что чужеродный пластырь к нашему телу не пристанет...

Его поступки уже тогда пытались анализировать: «Что ни говори о Горчакове, однако он единственный из окружения царя, который имеет либеральные поползновения. Правда, на практике он не всегда выдерживает, заявляя, что власть не может обойтись без маленькой доли произвола. Кроме того, занятый политикой, он неясно осознает, в чем заключены либеральные действия...» Горчаков любил фразу:

— Власть твердая, а меры мягкие!

Московский профессор Б. Н. Чичерин писал, что Горчаков «не поражен барскими предрассудками и способен понять толковое мнение, не пугаясь ложных признаков демократии и красной республики». Это правда: когда в 1878 году будут судить революционерку Веру Засулич и когда суд присяжных вынесет ей оправдательный вердикт, Горчаков первым встанет из рядов публики и устроит ей бурную овацию.

Насколько ему повезло с пасынками Мусиными-Пушкиными, настолько огорчали старика родные сыночки — Михаил с Константином... Незаметно выросли и стали писаными красавцами, от которых женщины походили с ума, а отец предчуял, что эти ферлакуры седина его не украсят. Молодые князья Горчаковы в свете носили прозвище «магистры элегантности», по почте они выписывали из Парижа белое, пересыпанное лепестками чайных роз, а их папенька знай себе оплачивал векселя, которые кредиторы несли прямо на дом, будто сговорились пустить министра по миру с торбой. Горчаков, человек прочных моральных устоев, тяжело переживал за мужей империи, которым его сыновья регулярно приделывали ветвистые рога... Сегодня князь начал день с того, что надавал своим чадам звонких оплеух, когда они еще не жили в постелях, обдумывая творческие планы на вечер. Сыновья обиделись:

— Но если мы не станем бывать в свете, так, скажите, чем же нам еще заниматься?

— Ковыряйте в носу... дураки! — отвечал отец.

К столу он вышел взъерошенный, глубоко несчастный, страдая. Старый камердинер Яков посочувствовал ему:

— Ваше сясество, да почто так убиваться-то?

— А как иначе? — сказал Горчаков трясущимися губами. — Я уже на седьмом десятке, и мне их не выпороть. Эти сиятельные жеребцы решили, что жизнь — сплошной карнавал бесплатных удовольствий. А они не подумали, что отец их смолоду трудится и конца своим трудам не видит...

Яков подал ему чашку бразильского шоколада. Чашка, которую держал Горчаков, была для него драгоценной реликвией: из нее любила пить чай покойная Мария Александровна.

— Жаль, что они уродились в красавицу мать. Пошли бы в меня, в урода такого, тогда сидели бы дома... Вот сошлю их, куда и ворон костей не заносит: Мишке консулом в Парагвай, а второго на Ямайку... пусть там жарятся!

В дурном настроении подкатил к министерству, спросил дежурного регистратора — что получено за ночь с телеграфа?

— Существенного, ваше сиятельство, в мире ничего не произошло. Прескверно идут дела в Австрии, и неясно, как там справятся с венграми, настаивающими на личной унии. Еще получено сообщение о выборах в Штатах: янки намечают в президенты какого-то лесоруба по имени Авраам Линкольн, за которым они признают талант остроумного оратора. Линкольн, кстати, видный проповедник против рабства чернокожих.

— Что там негры! — отмахнулся министр. — У нас вон белокожие не могут раскрепостить своих же белокожих...

Был день доклада царю, и Александр II высказал Горчакову мысль о «солидарности» венгерской и польской революций:

— В случае нового мятежа в Венгрии я, кажется, забуду прежние распри и брошу свои войска противу мадьяр, как это сделал в сорок девятом году мой покойный батюшка.

— Иными словами, государь, — ответил Горчаков, — вы желаете углубить пропасть между властью и общественным мнением русского народа. Тогда я подаю в отставку...

Это была уже пятая его просьба об отставке. Таким радикальным способом он отстаивал свои взгляды в политике. Царь всегда рвал его просьбы, говоря с милой любезностью:

— Вы мой ближний боярин. Не покидайте меня...

В середине дня Жомини сказал, что в приемной топчется прусский посол Бисмарк, желающий аудиенции.

— Не надо, — ответил Горчаков. — У меня назначен разговор с маркизом Монтебелло, а Бисмарк смотрит на мои симпатии к Франции, словно цензор на крамольную статью.

.....
Гуляя вечерком по Невскому, Бисмарк уловил в публике чье-то знакомое лицо; приподняв котелок, посол сказал:

— Не могу вспомнить, откуда я вас знаю?

— Вилли Штибер, — ответил тот, озираясь. — Меня представил вам покойный полицай-президент Гинкельдей, когда вам захотелось спереть бюро из дома венского графа Рехберга!

— Спереть... зачем же так грубо? Я ведь не вор, а политик. А что вы делаете в Петербурге?

— Налаживаю связи царской жандармерии с нашей тайной полицией по розыску в Европе русских революционеров.

— Желаю успеха, Штибер! Но если я достигну вышней власти в Пруссии, вы уже не будете шляться по слякоти, вы станете ездить в карете, как большой раздувшийся прыщ.

Этой фразой посол развеселил шпиона:

— В нашем деле из окошек кареты немного снюхаешь. А если вы дадите мне власть над пруссаками, вот тогда-то я нашлаюсь пешком столько, что ноги будут отваливаться...

Бисмарк застал Россию на полном ходу — в напряжении политики не только внешней, но и внутренней, что помогло ему увидеть русскую жизнь гораздо полнее других послов Пруссии. Конечно, петербургская знать была избалована общением с иностранными послами — оценивали изящество манер, прощали коварство речевой казуистики, умение болтать обо всем на свете и не проболтаться в том, что нужно скрывать. Бисмарк никак не подходил под эту категорию! Представьте хмурого пожилого человека в затасканном темно-буром пальто, в сопровождении собаки без поводка, которая глядит на вас долгим и внимательным взглядом. На станции Лигово одна дачница испугалась этого взгляда, но Бисмарк вежливо утешил ее: «Мадам, мой пес сделал на вас стойку, ибо еще никогда ему не приходилось видеть таких красивых глаз!» Бисмарк не затуманивал речей, как оракул. Не был дамским угодником на придворных раутах. Не извивался ужом перед сильными мира сего. Улыбка его выражалась в изгибе губ, а глаза оставались строгими. В фигуре прусского посла ощущалась постоянная напряженность, но не скованность. В обществе он всегда появлялся один, а на вопросы о жене отвечал, что она имеет свои обязанности, которые и должна исполнять как добропорядочная мать семейства. Иоганна фон Бисмарк держалась мужем взаперти, ибо не обладала должной «светскостью». Все интересы этой некрасивой и недалекой женщины ограничивались кухней и детской, заботами о насыщении мужа едой и выпивкой, она тщательно, словно хранитель музейных редкостей, следила за температурой в комнатах посольства. Этих качеств маловато для появления в петербургских салонах, где русские дамы, оставив терзать парижские моды, вдруг вступали в жаркий спор об Ольмюцкой конвенции. Поначалу это Бисмарка потрясало, потом он привык, что петербургские женщины знают о политике гораздо больше, нежели пишут в газетах...

Горчаков страшно не любил, если иностранные послы — в обход его, министра! — совались в кабинет императора. Бисмарку он прощал такую партизанщину, а царь зазывал посла снять на лето дачку в Царском Селе, чтобы быть к нему поближе. Но хроническое безденежье лишало Бисмарка возможности пожить на лоне природы. Доходы посла не превышали 8000 талеров, а расходы по посольству составляли 12 000 талеров (приходилось доплачивать из своего кармана и жить

крайне умеренно). Все дипломаты в Петербурге, подражая русскому стилю жизни, устраивали приемы и званые вечера — Бисмарк не мог позволить себе такой роскоши, и потому швейцар в дверях посольства был приучен раз и навсегда отвечать случайным гостям, что господина прусского посла «сегодня нет дома».

Вскоре Берлин известил Бисмарка, что он произведен в чин ротмистра. Горчаков отнесся к этому с таким равнодушием, как если бы его дворнику прибавили полтинник жалованья, а барону Жомини он сказал:

— Вот вам типичный пруссак! Неглупый человек, а эполетам радуется, словно кот валерьянке. Мало того что Бисмарк частенько выпивает, так он еще и... милитарист. Алкоголь да юнкерские замашки — опасное сочетание для политика!

Сияя каской и эполетами, Бисмарк появился в окружении царя на красносельских маневрах. В павильоне для почетных гостей и военных атташе Александр II прижал его к сердцу:

— Рад видеть у себя прусского ротмистра...

Если б в павильоне слышали, как в рядах гвардейской кавалерии обсмеивали Бисмарка юные, безусые корнеты:

— Надо же! Дяде всего полвека, а он, гляди, уже ротмистр. Даже страшно подумать, что будет с Бисмарком, когда ему стукнет под девяносто... Неужели дадут полковника?

Момент показательной атаки русской кавалерии был незабываем. Из-за горизонта, прямо из грозовой тучи, вдруг возникла лавина конницы, разогнанной в бешеном аллюре скачки. Вой, лязг, топот, крики, ржанье, звуки труб... Казалось, многотысячная масса лошадей и всадников, увлеченных стихийным разбегом, сомнет и опрокинет жалкие мостики павильонов, над которыми струились шелками золотистые тенты. И точно в десяти шагах от незримой черты «лава» вдруг разом осадила лошадей на крупы, перед публикой взметнулись блещущие подковы, а с губ лошадей сорвались и поплыли по воздуху, словно одуванчики, легкие ключья бешеной пены. Пропел рожок — кони опустились, разом всхрапнув. Из-под кирасирских касок, сверкавших на солнце, улыбались иностранцам и дамам молодые загорелые лица русских парней...

— Это было бесподобно! — восхитился Бисмарк.

— Но зато сколько пыли, — чихнул Горчаков...

Обратно из Красного Села публика возвращалась по новой железнодорожной ветке, которую недавно протянули от Лигова и теперь тянули дальше — до Ревеля; в вагоне Бисмарк подсел к новому английскому послу лорду Нэпиру; под перестуки колес министр слышал, как Бисмарк убеждал Нэпира:

— Схватка самой России с Англией была бы неестественна, как драка слона с китом. Россия не может победить ваше королевство,

но она способна причинить Англии страшную боль от удара по Индии... Вы, милорд, этого не боитесь?

— Англия ничего не боится, — холодно отвечал Нэпир.

В кругах Европы давно блуждала шаткая версия, будто России ничего не стоит, перевалив хребты Афганистана, спустить свои армии в цветущие долины Ганга, чтобы выбить оттуда англичан — раз и навсегда! Но в задачи русской политики это никак не входило. Однако Горчаков предчуял: стоит России выйти на Амударью и блеснуть штыком в песках Каракумов — сразу начнется ненормальная схватка «кита со слоном».

Бисмарк депешировал в Берлин министру Шлейницу: «Новым явлением среди высших сословий России представляется, как и в Венгрии, тяготение к русскому национальному костюму. В театрах не редкость встретить изящных господ в голубых и зеленых бархатных кафтанах, отороченных мехом, и в боярских шапках. Духовенство поощряет народничанье... Крестьянский вопрос поглотил почти все остальные интересы. Дворянство настраивается все враждебнее. Император подавлен серьезностью внутреннего положения и далеко не проявляет прежнего интереса к внешней политике. Вчера он мне с глубоким вздохом сознался, что выезды на охоту — самые счастливые его дни... Горчаков делает вид, будто все, что ни свершается в России, все происходит согласно зрело обдуманной программе!»

Александр II пригласил Бисмарка на охоту.

В предчувствии перемен

Пришла зима — снежная, морозная, краснощекая; на перекрестках улиц Петербурга полыхали костры, возле них, прихлопывая рукавицами, отогревались прохожие... Слухи о близости реформы наполняли столицу; Бисмарк спросил Горчакова, как на нем отразится освобождение крестьян.

— Лично меня это никак не заденет, я ведь не обладаю именьями и никогда не был рабовладельцем. (Бисмарк удивился.) Не удивляйтесь, — продолжал Горчаков. — У меня было четыре сестры, и, выйдя из Лицея, я сразу же отдал им в приданое отцовскую деревеньку. С тех пор живу только службою! Когда вы едете на охоту? — спросил он. — Что ж, поздравляю. Вы увидите царя в его любимой стихии. Наш знаменитый поэт Жуковский был его воспитателем. Он мне рассказывал, что, наблюдая за учеником, долго не мог уяснить, в чем же его главное пристрастие, и только на охоте заметил в глазах цесаревича подлинное воодушевление восторга...

Горчаков был тщеславен и сейчас испытывал честолюбивое удовольствие: война в Италии и паника среди монархов привели к смене кабинетов Вены, Парижа и Лондона.

— Одного меня не высекли! Правда, жаль Валевского, но зато я рад, что канцлера Буоля выставили за двери политики, как щенка, обфурившего подол знатной дамы... Я надеюсь, — продолжал он с улыбкой, — что скоро вы займете в Берлине точно такое же положение, какое я занимаю в Петербурге.

Через стекла очков на Бисмарка пронзительно смотрели глаза — острые, как иголки. Ленивым движением барина Горчаков протянул ему донесение русского посла из Берлина:

— Надеюсь на вашу скромность — вы забудете то, чего не следует знать. Но это вас взбодрит... читайте!

Русский посол сообщал, что в Берлине назревает кризис в верхах. Военный министр Роон ожесточил ландтаг деспотизмом речей, требуя от Пруссии денег, денег и еще раз денег — ради увеличения армии и строительства флота. Прусская военная система держалась на устаревших законах 1814 года. Но с тех пор население увеличилось на 8 миллионов. А под ружье призывали, как и полвека назад, лишь 40 тысяч рекрутов, отчего только 26 процентов здоровых молодых мужчин попадали под мобилизацию. Подобно тому как врачи видят в большинстве людей будущих своих пациентов, так и Роон с Вильгельмом в каждом пруссаке усматривали будущего солдата. А всеобщая воинская повинность — это главное условие для автоматической способности нации к мгновенной мобилизации.

— Прочли? — спросил Горчаков. — Это касается лично вас, ибо наличие кадровой армии повлечет за собой переход к более активной политике. А кто, как не вы, ее возглавит?

— Но в Берлине меня считают вроде чучела, которым удобно пугать дурашливых младенцев. Чувствую, что мне ходу не дадут. Я бы с восторгом остался послом в Петербурге до конца своих дней. Меня заботит у вас только страшная дороговизна дров и необходимость всюду давать чаевые...

Об этом разговоре князь сообщил императору.

— Бисмарка, — ответил царь, — можно бы переманить на русскую службу. Вопрос в том, куда его определить.

— Человек он капризный, — поморщился Горчаков. — Иногда манерен, как избалованная женщина. Однако для России выгоднее иметь Бисмарка преуспевающим в Берлине.

Царь отбарабанил по столу «Марш Штейнмеца».

— Предстоят перемены... предчувствую их даже сердцем. А как здоровье прусского короля Фридриха-Вильгельма Четвертого?

— Он заточен в старом Сан-Суси, и, конечно, когда ненормальный запиает лекарство водкой, то на улучшение его психики рассчитывать не приходится... Помню, проездом через Берлин я был у него на приеме в Бабельсберге, там собиралось интересное общество. Поэты, ученые, издатели. Король был неглупым человеком. Но меня уже тогда поразило: начнем смеяться — и смех сразу же переходит в икоту.

— Да, — заключил царь, — предстоят перемены. На время нашей поездки в Варшаву я зачисляю *Бисмарка в свою свиту*.

Австрия копила войска на границах Ломбардии, чтобы снова накинуться на Пьемонт и вернуть себе потерянное в минувшей войне. Горчаков с большим тактом подготовил свидание трех императоров, дабы от самого начала пресечь всякие попытки к закабалению Италии. В Варшаву съехались монархи — русский, австрийский и принц-регент прусский; в Париже это рандеву расценили как злоеущий симптом, и Морни заявил Киселеву, что в варшавском свидании французам видится воскрешение старых призраков:

— Неужели вы соскучились по Священному союзу?..

Но у Горчакова были иные цели. Перед монархами он произнес витиеватую речь, за красотами стиля которой скрывалось главное: Россия не позволит австрийским штыкам распоряжаться судьбою итальянского народа. Бисмарк откровенно поддержал русского министра, чем возмутил принца-регента Вильгельма.

— Неужели вы полагаете, что народ вправе отнимать у священных особ их короны? — спросил старик, фыркая.

— Все происходящее в Италии я отношу к числу закономерных природных явлений. Гарибальди сокрушает престолы итальянских герцогств не потому, что он родился отпетым негодяем, — нет, просто Гарибальди угадал желания своей нации!

Бисмарк красноречиво глянул на Габсбурга, словно желая его предупредить: за изгнанием Австрии из Италии обязательно последует изгнание Австрии из Германии. Франц-Иосиф с явной мольбою воззрелся на Александра II — в чайнии, что тот, подобно своему батюшке, ляжет костями за Австрию, но царь на этот раз не подвел Горчакова и отвечал вполне разумно:

— Как бы ни складывались дела в Италии, они все-таки складываются, и дай бог итальянцам доброго здоровья...

Вместо отвергнутого Буоля императора Австрии сопровождал в Варшаву граф Рехберг, ненавидевший Бисмарка за его нещадное курение в бундестаге, а Бисмарк, ненавидя Рехберга, все-таки нашел в себе мужество остаться вежливым. Он спросил его о венгерском национальном движении.

— Боюсь, что мадьяры съедят нас, немцев!

В ответ на это признание Бисмарк проявил удивительную прозорливость в планах будущей политики Австрии, которой суждено было историей превратиться в Австро-Венгрию.

— Имей я несчастье быть вашим императором, — сказал он, — я бы отпустил усы, а не бакенбарды. Я бы все в Австрии подогнал под мадыарскую мерку и признал бы за истину, что главное преимущество австрийского кесаря в том и заключено, что он является королем венгерским, а сама Австрия — это лишь болезненный придаток к Венгрии...

Вильгельм перед отъездом из Варшавы поручил адъютанту Мюнстеру объявить Бисмарку свое монаршее недовольство:

— Если вы станете высказывать мнения, отличные от мнения Берлина, вам, к сожалению, никогда не бывать министром.

Бисмарк ответил Мюнстеру — по-деловому:

— А если я стану министром и перестрою сознание Берлина на свой лад... что тогда? Кстати, я прибыл в Варшаву, состоя в свите русского государя. А в подобном амплуа шуршание берлинских кринолинов меня уже не пугает.

Под «кринолинами» он разумел жену принца-регента Августу, глупую старуху, имевшую большое влияние на мужа; Бисмарка она невзлюбила, всюду доказывая, что в Петербурге он слишком «обрусел» и потому не может верно служить Пруссии.

— Что мне передать регенту?— спросил Мюнстер.

— Так и передайте. Только ничего не выдумывайте.

— Жаль, — искренно вздохнул Мюнстер. — Вам ведь хотели предложить портфель министра внутренних дел.

— Это еще не власть! Пусть меня сделают президентом хотя бы на три месяца, и я приготовлю хорошую гражданскую войну в Германии: эта взбучка освежит Берлин, как легкая увлекательная прогулка в окрестностях столицы...

— Я не могу доложить такое, — отпрянул Мюнстер.

— Но я за вас тоже не побегу докладывать!

Физически очень сильный человек, Александр II рисковал один на один выходить с рогатиной на медведя; царь забросил охоту лишь под конец жизни, когда уложил наповал своего обер-егермейстера Скарятина, приняв его за «мишку». Каждый вторник от перрона Варшавского, или Николаевского, вокзала отходил особый поезд, наполненный егерским штатом, загонщиками, кухней с метрботелями и членами иностранных посольств, к которым царь лично благоволил.

Одетый в дубленую бекешу, в высоких валенках, император вошел в вагон со словами:

— А сегодня холодно. Сколько градусов?

— Одиннадцать, ваше величество, — ответили слева.

— Целых двадцать пять, — прогудели справа.

— Вот видите, — сказал император Бисмарку, — царям никогда не приходится слышать правды, потому я и читаю «Колокол»! Спасибо господину Герцену — каждый номер получаю от него бесплатно по адресу: Санкт-Петербург, Зимний дворец...

Миновали окраины столицы, за окнами было черно и студено. Император сидел в обществе поэта Алексея Толстого, независимого гордеца, и венгерского художника Михая Зичи, который давно прижился в России, где стал лучшим иллюстратором Лермонтова. Толстой с царем никогда не церемонился, и сейчас, под гудение паровоза, он читал ему злую сатиру на власть, запрещенную цензурой, а царь с невозмутимым видом слушал и открыто посмеивался... В конце поэт спросил:

— Ну и когда же будет на Руси порядок?

— О чем говоришь, Алеша? — ответил царь, разглаживая пушистые бакенбарды. — Знаешь сенатора Толмачева? Золото был в полковых командирах. Ничто в полку даром не пропадало. А недавно узнаю такую штуку. Велит стричь солдат. Да стричь во всех местах — без исключения! Потом волосами набьет тюфяк и продаст. Денежки — в карман. А я его, сукина сына, считал мастером полковой экономии. Даже другим генералам в пример ставил... Какой же тут порядок?

— Мужиков порем, — сказал Толстой, — а сенатора нельзя?

— Если хочешь, выпори его сам, — обозлился царь...

Приехали — Лисино! На платформе предстала такая картина: прямо в снегу стояли на коленях пять мужиков, держа на обнаженных головах прошения «на высочайшее имя». Магазин-вахтеры, встречавшие царя на станции, уже распалили смоляные факелы, и в едком брызжущем пламени эта сцена рабского унижения выглядела особенно зловеще. Царь пошагал к саням.

— Ливен, собери, что у них там...

Ливен прошел вдоль ряда крестьян, рывками сдернул с голов прошения и сунул их в карман полушубка.

— Поехали! — крикнул царь, навзничь, будто подстреленный, падая в кошевку саней.

Ночевали в деревне, притихшей среди заснеженных дремучих лесов. Александр II остановился в богатой двухэтажной избе местного лавочника; Бисмарк с удивлением обзирал лакированную крышку клавирина, образа в дорогих окладах и высокие фикусы в кадучках. Перед сном ужинали горячими блинами со сметаной. Бисмарк впервые попробовал тертой редьки (причем царь забыл, как зовется редька по-немецки, и за переводом этого слова посылали скорохода к барону Ливену).

Был очень ранний час, когда охотники в окружении своих собак вошли в лес. Егермейстеры волновались, распределяя места таким образом, чтобы выгнать медведя на императора.

— Бисмарк, идите со мной, — предложил царь.

Шли по пояс в снегу. Вспотели и расстегнулись. Отстав от них сажен на десять, шагал страхующий жизнь царя унтер-егермейстер Ильин и, невзирая на сильный мороз, держал голый палец на взведенном курке. Где-то очень далеко слышались резкие собачьи влзай, разноголосье загонщиков.

— Нам стоять здесь, — замер царь; валенками он начал утаптывать вокруг себя площадку. — Заряжайте, посол!

Бисмарк вогнал два зеленых патрона в стволы замечательного ижевского ружья (подарок русского императора).

— Кажется, струнули, — прислушался Ильин...

В морозной дымчатой тишине всходило солнце.

— Мне сейчас трудно, — вдруг тихо признался царь. — В народе не все спокойно. Боюсь, провозглашение манифеста о свободе вызовет досадное непонимание дворян и бунты мужиков. Слава богу, у нас еще мало фабрик, и моему сыну, очевидно, уже предстоит борьба с новым явлением — рабочими! Это уже не деревня, в какой мы с вами сегодня ночевали...

Договорить он не успел: из-за кустов неожиданно прынул на них медведь, еще не очнувшийся от берложного сладкого дрема. Два выстрела грянули разом — бедняга рухнул. Хрустя валенками по снегу, царь подошел к зверюге, склонился над ним:

— Бисмарк, это вы или я? Ну да ладно. Пусть его везут в анатомический театр, профессор Трапп вскрыет его и по пулям установит, кому из нас должна принадлежать шкура...

Александр II вскинул на плечо ружье. Было заметно, что он недоволен возникшим конфликтом (царь не любил, чтобы кто-то опережал его выстрел). Неподалеку загонщики уже разводили костры. Метрдотель прямо на снегу расстилал скатерть, поверх нее лакеи ставили бутылки и закуски. Отовсюду из лесной чащобы сбредались на дым костра егермейстеры, загонщики, дипломаты и кучера. Ели стоя — безо всякой субординации, беря со скатерти все, что на тебя смотрит. Бисмарк, сидя на корточках, подставил стакан под струю рыжей польской старки, бежавшей из бочонка. Рядом с ним царь наливал себе гданской «вудки».

— Ваше величество, — сказал Бисмарк по-английски, — я позволю себе выпить за ваше высочайшее и драгоценнейшее для всей Европы здоровье, что бы у вас не было неприятностей с этой... эмансипацией. Поверьте, что в моем лице на вас взирает верный ваш друг — королевская Пруссия, штыки которой всегда оградят Россию от тлетворных влияний Франции...

По возвращении с охоты Бисмарк в один из дней нанял извозчика на углу Миллионной и, любопытствуя о мнении простонародья, заговорил с ним о предстоящей от царя «милости».

— Да рази ж это воля? — смело ответил ящик. — Одна надежа, что вот нагрянет Гарибальди да трахнет всех разом так, что у бар головы на пупки завернутся... Ннно-о, подлые! — И кони вынесли посла из ущелья Миллионной на широкий простор Марсова поля, где маленький Суворов, похожий на античного воина, воинственно застыл среди сверкающих сугробов...

Бисмарк тоже чувствовал близость перемен.

В пустынной вечерней квартире Горчакова поджидала его племянница Надин Акинфова; он невольно залюбовался ее стройной тенью, четко вписанной в оконный пролет. Величаво и плавно женщина повернулась к нему со словами:

— А я опять бежала от своего злодея.

Горчаков заволновался, всплескивая руками:

— Душенька, но так же нельзя дальше жить.

— Приюти меня, дядюшка, — взмолилась она...

Тютчев откликнулся на появление женщины стихами:

И самый дом воскрес и ожил,
Ее жилищею избрав,
И нас уж менее тревожил
Неугомонный телеграф...

Министр появился с Надин на концерте в Дворянском собрании на Михайловской улице. Он не скрывал, что ему приятно соседство красивой молодой женщины, и, проводя ее в свою ложу, умиленно улыбался... А за спиною слышалось:

— Ах, какая дивная пара! Жаль, что муж не дает Надин развода. Из нее вышла бы неплохая министресса иностранных дел.

— О чем вы, душенька? Надин на сорок два года моложе князя, она доводится ему внучатой племянницей.

— Сорок два? Зато какое положение в свете...

Общий же приговор был таков:

— Надин ведет себя крайне неприлично...

Здесь тоже возможны всякие перемены.

Среди больных котов

Заведомо зная реакционную сущность Бисмарка, легче всего упасть в обличительную крайность и разукрасить этого человека качествами мрачного злодея, погубителя всего живого. Но мы не станем этого делать, дабы не пострадала историческая справедли-

вость. Оставаясь в лагере реакции, Бисмарк мыслил радикальными образами и на свой (юнкерский!) лад творил благое дело будущего своей нации. Я вспоминаю слова Белинского: «Чем одностороннее мнение, тем доступнее оно для большинства, которое любит, чтобы хорошее неизменно было хорошим, а дурное — дурным, и которое слышать не хочет, чтобы один и тот же предмет вмещал в себя и хорошее и дурное...»

Одиннадцать лет упорной борьбы в дипломатии изменили даже Бисмарка: из «бешеного юнкера» и кутилы, из косного помещика Померании он вырос в гибкого политика без предрассудков, хотя и держался прежней формулы: тайна успеха кроется в грубом насилии. А из Берлина его неустанно дразнил письмами генерал Роон: «С гибелью армейского образа мыслей Пруссия станет красной, корона шлепнется в грязную лужу...»

Иногда он чувствовал себя очень тяжелым, отказываясь ходить, или, напротив, настолько легким, что пытался изображать порхающего жаворонка. А по ночам король страшно кричал, что он катастрофически быстро толстеет, туша его уже заполнила покои Сан-Суси и теперь жирное мясо его величества большими зловонными колбасами выпирает наружу через окна и двери... Наконец, Фридрих-Вильгельм IV икнул — и умер!

Власть над страной механически перешла к принцу-регенту, который стал королем Вильгельмом I; он приступил к управлению Пруссией без радости, словно его обрекли на тяжкую трудовую повинность. С покорностью тупого вола король налегал в хомут власти, влача на себе бремя абсолютизма, а скудость идей и неспособность к сомнениям даже помогали ему преодолевать благородную скуку. Вильгельм I не терпел новизны; поэтому, когда настырный Роон советовал призвать Бисмарка для руководства политикой, король злобно огрызнулся:

— Бисмарк способен привести Пруссию к революции, а меня с женою — на эшафот к гильотине. Дайте мне умереть в постели!

Гельмут фон Мольтке, молчаливый и скромный, чертил графики пропускной способности железных дорог, мудрил над картами Австрии и Франции и, как заядлый танцор, не пропускал ни одного придворного бала. Основу боевых сил Пруссии составлял народный ландвер — ополчение. Обремененные семьями, кормильцы детей, эти люди готовы были сражаться за свой фатерлянд, когда на него нападают, но — как говорил Роон — «их и палками не погонишь драться с богатыми соседями».

— Можно ли, — вопрошал Роон, — связывать судьбу Пруссии с настроением нескольких тысяч крестьянских парней? Нам не нужны любители-добровольцы, а только профессионалы, сидящие в казарме

и способные вмиг расхватать ружья из пирамид, чтобы растерзать любого, на кого им укажут офицеры...

Взамен ополчения создали полки. Теперь в случае военной угрозы не надо апеллировать к чувствам нации, призывая ее вставать на защиту фатерлянда. Но парламент отстаивал старинную, как мир, идею «вооруженного народа» — народа, а не армии! Рядовые пруссаки вообще не понимали, зачем нужна армия, если Пруссия не ведет энергичной внешней политики. В реформах Роона народ заподозрил лишь повод для укрепления офицерской касты, и без того уже обнаглевшей. Власть заклинило в тисках кризиса: сверху кричали «да», снизу орали «нет». А финансовый бюджет, на основе которого надо кормить и вооружать новые полки, утвержден ландтагом не был. Роон доказывал, что только «внешняя политика послужит выходом из внутренних трудностей». Коли в Пруссии завелись штыки, надо скорее пырнуть кого-либо в бок — и крикуны сразу притихнут.

— Я уже скомандовал Бисмарку: «На коня!»

Это значило, что Бисмарк скоро появится в Берлине.

— Ах, милый Роон! — ответил король. — Что мне может сказать ваш Бисмарк, если даже я ничего умного придумать не в силах...

В королевском замке устроили нечто вроде консилиума врачей у постели больного. Бисмарк сел за стол напротив министра иностранных дел Шлейница.

Вильгельм I вяло заговорил о внешней политике.

— Но у нас нет политики, — возразил Бисмарк. — Поддержание отношений с дворами Европы на уровне послов и посланников — это еще не политика, а лишь заведение приятных знакомств, какие возникают в светской жизни. В основном же Пруссия собирает камни, запущенные в ее огород, да еще старательно очищает себя от грязи, которой ее забрызгивает Австрия...

Бисмарк развернул свою программу: «Сохранить желательную для проведения нашей политики связь с Россией легче, действуя против Австрии, нежели заодно с Австрией... я высказал лишь опасение, что в Вене слишком переоценивают собственную и недооценивают прусскую мощь... Наше подчинение австрийским иллюзиям, — доказывал Бисмарк, — напоминает мне известный опыт с курицей, которую приковывают к месту, обведя его сделанною мелом чертой». По мнению Бисмарка, правительство уподобилось глупой курице, когда в войне за Ломбардию вдруг решило «спасти» Австрию от разгрома.

— Ради чего спасти? — рассуждал Бисмарк. — Ради того только, чтобы Австрия, благодарная за спасение, опросталась на наши головы? вспомните, как она расквиталась с Петербургом за услугу в подавлении венгерского мятежа...

— Сколько вам лет? — спросил король.

— Сорок шесть, — отвечал Бисмарк.

— Еще мальчик, и хотите поссорить меня с Веной?

Шлейниц глянул в какую-то затерханную бумагу:

— Покойный кайзер Фридрих-Вильгельм Третий, лежа на смертном одре, заклинал Пруссию сохранять и крепить Священный союз монархов, держась мудрых советов из Вены... Тевтонская верность заветам предков и долгу — превыше всего.

— Я не знал, — выкрикнул Бисмарк, — что министр иностранных дел Пруссии получает из казны деньги за такую лирику!

Вильгельм I, однако, вступился именно за «лирику», в которой усмотрел и явный политический результат:

— Рассорив меня с Австрией, вы ослабите мою Пруссию, а тогда Франция сразу же вцепится зубами в Рейнские земли.

— Но, ослабив Австрию, — огрызался Бисмарк, — потом можно смело выломать все передние зубы красоте Франции.

— Вы, — брякнул Шлейниц, — грозитесь объединить Германию через кровь и пожары? Но это путь итальянский, это дорога разбойника Гарибальди. А разрыв с прошлым недопустим...

Прозвучал камертон свыше — королевский:

— Мне дороги традиции покойного отца, и потому я склоняюсь к точке зрения своего министра. Извините, Бисмарк: я имел терпение выслушать вас, но ваши взгляды не только опасны — они убийственны для Пруссии...

Возвращаться в Петербург ни с чем было стыдно.

— Сейчас в Берлине царит настроение большого кота, — рассказывал он Горчакову. — Конечно, Роон тоже большой кот, но генерал хотя бы знает, чем надо лечиться — штыками!

Фридрих Великий дал последнюю яркую вспышку ненависти к немцам. Потом все попритихло. Немцы старательно ковырялись на картофельных грядках, были сыты вареной колбасой и веселы от кружки пива. Европа уже начала жалеть этих аккуратных, трудолюбивых скромников:

— Ах, эти бедные и глупые Михели...

Но повитый плющом мир немецких идиллий быстро разрушался. Аграрная Пруссия, торговавшая хлебом, вдруг зарычала машинами фабрик. Задымленные пейзажи Прирейнских земель и Вестфалии стали напоминать промышленные районы Англии — Ланкашира и Йоркшира; бурно развивалась немецкая химия и металлургия; по всему миру расходились столовые ножи, бритвы и ножницы из отличной золингенской стали; на дорогах Пруссии стало вдруг тесно — в ряд с одной колеей немцы спешно укладывали вторую (а иногда даже третью).

Альфред Крупп торговал уже не только горшками и вилками: на его полигонах в Эссете, строго засекреченные от посторонних взоров, постреливали пушки. Борзиг гнал по магистралям Европы быстроходные локомотивы, не ведающие усталости. Гальске опутывал земной шар телеграфной проволокой. Сименс поставлял для связи континентов отличные подводные кабели. А фон Унру быстро-быстро укладывал рельсы, в его руках была вся газовая промышленность страны.

Пруссия развивалась сообразно запросам времени...

Бисмарк не был романтиком-одиночкой! Объединения хотела вся Германия, и по немецким землям маршировали сплоченные ферейны (даже пожарных, даже филологов и юристов), под пение фанфар уже раздавались пангерманские призывы:

— Поспешим на гимнастические площадки и на стрельбища, укрепим руки и грудь для борьбы, выверим глаза для меткой стрельбы. Каждый гимнаст — стрелок, а каждый стрелок — гимнаст. Все мы — солдаты будущего Германского рейха, и мы еще покажем Европе, что такое «бедный и глупый Михель»!

Летом 1861 года король с женой гулял по Лихтентальской аллее в Баден-Бадене, когда к нему подошел лейпцигский студент Оскар Беккер и, отвесив низайший поклон, выстрелил. Пуля пробила воротник пальто, оцарапав королю шею. Беккер получил 20 лет тюрьмы, а на суде рыдал как младенец:

— Я хотел только напугать возлюбленного короля, как Орсини напугал бомбами Наполеона Третьего, после чего и началось объединение Италии... Я хотел лишь единства всех немцев!

.....
На один кризис власти наслаивался второй... Кайзер вдруг пожелал, чтобы Пруссия присягнула ему на верность. Ландтаг возроптал: присяга монарху несовместима с прусской конституцией. Король отстаивал свои права:

— Если я присягнул на верность конституции, то почему же нация не желает присягнуть на верность мне, своему королю? В этом абсурде я усматриваю, что из меня хотят сделать лакея, но при этом никто не желает стать моим лакеем...

Роон, этот бойкий милитарист, сообщал Бисмарку: «Положение обострилось до разрыва — король не может уступить, не погубив навсегда себя и корону... Стоит ему уступить, и мы на всех парах введем в болото парламентарщины».

— Уступите, — внушал он королю, — и специфический блеск прусской короны сразу померкнет... Вы плачете? Вы бы не плакали, если бы власть принадлежала Бисмарку. Уж лучше погибнуть на штыках...

Роон просил Бисмарка снова приехать в Берлин, чтобы одним взмахом меча прикончить страдания короля, запутавшегося между казармой и парламентом, между присягой и конституцией.

При виде Бисмарка король сказал ему:

— Газеты Англии пугают меня, что скоро придет прусский Кромвель и дело кончится для меня топором... по шее!

Он выразительно посмотрел на Бисмарка, и тот, прочтя во взгляде короля немой вопрос, дал на него четкий ответ:

— Нет, я не Кромвель.

— Пруссия заблудилась, как мальчик в темном лесу, где живут злые волшебницы... Куда идти? Что нам делать?

В ответ — чеканная и весомая речь Бисмарка:

— Революция привила нации вкус к политике, но аппетита ее не удовлетворила. Теперь немцы, мучимые голодом, ковыряются на помойных ямах либерализма... А если, — подсказал Бисмарк, — умышленно вызвать ландтаг на конфликт? Потом разогнать их всех штыками, и пусть Германия видит, как прусскому королю безразлична парламентарная сволочь...

Это была хорошо обоснованная провокация!

Но в том-то и дело, что король, заскоружный пруссак, уважал порядок во всем, даже в соблюдении конституции, и поневоле боялся ее нарушить (опять-таки по причине страха перед эшафотом и прусского пиетета к дисциплине). Бисмарк увлекал его на крутые повороты истории, но абсолютист боялся, как бы его монархическая таратайка не ковырнулась в канаву вверх колесами... Вильгельм I пошел на компромисс: вместо присяги он решил устроить коронацию в древнем Кёнигсберге, чтобы пышностью церемонии затмить свое унижение. Бисмарк спешно депешировал в Петербург — Горчакову: «В то время, как я при полном штиле плыл с востока по Балтийскому морю, западный ветер раздул здесь паруса из кринолина и придал государственной мантии столь удачные складки, что ими прикрыты самые отвратительные прорехи...» По дороге в Кёнигсберг генерал Роон предупреждал Бисмарка:

— Король остался для всех добрым либеральным дедушкой, а нас, Отто, загнали в самый правый угол прусской политики, где мы и щелкаем зубами, как затравленные волки...

В канун коронации Бисмарк нашептал королю:

— Ваше величество, я никогда не был доктринером, слепо держащимся за те слова, что сказаны мною ранее. Все на свете быстро меняется, и ничто здесь не вечно. Только глупцы хватаются за одряхлевшие формулировки...

Это была заявка на будущее, но король не понял:

— Бисмарк, вы в чем-то извиняетесь?

— Нет. Но не считайте меня фанатиком...

Под сводами кёнигсбергского собора стонал орган и гремели возвышенные хоралы мессы. В обстановке мистической торжественности Вильгельм I возложил на себя корону, еще не ведая, что затерявшийся среди придворных Бисмарк в горниле войн и в морях крови переплавит скромную корону прусских королей в величественную корону германских императоров...

В тронной речи кайзер заявил:

— Я — первый король Пруссии, окруженный не столько регалиями монаршей власти, сколько стесненной конституцией, доставшейся мне в наследство от революции, но я не забываю и прошу всех помнить, что восприял корону с престола господня!

Этими словами Гогенцоллерн зализал, как собака, свежую рану своей оскорбленной гордости. Между тем кризис власти продолжался, и Бисмарк ощутил его остроту по той любезности, с какой обратилась к нему королева Августа: глупая старуха в самый патетический момент церемонии вдруг затеяла с Бисмарком разговор о внешней политике, в которой она ни черта не смыслила... Король, почуввав неладное, прикончил пустой разговор словами:

— Навещайте нас в Бабельсберге, мы будем рады.

В Бабельсбергском замке тускло горели свечи и шуршали ненавистные кринолины (фру-фру). После блестящего, утонченно-модного санкт-петербургского двора, поражавшего чрезмерным, почти варварским великолепием, потсдамский дворик казался простеньким и бедненьким, почти сиротским. Бисмарк невольно отметил его чопорность и строжайшее соблюдение этикета в мелочах. Королеву Августу лакеи возили по комнатам в кресле на колесиках, при этом она вязала мужу чулок и говорила так тихо, что ее собеседникам приходилось напрягать слух. Но в ответ королеве приходилось орать, как на базаре, ибо она была глуховатой. Августа предложила гостям хором пропеть хвалу господу богу. Гости, разом открыв рты, дружно затянули псалмы. «Как в деревне... хуже!» — решил Бисмарк... Лакей в белых нитяных перчатках, обнося гостей, подавал на выбор — ломтик лососины или засохший кексик. Зажав между коленями треуголку, Бисмарк стоя поглощал жесткую лососину. Вокруг него деликатно звякали сабли и ташки военных. Благовоспитанные фрейлины чинно поедали мороженое, присыпанное тертым барбарисом. Бисмарк косо поглядывал по сторонам. Вот как писал ядовитый Гейне, —

Обер-гофмейстерина стоит,
всером машет рядом,
но, за отсутствием головы,
она улыбается задом...

Бисмарк нарочно завел речь о том, что в Петербурге царит блестящая, приятная жизнь, а русские — люди милые и умные.

— Если б не эти дрова, что стоят так дорого!

Старая королева в ответ ему сказала:

— Бисмарк, вы заблуждаетесь. Русские — закоренелые злодеи, воры и разбойники. Они убили моего дедушку...

Дедушкой прусской королевы был русский император. Звали его — Павел I.

Фрейлины чинно и благородно лизали мороженое.

Обер-гофмейстерина без головы улыбалась...

Это еще не Германия — пока что Пруссия!

Завершение этапа

Тютчев долго был за границей, вернулся домой под осень и поспешил в Царское Село повидаться с Горчаковым, жившим в резиденции императора.

Была уже пора увядания природы, на матовом стекле тихих вод остывали желтые листья, —

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложились сумрачные тени
Осенних ранних вечеров...

— Ну как там поживает Европа? — спросил Горчаков.

— Ужасно! — отвечал поэт. — Темп общего сумасшествия еще больше усилился, даже книги стали покупать стоя, словно говядину на базаре. Очень много красивых женщин — и все они, как назло, молодые, а мы уже старые.

— Федор Иванович, никогда не смотрите в зеркало.

— Старость все-таки ужасна!

— Но она доставляет мне массу удовольствий. Я обладаю теперь всем, чего был лишен в юности. Смолоду, что-либо исполнив по воле начальства, я бегал и спрашивал: так это или не так? А теперь делаю, как мне угодно.

— В мире, — уязвил его Тютчев, — существует нежелательный парадокс: чем больше власти, тем меньше ответственности. Помню, что во Флоренции, когда вы были там поверенным в делах России, вас называли уверенным в делах России... Не слишком ли вы и сейчас уверены в своих деяниях?

— Уверенность в собственной правоте я черпаю из уверенности в правоте России. Так что ваш деликатный упрек в отсутствии у меня ответственности я, простите, не принимаю.

Расселись, и Горчаков спросил — что в Париже?

— Париж богатеет и отплясывает канкан.

— Как это делается? — наивно спросил князь.

— Проще простого, — пояснил Тютчев. — Дама на острых, как гвозди, каблуках, в чулках телесного цвета, вдруг наклоняется и движением рук ловко задирает юбку, обнажая на себе розовые панталоны. Потом, не сказав ни слова, она головою вперед бросается на своего партнера с такой решимостью, будто собралась выбить ему зубы. При этом партнер, отбивая каблуками немислимую дробь, вежливо отклоняется в сторону и перекидывает даму через себя, как это делают наши мужики, сваливая мешок с картошкой на телегу. После этого дама, взвизгнув, начинает попеременно задирать ноги, словно желая всем показать: «Смотрите, какие у меня чулки. А вы знаете, сколько я за них заплатила?..»

Горчаков жестом подозвал лакея, велел накрыть ужин в соседних покоях. Поэту он ответил:

— Но сказать о парижанах, что они пляшут канкан, этого, мой друг, еще недостаточно... Франция на гибельном пути, — неожиданно произнес он. — Богатея, она... нищает!

Горчаков замолк, уткнув жиреющий подбородок в старомодный галстук, каких уже давно не носили. Лакеи с тихим звоном расставляли серебро и хрусталь. Перешли к столу. Поседевший Тютчев казался подавленным; он признался:

— А моя Леля больна... я умру вслед за нею.

Горчаков не знал, что сказать в утешение. Тютчев помог ему, снова вернувшись к впечатлениям от Европы:

— Проездом через Кассель я разговорился с одним немцем, спросив его о создании в Пруссии армии. «Воевать? Ни за что!» — ответил он мне. Тогда я построил вопрос иначе: как он относится к доле солдата? Немец даже расцвел: «О, я очень бы хотел носить мундир, мне нравится, когда по улицам маршируют солдаты и поют свои бодрые песни...»

За высокими окнами быстро сгущалась тьма.

— Я давно слышу возню с оружием в прусских казармах, — сказал Горчаков столь спокойно, что Тютчев возмутился:

— Не понимать ли мне вас таким образом, что весь ценный груз своих тайных политических вождедений вы с набережной Сены потихоньку перегружаете на берлинские пристани?

Князь с аппетитом вкушал салат, в котором, по прихоти царского повара, часто попадались раковые шейки.

— Я не делаю ставку на Пруссию, — ответил он. — Но зато возлагаю надежды на ту Германию, которая вдруг может родиться. Нейтрализация Черного моря и отсутствие там нашего флота непростительны! В первую очередь — для меня... А я не могу порвать Парижский трактат как клочок бумаги. Необходимо наличие должной политической конъюнктуры. Пруссия нам в этом не помощница, зато Германия, появившись она во всей мощи, — да, такая страна способна изменить европейское равновесие. А сейчас я должен быть терпелив и кропотлив, как швейцарский часовщик... Время работает на Россию! — заключил Горчаков.

Когда поэт собрался уходить, министр велел подать для него к подъезду свою карету. Тютчев неожиданно спросил:

— В столице шушукаются, будто вы женитесь... Что ж, Надин очаровательна. Вы будете с нею счастливы.

Горчаков открыл табакерку, на крышке которой была изображена полнотелая женщина в турецком тюрбане:

— А что скажет на том свете моя бедная Маша?

Отчетливо шелкнув, табакерка закрылась, и прекрасное видение исчезло. Убежденный однолюб, Горчаков понимал, однако, и трагический разлад в романтическом сердце поэта:

— Я завтра же поговорю с лейб-медиком Иваном Васильевичем Енохиным. Надеюсь, он не откажет мне навестить вашу бедную Лелю...

Все современники отмечали — он был добряк.

А ротмистр Бисмарк хромал. Ушибленную на охоте ногу осматривали светила медицины, в том числе и знаменитый хирург Пирогов, покушавшийся на ее ампутацию. В своих мемуарах Бисмарк писал, что Пирогов уже занес над ним свою пилу, готовясь отхватить ногу выше колена, но Бисмарк не дался... Его донесения в Берлин рисовали Россию в содроганиях мужицких бунтов и рабочих забастовок, — закономерная реакция народа на царский манифест об «освобождении». Бисмарк докладывал: «Экзекуции и обращение к военной силе учащаются, но добиться послушания нелегко... сюда доставлен целый транспорт бунтовщиков в цепях, донесения флигель-адъютантов (усмирявших бунты) сохраняются в строгой тайне... во многих губерниях поля останутся незасеянными, но вряд ли можно опасаться крупного недорода или серьезного голода...»

Неожиданно, бросив пить киссингенские воды, в Петербург вернулся канцлер Нессельроде, и Горчаков дал бой этому привидению из проклятого прошлого. Представляя акционерное общество, жаждавшее поглотить в своих сейфах Николаевскую железную дорогу (главный нерв страны, связующий две столицы), Нессельроде

старался провести зятя, саксонского посла барона Зеебаха, в правители имперской магистрали, за что «благодарная» Россия должна ему платить по 100 000 франков ежегодно. Горчаков всю жизнь был далек от банковских афер, в финансовых оборотах разбирался слабо. Но он был страстный патриот, и в заседании Совета министров с гневом обрушился на тех, кто пожирает русский хлеб и в русские же закрома гадит. С Нессельроде случился сердечный приступ, и он умер. Из пышного жабо в гробу торчал его нос, словно клюв дохлого попугая...

— Вы его не пожалели, — шепнул царь Горчакову.

— Я ведь не жалею и себя! — ответил князь. — Саксонский король Иоганн уже предупрежден мною, чтобы отозвал посла Зеебаха... чтобы впредь ноги его здесь не было!

Бисмарк депешировал Шлейницу: «Многосторонность Горчакова, добрая слава честного человека, которой он пользуется, выдающиеся способности князя делают его для царя совершенно незаменимым... Вряд ли кто-нибудь еще здесь найдется, кто бы так много работал для государства, как Горчаков, поэтому, невзирая на его частые политические разногласия с царем, едва ли положение министра может быть поколеблено!»

Ранней весной 1862 года в воздаяние особых заслуг Горчаков занял весомое положение вице-канцлера Российской империи. В новом для него звании князь прощался с Бисмарком, выпросившим у короля долгосрочный отпуск для лечения ноги. Горчаков догадывался, что нога — дело десятое, просто Бисмарк желает быть поближе к Берлину, где «больные коты» уже погибали в жестоких конвульсиях правительственного кризиса. В любой день можно было ожидать, что Роон вновь скомандует: «На коня!» — и тогда Бисмарк, как brave прусский ротмистр, бодрым курцгалопом поскачет к власти...

В первые дни мая Бисмарк гулял с Горчаковым по дорожкам Летнего сада; на зеркало пруда уже выпустили семейную пару лебедей, прекрасные чистоплотные птицы с достоинством брали из рук садовых сторожей белый хлеб, размоченный в сливках.

— Жаль уезжать, — вздохнул Бисмарк. — Здесь я оставляю самый сладкий кусок своей жизни. Уверен, что на старости жизнь в Петербурге будет мне вспоминаться, как волшебный сон... Вам я особенно благодарен! Хотя, сознаюсь, ваше удивительное красноречие часто повергало меня в самую черную зависть. Таков уж я есть, что не терплю чужого превосходства. Иногда слушал я вас, как заблудший мореплаватель пение сирен, от вас же перенял немало навыков для практики.

— А я верю в ваше будущее, — отвечал Горчаков. — Но если вам повезет, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно непотухающей звездой.

Простая любезность. Но за нею — политический смысл.

На выходе из Летнего сада их поджидали кареты. Последние заверения в нерушимости дружбы — и дипломаты разъехались.

Свою семью Бисмарк заранее спровадил в свои померанские поместья. Настал и скучный день его отъезда из России.

— Ну что ж, — сказал посол, вкладывая часы в кармашек жилета. — Поезд отходит через сорок минут... пора!

Взмахивая тростью, он спустился по лестнице особняка на набережную, пронизанную свежим балтийским дыханием, знобящими ветрами Ладоги; велел везти себя вдоль Невы; от Медного всадника коляска завернула на Исаакиевскую площадь, где совсем недавно был водружен скачущий Николай I; на Измайловском проспекте посла задержал массовый проход войск, топавших — колонна за колонной — под Красное Село на весенние маневры. Бисмарк с тревогой глянул на часы:

— Некстати! Не пришлось бы ехать в объезд...

Гвардейская пехота двигалась легко и напористо. Бисмарк с недовольным видом озирает молодые потные лица солдат, в ладонях которых увесисто и прочно покоились приклады нарезных ружей. А впереди батальонов, приплясывая по мостовой, выступали ухари-песенники:

Ребята, слава впереди,
кипят военные восторги:
пущай сияет на груди
у каждого Георгий!

Сменялись мундиры, усы и улыбки, блестели белые зубы парней из русской провинции, незнакомых с услугами дантистов. Замыкая инфантерию, словно губительное предупреждение для недругов, быстрым шагом, молчаливы и собранны, проследовали низкорослые крепыши — егеря и павловцы...

— Гони! — сказал Бисмарк, пропустив пехоту.

Но, вплотную примкнув к пехоте, в Измайловский проспект сразу же бурно влилась цокающая кавалерия. Гарцевали сытые кони, сверкала броская амуниция, над всадниками колыхались знамена, простреленные в буревых атаках. Бисмарк видел чистое серебро горнов, перевитых георгиевскими лентами, что получены за взятие Берлина в 1760 году, и золотом горели боевые штандарты — за Бородино и Лейпциг, за взятие Парижа... Посол, нервничая, снова глянул на часы:

— Ах, черт их всех побери! Мой поезд уйдет...

А за конницей, потрясая воздух громоханием лафетов, в теснину Измайловского вкатывалась артиллерия; гаубицы почти миролюбиво

кивали на поворотах дулами, крепкие ребята-канониры сидели на зарядных фурах. Всё ликовало и двигалось в пестроте боевых красок, в темпе ускоренного движения, устремленного к военной игре... Россия «сосредоточивалась» (как было сказано в циркуляре Горчакова)! А с балконов, затянутых от солнца бледным тиком, украшенных коврами и шалями, щедро перекинутыми через перила, смотрели на прохождение войск петербуржцы. Барышни украдкой от родителей посылали воздушные поцелуи юным офицерам, вниз — на головы солдат — летели цветы.

— Тьфу! — сказал Бисмарк. — Поезжай в объезд...

В этой сцене прощания с Петербургом было что-то символическое: всю жизнь русская армия будет преграждать ему путь. Именно боевая мощь России постоянно заставляла Бисмарка ехать к цели «в объезд», избирая окольные пути. Приходилось учитывать эту нескончаемую лавину русской армии, поддерживаемой и любимой многомиллионным народом, который легко оставлял орало пахаря и смело брался за воинственный меч своих достославных предков...

10 мая Бисмарк прибыл в Берлин и засел в отеле, как проезжий турист; он ждал окончательного решения судьбы. Быть или не быть! Пришел Роон, доверительно сообщивший:

— Я сейчас видел Шлейница, он велел тебе передать от имени его величества: «Время Бисмарка еще не пришло...»

Бисмарка взбесило глупое положение претендента, ждущего, когда его помянут пальчиком. Он появился в Бабельсберге:

— Я же семейный человек, а вынужден вести образ жизни холостяка. Мои вещи остались в Петербурге, экипажи загнали в Штеттин, лошади пасутся под Берлином, жена с детьми в Померании, а я до сих пор не имею определенности...

В глазах Вильгельма I он прочел страх перед будущим и почти физиологическое отвращение лично к нему — к Бисмарку! Очевидно, король не знал, как от него избавиться...

— Я не могу вернуться в Россию, где все думают о моем вознесении, но и оставаться в Берлине — выше моих сил.

22 мая он получил назначение послом в Париж, откуда писал Роону: «Прибыл благополучно и живу здесь, как крыса в пустом амбаре». В это время посол, кажется, был согласен принять любой министерский пост — даже без портфеля. Он ворчал:

— Париж... глаза бы мои его не видели! На что тут смотреть? Я же не мальчик, чтобы шляться по бульварам...

Париж всегда поражал его «беспорядочностью движения публики»: с прусской точки зрения, французы могли бы гулять и по панелям — незачем им выбегать перед экипажами!

Бульвары и катакомбы

Известно, что когда господу богу нечего делать, он открывает окно и любуется на парижские бульвары... Наполеон III реконструировал Париж, щедро украсив его проспектами и площадями, фонтанами и парками, но эстетика играла в этом ничтожную роль. Один архитектор императора проговорился: «Ах, эти узкие улочки! На них так легко возводить баррикады и так удобно швырять из окон на головы солдат старые кровати и даже печки. Ищи потом виноватых! Правда, можно перебить всех жильцов поголовно, но... нельзя же делать это довольно часто. Лучше уж проложить широкие проспекты».

Франция находилась в блеске славы и благосостояния, она беззастенчиво богатела и спекулировала. Отняв у парижан свободу, Наполеон III заменил ее игрою на бирже. «Богатеть — единственное, что нам осталось» — это был лозунг Второй империи. Франции для французов показалось уже маловато, они привыкали к колониальным продуктам Алжира и Вьетнама, далеких экзотических островов. Горячка жизни усиливалась, высшее общество обращалось к разврату и мистике, а в центре разгульной катавасии стояла не совсем обычная фигура самого императора. Мошенник, создавший высокий уровень жизни в стране, аферист, политика которого держала в напряжении континенты, — несомненно, он обладал еще какими-то иными качествами, не только отрицательными... Между прочим, Бисмарк заметил в Наполеоне III почти женскую страсть к салонным играм и шарадам (которой, как известно, были подвержены все монархи Европы), и прусский посол пришел к заключению:

— Я не желал бы своей дочери такого мужа! Но он не выскочка. Уж если он любил заниматься всякой ерундой, так это значит, что в нем течет кровь истинного монарха. Но почему его словам и поступкам придают так много значения? Если сейчас в Сахаре выпадет снег, не надо думать о кознях Тюильри...

Летом он навестил Лондон, где в беседе с Дизраэли (будущим лордом Биконсфилдом) в свойственной ему грубой манере развил свои политические планы на ближайшие годы:

— Хотят этого в Берлине или не хотят, но я возглавлю политику Пруссии! Будет ли мне помогать ландтаг или рискнет мешать мне — безразлично, но армия Пруссии станет самой мощной в Европе. Я ненавижу Австрию, которую вы, англичане, поддерживаете на Балканах. Австрия всегда имела гигантский желудок и скверное пищеварение. Я решил прописать вашей любимой подруге пару хороших клистиров с толченым стеклом и скипидаром, дабы венское здоровье круто пошло на поправку. Мне нужен лишь предлог, чтобы поставить Австрию на колени, после чего я палкой разгоню всех демагогов из Франкфур-

та, я подчиню себе мелкие и крупные немецкие княжества, я создам могучую Германию под знаменами Гогенцоллернов.

— И вы приехали сюда... — растерялся Дизраэли.

— Да! — отрапортовал Бисмарк. — Я приехал сюда только затем, чтобы министры королевы знали о моих планах...

После туманных формул, в которые дипломатия ангельски облекала свои каверзы, заявление Бисмарка прозвучало как выстрел в упор — бац! Дизраэли, едва опомнясь, сказал своим чиновникам:

— Вы видели этого прусского хама? Запомните его лучше. Бисмарка следует бояться, ибо он говорит, что думает...

В Гайд-парке оборванные и засаленные ораторы вели себя с таким апломбом, будто их допустили в палату лордов. А на стенах домов пестрели афишки о предстоящем концерте русского народного хора: «Герцен-вальс и Огарев-полька, сочинение композитора князя Юрия Голицына». Именно здесь, в Лондоне, Бисмарк впервые в жизни увидел пьяную женщину, которая, будто свинья, валялась на грязной панели. И это было самое сильное впечатление, вынесенное послем из Англии.

Бисмарк по-французски, как и по-английски, говорил неважно, делая очень длинные паузы в поисках нужных слов. За пять месяцев пребывания в Париже он не проявил активности дипломата, нисколько не заинтересовал своей персоной французское общество. Евгения Монтихо, хорошо разбиравшаяся в людях, на этот раз ошиблась, сочтя Бисмарка «пустым и ограниченным пруссаком, каких много...». На загородной даче в Вильнёв-Этани она пожаловалась послу, что получает очень много писем от сумасшедших.

— Говорят, они любят подчеркивать слова.

— Это правда. Но я тоже люблю их подчеркивать.

— Не будем муссировать эту тему дальше, — сказала Евгения. — Лучше вы назовите мне свое главное душевное качество.

— Я много страдаю от своего добродушия...

Бисмарк произнес эти слова жалобным голосом. Монтихо резким движением ноги отбросила назад длинный трен платья, в ее руке с треском раскрылся черный испанский веер. Странно хмыкнув, она удалилась в заросли жасмина, где ее поджидал с мандолиною сардинский посол Коста Нигра... Пощипывая козлиную эспаньолку, к Бисмарку подошел Наполеон III:

— Хочу вас предостеречь: вы почаще вспоминайте герцога Полиньяка, который начал с реформ, а закончил жизнь на соломенной постилке... Вы никогда не сидели в тюрьме?

— Еще нет, — сказал Бисмарк.

— Жаль. Это дало бы вам богатый материал для размышлений. Я сидел часто, словно карманный жулик... Любой государственный

деятель, — продолжил Наполеон III, — подобен высокой колонне на площади столицы. Пока колонна зиждется на пьедестале, никто не пробует ее измерить. Но стоит ей рухнуть — мерь ее вкривь и вкось, кому как хочется.

— Я запомню ваши слова, — ответил Бисмарк так, будто о чем-то зловеще предупредил — даже с угрозой...

На берегу пруда Наполеон III с живостью спросил:

— А вы не верите в то, что я — Христос?

Бисмарка трудно удивить глупым вопросом:

— Если докажете... отчего же не поверить?

В императоре не угасал талант циркового артиста. Он спустился к кромке берега, что-то приладил на ноги и мелкими шажками побрел по воде. Достиг уже середины озера, когда на миг потерял равновесие.

Справился и пошагал по воде назад.

— Теперь вы, Бисмарк, убедились, что я святой?

— Вы меня убедили. У вас отличные падекафы из каучука. Надев их себе на ноги и надув их воздухом, я тоже могу побыть в роли нашего Спасителя.

— Вы непоэтичны, Бисмарк, как и все пруссаки.

— Ваша правда. Талеры получаю не за поэзию...

Подошел придворный, что-то шепнул императору на ухо.

— А нельзя ли чуть попозже? — спросил тот.

— Все собрались. Уже ждут.

Наполеон III повернулся к послу Пруссии:

— Вы не подумайте, что тут политический секрет. Нет, я завтра еще не отберу у вас Рейнские земли. Просто лейб-медики срочно требуют от меня мочу на анализ. Вам-то, Бисмарк, хорошо — к вашим услугам любой куст. А под меня урологи какой уже год подставляют хрустальный флакон...

Мешки под его глазами выдавали запущенную болезнь, и, говорят, император очень страдал от нестерпимых болей.

Когда кладбища совсем задушили Париж, грозя ему злостными эпидемиями, было решено всех парижан, живших в столице со дня ее основания, перебазировать... под Париж! Большие бульвары и звезда площади Этуаль, наполненные очарованием беспечальной жизни, словно не хотят знать, что под ними затаилась страшная бездна скорбного молчания предков.

— А вы были в катакомбах? — спросил император. — Я даже там завтракал. Не навесить ли нам иной мир?

— С великим наслаждением, — откликнулся Бисмарк.

Вечером они опустились под улицы Парижа.

— У меня две империи, — говорил Наполеон III, освещая дорогу факелом, — наверху империя жизни, а вот здесь раскинулась империя смерти... Зловещее зрелище, не правда ли?

В глубоких галереях, на многие-многие мили, тянулись поленицы костей, украшенные ожерельями из черепов. По самым скромным подсчетам, здесь лежали 7 000 000 парижан тридцати поколений, прошедшие путь длиною в девять столетий.

— Суета сует, — сказал император, прикуривая от факела. — Католики резали гугенотов, а гугеноты резали католиков... Что толку от Варфоломеевской ночи, если все они, жертвы и убийцы, теперь мирно лежат рядышком?

— Хороший повод для размышлений... Забавно!

Было странно думать, что в нескончаемых лабиринтах туннелей (конца которых никто не знает) лежат только кости, кости, кости. Среди них уже не отыскать останков Рабле или Мольера, навсегда потеряв череп Монтескье или Сирано де Бержерака. Всё свалено в кучу, словно дрова, и берцовая кость прекрасной герцогини Валуа подпирает оскаленный череп якобинца, погибшего под ножом криминальной гильотины.

Наполеон III вел себя как радушный хозяин:

— Ну как вы себя чувствуете, Бисмарк?

— Превосходно! Сюда бы еще немного выпивки...

Хлопок в ладоши — и сразу появился столик, лакеи в красных ливреях втащили корзины с вином и закусками.

— Угощайтесь, — любезно предложил император. — Здесь хорошо обдумывать злодейские планы о переустройстве мира на свой лад. Я иногда думаю: а вдруг библейские пророки правы, — тогда эти кости срastутся, облеченные в плоть, и мертвецы с ревом устремятся из катакомб обратно — на бульвары!

— Я не верю в воскрешение усопших, сир. По-моему, уж если кто вытянулся, так это... надолго.

Два циника, разгоряченные вином, вели богохульные разговоры на фоне смерти. Политика для них неизменно сопряжена с войной, а война с тысячами смертей...

— И все-таки империя — это мир, — сказал Наполеон III.

— Позвольте не поверить! — отвечал Бисмарк.

Наполеон факелом осветил вход в мрачную глубину.

— Вот! — выкрикнул он. — Еще никто не знает, что там. Сколько смельчаков ушли туда и никогда не вернулись обратно. Но сторожа мне рассказывали, что по ночам они иногда слышат, как там кто-то хохочет...

— Наверное, там живется веселее, нежели наверху. С соизволения вашего величества, я выпью еще.

— Пейте, Бисмарк, а я не могу. Почки! Ох...

Они заговорили о достижениях медицины и способах продления человеческой жизни. Бисмарк убежденно твердил:

— Вам надо есть острый сыр из овечьего молока.

— Но я сижу на диете. Какой там сыр?

— Да, вам не повезло...

От невыносимой тоски Бисмарк бежал из Парижа и стал бесцельно колесить по стране. Тулуза, Монпелье, Лион... 18 сентября он получил зашифрованную телеграмму от Роона, которая перевернула не только его жизнь, но и решила судьбу Германии; в телеграмме условным языком было сказано: «Промедление опасно. Спешите. Дядя Морица Геннинга».

Новая глава истории

Он еще не знал подробностей...

— Призовите Бисмарка! — велел Роону король и тут же махнул рукой. — Теперь, — сказал, — когда все яйца разбиты всмятку, Бисмарк и сам не захочет жарить для нас яичницу... Да его сейчас и нет в Берлине!

— Он уже здесь, — ответил Роон.

Бисмарк вошел в кабинет, и король снова испытал к этому лысому детине предельное отвращение. Он вздохнул безо всякой надежды и, внутренне благословясь, начал заупокойно:

— Я повис в воздухе, паря над крышами Берлина, и теперь не знаю, где рухну... Если я не могу управлять страной, давая ответ перед богом, то я должен отойти в сторону. Я не желаю царствовать, исполняя лишь волю большинства ландтага. Вокруг меня — пусто, и никто не способен возглавить правительство, чтобы противостоять этому большинству. Вот мое отречение от престола предков. Можете ознакомиться.

«Нам не остается никакого иного выхода, кроме как отречься от наших королевских прав...» — Бисмарк не стал читать далее. Он почтительно выжидал. Календарь в кабинете отрекающегося короля показывал 22 сентября 1862 года — за окнами Бабельсберга, в смутном шорохе опадающих листьев, в шуме тоскливого дождя чуялось дыхание германской истории.

— Я давно готов. Оставьте при мне только генерала Роона, всех остальных министров я разгоню ко всем чертям...

Поразмыслив, Вильгельм I построил первый вопрос:

— Согласны ли вы управлять страной вопреки воле ландтага и в одиночку сражаться против депутатского большинства?

Бисмарк отвечал без промедления:

— Да.

— Согласны ли продолжить реорганизацию армии Пруссии без одобрения военного бюджета большинством парламента?

— Да...

— В таком случае, — сказал король, бросая свое отречение в ящик стола, — я еще попробую постоять за честь своего имени.

Он предложил Бисмарку спуститься в парк, где показал ему программу своей политики, изложенную бисерным почерком на восьми страницах. Будучи очень высокого мнения о дарованиях своей жены, король учитывал и все фру-фру ее «кринолинов» в будущей политике государства. Бисмарк тут же вдребезги разнес эти планы, не щадя старческого самолюбия короля. Он жестоко высмеял желание Вильгельма I поместиться где-то в центре между либералами и консерваторами:

— Перед лицом национальных задач, которые должна решать наша Пруссия, — сказал он, — любая оппозиционная фраза, как справа, так и слева, будет *одинаково пагубна...*

Король порвал программу, а клочья пустил по ветру. Бисмарк строго указал старику, что такими вещами не кидаются. Всегда найдется мерзавец, который клочки подберет, аккуратно их склеит и прочитает, а потом даст почитать другим негодьям. Король (65 лет) и Бисмарк (47 лет) долго ползали по мокрой траве, собирая клочки «кринолиновой» программы...

На следующий день последовало решение ландтага — вообще вычеркнуть из бюджета страны военные расходы. В ответ на это Вильгельм I огласил указ о назначении Бисмарка министром иностранных дел и временным президентом страны.

По крышам Берлина барабанил частый дождь.

— Ну, Бисмарк, — сказал король, нацепляя галоши, — тридцатого сентября день рождения моей дражайшей супруги, а она в Баден-Бадене... съезжу-ка я в Баден, чтобы ее порадовать, а вы тут сражайтесь за честь моего королевского стяга.

Бисмарк был подготовлен к борьбе не только внутри своего государства, но и вовне Пруссии. За время пребывания в «лисятнике» Франкфурта он изучил австрийские козни, в Петербурге получил прекрасную выучку в канцелярии князя Горчакова; наконец, в Париже он завершил анализ губительной для Франции политики Наполеона III. К власти над страной пришел сильный и волевой человек, который всегда знает, чего он хочет... С этого момента начиналась *новая глава в истории древней Пруссии.*

— Я не Менкен, а Бисмарк, — объявил президент. — В моей груди стучит сердце прусского офицера, и это самое ценное, что есть во мне!

Бульдог с тремя волосками

Наивный лепет о любви и дружбе он относил к числу застарелых химер. Гнев — вот подлинная его стихия! В гневе он непревзойденный мастер, и если бы Бисмарк был актером, игравшим Отелло, то в последнем акте ни одна Дездемона не ушла бы от него живой... Бисмарк не знал меры ненависти, которую считал главным двигателем всех жизненных процессов. Он не просто ненавидел — нет, он лелеял и холил свою ненависть, как чистую голубку, как светлое начало всех благословенных начал. Бисмарк ощущал себя бодрим и сильным, когда ненавидел, и он делался вялым, словно пустой мешок, когда это чувство покидало его...

С обычным раблезианством он говорил Роону:

— Что такое большинство? Это самое настоящее г...! Быть в составе большинства — участь скотского быдла. Нероны и Гракхи, Шекспир и Шиллеры, Блюхеры и Шарнхорсты всегда оставались в меньшинстве, а толпа лишь следовала за ними... Большинство существует для того, чтобы его презирать!

Итак, все ясно: Бисмарку грозило то, что бывает в истории, как трагическое исключение, — власть без денег.

— Ты понимаешь, что это значит? — спрашивал Роон.

Военный министр сам же толкал короля на безбюджетное правление, а теперь трусил. По ночам Роон чертил схему уничтожения Берлина с помощью артиллерии. Репутация реакционера, которую имел генерал, заставляла его бояться всего — даже Бисмарка, слишком откровенного в ярости...

— Будь осторожнее, — умолял он его.

30 сентября Бисмарк вступил в борьбу с большинством.

Ловкий и острый собеседник, он был никудышным оратором. Нет, он не терялся перед толпою (это не в его духе!), но зато мямлил, проглатывая слова, делал долгие паузы, отчего слушать Бисмарка было утомительно. Зато в какой-то момент, ухватив мысль, он быстро и прочно выковывал ее в динамичную формулу, и тогда вся прежняя речь освещалась как бы заново — его агрессивным умом и страстью убежденного человека.

Так было и сегодня, когда он вырос перед ландтагом. Бисмарк сказал, что существующие границы Пруссии, не в меру вытянутой вдоль Северной Европы, уже не могут удовлетворять запросов

быстрорастущей нации, а бремя вооружения грешно нести одной Пруссии — военный налог следует распределить на всех немцев всей Германии... Под ним галдели депутаты. Бисмарк напрягся и швырнул в них слова, словно булыжники:

— А вы собраны здесь не для того, чтобы разрешать или запрещать что-то! Вы призваны, чтобы соглашаться с коронными решениями. В конечном счете, — гаркнул он сверху, — спор между нами решит соотношение моих и ваших сил...

За его спиной почти явственно качнулись отточенные штыки кадровой армии. Бисмарк открыто вызывал Пруссию на уличный мятеж. Он заманивал немцев на баррикады, чтобы в беспощадном грохоте артиллерии разом покончить с любой оппозицией.

Густейший бас Бисмарка покрывал общий шум:

— Германия смотрит не на либерализм Пруссии, а только на ее силу! Пусть Бавария, пусть Вюртемберг и Гессен либеральничают — им все равно не предназначена роль Пруссии! Не речами на митингах, не знаменными маршами ферейнов и не резолюциями презренного большинства решаются великие вопросы времени, а исключительно железом и кровью!

Он стойко выстоял под воплями негодования:

— Ни пфеннига этому господину! Долой его...

Ах, так? Бисмарк грохнул кулаком:

— Начались каникулы! Господа, все по домам...

Сессия парламента завершилась разгоном сверху.

Режим безбюджетного правления стал фактом.

Конфликт между короной и ландтагом закрепился.

Газеты спрашивали: «А что же дальше?..»

— Бисмарк самый вредный человек! — вопили либералы.

Роон тоже раскритиковал его речь в ландтаге:

— Нельзя же кричать о том, что думаешь.

— А иначе нельзя, — ответил Бисмарк...

В силу вступало новое право — право железа и крови!

Бисмарк возмутил всю Пруссию: вместо свободы — дисциплина, вместо дебатов — приказ. В столице президента освистывали, провозжали издевками и смехом. Он ходил маскируясь, надвинув шляпу на глаза, избегал освещенных улиц... Ненависть, клокотавшая в нем, обратилась вдруг против него самого — именно большинством целого государства!

4 октября ему стало известно, что король выезжает из Баден-Бадена в столицу. Бисмарк, желая опередить недругов, чтобы король не подпал под влияние возмущенной прессы, выехал навстречу Вильгельму I — до станции Ютербок. Баденский поезд запаздывал.

Было уже темно. На недостроенном вокзале собирались коротать ночь пассажиры третьего класса и мастеровые. Боясь, что его могут узнать (и еще, чего доброго, плюнут в лицо), президент выбрался на перрон, где среди строительного хлама уселся на перевернутую тачку. И вот он, министр иностранных дел, юнкер и ротмистр, будто жалкий бродяга, сидит на грязной тачке, а сверху его поливает дождик...

Достиг он высшей власти!

Наконец поезд прибыл. По той причине, что король ехал без охраны, как частное лицо, проводники скрывали от Бисмарка номер вагона, в котором разместился король. Бисмарк все же отыскал его. «Он сидел совершенно один в простом купе первого класса, — вспоминал Бисмарк позже. — Под влиянием свидания с женою он был в подавленном настроении». Очевидно, до баденских курортов докатились слухи о погромной речи Бисмарка в бюджетной комиссии ландтага, и Вильгельм I сразу спросил — была ли она застенографована?

— Нет. Но газеты воспроизвели ее верно...

Вильгельм I погрузился в беспросветное уныние:

— Я совершенно ясно предвижу, чем все это закончится. На Оперн-плац, прямо под моими окнами, сначала отрубят голову вам, Бисмарк, а потом уж и мне, старику...

Править без бюджета? Но за такую попытку английский король Карл I из Стюартов заплатился жизнью, слетела голова и его министра Томаса Страффорда. Как следует обработанный в Бадене «кринолинами», король не забыл, конечно, и участи Полиньяка... Поезд, пронизывая мрак, подлетал к Берлину.

— Революция и гильотина — вот что ждет нас дома!

— А затем? — спросил Бисмарк.

— Странный вопрос! Разве не знаете, что бывает с людьми после того, как им отрубят голову?..

Право на произнесение монолога перешло к Бисмарку, и он приложил все старания, чтобы, устыдив труса, заставить его уверовать в победу. Бисмарк приказал королю шагать куда надо. Вильгельм I, еще мучаясь, спрашивал:

— Но смогу ли я устоять перед критикой жены?

— Жена обязана подчиняться мужу...

Бисмарк вскоре повидался с австрийским послом в Берлине, мадьярским графом Карольи, и сказал ему напрямик:

— Наши отношения должны стать лучше или хуже. Середины быть не может. Если они станут лучше — пожалуйста. А если хуже, то Пруссия всегда съест союзников, которые помогут ей разрешить затянувшийся спор. В наших отношениях — ненормальность, которую можно излечить лишь мечом!

Когда Кароли стал оправдываться, говоря, что само географическое положение Вены на славянском Дунае обязывает ее к деспотической политике, Бисмарк ответил:

— Так переезжайте в Будапешт или Прагу, а Вену оставьте для разведения пауков и сороконожек...

Вена переполошилась. Франц-Иосиф очень боялся, как бы его гегемония в немецком мире не перекочевала с Дуная на берега Шпрее. Габсбург решил одним махом выбить Бисмарка из седла, а Пруссию вышвырнуть за борт германской политики. Для этого надо действовать опять-таки через Франкфурт-на-Майне...

Гаштейн — курорт в австрийском герцогстве Зальцбург. Бисмарк сидел на скамейке в парке Шварценберг, на самом краю глубокого ущелья Аах, и с часами в руке следил за тем, с какой быстротой синица вылетала из гнезда и возвращалась к птенцам, неся им в клюве добычу. Бисмарк так увлекся этим подсчетом, что пропустил время королевского обеда. Пока он развлекался с синицею, Вильгельм I уже закончил беседу с навестившим его Францем-Иосифом и теперь был вне себя от радости... Король сообщил входящему Бисмарку:

— Австрийский император, мой добрый друг, созывает во Франкфурте съезд всех немецких князей, он приедет туда сам и зовет меня... Какое импозантное собрание!

— Всего лишь кунсткамера доисторических мумий.

— Бисмарк, есть ли у вас уважение к традициям?

— Нету, и быть не может... Ваша поездка во Франкфурт — это отказ Пруссии от объединения Германии под прусским же началом. Ваше манкирование Франкфуртом — это первый шаг к объединению Германии под вашим же скипетром. Что, я объяснил недостаточно ясно? Не будьте же романтиком монархии — ведь я предлагаю вам реальную корону Германии!

Вильгельм I суетливо забегал по комнате:

— Неужели я, король Пруссии, должен избегать общения с родными немецкими князьями, которые съедутся, чтобы договориться о совместной борьбе против всяких конституций?

Дураков всегда бьют, и Бисмарк бил короля словами:

— Поймите, что Австрия заманивает вас в мышеловку совместной борьбы с революциями неспроста... Случись это, и Пруссия останется в прежнем унижении, что и раньше, а роль Австрии сразу непомерно возрастет...

В открытом экипаже они выехали из Гаштейна в Баден; чтобы их не поняли кучера, сидевшие на козлах, они обсуждали германский вопрос по-французски. Но в Бадене их поджидал саксонский король Иоганн, который от имени всех германских монархов начал пылко

увлекать Вильгельма I во Франкфурт-на-Майне. Вильгельм I с новой силой стал рваться на монархический съезд... Теперь он с гневом кричал на Бисмарка:

— Не смейте меня удерживать! Тридцать сюзеренов сидят и ждут одного меня, а курьером за мной прислали его величество короля Саксонии... Это уже вопрос такта!

Король Саксонии стукнул кулаком по столу, выругавшись, но Бисмарка нисколько не испугал:

— Здесь вам не Саксония... не стучите.

Иоганн наговорил ему немало шальных дерзостей.

— Этого уж я вам не забуду, — пригрозил он.

— У меня тоже неплохая память, — ответил Бисмарк.

Иоганн уехал, но президент услышал шуршание кринолинов: явилась подмога Вильгельму I в лице двух прусских королей — Елизаветы и Августы (вдовствующей и царствующей). «Его величество, — вспоминал Бисмарк в мемуарах, — лег на диван и стал истерически рыдать»:

— Все монархи Германии соберутся вместе... душа в душу... сядут за стол... а меня там не будет...

— И нечего вам там делать! — бушевал Бисмарк.

Это напоминало сцену в детской: ребенок просится гулять, а строгий родитель не пускает. Две коронованные женщины вцепились в Бисмарка мертвой хваткой, чтобы он не вздумал разрушать священные связи монархов... Далее произошло то, о чем Бисмарк умолчал в своих мемуарах. Выскочив из кабинета, он только на улице заметил, что сжимает в кулаке витую бронзовую ручку, вырванную им из дверей в состоянии бешенства. Непрерывно восклицая: «Er ist ein recht dummer Kerl!» (что означает: «Вот уж глупый парень!»), Бисмарк, подобно буре, вломился обратно в королевские покои. А там стояла громадная фаянсовая раковина для умывания. Бисмарк запустил в нее дверной ручкой, и раковина разлетелась на мелкие осколки, которые, словно шрапнель, осыпали двух королей и самого кайзера, раздавшего на диване... Выбегая прочь, Бисмарк напоролся на дежурного адъютанта.

— Вам дурно? — спросил он президента.

— Было! Но теперь стало легче...

Втайне от короля Бисмарк блокировал его дом целым полком солдат, чтобы никто не мог проникнуть к нему, чтобы Вильгельм I не вздумал втихомолку удрать во Франкфурт.

— Так с ними и надо... с этим дерьмом!

Это была первая политическая победа Бисмарка.

Австрия задумала съезд во Франкфурте, желая реформировать Германский союз и окончательно упрочить в нем свое положение.

Бисмарк не пустил короля в «лисятник», что имело решающее значение для дальнейших событий. Съезд германских самодуров распался сам по себе, ибо без участия Пруссии получался резкий крен Германии в сторону венской политики, а немецкие князья этого крена тоже побаивались...

На улицах Берлина по-прежнему слышалось:

— Ни пфеннига этому господину...

Бисмарк, сидя за выпивкой, говорил Роону:

— Вот когда Пруссия нажрется датского масла и венских колбас, тогда она пожалеет, что плевалась в меня. А уж когда Пруссия станет рейхом, я не стану выклянчивать у ландтага утверждение бюджета. Между консерваторами и либералами никакой разницы: первые подхалимствуют открыто, а вторые тайно. Знаю я этих сволочей: бюджет еще притащат в зубах, виляя хвостами... А я их — сапогом... под стул, под стул!

Все будет так, как он предсказывал. А сейчас журналисты Берлина пророчили, что карьера Бисмарка закончится за решеткой исправительного дома, где он еще насидится на гороховом супе со свиными потрохами, а чтобы не сидел зря — пусть мотает шерсть для общественных нужд прусского королевства. Газеты прозвали Бисмарка «бульдогом с тремя волосками» — президент даже не обиделся: похож!

«Еще Польша не згинела...»

Бисмарк покинул Петербург в канун грандиозных и необъяснимых пожаров, закрутивших русскую столицу в вихрях огня и дыма. Первыми запылали на Охте кварталы бедноты, дотла выгорела вся Лиговка, населенная мастеровыми и полунцим чиновничеством, огонь сожрал Щукин и Апраксин дворы, где размещались 2000 лавок с товарами, пламя перекинулось на Фонтанку; с трудом отстояли здание министерства внутренних дел, а море огня уже бушевало на гигантском пространстве, угрожая уничтожить Публичную библиотеку, Госбанк, Пажеский корпус и Гостинный двор... Тысячи погорельцев бедовали на площадях столицы в палатках, их кормили из солдатских кухонь, под размещение бездомных спешно переоборудовали казармы. Ясно, что пожары имели какую-то систему, огонь не возникал сам по себе — работали поджигатели. Особая следственная комиссия виновных не обнаружила (историки тоже!). Жандармы выслали в Холмогоры гувернантку Лизу Павлову, имевшую глупость заявить, что «в пожарах есть нечто поэтическое и утешительное...». Связывать же эти поджоги с развитием революционного движения никак нельзя. Пытались обвинить даже радикалов-студентов, но, помилуйте, не такие уж глупые были на Руси

студенты! Лично я, автор, склонен думать, что столицу подпаливали уголовные типы — ради создания «шухера», чтобы удобнее расхищать пожитки; допустима мысль, что действовал один психически ненормальный человек — ради забавы (в криминалистике известны и такие случаи). Правда, блуждала зыбкая версия, будто Петербург поджигали поляки. Но этот слух спустился в низы жизни откуда-то сверху, и народ в него не поверил. Русские люди никогда не считали поляков своими врагами. В старых сказках, песнях и анекдотах часто осмеивались немцы, евреи, англичане, реже французы, но поляки — никогда! Факт характерный и поучительный, на который уже давно обратили внимание сами же поляки и польские историки...

Бисмарк перед отъездом советовал Горчакову:

— Обрусите Польшу на Висле, как мы онемечили их Данциг и Познань. Зажмите поляков под прессом и не ослабляйте винта, пока не задохнутся... Иного выхода у вас нет!

Горчаков решительно отвергал такие советы:

— Россия имеет и немалую долю вины перед Польшей, со славянской сестрой мы не можем поступать варварски...

Он убеждал царя — никаких репрессий, лишь смягчительные меры. «Полонофильство» не прошло ему даром: князь стал получать анонимные письма, в которых его называли «предателем отчизны». Русские авторы этих писем иногда высказывали такие же изуверские мысли, что и Бисмарк... В разгар Польского восстания из Москвы приехал профессор Б. Н. Чичерин; он застал вице-канцлера в пустынной столовой министерства за тарелкой аристократической ботвиньи. Ученый напомнил Горчакову известную мысль Пушкина, что спор между поляками и русскими — спор домашний, а покорение Польши — отместка за Смутное время с самозванцами и сожжением Москвы.

— Пушкин не прав! — возразил Горчаков. — Да, я помню, что пан Гонсевский в тысяча шестьсот одиннадцатом году спалил Москву, но зачем же мы станем наказывать поляков за это в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году? Око за око, зуб за зуб — это библейское правило мести извращает политику. Вы же сами знаете, что наша армия вступала в Париж не только потому, что французы побывали в Москве...

Чичерин спросил — что же будет дальше?

— Сейчас возможны любые импровизации.

— А вы разве импровизатор?

— Почти, — вздохнул Горчаков. — В любом случае я обожаю мотив гимна восставших:

Еще Польша не гинела,
пока мы живем...

Импровизировать стали, однако, в Берлине... Вильгельм I двинул войска на границы, Бисмарк ввел осадное положение в Познани. Еще было памятно время (с 1795 по 1807 год), когда Варшава была прусским городом, а царство Польское называлось Южной Пруссией; две трети населения Пруссии составляли тогда поляки, и лишь одна треть была немецкой. Бисмарк не любил воспоминаний о такой дикой пропорции:

— Пруссия все-таки не глупый озерный карп, которого можно подать к столу под острым польским соусом...

С ядом он писал: «У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа восхищается его красноречием с варшавской или русской трибуны». Так он писал, а вот что он говорил:

— Допустим, что Польша воскреснет... допустим! Австрия при этом должна отказаться от польской Галиции, но у нее столько награблено, что эта ампутация пройдет для Вены почти безболезненно. Русские, вернув полякам то, что им положено, территориально не пострадают: для них потеря Вислы — как слону дробина. А для нас, пруссаков, отказ от польских владений равняется уничтожению нашего государства. Наши восточные земли, Силезия и Познань, это наши кладовые и амбары. И потому, говорю я вам, Пруссия никогда не потерпит возрождения самостоятельной Польши...

Бисмарк вызвал генерала Густава Альвенслебена:

— Любой успех поляков — наше поражение. Мы должны быть жестоки с этим народом. Правила гражданской справедливости здесь неуместны. Если меня спросят, куда лучше всего бить поляков, я скажу: бейте по голове, чтобы они потеряли сознание... Горчаков, — продолжал он, — либеральничает, потому Пруссия должна апеллировать не к нему, а к царю. Вы сейчас поедете в Петербург, чтобы убить сразу трех зайцев... С вами можно говорить серьезно? — вдруг спросил Бисмарк.

— Только так и говорите, прошу вас.

Бисмарк сказал, что, если русские уйдут из Польши навсегда, Пруссия через два-три года вломится туда силой; мир не успеет опомниться от ужаса, как там все без исключения будет моментально германизировано. Альвенслебен спросил:

— Надеюсь, это лишь банальный разговор?

— О серьезных вещах я всегда говорю серьезно.

— Вам угодно повернуть колесо истории вспять?

— А кто сказал, что это дурацкое колесо надо крутить только вперед? — Бисмарк задрал ногу, сердито выколотил пепел из трубки,

стуча ею о каблук кирасирского сапога. — Поменьше умничайте! Я вас посылаю в Петербург не для того, чтобы вы там вместе с Горчаковым оплакивали прошлое Речи Посполитой — меня волнует лишь будущее Германии...

Вскоре царь пожелал увидеть Горчакова:

— Бисмарк побаивается, как бы наше восстание не перекинулось к нему в прусскую Познань, и он великодушно предлагает нам заключить обоюдную конвенцию против поляков.

Горчаков в считанные мгновения предугадал дальнейшие ходы противника, который ловко охватывал его фланги:

— Я, государь, против подобной конвенции. Кроме вреда, она ничего нам не доставит. Скажу больше: *grande Europe* растолкует соглашение как повод для вмешательства.

— Но это же наше внутреннее дело! — вспыхнул царь.

Горчаков тоже вспыхнул, отвечая дерзостью:

— Тамбовская губерния — вот наше внутреннее дело, тут я с вами солидарен. Но если бы в Тамбовской губернии все до одного передрались, Бисмарк не стал бы соблазнять нас конвенцией для разнимания дерущихся. А это значит...

— Вы все-таки подумайте, — велел царь.

Горчаков мыслил так: «Ввиду колебаний Франции и недоброжелательства Англии, соглашение (с Пруссией) вызвало бы осложнения, несмотря на простоту самого факта. Сверх того я сознаю по инстинкту (инстинкт его не подвел!), что конвенция оскорбила бы национальное чувство в России и дала бы Европе странное представление о нашей мощи...» Тонкий политик, он понимал то, чего не мог постичь император.

— Я все продумал, — сказал Горчаков царю при встрече, — и дам вам добрый совет. Действуйте лишь примирительно. Не ослабляя политических связей Варшавы с Россией, дайте полякам автономное управление, какое существует в Финляндии.

Александр II умел уговаривать. При этом он брал руки несогласного в свои ладони, ласково смотрел в глаза и говорил с нежностью: «Если вы меня любите... я вас очень прошу... сделайте это для меня!» Горчаков не уступил опытному обольстителю, и тогда царь самодержавною волею приказал ему подписать конвенцию с Альвенслебеном... Князь предупредил:

— В таком случае дайте амнистию восставшим!

Царь обещал. Конвенция предусматривала, что русские войска, преследуя польских мятежников, могут вступать на земли Пруссии, а прусская армия с той же целью имеет право заходить на русские территории. Альвенслебен сразу же укатил в Берлин, где и сказал Бисмарку — даже с недоумением:

— Я привез вам соглашение. Но убил одного лишь зайца. А вы, кажется, говорили, что я застрелю сразу трех...

— Так и случилось! — ответил Бисмарк. — Первый заяц — это сама Польша, не будем о ней говорить. Второй — Франция, и ваша конвенция помешает Горчакову лизаться с французами. Ну а третий зайчик, самый малюсенький и веселенький, это вся Европа, которая сейчас обрушится на Россию...

.....

Европа обрушилась... Начался дипломатический поход на Россию, угрожающие ноты поступили от Франции и Англии; Горчаков понимал, что никого не волнует сама Польша и ее подлинные страдания — конкурентам лишь хочется осложнить и без того сложную позицию России. В речи послам он заявил:

— Дабы не обострять ситуации, я не дам письменного ответа, ограничусь словами... Вы требуете от России спокойствия для поляков. Я желаю им того же! Но почему-то все вы забываете потребовать спокойствия полякам от Австрии и Пруссии. Мы никогда не оккупировали Польшу — было лишь ее расчленение между Пруссией и Австрией, к которому Россия и подключилась. Разве мы виноваты больше других?

Через два дня вручил ноту и посол Вены.

— Вас-то, австрийцев, что беспокоит?

— Волнения в вашей Польше угрожают нашей Галиции.

— Да какая она ваша? — сорвался Горчаков...

К ультиматуму главных держав присоединились Испания, Португалия, Италия, Швеция, Голландия, Дания и даже Турция.

— Все? — спросил царь раздраженно.

— Протестует еще и Ватикан.

— Ну а папе-то чего надобно?

— Я вас предупреждал, государь, что так и будет.

— Перестаньте, князь, учить меня!

Горчаков это предвидел — против России образовался плотный фронт. Grande Europe требовала от него «гарантий» для Польши, но теперь, когда речь зашла о политическом престиже России, вице-канцлер остался неумолим.

— Никаких гарантий! — отрезал он, а маркизу Монтебелло с упреком выговорил: — Париж сознательно возмущает поляков к восстанию, ваш император позволяет брату, принцу Плон-Плону, произносить вызывающие речи, и все это будет разделять наши страны далее. Я не злопамятен, но когда Франции без России станет плохо, я все-таки, как старая глупая бабка, напому вам год шестьдесят третий... Кстати, — князь задержал Монтебелло в дверях, — в газетах Парижа пишут, что наша полиция вот уже восемь лет подряд только

и делает, что без передышки сечет кнутами католических монахинь из минского монастыря. Я проверил этот факт, вот вам справка — такого монастыря в Минске вообще не существует...

Простые русские люди не догадывались, что сановный Петербург был охвачен паникой: ждали войны! Говорили, что стоит Балтике очиститься ото льда, и в Финский залив сразу войдет британский флот. На рауте у своей приятельницы княгини Белосельской-Белозерской вице-канцлер подсел к лорду Нэпиру:

— Лед уже сошел, но появились туманы. По сведениям Пулковской обсерватории, которые я запросил специально для вас у академика Струве, туманы продержатся до конца мая.

— К чему мне этот прогноз погоды?

— Чтобы ваш флот не выскочил в тумане на рифы...

Горчаков издевался! Ведь он знал, что Англия не истратит и пенса ради поляков, а единственная цель Лондона — усилить разрыв между Францией и Россией. Однако вице-канцлеру было неуютно без Франции, и он устроил Монтебелло аудиенцию у царя, который откровенно высказал свое мнение:

— Я согласен раз и навсегда отрезать от себя поляков, пусть живут как хотят. Но практически я не могу этого исполнить: Польша не способна жить в искаженных границах, и сами же поляки этого не скрывают. К сожалению, польские аристократы в Париже тоскуют о старой Речи Посполитой: они желали бы видеть Польшу в границах тысяча семьсот семьдесят второго года, включая Смоленск и Киев, иначе говоря, сами расчлененные, они хотели бы расчленения России... На это мы никогда не пойдем! Пусть, — договорил царь, — Австрия и Пруссия вернут полякам их земли, я ни минуты не оставлю войск на Висле — и тогда образуется та Польша, которая может существовать...

Именно в это время элита польской аристократии, жившая в Париже и Вене, указывала восставшим, чтобы они исключили из своей борьбы все революционные мотивы, оставив на своих знаменах чисто национальные лозунги.

После этого восстание пошло на убыль. Претензии польской шляхты на украинские и белорусские земли вызвали ответную реакцию в самих же украинцах и белорусах, которые никак не желали порывать своих исторических связей с русским народом. Горчаков перешел в контратаку... Его ноты к кабинетам Европы, следуя одна за другой, словно пушечные залпы, становились все резче и убийственнее. В тревогах лета 1863 года он показал себя блистательным дипломатом, который умеет ловко обыгрывать противоречия в стане противников.

Теперь противник отступал — Горчаков его преследовал по всему фронту, бил с флангов. Наконец, когда он разослал последнюю ноту от 26 августа, ответа на нее уже не последовало: Париж, Лондон и Вена промолчали...

— Эффектный финал! — поздравил Жomini.

— Да как сказать, — поежился Горчаков. — Нахальство стародавнего партнера — Бисмарка — ужестораживает...

Всё притихло, и только Ватикан указал католикам мира молиться за Польшу, как «за оплот истинной веры против вторжения злобной ереси»; в Коллегии пропаганды сам папа Пий IX произнес громовую речь, в которой обрызгал грязью русских схизматов-варваров.

— Че-пу-ха! — поморщился Горчаков.

Одним махом вице-канцлер разорвал конкордат России с Папской курией. Это был заключительный аккорд бурной Политической сюиты, но Альвенслебенской конвенции Горчаков никогда не простил Бисмарку... никогда!

Жареного гуся больше не будет

Бисмарк называл газету большим листом бумаги, испачканным типографской краской. Зная о продажности буржуазной прессы, он презирал ее, но зато, как никто другой, умел использовать печатное слово в своих интересах. Бисмарк мечтал о том золотом времени, когда все газеты Германии станут писать одно и то же — то, что угодно ему, Бисмарку!

Мы находимся в конторе «Норддейче Альгемейне Цейтунг» в Берлине; за столом сидит редактор газеты герр Брасс, ренегат социал-демократии, которому Бисмарк платил из рептильных фондов. Когда парламентарий узнавал о себе из брассовской газеты, что он «павиан и задница у него красная», то это звучало еще как нежная ласка. Шла яростная схватка за власть и деньги, и тут было уже не до выбора слов...

В тени кабинета ежился неприметный господин.

— Какой дождик-то, а? — сказал ему Брасс. — Вы, Штибер, пока обсушитесь у печки, господин президент не замедлит явиться. Он всегда приходит к выходу вечерних гранок.

В пустой редакции их было только двое. Скучная обстановка идеального притона слабо освещалась тихо гудящим газом. Штибер ждал, что Бисмарк появится из дверей. Но президент возник прямо из... стенки. Замаскированная обоями дверь, ведущая со двора, открылась, и предстал он сам — могучий чурбан, увенчанный крупной головой. Воротник дождевика был вздернут до ушей, фуражка бросала густую

тень на его лицо. Он скинул плащ, отряхнул мокрую фуражку. Пожав руки шпиону и редактору, Бисмарк сразу же сел к столу.

— Давайте... что там у вас? — сказал Брассу.

Тот придвинул ему колонки гранок со статьями, подал громадный плотницкий карандаш длиною в локоть, очиненный с двух сторон. Этим карандашом, орудуя будто стамеской, Бисмарк энергично выковыривал из статей слабые места, на полях гранок вписывал слова — более грубые и беспощадные.

— Если кусаться, так до крови! — бормотал он...

Затем движением бровей подозвал к себе Вилли Штибера, и тот приблизился с собачьей понятливостью.

— Надеюсь, вы слышали, что недавно умер датский король и снова поднят вопрос о Шлезвиг-Голштейне... Не думайте, что я пошлю вас подкормиться на датских сыроварнях и маслобойнях. Для меня существует более существенный противник — Австрия!

Штибер почтительно склонился, потер озябшие уши.

— Простудились? Мне жаль вас. — Отстегнув из-под мундира солдатскую фляжку, Бисмарк велел шпиону хлебнуть. — Ну, как? — спросил, хлебая тоже. — Это вас оживит... Меня интересует Саксония и австрийская Богемия! Никто не должен знать о наших встречах. Что нужно, мне передаст Брасс, а в Берлине пусть думают, что вы по-прежнему в опале. Наступит день, когда вся Германия будет валяться у меня в ногах, вымаливая прощения. Тогда рядом со мной будете стоять вы и можете улыбаться, будто вы лауреат... Вопросы есть?

Штибер сказал, что тропа шпиона посыпана золотом.

— И полита кровью! Я знаю. Сколько вам нужно?..

Штибер вызвался провести разведку в Австрии без помощников, которые способны только путаться под ногами.

— Желаю успеха, — сказал ему Бисмарк, поднимаясь из-за стола. — Брасс! Я пошел. До встречи, господа...

Мундир снова скрылся под дождевиком. Бисмарк нахлобучил на глаза фуражку и, словно сатана, шагнул прямо в стенку, пропустившую его с тихим шорохом ветхих обоев.

— С этим парнем можно иметь дело, — сказал Брасс. — Это не паршивый «соци», откладывающий для праздника два пфеннига. Все в порядке, Штибер: вы еще станете кумом нашего короля.

Сыщик возбужденно потер красные руки:

— Видать, скоро дадим по зубам Австрии?

— Ха! — отвечал Брасс. — Сначала мы с ней поцелуемся. Наш президент, скажу по секрету, захотел... маслица.

— Что он? Масла не видал?

— Да нет... тут дело сложнее... масло датское!

Прусские ученые-архивисты уже получили задание от правительства выяснить, кому же все-таки юридически принадлежит

Шлезвиг-Голштейн, ныне входящий в состав Датского королевства? Берлинская профессура перерыла носом тонны вековых фолиантов и с кропотливостью, свойственной всем немецким ученым, докопались до истины: Шлезвиг-Голштейн может принадлежать кому угодно, даже России, но только не Пруссии!

Открытие этой «истины» Бисмарк не устроило:

— О выводах прошу вас помалкивать...

Он ненавидел словоблудие парламента еще и потому, что расплывчатые абстрактные понятия либералы принимали за нечто реальное, а Бисмарк терпеть не мог никаких условностей. Сказать Бисмарку: «Допустим, что x равен игреку», — этот фортель удался бы с кем-нибудь другим, но только не с ним, и Бисмарк сразу бы ответил: «Не допускаю, черт побери!..»

В ландтаге уже возбуждали вопрос о предании его суду за нарушение конституции, но Бисмарк продолжал управлять страной, как ему нравилось, расходуя казну без утверждения бюджета. Сейчас, чтобы крепче ударить по либеральной буржуазии, он воспылал намерением сосватать социализм с монархией. Игра велась без всяких правил, зато ставки в этой игре делались крупные. Весной 1864 года в Берлин прибыла депутация изможденных ткачей из округа Вальденбурга, президент распростер перед ними объятия, посылая проклятья угнетателям-капиталистам; мало того, Бисмарк устроил ткачам свидание с королем в Бабельсберге, и кайзер тряскими руками сам отсчитал для рабочих 12 000 талеров.

— Только не пропейте, — сказал он им...

Бисмарк начинал эксперимент по использованию королевской кубышки в целях создания подчиненной ему рабочей ассоциации. Провожая ткачей обратно в Силезию, он сказал им:

— Это вам, ребята, на гуся к воскресенью. Накажите своим хозяевам, чтобы не передержали гусей в духовках. Тогда и гусь — не гусь, а настроение — будто в понедельник!

Но главное сейчас для него — политика внешняя...

Альвенслебенская конвенция стала его первой международной акцией. Царь-прусофил сразу же предложил Бисмарку развить конвенцию в обширный военный союз, чтобы, опираясь на него, сообща раздавить вредоносную Австрию (Россия при этом обрела бы «свободу рук» на Балканах). Казалось, для Бисмарка наступали блаженные дни: царь указывал легчайший путь к объединению Германии вокруг стального прусского ядра. Но Бисмарк на это не пошел... Почему? Да потому что он, как политический гроссмейстер, умел видеть положение фигур на шахматной доске Европы на много ходов вперед. Попросту он боялся, что Австрия будет раздавлена больше той «нор-

мы», какая допустима в его интересах. Раскатать с помощью русских солдат империю Габсбургов в тончайший блин — на это ума много не надо! А как же потом из этого «блина» воскрешать к жизни будущего союзника для Пруссии?..

Гельмуту фон Мольтке президент намекнул:

— Все будет, как в приличной семье. Сначала муж отколотит жену, потом жена попросит у мужа прощения, муж заставит ее приодеться получше, и они как ни в чем не бывало отправятся на веселую прогулку. А люди, глядя на них, станут говорить: «Ах, какая дивная пара, и как он ее любит...»

— Но я за развод с Австрией, — сказал Мольтке.

— Вы генерал, а не политик, — ответил Бисмарк...

Наполеон III, зарясь на Рейнские земли, состоял с Пруссией в кокетливых отношениях — не больше того. Но в конвенции Альвенслебена он усмотрел опасное для себя сближение Петербурга с Берлином и решил щелкнуть Бисмарка по лбу, чтобы тот не зарывался. Посол императора в Берлине барон Шарль Талейран выразил протест против русско-прусской конвенции. Бисмарк со вздохом ответил, что нисколько не виноват в том, что его берлинское мышление никак не совпадает с парижским.

— Вы решили давать советы? Я не останусь в долгу. Передайте императору, что я напьюсь и лягу спать пораньше, когда он вздумает овладеть Бельгией или Люксембургом. Но за это пусть не мешает мне колотить горшки на немецкой кухне.

— Как, это возможно? — вскричал Талейран.

— Вполне, — ответил Бисмарк. — Я не стану рыдать над потерей того, что мне не принадлежит. Но зато прошу вашего императора оставить Рейнские земли в покое... — Бисмарк многое перенял из практики Наполеона II, но беспардонная наглость бонапартизма в переводе с французского языка на немецкий звучала грубее и решительнее.

К вечеру подморозило... Горчаков в открытых саночках подъехал к *regton de l'empereur* (царскому подъезду) Зимнего дворца; в окнах виднелись колышущиеся тени. Лакеи помогли вице-канцлеру освободиться от шубы, по лестнице, вдоль которой застыли недвижные гренадеры, он поднялся наверх. При входе в зал дежурили два вологодских Алкивиада в высоченных медвежьих киверах с султанами. Они и глазом не моргнули, а двери перед вельможей распахнули два чернокожих нубийца в белых чалмах, задрапированные в индийские шали. Горчаков вступил в эфемерное очарование придворной мазурки, думая, что здесь лишь ему одному известна трагедия, вызревающая в кратере политического вулкана Европы... Лавируя между танцующими, он добрался до угловой «карточной» комна-

ты, где Александр II составлял обычную партию в вист с любимой партнершей — древнею графиней Разумовской; старуха девяноста с чем-то лет, еще как рюмочка, напудренная и нарумяненная, без единой сединки в прическе времен Директории, имела откровенно низкий лиф платья, а из рукава, убранного черными кружевами, на Горчакова брехала противная собачонка.

— Это опять ты, Сашка, со своей политикой... Пики!

— У меня трэф. Говорите здесь, — разрешил царь.

От множества горевших свечей — духота, как в бане. Горчаков сказал, что в Европе возник очаг напряженности:

— Это Шлезвиг-Голштиния, бывшее владение вашего несчастного прадеда Петра Третьего. Бисмарку не сидится спокойно, и одной Альвенслебенской конвенции ему маловато. Сейчас он соблазняет нас странной мыслью, что союз Австрии, Пруссии и России — это тот бастион, о который разобьются любые волны. А шлезвиг-голштинский вопрос в Дании...

Царь колодой карт треснул визжащую болонку по носу, и она укрылась в кружевах, озлобленно урча.

— Ну что там Дания! — сказал царь. — Мелочь...

Горчаков отвечал, что в сообществе государств, как и в организме человека, малые органы играют такую же большую роль, что и крупные. Нельзя же отрицать в мировой системе значение какого-либо государства только потому, что на карте мира оно занимает очень мало места.

Царь с неудовольствием оторвался от виста.

— Я уж не говорю о России, — сказал он, тасуя карты. — Но разве возможно содружество Пруссии с Австрией?

— Сашка, — вдруг спросила графиня Разумовская, — я до сих пор так и не знаю, где что находится... Объясни мне — Дания в Голштинии или Голштиния в Дании?

Горчаков не был расположен к чтению лекции:

— Вопрос слишком сложен... даже для меня!

— И... для меня, — добавил царь со смехом. — Здесь где-то крутится датский посланник Плессен, поговорите с ним... Пики!

Невнимание царя к датской проблеме обидело вице-канцлера, но он все-таки отыскал Плессена среди танцующих, и тот сказал, что в немецких газетах давно пишут, будто Россия заинтересована в обладании городом Килем и его портом.

— Да, — ответил Горчаков, — Бисмарк уже представил нам все выгоды для судоходства от совместного прорытия и обладания Кильским каналом, но вы не увидите русских в своей Ютландии с лопатами, а тем более с ружьями.

— Мы так хорошо жили... — вздохнул посол Дании.

— Нам не нужен Кильский канал, как не было для нас нужды и в Суэцком. Я, наверное, плохой землекоп. Но, кажется, недурной дипломат. Я мечтаю об одном — сохранить в Европе мир, а это мне удастся не всегда...

Было еще не ясно, что станет делать Австрия!

После стыдного провала съезда монархов во Франкфуртена-Майне граф Рехберг испытывал шемящую тревогу: принизить значение Пруссии не удалось. Венские заправилы понимали, что надо как-то вернуться из неловкого положения. Едва Бисмарк завел речь о правах Пруссии на Шлезвиг-Голштейн, в Шёнбрунне догадались, что Берлин желает осиять себя ореолом «освободителя» шлезвиг-голштейнских немцев от датского «угнетения».

— Позволь мы это сделать Пруссии без нашего участия, — рассуждал Рехберг, — и Пруссия, одержав легкую победу над Данией, сразу усилит свое влияние в немецком мире. Чтобы не потерять остатки своего авторитета среди немцев Европы, нам следует немедленно примкнуть к войне с Данией...

Вена прозондировала Берлин, и — к удивлению Рехберга — Бисмарк не стал уклоняться от венских объятий.

— Что ж, встанем в одну шеренгу, — сказал он. — Я только и жду, когда у нас возникнут самые сердечные отношения...

Он открыл ловушку, в которую Австрия и запрыгнула, словно глупая мышь, видевшая только кусок сала, но не заметившая ни железных прутьев, ни хитрых замков. Бисмарк уже начал запутывать австрийскую политику в сложнейших лабиринтах своих виртуозных комбинаций... Вот вам дикий парадокс: Бисмарк шагал к объединению Германии, ведя под ручку ненавистную ему Австрию — злейшую противницу этого объединения!

Европа досматривала приятные сны...

...Совсем уж некстати к Бисмарку снова явилась депутация ткачей — с жалобами на фабрикантов, в расчете на то, что королевская власть поможет им выбраться из непроходимой нужды. На этот раз Бисмарк не стал миндальничать:

— В следующее воскресенье жареного гуся не будет. Пришло время жарить пули и выпекать бомбы. Готовьтесь к войне!

Нечто очень печальное

Прием окончился... Пришлось много говорить, он сбился с голоса, устал. Подойдя к окну, вице-канцлер прижался лицом к стеклу, остужая разгоряченный лоб, и смотрел, как отъезжали кареты с послами. Неожиданно сказал:

— А ведь мог бы получиться неплохой дипломат.

— О ком вы? — не понял его Жомини.

— Вспомнил я... Пушкина! Сейчас все настолько привыкли к его званию поэта, что никто не представляет Орфея чиновником. А ведь мы начинали жизнь по ведомству иностранных дел. «С надеждою во цвете юных лет, мой милый друг, мы входим в новый свет», — писал он мне тогда. «Удел назначен нам не равный, и разное мы оставим в жизни след...» Так оно и получилось! Но иногда я думаю, как бы сложилась его судьба в политике, если бы не поэзия? Может, блистал бы послом в Париже? Или застрял навсегда консулом в Салониках... Вы меня слушаете, барон? — спросил министр.

— Да, ваше сиятельство, — кивнул Жомини.

Горчаков ослабил галстук, потер дряблую шею. Побродив по кабинету, извлек из портфеля пакет:

— Я получил письмо от ученого графа Кейзерлинга, что ныне ректором в Дерптском университете. Позвольте, прочитаю из него отрывок: «Я настаиваю на опасности германизма. Германцы были первыми орудиями угнетения; в порабощении поляков они превосходили всех... В глубине души я чувствую отвращение к Пруссии: королевский абсолютизм, в неестественном сочетании с парламентом, — это ведь как подлая женщина, избравшая себе мужа с единой целью — обманывать его!»

— Не ожидал от немца, — заметил Жомини.

— Вот то-то и оно, что немец пишет по-русски...

Звонили колокола церквей, подтаивало; близилась Пасха — с куличами и бубенцами, с неизбежным отягощением после застолий. «Отвратив грозившие России политические столкновения и незаконные попытки вмешательства в ее дела, цель ревностных трудов, усердно Вами понесенных, была достигнута к чести и славе России» — при таких словах рескрипта Горчаков под Пасху получил от царя его портрет, осыпанный бриллиантами. Такие портреты приравнялись к очень высокой награде и носились на груди наравне с орденами. При всем своем честолюбии Горчаков охотнее получил бы деньги. В них он сейчас особенно нуждался, ибо возле него, утепляя его старость, жила, пела, смеялась, флиртвала и капризничала племянница Надин Анненкова, бывшая Акинфова; разведясь с мужем, красотка переехала на дядюшкины хлеба, и поговаривали, что скоро быть свадьбе...

Горчаков ей стихов не писал — писал Тютчев:

При ней и старость молодеда
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

.....
И даже он, ваш дядя достославный,
Хоть всю Европу переспорить мог.
Но уступил и он — в борьбе неравной
Вдруг присмирел у ваших ног.

Надежде Сергеевне было всего 25 лет. Кажется, она серьезно покушалась на дядюшку, чтобы к своему имени получить звание вице-канцлерши. Об этом тогда много судачили в Петербурге — кто с похвалою, кто осудительно, но —

К ней и пылинка не пристала
От глупых сплетен, злых речей.
И даже клевета не смяла
Воздушный шелк ее кудрей...

Горчаков благодушничал в обществе племянницы, охотно исполнял все ее капризы, что давало повод для разговоров о чувствах старика не только родственных. Желая устроиться в международной политике, буд-то Нана в своем будуаре, среди красивых безделушек, Надин открыла нечто вроде политического салона, мечтая о славе мадам Тальен или Рекамье. Горчаков не препятствовал этой затее, и в дом вице-канцлера, где раньше царил закоснелый дух скупого камердинера Якова, потянулись не только дипломаты — артисты и профессора, генералы и сановники; бывали молодые журналисты «с дарованием», появлялись стареющие красавицы «со связями». Все чувствовали себя у Горчакова свободно, и только Яков бубнил по вечерам в спальне своего барина:

— Доведет она вас до греха. Так вытряхнет, что пойдете по миру, и я пойду с вами. Да вы на себя-то гляньте... хорош жених! Ежели корка попадется, и тую прожевать не можете. А тут эдакий орех с изюмом... вот уж она спляшет на вашей лысине!

Вскоре князь заметил в отношении к нему императора некоторую фривольность, какой не замечал ранее. Не называя Надин по имени, Александр II давал странные советы:

— Я бы на вашем месте не задумывался! А присутствие молодой женщины украсит церемонии дипломатического корпуса...

Из Средней Азии поступали сообщения — генерал Черняев замыслил поход на Чимкент. Англичане быстро пронюхали об этом, и в салоне появился лорд Нэпир, которым можно было залюбоваться; стройный, голубоглазый джентльмен, он получил воспитание в Мейнингене, склад ума имел несколько педантичный, но держался, как независимый «викторианец», уже положивший в карман полмира. Нэпир начал издадека:

— Ваш русский Кортец, генерал Черняев, кажется, сильно заинтересован делами в Кокандском ханстве?

Горчаков сделал отрицательный жест:

— Только, ради бога, не говорите, что мы идем отвоевывать у вас Индию! Стоит нашим солдатам чуточку загореть на солнце, как в Лондоне сразу называют нас конкистадорами... Мы ведь не ведем колониальной политики!

— Но ваше стремление со времен Петра Первого к расширению стало уже хроническим и... опасным. На опыте своей страны я знаю, как это трудно — уметь остановиться. Допускаю, что вам предел знаком, но знают ли предел ваши генералы?

— В чем вы нас подозреваете? — оскорбленно спросил Горчаков. — У нас в России есть такие места, где еще не ступала нога человека, и мы, русские, все еще надеемся встретить в Сибири живого мамонта. Неужели в мудрой Англии думают, что Россия озабочена приращением земельных пространств?

— Вы и так безбожно распухли, — съязвил Нэпир.

— Наша опухоль — наследственная, в отличие от вашей — всегда чужой, развитой в меркантильных интересах...

Кажется, назревал поединок интеллекта двух школ — Мейнингенской и Лицейской, но тут Горчаков заметил Тютчева, который с потеряннным видом появился среди всеобщего оживления, и Горчаков, почуввав неладное с поэтом, оставил Нэпира.

— Что с вами, друг мой? — спросил он Тютчева.

Два месяца назад Леля родила ему последнего ребенка, и Тютчев дал ему, как и другим детям от Лели, свою фамилию (фамилию, но без герба). А теперь она умирала... умирала на старой даче Ораниенбаума, в конце тишайшей улочки.

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали,
Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.
И вот, как бы беседа с собой,
Сознательно она проговорила:
— О. как все это я любила.

Ее не стало, а дождь продолжал шуметь в листве старых деревьев, и тут он понял, что все кончено. Нет в мире никаких трагедий. Есть только одна трагедия — это смерть! Возле любимой женщины, медленно остывающей на плоском столе, он в горячке написал письмо жене, а что написал — не помнил...

Вздрагивая, он вложил в руку Лели свечу. Раскаленный воск сбегал на ее пальцы, но ей уже не было больно.

Горчаков через несколько дней навестил поэта на Коломенской улице. В убогой квартире вице-канцлер погладил головы детишкам — тютчевским (по фамилии, но без герба). Поэт лежал на кушетке, его знобило. Он сказал:

— А что произошло? Неужели она умерла? Да, да, я знаю, это я виноват... О, как она, бедная, страдала от своего двойственного положения! Мы, мужчины, этого не понимаем. Но ради любви ко мне она сознательно пошла на позор. А в результате чахотка... А я жив. Зачем?

Кто-то появился за спиной Горчакова, потому что взгляд Тютчева вдруг обрел особую остроту. Горчаков обернулся: в дверях стояла жена поэта. Вице-канцлер встал и отвесил женщине нижайший поклон. Она сказала:

— Я сегодня же увезу тебя, Федор, из России...

Тютчев снова оказался в кругу семьи, а дочери, как и жена, с благородным тактом делали все, чтобы он забыл о могиле, которую поливали серые петербургские дожди. Поэта, будто ребенка, нуждавшегося в развлечениях, сажали с поезда на поезд, с парохода на пароход, его перемещали из одного отеля в другой. Тютчев был тих и покорен, безответно погруженный в самого себя. Он прижался — всей душою! — к тому праху, что остался на родине. Глазами слепца Тютчев озирает ярчайшие краски божественной Ниццы; из груди его, трагически умолкнувшей, вдруг вырвалось, словно стон, откровенное признание:

О, этот Юг! О, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может,
Нет ни полета, ни размаха —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Горчаков встретил его в сытой чопорной Женеве.

— Пережить — не значит жить, — сказал поэт. — Для меня все уже кончилось... навсегда. А для вас?

— И для меня кончается, — ответил Горчаков.

Вокруг них сгущалась старческая пустота.

— Прошу вас — только не молчите. Понимаю, что многое закончилось, но о политике-то вы говорить можете...

— О ней могу.

— Так скажите, ради чего все эти марши среди оазисов пустыни? Что вам там надо? Неужели хлопок?

— Нет, не ради хлопка наши генералы самочинствуют в этом пекле. Я и сам не всегда понимаю, что творится за Оренбургом. Там вроде бы политическое единоробство с Англией сомкнулось с целями улучшения границ. Военный министр Милютин считает, что виноваты сами англичане! Своей подозрительностью к нашей политике они и толкают наших генералов на закрепление стратегических рубежей.

— Значит, чистая стратегия?

— Нет, и экономика. Даже хлопок...

Они вышли на улицы Женева, спустились к озеру.

— Когда я был в Мюнхене, — рассказывал Тютчев, — профессор Блунчли сказал мне о Бисмарке так: «Мы, немцы, обожаем насилие даже в том случае, если его творят над нами. Во времена политических бессилий в нас проступают черты философского идеализма, но стоит нас вооружить и ударить в барабаны, как вы не узнаете тихих пивоваров и башмачников: в них пробуждается древний дух варваров...» Вот так-то, любезный князь! Вам не страшно? — спросил он Горчакова.

— Нет, — спокойно ответил тот.

Снова Петербург, снова Певческий мост...

— Итак, — сказал Горчаков, — я весь внимание.

Граф Кейзерлинг оказался тощим высоким человеком в форменном сюртуке; волосы уже седые; улыбка очень мягкая.

— В старом Ревеле, где я предводителем эстляндского дворянства, многое осталось от цеховых предрассудков. Столяр, делающий стулья, уже не будет мастерить стол, а делающий столы не сделает вам стула. Я палеонтолог, но из цеха чистой науки решил постучаться в чужой мир политики...

— Gut, — крикнул Горчаков, вроде одобряя.

— Я не только немец, — продолжал Кейзерлинг, — я еще и русский ученый. Наука сама по себе космополитична, но ученые не всегда космополиты: я — русский патриот. Бисмарк — моя давняя слабая струна! Любя его, как друга юности, я порою просто не перевариваю его. Пользуясь случаем пребывания в столице, я хотел бы лично предостеречь вас относительно этого безбожного господина...

— В чем? — спросил Горчаков, и цейсовские линзы его очков вдруг ослепительно вспыхнули на солнце.

— Бисмарк — лжец! Да, он способен на привязанность к людям, пейзажам, чибисовым яйцам и собакам. Но вы не верьте, что он любит Россию, — он лишь боится ее. Бисмарк агрессивен по складу природы, он способен причинить множество бед не только отдельным личностям, но и целым народам.

Конечно, ученому нелегко дался этот шаг, и на искренность Горчаков решил ответить тем же святым чувством:

— Но политика не торговля, и я не могу избирать для себя приятную клиентуру. Даже в агрессии меня интересует политический результат. Не забывайте, что Черное море — наша чувствительная подвздошина, а там мы обезжирены и обескровлены. Все эти бисмарки, рооны и мольтке крутят крылья своей мельницы, а она мелет муку для нас... Не подумайте, — предупредил он, — что я политический тиран, не внемлющий людским страданиям. Я не закрываю глаза на зло и даже, где это можно, предотвращаю его. А конечный результат политики, проводимой мною, обнаружится не сразу...

Кейзерлинг поднялся, чуть смущенный:

— Я, очевидно, чего-то не понял как надо. Делаящий стулья не должен делать столы.

— Но я оценил ваше благородство. Вы немножко наивны, как и следует человеку науки, а я, наверное, слишком жесток в вопросах, кои относятся до чести моего отечества.

Отвесив друг другу церемонные поклоны, они расстались. Горчаков долго стоял посреди кабинета — думал...

Кажется, он разгадал подоплеку ухищрений Бисмарка в состряпанном им альянсе с Австрией, но в Вене пресыщенные гордостью дельцы еще не осознали, чем закончится экзекуция над «датским ребусом».

Датский ребус и экзекуция

Английский лорд Пальмерстон говорил:

— Во всей Европе шлезвиг-голштейнский вопрос понимали только три человека — муж моей королевы Виктории, один дурашливый старик в Дании и я! Но моя королева овдовела, глупый датчанин угодил в дом для умалишенных, а я совершенно не помню, в чем там дело...

Датский ребус очень сложен. Над правом обладания Шлезвиг-Голштейном столетиями наслаивались осложнения — событийные, династические, языковые, бытовые; сложность этой проблемы до сих пор интригует юристов международного права и историков*. У шлезвиг-голштинцев таилась надежда стать двумя маленькими государствами, которые могли бы прокормить сами себя, благо они обладали высокоразвитым сельским и молочным хозяйством. Но Бисмарк, как перед хорошим обедом, уже потирал руки:

* Шлезвиг-Голштиния до 1767 года принадлежала и России, которая добровольно от нее отказалась. Вопрос не оставил равнодушными и советских историков; последняя монография издана в Таллине (*Лидия Роотс* Шлезвиг-Голштейнский вопрос. 1957). В некоторых случаях я пишу не Голштейн, а Голштиния, как всегда приносили русские люди.

— В этом датском ребусе, с какой стороны к нему ни подойти, всегда сыщешь место, чтобы уцепиться за повод к войне. Маленькая экзекуция делу не повредит...

Вызвав к себе на Вильгельмштрассе русского посла, президент сказал ему с циничной откровенностью:

— Я знаю, что в России станут думать обо мне, но я очень прошу: дайте нам обменяться с Данией пушечными залпами!

Это значило: конфликт можно разрешить и мирным путем, но Бисмарку нужна война, только война, чтобы немцы снова почували вкус крови. Предчуя нашествие «экзекуторов», датский король обнаружил конституцию, закреплявшую единение Дании с немецкими провинциями, — Бисмарк начал бужевать:

— Да кому теперь нужна его бумажонка?..

Берлин и Вена переслали в Копенгаген ультиматум, чтобы в 48 часов (!) не было и духу от датской конституции. Дания отказалась исполнить их команду. Бисмарк того и ждал:

— Прекрасно... экзекуция начинается!

И тут выяснилось: в Пруссии много кричали о войне, но воевать никто не рвался. Ровно полвека немцы просидели дома, а не бродили с оружием в руках по дорогам Европы. Старикам, помнившим былые войны, молодежь уже не верила, что в боевых условиях человек может выспаться на голой земле (немцы возлюбили пуховые перины). На вокзалах бунтовали призывники:

— Куда нас гонят? Нам и так хорошо живется.

— Плевать мы хотели на этот Кильский канал!

— А что мне датчане сделали плохого?..

Усмиряя антивоенные бунты, полиция измучилась: новобранцев запикивали в вагоны силой. Бисмарк тащил пруссаков на войну буквально за волосы. Накануне первого сражения при Миссунде кронпринц Фридрих вдруг вспомнил, какие пылкие бюллетени обращал Наполеон I к своим солдатам, и тоже провозгласил: «Каждый, кто в будущем может похвастать: я — миссундский солдат! — получит ответ: «Вот так храбрец!» После этого пошли вперед и были... наголову разбиты. Драпая от датчан, сами же пруссаки обсмеивали себя:

— Ты, парень, удираешь из-под Миссунды?

— Ага.

— Вот так храбрец...

Мужество датских стрелков и крестьян Ютландии, с руганью хватавших охотничьи ружья, заряженные картечью на волка, приводило Бисмарка в отчаяние. Под фортами Дюппеля пруссаки бились о фасы, словно барабаны о стенку, но взять фортов не могли. Австрия воевала гораздо лучше пруссаков. Бисмарк, донельзя удрученный, сказал Мольтке:

— Мы становимся просто смешны... позор!

Мольтке оставался невозмутим как бог:

— Наши маневры — сплошная цепь взаимосвязанных недоразумений. Но, — добавил он, — ответственность за тактические промахи несут кронпринц Фридрих и военный министр Роон, а приказы по армии проходят через канцелярию самого короля... Бисмарк, я назвал вам виновных! Так воевать нельзя. Устройте еще одну войну — специально для прусского генштаба, и вы убедитесь, как точно планируем мы победы...

Весною прусская армия освоилась с войной, стала побеждать. Это было уже нетрудно, ибо на одного датского солдата накидывались три немецких. Отвоевав Шлезвиг и Голштинию, захватив Фризские острова, Бисмарк увлекал австрийцев и дальше — чтобы оторвать от Ютландии земли пожирнее. Но датский флот регулярно громил неопытных моряков Пруссии, а морскую разведку в пользу Копенгагена вели английские корабли Ла-Ваншской эскадры. Опыренный успехами на суше, кайзер вдруг заговорил, что Пруссия способна поразить даже Англию...

Об этом узнал в Петербурге князь Горчаков:

— Поразить Англию? Любопытно — в какое место? Но зверь проснулся, и пора стричь ему когти...

Летом он с царем срочно выехал в Киссинген, где отдыхали кайзер с президентом. Неизвестно, какую инъекцию впрыснул Бисмарк своему королю, но старикашка, поначалу робкий, как заяц, теперь обнаглел и озирался с беспокойством — где бы еще отрезать кусок для Пруссии? При встрече с племянником Вильгельм I сказал, что стоит ему двинуть мизинцем, и вся Германия — от Немана до Рейна! — поднимется, охваченная тевтонской яростью. Бисмарк деликатно не стал развивать этой темы. Царь заговорил с дядей о неограниченных возможностях средств уничтожения, какие ныне уже имеются в арсеналах Европы.

— Нельзя закрывать глаза, — сказал он, — и на колоссальные жертвы, которые могла бы принести миру всеобщая война. Сейчас один снаряд, разорвавшись, способен унести жизни сразу трех человек... Нельзя же с этим не считаться!

Горчаков тихим голосом вставил:

— Россия не останется безучастным зрителем. Случись еще одна «экзекуция», и мы не останемся в стороне, как равнодушные наблюдатели.

— Неужели, — закричал кайзер, вскакивая, — вы способны стрелять в пруссаков, в своих верных и добрых друзей?

— Я не говорю сейчас о стрельбе. Но политически мы не подержим вас. Бросая перчатку через Ла-Манш, вы (я понимаю это) не

столько ратуете за национальное единство, сколько желаете посредством военного энтузиазма приглушить внутри Пруссии сдавленные вопли оппозиции.

Глупый король, не подумав, ляпнул:

— Да! Мы хотели бы свернуть болтунам головы...

Шрам над губою Бисмарка из белого сделался багровым, но он терпеливо смолчал.

— Для нас, — продолжал Горчаков, словно не заметив оговорки кайзера, — не суть важен сам датский вопрос — мы заинтересованы в сохранении мира. Еще раз напоминаю: России не всегда удастся сохранить нейтральное положение. Вы хлопчете о том, чтобы все немцы жили одной семьей. Но послушайте вой, уже оглашающий Шлезвиг и Голштинию, жители которых и не мечтали сделаться пруссаками.

— С этим мы справимся, — хмуро сказал Бисмарк.

В частной беседе с президентом Горчаков дал ему понять: без одобрения Петербурга королевская Пруссия не сделает лишнего шага; Бисмарк рассвирепел, и на вокзале, прощаясь с Горчаковым, он сказал:

— Не слишком-то вы доверчивы к друзьям! Такие выговоры, какие получили я и мой кайзер, делают лишь провинившимся лакеям, если они с опозданием подают барину ночные туфли...

Горчаков потрепал его по плечу:

— Ну-ну, Бисмарк! Что вы так обидчивы? Кстати, — спросил он, — как вы собираетесь разделить с Австрией завоеванное?

Поезд тронулся, и Бисмарк помахал рукою. Потом приложил руку к сверкающей каске и крикнул:

— Как-нибудь разделим!

Франц-Иосиф имел бухгалтерскую память на события и факты истории. Но стоило ему из этого материала начать лепить храм австрийской политики, как все разваливалось на отдельные детали, среди которых император и оставался, будто ребенок среди разбросанных по углам игрушек. В душе кесаря царила мгла постоянного уныния, и он пребывал в предчувствии того, что если не в соседних комнатах Шёнбрунна, то уж в соседнем государстве кто-то непременно желает ему напакостить. Впрочем, в этом он мало ошибался... Сейчас Франц-Иосиф страдал, не зная, как проглотить обретенное на войне.

— Я вот смотрю на карту, — сказал он Рехбергу, — и не понимаю — ради чего мы с вами воевали? Здесь Дания, а здесь моя империя. Между ними пролегла Пруссия и германские княжества... Об этом мы раньше не подумали!

Между тем уже началось «онемечивание» немцев самими же немцами. Немец, освободивший немца из-под мнимого датского гнета, выгонял брата по крови в скотский хлев, а сам занимал дом для военного поста. Вместе с немцами Бисмарк унаследовал 200 000 чистокровных датчан и фризов, которым запретили читать датские газеты и петь свои песни. Но когда шлезвиг-голлштинцы запевали хором свой «Schleswig-Holstein», прусская полиция разгоняла хористов палками. Тюремь и штрафы очень помогали «взаимопониманию» одних немцев другими... В отвоеванных провинциях всюду вспыхивали драки и поножовщина!

Бисмарк был строго последователен и никогда не приступал к выполнению второй задачи, пока не разрешена первая. Сначала он создал предпосылки для союза с Австрией, теперь надо было загнать Австрию в безвыходное положение. Отрезанный от Дании пирог лежал на германском столе и аппетитно дымился, Бисмарк и Рехберг точили ножи, дабы совместно приступить к его справедливому разделению...

Дележ начали на курорте Гаштейн; пруссаки с австрийцами уселись за стол, все прилично одетые, взаимно любезные, и в ходе приятной беседы договорились, что Голштейн — Австрии, а Шлезвиг — Пруссии (у датчан отняли еще и герцогство Лауэнбургское, которое пока не делилось).

Но пришло время австрийцам взвзвить...

— Господь видит, — начал Рехберг, — что Голштейн для нас вроде данаевых даров, ибо мы не знаем, что с ним делать. Вы получили Шлезвиг, обживаете для флота Кильскую гавань, хотите рыть канал... А что нам? Вене гораздо легче укусить себя за локоть, нежели обладать Голштейном.

«Бульдог с тремя волосками» издал рычание:

— В чем дело? Я вас не обманывал. Или вы завидуете, что мы ковыряемся в земле? Да переройте хоть завтра весь Голштейн, Пруссия вам и слова худого не скажет.

— Но так же нельзя! — возмутился Рехберг. — Заберите себе уж и Голштейн, а взамен отрежьте нам самый заваливающий клочок своей земли, примыкающей к нашим рубежам, чтобы мы могли с нею управляться... ну, хотя бы графство Глац!

Бисмарк суровым оком высмотрел Глац на карте:

— Один из заветов дома Гогенцоллернов гласит, что земля, единожды побывав в наших руках, уже никогда не может быть отдана... Я оскорблен венскими капризами!

Он сознательно выводил Вену из терпения, заставляя ее взяться за оружие, — так и понял его Франц-Иосиф.

— Благодарю вас, граф, — сказал он Рехбергу, — за всю ту датскую карусель, на которой вы меня так славно прокатили. Я не желаю вас

больше видеть. Вы дурак, но, к сожалению, я догадался об этом с большим опозданием...

Рехберга выгнали, а Бисмарк получил титул графа.

— Зато,— сказал ему кайзер,— что вы не поссорили меня с Австрией, а Вену сделали большим другом Берлина.

Глупец так и не понял, что Бисмарк добивался (и добился!) как раз обратного. Вскоре президент принял в Берлине делегации Баварии и Гессена, которых начал возбуждать против Австрийской империи... Со смехом он рассказал им:

— Вот послушайте, какая шлюха эта Вена и как она легко продается. Когда в Гаштейне я с Рехбергом заключал шлез-виг-голштейнский кондоминиум, мы с ним крепко выпили и за два миллиона риксдалеров я перекупил у него бесхозное герцогство Лаунбургское... Вообще-то оно мне нужно, как лягушке зонтик! Но этим актом спекуляции я хотел показать всей Германии, что Австрия способна торговать даже тем товаром, который завалился на чужих прилавках...

Сосредоточенный Мольтке, прибирая к своим рукам управление армией, выковывал стратегию уничтожения Австрии:

— Тяжба разрешится на полях Богемии! Вот здесь...

Именно здесь, по зеленым проселкам австрийской Богемии, бродяжил неунывающий человек. Он выступал под видом странствующего фотографа, влача на своих плечах по деревням тяжелый ящик фотокамеры; показывал фокусы с шариком на сельских ярмарках и в солдатских казармах. Но чаще всего катил перед собой тачку, наполненную доверху малосовместимыми товарами для продажи — молитвенниками и порнографическими открытками. Расчет был на слабость человеческой психики: всегда найдется человек, который из двух зол выберет для себя самое меньшее... Это дело вкуса! Бродягою был Вилли Штибер.

Все шло замечательно. Штибер загорел и окреп на свежем воздухе, тщательно собирая сведения о шоссе и гарнизонах Австрии, о калибре встреченных пушек, о приемах подковывания кавалерийских лошадей. Ничто не ускользало от его бдительного ока, а на деньги, полученные от Бисмарка, он вербовал среди населения тайных агентов для прусского генштаба... Конечно, в таком деле, каким занимался Штибер, без неприятностей не обойтись, и в поганом городишке Траутенау, где Штибер зашел в харчевню похлебать лукового супа, кто-то крикнул:

— Вот и собака Штибер... что он тут нюхает?

Его узнал коммивояжер, бывавший наездами в Берлине. Штибер перестал хлебать суп и подставил себя под удары кулаков. Когда его избили, а молитвенники с порнографией растащили, он отдался в руки

австрийской полиции. Два верховых жандарма всю ночь напролет гнали его пешком до границы. На рубежах империи они развязали шпиону руки, повернули лицом на восход солнца и поддали сапогами под зад:

— Вот тебе сосиски с капустой! Беги запей их пивом...

Не унывая, Штибер прибыл в Берлин и попал на прием к Мольтке, которого просто очаровал своей осведомленностью.

— Ваш шпион — это чудо! — сказал он Бисмарку. — Мы узнали все, не прибегая к похищению документов венского генштаба... Просто удивительно!

— Я не держу плохих исполнителей, — ответил Бисмарк и поручил Штиберу приступить к созданию тайной полиции, пронизывающей все ткани внутренней жизни королевства.

— А я, как начальник тайной полиции, взываю к вашему благоразумию: носите пуленепробиваемый панцирь.

— Вы думаете... — неуверенно начал Бисмарк.

— Все так думают, — ответил Штибер.

Развитие агрессии

Горчаков прихворнул — вершил политику дома...

— А герцог Морни умер, — сообщил Жомини.

— Вот как? Жаль вдову... бедная девочка, — вздохнул вице-канцлер. — Где она еще найдет такого мужа, который бы с равным успехом мог управлять политикой Франции или стоять за прилавком, торгуя хурмой из Алжира... Однако со смертью Морни не стало в Париже главного политического спекулятора. Боюсь, теперь Наполеон будет обманут Берлином...

Его навестил военный министр Милютин, опять упрекавший Горчакова в том, что он вроде бы извиняется перед Англией за проникновение России в пески Средней Азии:

— Англичане ведь не церемонятся, они захватывают целые царства, чужие города и страны, и мы не спрашиваем у них, по какому праву они это делают.

— Так-то оно так, — отвечал Горчаков, — но основное правило политической культуры — уважение чужого мнения при сохранении своих убеждений. Если это правило когда-либо исчезнет из обихода, то идейного противника, даже не выслушав, будут сразу бить кулаком в фас, чего делать, — сказал князь, — нельзя... Не старайтесь поспорить меня с Англией!

Напир, легок на помине, не замедлил явиться.

— Итак, — сказал он, сразу наступая, — все ваши миролюбивые разглагольствования о том, что Россия не желает обретения новых

пространств, в финале имеют захват вами кокандского Чимкента, и я, не боясь показаться скучным, все-таки напомню, что Россия снова придвинула свои рубежи к Индии.

— Оставьте вы меня со своей Индией, — отвечал Горчаков, глотая микстуру. — Я не собираюсь на старости лет лазать через хребты Афганистана, чтобы отнимать самую драгоценную жемчужину из вашей короны... Чимкент! Господи, да это такая дыра, где не живут даже кошки! Чимкент — это точка; здесь наши войска останутся как вкопанные.

— Помните наш предыдущий разговор? Я ведь предупреждал, что самое трудное в этом деле — остановиться.

— В цивилизованных странах на что-то ведь существуют не только генералы, но и правительства, их обуздывающие...

Но телеграф тут же принес известие, что генерал Черняев взял Ташкент! Отношения с Англией обострились, и Горчаков жаловался, что теперь он в положении повара, у которого на плите кипят сразу несколько горшков. Конечно, размышляя он, лежа в постели, в будущем возможна опасность со стороны Германии, но дети не скоро становятся взрослыми. Перенести же симпатии в Вену, чтобы с помощью Австрии сдерживать рост Пруссии, — это исключено! Франция проявила враждебность в польском вопросе, Англия противник в делах, что творятся за пустынными барханами.

Вскоре он порадовал Нэпира:

— Довожу до вашего кабинета, что генерал Черняев за самоуправство, выразившееся в самовольном захвате Ташкента, смещен со своего поста, а вместо него в Туркестан назначен генерал Романовский, весьма исполнительный и послушный...

«Послушный» генерал сразу же штурмовал Ходжент!

К немалому удивлению Горчакова, Романовский смещен за самовольные не был, и даже, более того, получил от царя Георгия, — Певческий мост порою не ведал тайных планов Зимнего дворца. Анализируя обстановку в Европе, Горчаков в эти дни писал: «Чем более я изучаю политическую карту, тем более убеждаюсь, что серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, если не единственная!» Александр Михайлович не строил приятных иллюзий — его политика опиралась на точные факты.

Мольтке спросил Бисмарка, как отнесется Франция к предстоящей схватке с Австрией, и получил ответ:

— Полагаю, когда двое дерутся, третий должен радоваться. Делайте свое дело, а политику я поташу на себе.

Бисмарк поддержки в обществе не имел. В эти дни он бросил в лицо ландтагу упрек в отсутствии патриотизма.

— Партийная фракционность заменила вам любовь к отечеству!

С места ему крикнули, что он будет повешен.

— Это меня нисколько не волнует, — ответил Бисмарк. — Лишь бы веревка, на которой я стану болтаться, навеки связала дом прусских Гогенцоллернов с будущей Германией!

Осенью 1865 года он выехал к Бискайскому заливу, где на курорте Биаррица отдыхал французский император. Теплые ветры Атлантики широко и протяжно задували над апельсиновыми рощами, но красоты природы не волновали Бисмарка...

— Бисмарк, — сказал Наполеон III жене, — отнюдь не такое наивное дитя, каким казался в Париже. У него совсем нет души. Зато много ума. Сознаюсь, что он покорил меня.

— А что он просил у тебя?

— Нейтралитет Франции, и только.

— А что за это обещал тебе?

— Да так... объедки... Люксембург, немножко от Баварии, частичку от земель на Рейне... ерунда!

В разговоре с Бисмарком император почти с гневом отверг Люксембург, заявив, что нейтралитет такой великой страны, как Франция, стоит гораздо большего. Бисмарк чуть ли не клещами вытянул из него признание — нужна Бельгия! После этого Наполеон III круто изменил тему разговора, а Бисмарку стало ясно, что император твердо убежден в поражении Пруссии: когда же победа Австрии станет явью, тогда он под шумок заграбастает Бельгию и всё то, что на него смотрит...

В Берлине Мольтке встретил Бисмарка словами:

— Вы привезли мне нейтралитет Франции?

— Я привез вам коробочку с барбарисовым мармеладом... ешьте! Это единственное, что удалось вывезти из Биаррицы, да и то не от Наполеона, а от его обворожительной супруги.

Мольтке с удовольствием съел мармеладинку:

— Вкусно! Но как же нам теперь быть?

— А как? — переспросил Бисмарк.

— Я не понимаю вашего спокойствия.

— А я — ваших тревог. Скажите честно, Мольтке: разве вы собираетесь проиграть войну Австрии?

— Упаси нас бог.

— Тогда волнения неуместны...

Генштаб работал как проклятый дни и ночи, выковыывая победу, в которой не должно быть изъянов. На смену крикливому Роону приходил замкнутый «молчальник» Мольтке. Со стороны могло показаться, что у этого человека три любимых дела — помалкивать, танцевать и охотиться на зайцев в силезском Крейзау. Но главным для Мольтке была война, как высшее проявление мозговой и нервной деятельности человека. Даже не Бисмарк, а именно Большой генштаб Берлина

должен стать головою будущей Германии... Между прочим, офицер прусского генштаба считался до конца подготовленным, если он проходил стажировку в русских войсках (лучше всего — на Кавказе). Из богатейшего опыта русских войн немцы скрупулезно выбрали самое рациональное и, переварив в своем соку, не механически, а творчески перенесли на почву фатерлянда. Прибавим к этому феноменальную склонность пруссаков к организации, и получится тот сплав боевой мощи, который обеспечит Пруссии победы...

— Наполеон Третий, — рассуждал Мольтке, — надеется, что в свалке с Австрией нам не миновать беды. Франции выгодно, если война превратится в затяжную, изматывающую. Именно поэтому война должна быть скоротечна, как вспышка молнии. Если Фридрих Великий сражался семь лет, мы должны расправиться с этим делом за семь недель, и тогда Наполеон Третий не успеет сдать мочу на анализ, как от Австрии останется один горький пепел... Кстати, а что делать с побежденной Веною?

— На аншлюс я не согласен, — ответил Бисмарк. — Брать на себя всю эту обузу из чехов, венгров, словаков, сербов, цыган и хорватов — значит брать на свою душу многовековые грехи Габсбургов, а Германия от притока буйной славянской крови не усилится, напротив, ослабится... Скажите, что вам необходимо, дабы война была краткой, как удар меча?

— Разделение армии Австрии на два фронта.

— О! Для чего же тогда существует Италия?

— Без нашей помощи Италия будет разбита.

— Жалеть ли об этом? Ведь главное для нас, чтобы они открыли второй фронт на юге.

— А что вы пообещаете итальянцам?

— Я люблю дарить лишь то, что мне не принадлежит. Вот Венеция... чем плохо? Пусть идут и воюют за Венецию...

Мольтке писал, что эта война «не вызвана необходимостью защищать наше угрожаемое существование: это был конфликт, признанный необходимым в кабинете, задолго продуманный и постепенно подготовлявшийся... речь шла не о завоевании новой территории, а о господстве над Германией».

Никакого сочувствия войне! Канцелярию президента завалили адресами в пользу мира, с церковных кафедр его называли «учеником дьявола», архиепископ из Майнца заклеил Бисмарка как разжигателя братоубийственной бойни... Германские часы были заведены еще в глубокой древности, а механизм их часто смазывался кровью покоренных народов. Бисмарк решил, что часы вот-вот остановятся, если их обильно не смазать своей кровью — немецкой!

7 мая, в самый канун войны, Бисмарка обстреляли на Вильгельмштрассе. Будущий «железный канцлер», волчком кружась под пулями, и впрямь оказался железным — семь пуль подряд расплющились об его панцирь (спасибо Штиберу за совет!). Опомнясь, Бисмарк ударом кулака свалил покусителя на панель.

Это был берлинский студент Карл Блинд!

— Дурак, ты стрелял в будущее великой Германии...

С этими словами Бисмарк скрутил ему руки за спину и доставил Блинда в полицай-президиум. Там студент, рухнув на пол, разгрыз стекло в печатке перстня. К нему кинулись — он был уже мертв... Бисмарк вытер со лба холодный пот.

— Едем в Бабельсберг, — сказал он Штиберу...

Вильгельму I он навязал Штибера на время войны в начальники полевой полиции при главной квартире — персона!

— Но позвольте мне, — сказал Штибер, — завести цензуру для писем и особый отдел для распускания слухов, чтобы воодушевлять Пруссию и сбивать с толку ее противников...

Война нависала над немцами, словно капля росы на кончике ветки, готовая вот-вот сорваться. Австрийцы, уверенные в победе, желали войны гораздо больше пруссаков. А немецкие герцоги, боясь потерять короны (что неизбежно для них при объединении Германии), тянулись к Вене, как дети к матери, видя в ней защитницу от немецкого единства. Бисмарку в ландтаге было решительно заявлено, что общественное мнение Пруссии против войны... Для него это не новость!

— Во врага, — ответил он, — никто не стреляет общественным мнением — врага разят только пулями...

По немецким дорогам круглосуточно громыхали составы; в раскрытых дверях вагонов прусские солдаты играли на окраинах и пели вполне миролюбиво:

Девчонок ваших
давайте спросим —
неужто летом
штанишки носят?

Бисмарк зашил в отворот мундира лошадиную дозу яда, чтобы покончить с собой, если Пруссию постигнет поражение, Роон говорил ему, что в конечном итоге все решит игольчатое ружье системы Дрейзе: пруссак сделает три выстрела, в то время как австрийский солдат успеет выстрелить единожды.

— Уповая на бога, — рассуждал Роон, — не станем забывать, что австрийцы помешаны на тактике прошлого века и сомкнутых колон-

нах. А наши стрелки идут цепями, используя любую складку на почве, в Дании мы научились обходить фланги...

Пришло жаркое лето 1866 года. Австрия обратилась к сейму во Франкфурте, чтобы Германский бундестаг обуздал Пруссию, чтобы все германские князья мобилизовали против нее свои армии. В ответ на это Бисмарк заявил публично: принятие австрийского предложения будет сочтено в Берлине за объявление войны. 14 июня началось голосование: девять голосов против шести высказались за Австрию. Тогда с места вскочил прусский посол фон Савиньи и прогорланил:

— Вот! Отныне вы уничтожили сами себя...

Бисмарк мило попрощался с австрийским послом:

— Дорогой мой граф Карольи, я очень рад, что не мне выпала миссия объявлять войну... На нас напали! Прощайте. Мы увидимся в более приятные времена.

На стороне Австрии остались королевства Баварии, Саксонии, Ганновера, Вюртемберга, герцогства Бадена, Гессен-Дармштадта и Нассау, вольный город Франкфурт-на-Майне да еще свора мелких князей, обещавших Австрии поддержку, не выводя своих солдат за пределы владений. На сторону Пруссии перешли северогерманские и тюрингские княжества. Во главе прусской армии встал король, а начальником штаба был Мольтке... Бисмарк спросил Альвенслебена:

— И каков, по-вашему, будет результат?

Документальный ответ генерала:

— Ударим так, что Вена ноги задерет...

А венские газеты писали, что «Пруссия в конце войны сама повесится на кишках непобедимой Австрии». С богом — начинай, ребята!

Садовая — Кёнигсгретц

15 июня поздним вечером Бисмарк с английским лордом Лофтусом гулял в саду берлинского замка. На башне пробило полночь, и Бисмарк сверил карманные часы.

— *В эту минуту*, — сказал он, — наши войска входят в Ганновер, в Саксонию и в Гессен-Кассель... дело серьезное!

— Почему вы так уверены, вплоть до минуты?

— Мы хорошо подготовились к этой войне...

Даже очень хорошо! Короли бежали, герцоги сдавались в плен. Пруссаки вломились в «вольный город» Франкфурт, обложили его чудовишной контрибуцией в 25 миллионов флоринов, а бургомистра задержали до того, что он взял и повесился. Древний Нюрнберг увидел, что тут не шутят, и сам открыл ворота перед пруссаками... Мольтке призывал:

— Двигаться врозь — бить вместе!

Без единого выстрела прошли всю Саксонию, войска которой влились в состав австрийских. Мольтке расчленил армию Пруссии на две колонны: первая вытекает из долин Эльбы, другая змеей вытягивалась из ущелий Исполиновых гор, — впереди лежала зеленая и сочная земля славянской Богемии. План Мольтке был шедевром, но при условии, если его исполнители проделают маршруты с часами в руках. Бисмарк целыми сутками ехал на громадной рыжей кобыле — не спал. До него дошло известие, что итальянской армии уже не существует: при первом же столкновении с австрийцами она побросала оружие и прытко разбежалась... Бисмарк был поражен:

— Я знал, что они будут разбиты! Но я надеялся, что они хотя бы день-два продержатся ради приличия...

Он страдал бессонницей и просил жену выслать ему мешок романов, «не слишком захватывающих, чтобы пленить мой ум, и не настолько уж глупых, чтобы сразу швырнуть их об стенку». По ночам в ужасе просыпались жители городов, когда в сонную тишину вторгалась какофония звуков от прохождения артиллерии и конницы, звенящей амуницией. Михаил Иванович Драгомиров состоял при прусской главной квартире — как глаза и уши российского генштаба, чтобы все видеть и слышать. Вильгельм I обходился с ним очень любезно. Мольтке на беседы поддавался туго, зато Бисмарк любил болтать с атташе по-русски. Одну из ночей они провели в какой-то деревне с добротными домами. Крестьянский мальчик с испугом смотрел на незнакомых военных. Бисмарк спросил его:

— Ты кто, милое дитя? Чех? Поляк? Саксонец?

Мальчик молчал. Бисмарк намочил в остывшем кофе с молоком кусочек сахара и сунул его в рот ребенку.

— Сладко? — спросил он, поглаживая его по головке.

— Горько, — ответил тот вдруг по-немецки.

Драгомиров, — по его словам, — окунулся в «океан пруссаков», из которого хотел бы выделить «перлы». Оставляя в стороне Мольтке как явление незаурядное, он пришел к выводу, что «перлов» вообще не было. Все генералы Пруссии имели одинаковый общий уровень грамотных и работоспособных специалистов; в общей массе они и составляли то ценное ядро прусского генералитета, который лучше всего определить словом «плеяда». Все пожилые генералы Пруссии, и даже старики, выглядели свежо и бодро, ни у кого не было отвислых животов, желания «соснуть часочек в тенечке», приказы они отдавали звонко, кратко и точно. Казалось, эти суровые люди в широких пелеринах и сверкающих касках еще с колыбели усвоили железное правило: любое разгильдяйство строго карается! Но зато ни один из

прусских генералов не стал бы командовать, если бы его лишили самостоятельности; умение быть самим собой на поле боя — очень ценное качество. И еще заметил Драгомиров, что прусская армия не любит «победителей». Заслугу в победе над противником приписывали не отдельной персоне, а всей армии, что разрушало общепринятый в мире трафарет личного искусства полководца. Все лавры, какие выпадали на долю победителей, пруссаки как бы сваливали в общий котел.

В богемском походе Драгомиров подружился с 71-летним корпусным генералом Штейнмецем, имевшим громкие победы при Находе и Скалицах. Красноречивый, с львиною шапкою седых волос, он чем-то напомнил Драгомирову славного Ермолова. Штейнмец отлично говорил по-русски. Он начал с чтения петербургских газет, потом увлекся Пушкиным, изучив его творчество (как писал Драгомиров) «со свойственной немцам исполнительностью». Под Скалицами аташе спросил генерала:

— Как вам удалось проломить эти позиции?

— О, это ведь очень просто! Войска, едва волоча ноги, ходят в атаки до тех пор, пока не возьмут позиции.

— Но вы же, генерал, обескровили войска. Не лучше ли после первых неудачных атак заменить их свежими частями?

— Ни в коем случае! — возразил Штейнмец. — Солдат должен знать, что смены не будет. Смена уставших дала бы дурной пример для армии. В том-то и дело, что прусский солдат воспитан на сознании: отдых приходит с достижением цели...

Драгомирова удивило еще одно прусское правило. Если какой-то генерал терпел поражение, никто не упрекал его в бездарности, на него не падали подозрения в измене. Все коллеги генерала в спокойной деловой обстановке пытались выяснить причины неудачи, а сам виновник поражения нисколько не чувствовал себя удрученным... Для Драгомирова это было ново: «Почему так?» Оказывается, прусская армия прошла чистку еще в мирное время. Каждого офицера изучили вдоль и поперек. Робких, безынициативных и неумелых со службы выкинули! Зато доверие к оставленным в армии было безоговорочным. Никто не рассуждал об ошибках, никто не злорадствовал, а сообща пытались установить, каковы роковые причины неуспеха. От такого доверия прусские генералы в боях не нервничали, не боялись за свою карьеру, они смело шли на риск и, как инженеры машинами, спокойно управляли войсками.

В одном селении Драгомиров наткнулся на пленных австрийцев, доедавших свой воинский обед — еще из казны императора Франца-Иосифа. В оловянном котелке каждого плескался жиденький супчик, а в нем, словно разбухший утопленник, бултыхалась тяжелая клецка из сырого теста.

— А что у вас на второе? — спросил Драгомиров.

Солдат из чехов подцепил клецку ложкою:

— Да вот же оно...

Иначе выглядел мир австрийской армии. Его отличали от прусского нерешительность начальства, страшная, переходящая в кошмар боязнь ответственности за неудачу и генеральная диспозиция войны, подписанная в Шёнбрунне, где после призыва к победе указывался и точный маршрут отступления!

Во главе 300-тысячной Богемской армии стояла трагическая фигура фельдмаршала Бенедек, которого можно пожалеть. Сын бедного фармацевта из венгерских цыган, он выдвинулся неустранимой храбростью в боях с итальянцами, но был совершенно не способен командовать армией. Бенедек на коленях (!) умолял Франца-Иосифа избавить его от такой чести, тем более что в Богемии ни разу не бывал и не знал ее местности. Франц-Иосиф утешил Бенедек странной фразой:

— Я ведь не прошу от вас победы, я прошу только услуги...

С тяжелым сердцем Бенедек отъехал к армии, где офицерский корпус был пропитан интригами, кляузными доносами и завистью к ближнему своему. Для помощи фельдмаршалу были приданы два венских «гения» — граф Крисман и барон Геникштейн, которые не столько боялись прусской армии, сколько трепетали при мысли, что в Шёнбрунне их могут раскритиковать. Бенедек велел стянуть силы к Кёнигсретцу, лежавшему напротив деревни Садовая. Осмотревшись, он послал телеграмму императору: «Катастрофа неизбежна. Любой ценой заключите мир». Франц-Иосиф отстучал ответ: «Не могу. Если отступление, так отступите в порядке». Перед отходом Бенедек устроил солдатам ночевку; на рассвете его разбудили словами:

— Кажется, нам не отвертеться от сражения...

Бенедек посакал в деревню Липа, чтобы с ее горюшки видеть поле битвы. Здесь случилось то, чего, кажется, он и сам не ожидал: до двух часов дня Бенедек был победителем самого Мольтке, а потом его солнце закатилось... Между Садовой и Кёнигсретцем разрешался столетний спор среди немцев — кому из них владеть Германией?

...После битвы император сказал Бенедеку:

— У вас *неприятная* манера ведения боя. Напишите письменное заверение молчать до смерти о... Вы знаете, Бенедек, что я имею в виду! После чего ступайте под трибунал.

Это была жертва. Бенедек, умирая в горах Штирии, завещал жене, чтобы не вздумала украсить его могилу цветами. Чтобы над ним вытоптали даже траву. Чтобы на кресте не было никакой надписи. Он просил посадить колючий стебель репейника!

А старого хрыча под Садовой было не узнать; в странном возбуждении Вильгельма I появилось что-то ненормальное. Сидя верхом на кобыле по кличке Веранда, король много кричал, когда надо и не надо, обнажал саблю, с поцелуями и слезами прикладывался к знаменам полков и требовал жертв во имя монархии. Один полковник был ранен четырежды, и кайзер четыре раза пинками заталкивал его, истекавшего кровью, обратно в самое пекло боя.

— Трус! — кричал он ему с высоты Веранды. — Если ты наклал в штаны, так привяжи себя к лошади и умри за меня...

Возле короля собралось великолепное трио: грубый и лукавый Бисмарк с порцией яда, молчаливый и внешне безучастный Мольтке с подозрительной трубкой, упрямый и безжалостный Роон с картой в руках... За Кёнигсгретцем виднелась Эльба, дальше леса Хлума и болота Быстрицы, а косой дождь прибывал пороховой чад к распаренной земле. Драгомиров курцгалопом поспевал за прусским штабом. После удара шпорой лошадь под ним дала резкую «лансаду» и вынесла всадника вперед... Вблизи взорвалась бомба, и королевский рейткнехт (полевой конюх) сразу осмотрел Веранду со всех сторон — нет ли у нее царапин? В этой обстановке совершенно неуместной выглядела фигура Бисмарка в белой фуражке; за спиной президента болтался мешок с романами — от бессонницы.

Драгомиров слышал, как Мольтке напомнил королю:

— Время подойти армии вашего сына-кронпринца...

Сейчас должна сработать немецкая пунктуальность!

Ровно в два часа дня, как и запланировано, под проливным дождем, по размытым дорогам, Силезская армия, ведомая кронпринцем Фридрихом, с математической точностью, вышла к лесам Хлума. Свежая колонна сразу включилась в битву, а Драгомиров угодил в самую «кашу»... Лошади обезумели от массы огня, их гривы поднялись, ноздри были раздуты. Иные, встав на дыбы, сбрасывали кавалеристов под копыта, другие грудью бились об стены горящих домов. Всюду валялись раненые, кругом — крики, взрывы, брань, выстрелы... Прусские ружья Дрейзе вносили в ряды австрийцев роковое опустошение!

К пяти часам дня от армии Бенедика ничего не осталось. Драгомиров рапортовал в Петербург: «Австрийцы обратились в пешеходное, беспорядочное бегство; они бежали громадными толпами, потеряв всякое подобие войска, погибая от пуль и снарядов, от изнурения, а по пути топили друг друга в реках, в две-три минуты всякое сомнение исчезло — австрийцы и саксонцы понесли ужасное поражение...»

Мольтке, слезая с коня, сказал кайзеру:

— Ваше величество, мы выиграли... Германию!

Прусская армия была измотана до предела и преследовать противника не решилась. Напрасно Роон зывал к кайзеру:

— Вспомните Блюхера! Он тоже был обессилен битвою при Ватерлоо, и когда пьяные англичане Веллингтона завалились дрыхнуть, Блюхер с одними трубачами и барабанщиками, непрерывно игравшими, гнал Наполеона еще несколько миль...

— Ну, вот и конец, — Бисмарк выбросил яд.

Лошади, высоко вздергивая ноги, бережно ступали среди убитых. Воздух наполняли призывы о помощи, мольбы о пощаде. Среди мертвецов ползали побежденные, пронзенные насквозь штыками, пробитые навывлет пулями. Один молоденький австриец шагал навстречу Бисмарку, бережно неся в грязной ладони свой выпавший глаз, который болтался на ярко-красных нервах.

Бисмарк громко сказал:

— *Главное сделано!* Теперь нам осталось совершить сущую ерунду — заставить австрийцев полюбить нас...

Война — дело прибыльное

Вот уж кому хорошо на войне, так это Штиберу! Надо же так случиться, что на пути прусской армии попался городок Траутенау, где год назад он не доел миску луковой похлебки. Штибер велел спалить дотла харчевню, а потом... Огонь шуток не понимает, и скоро улицы Траутенау были объаты пламенем, а на шею бургомистра накинули петлю.

Отвечая за безопасность королевской ставки, бедняга Штибер рассчитывал, что в ставке и пообедает. Не тут-то было! Генералы устроили юнкерский гвалт и, зловеще сверкая моноклями, сказали королю, что за один стол с «собакой» не сядут. Никакие «особые обстоятельства» во внимание ими не принимались. Тогда граф Бисмарк пригласил Штибера к своему столу, столу президента, а кайзер наградил ищейку медалью (правда, потом он долго извинялся перед генералами)...

Понимая, что Штиберу следует подкормиться, Бисмарк назначил его гауляйтером в столицу Моравии — город Брюн. В мемуарах Штибер писал: «Я встретил здесь величайшую предупредительность всех моих желаний. Конечно, были произнесены неизбежные речи. Брюн богат и ко мне весьма щедр... я пользуюсь вином и едою в неограниченном количестве... Я закрыл уже пять газет, четыре другие выходят под моей цензурой. Я милостиво разрешал играть актерам в театре, но под моим неусыпным надзором». При заключении мира в Никольсбурге гауляйтер обеспечивал слежку за послами венским

и парижским. Он мог видеть то, что от других было навсегда скрыто. Как, например, два прекрасных и благородных графа, граф Бисмарк и граф Карольи, чокались кружками с пивом, рассуждая об условиях мира с таким видом, будто речь шла о сдаче в стирку грязного чужого белья... Бисмарк нежно сказал Карольи:

— Вы же сами знаете, граф, как я всегда любил Австрию. Если миллионы австрийцев и пруссаков, прижавшись друг к другу спинами и выставив штыки, образуют единое каре, то кое-кто подумает — стоит ли нарушать наше согласие?

Под этим «кое-кто» подразумевалась Россия.

Садовая отворила ворота Вены! Прусские аванпосты вошли в Знаим, что в 10 верстах от столицы. Изнутри Австрию раздирает национальный кризис: венгры требовали прав наравне с правами немцев. Венское население выразило свой патриотизм тем, что собралось возле Шёнбрунна и просило Франца-Иосифа, во избежание ужасов штурма, поскорее сдать столицу победителям. Прусская ставка разместилась в Никольсбурге, близ венских предместий, и здесь, на виду Вены, все планы Бисмарка едва не погибли с треском. Неестественное возбуждение короля еще продолжалось. О генералах и говорить нечего — они собирались войти в Вену завтра же:

— Под пение фанфар промаршируем по Пратеру! Нашим солдатам не терпится задрать подола венским девчонкам...

А король, трясясь от жадности, составлял списочек завоеваний. Ему хотелось получить: Баварию, Саксонию, Судеты, всю Силезию, Ганновер, Гессен, Ансбах, Байрейт, ну и прочее... по списку! Задыхаясь от восторга, старик кричал:

— Мои предки никогда еще не уходили с войны без добычи — не уйду и я! Это было бы очень глупо с моей стороны...

Его куриные мозги видели только рассыпанную крупу, которую можно безбоязненно клевать. Бисмарк растолковывал олуху царя небесного, что главное сейчас — не куски Германии, проглоченные наспех, а влияние Пруссии в германском мире. Придет время, и Берлин будет лопаться от пресыщения, но сейчас надо быть разумно умеренным...

— Бисмарк, что вы мне можете посоветовать?

И кайзер получил военно-политический ответ:

— Налево кру-гом! По домам — марш!

— Вы просто пьяны, Бисмарк...

Бисмарк был трезв. Трезв и одинок. Против него выростала стена. Сплотились все, от короля до Мольтке, и все кричали о славе прусского оружия, вопили о законченном праве на добычу. Бисмарк заявил генералам, что они глупцы:

— Ваше решение войти в Вену способно встряхнуть Наполеона, и тогда французы появятся на Рейне. Если же я кажусь вам трусливым идиотом, то могу хоть сейчас уйти в отставку.

Генералы с кайзером видели лишь раскрытые ворота Вены, Бисмарк же слышал тяжкую работу потаенных рычагов, двигавших политику Европы. Франц-Иосиф уже телеграфировал Наполеону III, что отдает ему область Венеции. Отдает лично ему, чтобы он передал ее итальянцам. Этим жестом он подчеркивал слабость разбитой в боях Италии, не способной взять Венецию своими силами. Но тут итальянцы, из чужих рук получив Венецию, возомнили себя победителями. Теперь для полноты счастья, как выяснилось, им не хватает Триеста. Бисмарк не стал их отговаривать, а, напротив, сам подталкивал в сторону Триеста, дабы второй фронт против Австрии не закрывался... Прибывший в Никольсбург граф Карольи желал поскорее заключить перемирие, а Бисмарк все еще не мог образумить короля и генералов. Даже Мольтке, которого глупцом не назовешь, страстно хотел парадного марша по Пратеру. Бисмарк измучился — нервы не выдержали...

Это случилось 23 июля, когда король собрал военный совет, и снова — в который раз — генералы требовали вступления в Вену. Бисмарк сказал, что ответственность за политическое решение войны несет все-таки он, президент, а не генералы. Он напомнил, что вторжение в Вену даст лавры только армии, но в будущем отнимет у Пруссии союзника, ибо занятие столицы долго не забудется в народе как глубоко нанесенное оскорбление. Ему отвечали, что Пруссия не нуждается в таком слабом союзнике, как Австрия, если у нее имеется сильная Россия. Бисмарк вполне логично растолковал, что союз Пруссии со слабой Австрией усилит Пруссию, которая подчинит себе Австрию, а союз с сильной Россией ослабит Пруссию, попадающую под пресс политики Петербурга... Совет проходил в комнате Бисмарка, лежавшего в простуде; переломить упрямство генералов он не мог. Тогда канцлер сполз с постели и стал кататься между ног короля и военных, стуча кулаками по полу; Бисмарк грыз зубами ковры и — рыдал, рыдал, рыдал...

Это были слезы, выжатые из железа.

— Не входите в Вену! Я... мы... что угодно... Франция... оставьте Вену... мир... Наполеон... я вам сказал...

Сцена была ошеломляющей. Встал король, поднялись и генералы. Президент страны в исподнем валялся на полу, тихо воя. Вильгельм I с тяжелым вздохом произнес:

— Уступая вам, я должен заключить постыдный мир. Но я все опишу, как было, и сдам бумагу в архивы Берлина, чтобы мои потомки ведали: мой президент не дал мне войти в Вену!

Бисмарк встал. Его пошатывало. Влез в постель. Мольтке закинул его одеялом. Всклипнув, Бисмарк отвернулся к стене. Кайзер и генералы на цыпочках удалились.

...Под подушкой Бисмарка лежала телеграмма из Петербурга: русский император, поздравляя с победой, взывал к великодушию над побежденными. Между любезных строк Бисмарк прочитал скрытую угрозу... Слева — Франция, справа — Россия, а Пруссия посерединке, словно орех в клещах!

Никольсбургское перемирие было подписано.

Если бы в эти дни Бисмарк оказался в Петербурге, он был бы крайне удивлен: русские стали симпатизировать разбитой австрийской армии. В рядах Гостиного двора, где полно самой разной публики, можно было слышать такие речи:

— Жаль австрияков. Чай, тоже люди, а за што страдали? Мне куманек (башка!) сказывал, что в царских войсках много наших служит — сербов да еще разных там чехов...

Если подняться «этажом» выше, там шли иные разговоры. В светском обществе Петербурга ошибочно полагали, что Бисмарк — послушная марионетка в руках ловкого чародея Горчакова, а война Пруссии с Австрией — тонкий ход русской дипломатии. Салонные «пифии» восклицали:

— Наш вице-канцлер — великий человек! Не пролив ни капли крови, он отплатил Австрии за ее коварство в Крымской войне. Но еще не отмщены руины Севастополя...

Горчаков мстительные рефлексy выносил за пределы политики в область психологии. Теперь перекраивалось то соотношение сил в Германии, какое со времен Венского конгресса казалось устоявшимся. Одна и та же тревога охватывала министерства дел иностранных и дел военных: возросшая сила Пруссии заставляла дипломатию и генштаб России реагировать без промедления.

Русские по газетам знакомились с новой бисмарковской Пруссией. Австрия из немецкого мира удалена! Германский сейм во Франкфурте уничтожен, вместо него Бисмарк образовал Северогерманский союз. К черно-белому знамени Гогенцоллернов снизу пришили красную полосу — союзную. Сохранив Австрию в целости, Бисмарк зато жестоко ограбил ее сателлитов. Пруссия вобрала в себя Ганноверское королевство, курфюршество Гессен-Кассельское, герцогство Нассау и город Франкфурт; над Германией весело кружился пух — Бисмарк ошипывал князей будто цыплят. Теперь он стал президентом Северогерманского бундесрата, пределы которого раскинулись от Кильской бухты до Майна, огибавшего Баварию!

Горчаков выдвинул идею европейского конгресса, чтобы обсудить переустройство германской карты. Это встревожило Бисмарка; он срочно послал в Петербург генерала Эдвина фон Мантейфеля. В краткой беседе с Горчаковым тот намекнул, что новая Пруссия предлагает России уничтожить статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря...

Горчаков подачек от Берлина не принял:

— Погребение неудобных для нас статей состоится без участия ваших факельщиков и траурмейстеров...

Александр II встретил Мантейфеля очень сухо.

— Мое сердце переполнено ужасом! — так начал он. — Еще недавно мы с дядей совместно выступали против нарушения династических прав в Италии, и вдруг мой дядя, свято верящий в то, что он царствует «милостью божией», сам ступил на путь Гарибальди... Я даже отсюда слышу печальный звон, с которым Пруссия разбивает законные короны германских государей.

Мантейфель намекнул, что тут поработал другой «дядя».

— Я так и думал, — ответил царь. — Мой дядя Вилли по старости лет подпал под вредное влияние Бисмарка, который увлек благочестивую Пруссию на путь революций... Поймите боль моего сердца! Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт — там царствовали мои бабки, мои тетки, мои сестры — и вдруг врывается, как разбойник, Бисмарк и залезает прямо в сундук... Впрочем, — сказал царь, глянув на часы, — вы, Мантейфель, должны извинить меня. Завтра продолжим беседу, а сейчас у меня свидание с парижским посланцем Флери...

Это прозвучало намеком на сближение с Францией; Бисмарк телеграфировал Мантейфелю, чтобы тот успокоил царя: прусская кара романовским сородичам будет смягчена...

Горчаков, смеясь, сказал Жомини:

— Кажется, сейчас наши отношения с Пруссией зиждутся исключительно на любви племянника к дяде. Но вот герцога Мори не стало, и Наполеон сделался вялым — момент для нападения на Пруссию им упущен...

Одна война, издыхая, порождала из своего ужасного лона другую. Вечером Тютчев гулял с Горчаковым по набережной.

— Мы присутствуем в антракте между двумя драмами. Сыграна прелюдия к той великой битве, что произойдет обязательно, и мы услышим ее шум даже через гробовые доски...

Что ж, поэты умеют предвидеть будущее.

Итальянцам было суждено испытать на чужом пиру похмелье: их еще продолжали бить! В сражении у Лиссы эскадра Франца-Иосифа

не оставила от флота Италии даже щепок. Итальянцы кинулись в Берлин, взывая о помощи, но Бисмарк сказал:

— Я обещал вам Венецию — вы ее получили. Если вам захотелось Триест, идите и воюйте за Триест сами... Кто вам мешает? Я ведь знаю, что все итальянцы большие охотники до военных приключений... Бьют? Ну а я-то при чем? Терпите...

Осталось разобраться с Францией. Наполеон III выжидал от Бисмарка расплаты натурой за «нейтралитет». Но Бисмарк делал вид, будто забыл, о чем шла речь в Биаррице. Когда же французский посол сам заговорил с ним о Люксембурге, Бисмарк не стал возражать: берите! Наполеон III зондировал почву относительно аннексии Бельгии. Бисмарк и тут не спорил: пожалуйста, Бельгии ему тоже не жалко...

— Между прочим, — сказал он Шарлю Талейрану, — у меня столько дел, что трудно упомнить все детали пожеланий вашего императора. Изложите их письменно, дабы мне было удобнее передать их для ознакомления моему королю.

Получив письменное заверение от Франции, что она алчет захвата Люксембурга и Бельгии, Бисмарк спрятал документ в железный сейф. Ключ щелкнул, как взводимый курок.

— Благодарю вас, — сказал Бисмарк послу...

Затем (последовательно!) он вызвал к себе на поклон делегации Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессена, сохранивших самостоятельность. Бисмарк любезно ознакомил их с планами Наполеона III; в результате вся Южная Германия заключила с Берлином тайный военный союз против Франции.

Бисмарк выиграл — Наполеон III проиграл...

Уф! Пришло время пощадить нервы и успокоиться. Бисмарк наполнил кувшины пивом, взял тарелку с чибисовыми яйцами и удалился в садовую беседку, где его поджидал деловой, собранный Мольтке с неизменным румянцем на щеках.

— За армию! — сдвинули они кружки...

Борьба за гегемонию в немецком мире завершилась. Теперь не мешает подумать о немецкой гегемонии в Европе. В грохоте крупновских «бруммеров» Бисмарк навсегда похоронил либеральные притязания буржуазии, зато ее национальные требования он готов исполнять и дальше!

* * *

Когда кайзер Вильгельм I был молод, он в рядах русской армии вступал в Париж. Однажды к столу Александра I подали омара, и царь заметил, что прусский принц к нему даже не прикоснулся. «Вы разве не любите омаров?» — «Я их никогда не видел, — отвечал Вильгельм, — и не умею их есть...»

Сейчас он истреблял омара за омаром — с выпивкой. А в пьяном виде проболтался парижским журналистам:

— Как это бог выбрал такую свинью вроде меня, чтобы моими руками сосвинячить такую громкую славу для Пруссии.

Потеряв 4450 человек убитыми и 6427 умершими от дизентерии, Пруссия увеличилась на 1300 квадратных миль, ее население возросло на 4 300 000 человек, и теперь в королевстве жили 24 миллиона немцев. Наконец в Бабельсберге было объявлено, что чистый валовой доход от контрибуций составил 300 000 000 франков, а такие деньжата на земле не валяются. Полковник Борбштейн выхватил из ножен палаш.

— Ура! — провозгласил он (и все его поддержали). — Вот и пусть после этого профессора политической экономии болтают с кафедр университетов, что содержание армии непроизводительно... Какой дурак теперь им поверит?

Немцы стали привыкать к мысли, что война — дело прибыльное, а победителям живется куда веселее и приятнее, нежели повесившим носы побежденным. Факелцуги двигались по Вильгельмштрассе, Бисмарк выходил на балкон, и толпа встречала его восторженным ревом. Из самого ненавистного он становился самым популярным. Но главным торжеством был «акт раскаяния» парламента. Четыре года безбюджетного правления кончились. С него сняли ответственность за расходы на войну, не утвержденные ландтагом. Конфликт между парламентом и высшей властью завершился его триумфом... Под окнами, опьяненная победами, стонала толпа:

— Веди нас! Веди нас, канцлер, дальше...

В письме к Горчакову он жаловался — невозможно стало выйти на улицу: раньше плевались, а теперь носят на руках. С курорта Вильбада он вернулся раздраженным: там его преследовали молодые женщины... В общем ликовании совсем затерялась скромная фигура Вилли Штибера!

Париж — ЭКСПО-67

В паузе между войнами разыгралась баснословная феерия Всемирной промышленной выставки... Париж 1867 года — вавилонское столпотворение приезжих, битком набитые отели; лошади с трудом влекли переполненные омнибусы, извозчики стали королями положения; удушливая теснотища на бульварах; по Сене жужжали специально построенные пароходы-мухи (Mouhses), — все двигалось и спешило на Марсово поле, где раскинулась шумная «ярмарка тщес-

лавия» человеческого. Безмерно обогатилась почта Парижа, которая с блеском обслуживала переписку со всем миром, и для этих целей где-то раздобыли нового Меццофанти*, говорившего чуть ли не на всех языках планеты. Гонкуры отметили в своем дневнике: «Всемирная выставка — последний удар по существующему: американизация Франции, промышленность, заслоняющая искусство, паровая молотилка, оттесняющая картину, ночные горшки в крытых помещениях и статуи, выставленные наружу, — словом, Федерация Материализма!» Выставка была устроена в форме большого кольцеобразного базара, окруженного садами. В первой галерее были собраны самые наглые красавицы Парижа, о нарядах которых высказывались в такой форме: «Ах, как они очаровательно раздеты!» Очевидец писал, что эти красотки «сферу сладострастия заграждали доступ к произведениям науки, труда и промышленности. Но кто храбро перешагивал черту разврата, тот достигал подлинных шедевров...» Дети увлекли родителей в павильон шоколадной промышленности, где умяная машина не только шоколад делала, но и даром его раздавала. Вспотевшие женщины ломились в павильон парфюмерии, где под аркою русской фирмы Броккар били из земли фонтаны духов и одеколонов, женщины бесплатно душились и пудрились, а желающие помыться имели к услугам любой кусок мыла...

Россия впервые столь широко участвовала во Всемирной выставке и, не имея опыта в этом деле, решила поразить Европу в область желудка. Русской науке и русским умельцам было чем похвастать на мировом рынке (у себя в Нижнем и хвастались!), но русский павильон в Париже по чиновной воле обратился в «обжорный ряд». Правда, дело было налажено превосходно. Прислуживали расфранченные боярышни в жемчужных кокошниках, выступавшие будто павы, соколами порхали с палехскими подносами бедовые ребята-половые. Сюда ломилась толпа, дабы вкусить от русской кухни шей с кашей, расстегаев с кулебяками, окрошки и ботвиньи. Черную икру французы прозвали неприлично: *cochonnerie russe*, и, единожды попробовав паюсной, они тишком выплевывали ее под стол, говоря с возмущением: «Как русские могут переаривать такую мерзость?..»

Хватит о выставке — роман все-таки политический!

Вот вам новость: Александра II на выставку не пригласили. С большими капризами и обидами он чересчур бурно настоял на

* Имеется в виду Джузеппе Меццофанти (1774—1849) — профессор из Болоньи, вызывавший удивление современников прочным знанием 60 языков «при более или менее совершенном знакомстве со многими другими». Эта удивительная способность Меццофанти не была связана с его интеллектуальным развитием, и никаких следов после себя в науке он не оставил.

своем приглашении в Париж; жена была против этой поездки, но царь спровадил ее в воронежские степи — хлебать кумыс! Наполеон III никак не хотел видеть в Париже одновременно русского царя и прусского кайзера. Через посольство в Берлине он намекнул, что все помещения в Тюильри уже заранее заняты. Вильгельм I ответил согласием жить в гостинице — странная навязчивость, за которой угадывается влияние Бисмарка! Тогда Наполеон III велел передать, что на всех гостей не хватит посуды (это в Париже-то?). Я не знаю, что ответил кайзер относительно посуды, но он стал собираться в дорогу.

В ночь на 17 мая царь с Горчаковым и свитой выехали из Царского Села, ночь провели в Потсдаме, а 20 мая уже были встречены Наполеоном III на вокзале Северной дороги; вслед за ними в Париж прибыл Вильгельм I с Бисмарком и Мольтке (Штибер тоже не был забыт и ехал с ними под видом лакея).

Потсдамский поезд был еще в пути, когда Штибер получил из Франции зашифрованную телеграмму о тайном свидании в кабачке «Клошар» возле Центрального рынка. Бисмарк разместился в прусском посольстве на улице Лилль, где снискал себе приют и Штибер... К появлению в Париже кайзера, Бисмарка и Мольтке французы отнеслись с юмором. Парившиеся под касками господ напомним парижанам «генерала Бум» из веселой оперетты «Герцогиня Герольштейна». Интерес к немцам был недобрый, но повышенный: под аркадами улицы Риволи постоянно теснились люди, чтобы взглянуть на прусскую троицу с трескучей пороховой славой. При этом из толпы раздавались жиденькие крики «ура», авторам которых Штибер выплачивал сдельно, словно за товар, продаваемый навывнос и поштучно. Скоро газетчики пронюхали, что король с Бисмарком, переодевшись под гулящих буржуа, посетили одно сомнительное заведение с целью, весьма далекой от политики, нагнетания международной напряженности. Эта новость вызвала в Париже злорадное ликование и массу бульварных острот...

Не в пример России с ее наивным уклоном в гастрономию, Пруско-Германия в лице господина Круппа выкатила на Марсово поле свое новое изделие для европейского «ширпотреба». Это была не просто пушка, а — пушка-монстр в 50 тонн весом, и ее мрачное жерло сурово и надменно озирало парижскую суету. Никто из французов не понимал, что пруссаки силились этим доказать:

— Пушка, но большая... что тут интересного?

Интересно, что Наполеон III за этот экспонат произвел Круппа в кавалеры ордена Почетного легиона. Но Бисмарк приехал в Париж не ради того, чтобы проветриться. Его тревожило пребывание в Париже императора с Горчаковым. Не исключено, что они попытаются вовлечь

Францию в тайный сговор против Пруссии, и этому надо помешать! Штибер, имевший давние связи с русским Третьим отделением, охранял в Париже не только кайзера, но и русского царя. Бисмарк наемкнул ему, чтобы он в этом деле не разбивался в лепешку! Напротив, небольшой инцидент с пистолетом или бомбой нисколько политике не повредит. Штибер понял его с полуслова...

Берлинская тайная агентура, давно пронизавшая внутреннюю жизнь Франции, заранее обследовала в Париже кварталы Батиньоля, где селились польские и венгерские эмигранты. В кабачке «Клошар» Штибер от подручного узнал, что в саду на улице Клиши собираются поляки-заговорщики, у которых большие разногласия: стоит или не стоит затевать покушение на царя в Париже? Штибер сказал агенту, что стоит:

— И вы эту мысль полякам внушайте!..

В один из дней он срочно приехал на улицу Лилль, когда из ворот посольства Бисмарк выезжал на прогулку. Граф был в тусклом пальто старомодного фасона, при цилиндре, и внешне напоминал сельского нотариуса, собравшегося с визитом к своим милым клиентам. Штибер, вскочив на подножку коляски, шепнул, что имеет очень важное сообщение.

— Надеюсь, не очень длинное? Я собрался прокатиться по Елисейским Полям... Садитесь рядом.

В коляске и состоялся серьезный разговор.

— Завтра шлепнут русского императора.

— Это не сплетня? — спросил Бисмарк.

— Нет. Поляки уже бросили жребий.

— Кто знает об этом кроме нас?

— Еще два моих агента.

Минута молчания. Бисмарк думал.

— Положимся на волю случая. В конце концов, для нас всего важнее сейчас — отбить у царя и Горчакова охоту к сближению с Францией. Надеюсь, все обойдется...

За Триумфальной аркой вечерняя мгла была пронизана массой разноцветных светляков, которые двигались в одном направлении, — это кучера зажгли фонари экипажей, и тысячи их укатывали в прохладу благоуханного вечера. Бисмарк решительно выплюнул изо рта зажеванный кончик сигары.

— Только бы ваш поляк не струсил, — сказал он...

В этот прелестный вечер Крупп преподнес Наполеону III каталог изделий своей фирмы; в письме он просил императора обратить благосклонное внимание на четыре последние страницы каталога, где приводился ассортимент его пушек, изготовленных на заводах в Эссене для нужд всего мира.

Сам воздух Европы был наэлектризован угрозой взрыва, и не замечать это могли только глупцы. Положение Горчакова было архисложное. Предчуя опасность для Франции, он не оставлял надежд на то, что Париж — через голову Бисмарка — вот-вот протянет руку Петербургу. Но, сделав три попытки переговорить с Наполеоном III, вице-канцлер убедился, что император от политической беседы уклоняется. Оставалось надеяться, что он соизволит выслушать Александра II, который при всем его пруссофильстве все-таки умел иногда трезво смотреть на вещи...

Царю были отведены в Елисейском дворце личные покои Наполеона I из пяти комнат с библиотекой, включая и «Salon d'argent», в котором все стены, мебель и каминные из чистого серебра (выше этажом разместился Горчаков со свитой). Александр II посетил выставку, но рано утром, дабы избежать общения с публикой. Выставка вообще оставила царя равнодушным, все его время поглощали балы, скачки и церемонии приемов. Но настроение у него в эти дни было ровное, без кризисов. Он подчеркнуто носил русский национальный кафтан; неисправимый бабник, царь сознательно не посещал значных мест, чтобы не давать пищи газетным пересудам. Однако все его попытки вовлечь Наполеона III в беседу ни к чему не приводили. Горчаков, старчески брюзжа, не переставал подзуживать самодержца на дальнейшее зондирование в Тюильри.

25 мая на Лоншанском поле должен был состояться парад и показательная атака 50 эскадронов отборной кавалерии. Инженеры заранее укрепляли трибуны подпорами, чтобы они не рухнули; по подсчетам полиции, в Лоншане ожидали скопления около полумиллиона зрителей. Горчаков не поехал на празднество, сославшись на то, что не терпит толчеи. Утром царю подали отдельный поезд, а на опушке Булонского леса монархов ожидали кареты. Александр II уселся с Наполеоном III в широкое открытое ландо. Парк был пронизан лучами солнца, всюду виднелись толпы гуляющих. По сторонам экипажа скакали шталмейстеры Бургуан и Рэмбо. Множество парижан, словно обезьяны, сидели на деревьях. Ландо огибало каменистый грот, из которого вытекал источник... Один человек соскочил с дерева на дорогу! Рэмбо круто развернул на него лошадь. Грянул выстрел. Револьвер разорвало в руке покусителя, лишив его пальцев, а пуля, пробив ноздри лошади, напавал уложила одну из женщин... Наполеон III живо обернулся к царю:

— Если стрелял итальянец — значит, в меня. Ну а если поляк — это предназначалось вам...

Стрелял поляк по имени Болеслав Березовский*.

— Это в меня, — хмуро произнес царь.

Французам было неприятно, что покушение произошло именно в Париже, и они говорили, что Березовский несомненно анархист из школы Михаила Бакунина. Но на суде Березовский отверг эту версию и признал, что он участник Польского восстания, желавший отомстить самодержцу за репрессии в Польше. Защищал его адвокат Жюль Фавр (защищавший Орсини, бросавшего бомбы в Наполеона III). Когда Александр II осматривал Дворец правосудия, судья Флоке с вызовом воскликнул:

— Да здравствует Польша, мсье!

Александр II со сдержанной вежливостью ответил:

— Я такого же мнения, мсье Флоке...

Суд вынес Березовскому мягчайший приговор, который царь расценил как издевательство над ним — монархом. Само покушение, выкрик дерзкого Флоке и бархатный приговор суда еще больше углубили политический ров между Францией и Россией — именно этого Бисмарк и добивался!

Но перед отъездом из Парижа царь случайно оказался с Наполеоном III наедине, и ничто не мешало их беседе. Александр II, подавив в себе прежние обиды, с большой ловкостью завел речь об угрозе Франции со стороны Пруссии. Но тут двери распахнулись, и, нежно шелестя муслиновыми шелками, вошла (нечаянно? или нарочно?) Евгения Монтихо; при ней царь уже не стал развивать этой темы... Все трое начали горячо обсуждать вернисаж импрессионистов, возмущаясь последними картинами Эдуарда Мане — «Завтрак на траве» и «Олимпия».

Евгению Монтихо никак не устраивал сюжет первой картины, где на зеленой лужайке в компании одетых мужчин сидит раздетая женщина и с вызовом смотрит в глаза зрителю.

— А вы видели «Олимпию»? — спрашивал Наполеон III царя. — Добро бы разлеглась усталая после охоты Диана, а то ведь... Это не женщина, а самка гориллы, сделанная из каучука, возле ног которой трется черная блудливая кошка.

— Уличная девка возомнила себя королевой, — добавила Монтихо. — Как и раздетая для «Завтрака» ее нахальная подруга, «Олимпия», нисколько не стыдясь, глядит мне прямо в глаза...

* В литературе принято называть Березовского портным или башмачником. На самом же деле, дворянин Волынской губернии, он работал на машинной фабрике Гаузена. Впрочем, начальник тайной парижской полиции Клод в своих мемуарах называет его судовым механиком с пассажирского парохода, курсировавшего по Сене.

Нисколько не стыдясь, она смотрела прямо в глаза царю, и Александр II невольно сравнивал ее с тою же Олимпией, которую она так жестоко критиковала.

Никто еще не знал, что эта женщина сама толкает мужа на войну с Пруссией, а потому все хлопоты русской дипломатии были сейчас бесполезны.

Вскоре из Парижа вернулся и Тютчев; при встрече с Горчаковым он признался, что ему не совсем-то было приятно видеть на международной выставке свой портрет работы фотографа Деньера, на котором он представлен с пледом через плечо, будто мерзнувшая старуха. Все шедевры истребления людей поэт обнаружил в павильоне Пруссии, и однажды утром Тютчеву привелось видеть Бисмарка, в глубокой задумчивости стоявшего возле пушечного «бруммера»... Федор Иванович спросил князя:

— А вы разве не заметили, где была поставлена эта дурацкая гаубица, в которую можно пропихнуть целого теленка?

— Не обращал внимания. А где же?

— Как раз напротив статуи умирающего в ссылке Наполеона. Вы не находите это сопоставление роковым?

— Нахожу, — ответил Горчаков.

Заключение второй части

Летом 1867 года Горчаков, в ознаменование 50-летнего юбилея службы, был возвышен до звания Российского канцлера, а это значило, что в сложной «Табели о рангах» он занимал первенствующее положение в стране, и равных ему никого не было. Тютчев не преминул вспомнить его приход к власти:

В те дни кроваво-роковые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою...
И вот двенадцать лет уж длится
Упорный поединок тот...

Почти одновременно с Горчаковым граф Бисмарк стал бундесканцлером Северогерманского бундесрата. Никто не сомневался, что в Европе возникли две большие политические силы, от решения которых отныне зависело многое. Вопрос был лишь в том, куда будет направлена эта умственная и моральная энергия двух мощнейших

политиков — к добру ли повернут они свои страны или обратят свое влияние во зло человечеству?..

Подобно гипнотизеру, внушающему больному: «Спать, спать, вы уже спите», Бисмарк усыплял европейцев словами: «Мир, мир, мир... мы хотим только мира». С сердцем всегда холодным, словно собачий нос, Бисмарк проявлял сейчас гигантскую силу воли и колоссальную выдержку, чтобы не начать войну раньше времени. Война, как и мир, всегда требует солидной дипломатической подготовки. Нет, это не летаргия — это лишь деловое, разумное выжидание. Близкий ему человек, берлинский банкир Гириш Блейхредер, помогавший ему в тайных финансовых аферах, советовал наброситься на Францию немедленно.

Бундесканцлер высмеял своего Шейлока:

— Историю можно только подталкивать. Но если ее треснуть по спине, она может обернуться и хватить кулаком...

В сейфах Большого генерального штаба уже затаился жутко дышащий эмбрион — план нападения на Францию, и генералы видели в Бисмарке тормоз их нетерпению. Войну можно спровоцировать, а превентивная война — это сущее благо, — примерно так доказывал Мольтке канцлеру. Бисмарк в ответ развил теорию политической стратегии, которая обречена противостоять стратегии генеральных штабов.

Мольтке, выслушав его, сказал:

— Ваша точка зрения, мой друг, безупречна. Но в свое время она будет нам стоить немалых жертв.

— Чепуха! В войне с Австрией, — ответил Бисмарк, — мы имели жертв от поноса больше, нежели от пуль противника...

В конце года он дал интервью английскому журналисту Битти-Кингстону; дымя трубкой, канцлер горячо доказывал:

— Северогерманский бундесрат твердо стоит на позициях сохранения мира в Европе, и немцы первыми не нападут. Я не понимаю, зачем нам вообще война? Мы сыты, мы одеты, у наших очагов всегда приятное тепло. Что мы выиграем от войны? Разве нам нужны стоны, кровь, пожары и страдания? Вот вы говорите — Эльзас и Лотарингия. Руда и еще что там... не знаю. Но это разговор для котят, а не для меня. Я же лучше вас знаю, что в Эльзасе и Лотарингии жители хотят остаться французами... это вам не паршивый Шлезвиг-Гольштейн, где жители сами не ведают, кто они такие. Ах, вас еще беспокоят речи наших генералов? Да, иногда они меня беспокоят тоже. Генералы во все времена любят поболтать с таким важным видом, будто они что-то понимают... Между тем, смею вас заверить, что в мирное время всех прусских генералов надобно, как псов, держать на железной цепи, а во время войны их надо вешать...

...Франция, оставшись в трагическом одиночестве, танцевала под сенью германских «бруммеров». Стальная империя Круппов родилась намного раньше империи Гогенцоллернов.

Часть третья ЖЕРНОВА ИСТОРИИ

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью».
Но мы попробуем спаять его любовью
А там посмотрим — что прочней?

Ф И Тютчев (ответ Бисмарку)

Три дамы и Бисмарк

Как и все владыки капиталистического мира, королева Виктория ловко утаивала цифру своего состояния. С показной скромностью она поднимала с земли уроненный пенс, а нищему, взывавшему о помощи, дарила букетик полевых цветов. Не дай бог, если у нее попросят на вдов и сирот, — тогда она спешно рисовала пошлый пейзажик: «Продайте его...» Лишь после смерти королевы стало известно, что не только алмазные россыпи в африканской Родезии, но даже самые грязные кварталы лондонского Сохо с борделями для проституток и притонами для бандитов принадлежали именно ей, целомудренной ханже!

Последний отпрыск гнусной Ганноверской династии, которая 123 года наполняла Англию скверной, Виктория чаще других политиков обращалась к словам «на благо человечества», «ради свободы и процветания общества», но под ее скипетром Англия ни на один день не прекращала истребительных колониальных войн... Вот же она, эта богородица! — толстая безобразная женщина с распухшим зобом нездоровой сытости, давшая целой эпохе название от своего имени — викторианство. При жизни мужа, принца Альберта Саксен-Кобургского, она напилась только единожды, когда в замке Бальмораль узнали о взятии Севастополя; на радостях муж велел пить всем сколько влезет, и королева была пьянее лакеев. Виктория сама избрала себе мужа, сама твердо объяснилась ему в любви, сама отвела его под венец, а он играл роль искушаемой невесты. Видя его покорность, Виктория сочла, что все мужья таковы. И потому казнь через повешение для женщин она утверждала всегда с большей легкостью, нежели для мужчин. Ее стол постоянно был завален бракоразводными делами: королева с пристрастием юриста выискивала причины, чтобы оправдать мужчин и осудить женщин. Но зато она любила читать романы, написанные женщинами; ей было любопытно знать,

что могут сочинить «эти потаскухи», от которых так много страдают их несчастные мужья.

Всю долгую жизнь Виктория черпала силы из своего эгоизма, вреда не только всему миру, но даже своим детям. В королевской мантии из бархата, окаймленной горностаем, с золотым обручем на голове, с бренчащим на шее ожерельем из орденовых цепей Подвязки, Бани, Шиповника и Св. Патрикия, — такой она являлась обществу, трясая жирными брылями щек, поражая всех безвкусицей одежд, брезгливой апатией к делам, непомерной алчностью к огрызкам пирогов и огаркам свечей, и как-то не хотелось верить, что эта обрюзглая дама с повадками дурной тещи владеет половиною мира! А нехороший блеск в ее глазах выдавал придворным, что она с утра пораньше ужехватила рюмочку-другую крепкого матросского бренди.

Вся жизнь ее прошла под флагом любви к мужу! Один только раз Виктория ослабила туго натянутые вожжи добродетели и покорилась другому мужчине. Это был император Наполеон III, в годы скитаний изучивший женскую породу — от великосветских салонов до самых грязных прачечных. Опытный обольститель, он нашел отмычку к ее сердцу — тогда-то Англия, вкуче с Францией, и устроила России кровавую баню под Севастополем. Правда, при свидании с императором Виктория допустила грубую политическую бестактность: она угостила его хересом из погребов Наполеона I, который разграбили при Ватерлоо солдаты герцога Веллингтона. Зато уж император (будьте спокойны!) таких промахов не делал. Принимая королеву в Шербуре, он не забыл, что на берегу стоит памятник его дяде, грозным жестом указывающий на Англию. При королеве статую поворачивали к Англии задом, королева отплывала домой — и Наполеон I снова обращал пасмурный взор к туманам Ла-Манша... В 1857 году Виктория родила восьмого ребенка, через два года, в возрасте 39 лет, стала бабушкой — в Берлине от Вики и Фрица родился внук Вилли (будущий кайзер Вильгельм II), а вскоре муж, катаясь на коньках, провалился под лед и, простудившись, умер. Виктория замкнулась в мрачном убежище Бальморала, настолько отрешившись от мира, что парламент решил сбавить ей содержание. Это обожгло королеву, словно крапивой, она примчалась в Лондон с уже готовой тронной речью — вся красная от гнева и виски, насыщенная плумпудингами и кровавыми ростбифами.

Фальшивая насквозь, королева обожала фальшь, и лицемеры были ее любимцами. Сейчас ее доверием овладел «юркий Диззи», как прозвали англичане Бена Дизраэли. Сын богатого капиталиста, будущий лорд Биконсфилд начал жизнь с того, что выступал в защиту рабочих от угнетения своего папеньки. Такое разделение труда пошло на пользу обоим: папаша был под охраною сына, а сыночек обрел славу

передового человека. Дизраэли лез из кожи вон, чтобы возвеличить Викторину в глазах всего мира, он сознательно разжигал в ней ненависть к России — в этом секрет его карьеры... Сегодня «юркий Диззи» сообщил Викторине:

— Величайшая глупость нашего века совершилась — французы, как мы им ни мешали, все-таки докопали эту Суэцкую канаву. Мы поступили умно, не вложив в песок Египта ни единого пенса. Теперь надо закрыть канал с обеих сторон, а ключи от дверей пусть лежат у нас в кармане... Построенный на деньги всей Европы, в том числе и русские, — пророчил Дизраэли, — канал должен стать британским, и Англия, только она, станет собирать пошлину с кораблей под разными флагами...

Англия (только она!) видела в Суэце опасную перемышку для кратчайших путей в Индию. А теперь, когда канал готов, маска викторианского лицемерия сброшена. «Таймс» декларировала с цинизмом: «Мы ничего не сделали для прокладки Суэцкого канала, но мы должны иметь всю прибыль от его эксплуатации. Это — компенсация, которую мы получим за все ошибки, возможно, совершенные нами...»

«Юркий Диззи» уже видел себя на берегах Нила!

Да, Англия сделала все, чтобы канала не было: пусть, кому хочется, плавает вокруг Африки. Британский инженер Стефенсон заявил, что зеркало Индийского океана на восемь метров выше зеркала Средиземного моря, и в случае открытия канала волны ринутся на Европу, затопляя все достижения цивилизации. Чтобы обогнать французов, англичане вровень с трассой канала проложили стальные рельсы путей...

Гений или авантюрист (скорее, то и другое), Фердинанд Лессепс разрушил барьер, отделявший Запад от Востока, — в этом его великая заслуга перед Человечеством, в этом же и залог многих бедствий арабов. Конвейер и экскаватор — эти два великих изобретения имеют родину: Суэцкий канал!

Была весна 1869 года, когда в присутствии хедива Исмаила произошла бурная встреча вод Красного моря и Средиземного, — вначале слишком встревоженная, вода скоро успокоилась и породила континенты. Осенью состоялось официальное торжество открытия.

Пушек гром и мусикия,
Здесь Европы всей привал,
Здесь все силы мировые
Свой справляют карнавал,
И при кликах иступленных
Бойкий западный разгул
И в гаремах потаенных
Двери настежь распахнул.

Так писал об этом событии Тютчев. На открытие канала прибыли писатели Эмиль Золя, Теофиль Готье и Генрик Ибсен, император Франц-Иосиф, прусский кронпринц Фридрих и прочие, но главной царицей праздника была, конечно, она —

С пресловутого театра
Всех изяществ и затей,
Как вторая Клеопатра
В сонме царственных гостей...

Выказывая женщине особое уважение, хедив обещал пересажать на кол всех инженеров, если яхта «Эгль», на которой плыла Евгения Монтихо, сядет на мель. За кормою яхты «Эгль» тронулись и остальные суда. Замыкая их строй, вслед за британским корветом «Рэпид» плыла русская «Арконтия», на которой в окружении финансовых тузов Москвы и Одессы нежилась под тентом тучный Николай Павлович Игнатьев (посол в Константинополе). Гремели орудийные салюты, звенели бокалы, с берегов струился песок, на горизонте вровень с кораблями проплывали верблюды... Хедива подвел композитор Джузеппе Верди, обещавший к открытию канала закончить оперу «Аида» на тему, предложенную ему самим Исмаилом.

— К сожалению, — пожаловался хедив императрице Франции, — Верди опоздал с оперой, и я не могу доставить вам приятного удовольствия видеть композитора сидящим на колу.

Евгения, кокетничая, ударила его веером по руке:

— Сознайтесь, зачем вам столько жен?

Исмаил понял, что она напрашивается на комплимент:

— Одну я люблю за ее глаза, другую за походку, третью за разум, четвертую за фигуру, пятую за хороший характер. Но я удовольствовался бы и тобою одной, потому что я сразу заметил — ты совместила в себе все женские прелести...

Хедив разместил гостей в новом сказочном дворце, который обошелся ему в 30 миллионов франков. Для императрицы Франции он устроил из комнат подлинный восточный эдем стоимостью в полтора миллиона. Золото, перламутр, жемчуг, парча, перья павлинов и шкуры барсов устлали путь этой женщины, и никто из гостей не задумывался, что всю эту роскошь (как и сам канал) будут оплачивать нищие египетские феллахи, издали взиравшие на небывалое торжество. Международный банкет в пустыне был устроен на 3000 персон (кстати, в Зимнем дворце одновременно усаживались за стол 1900 приглашенных). После катания на верблюдах вместо «Аиды» давали «Риголетто» в исполнении лучших певцов мира...

Египетский хедив только успевал поплачивать!

Во время банкета Игнатъев подошел к очень красивому и сдержанному арабу, на бурнусе которого среди прочих орденов сверкал и русский — Белого Орла; это был знаменитый «лев пустыни» Абд эль-Кадир, много лет воевавший против Франции за честь и свободу Алжира. Тихим голосом он, толкователь Корана, заговорил о губительной силе европейского прогресса:

— Ваш материализм — плод тщеславного разума, он приводит к разнузданности людей, всюду сея ненависть и разрушение. Вы заметили только праздник, но в его шуме не разглядели, что первым прошел через канал не французский, а британский пароход... А внутри парохода сидели спрятанные солдаты!

Здесь же Игнатъев слышал, как Эмиль Золя, чокаясь с виновником торжества — Лессепсом, напоролил ему:

— Создав Суэцкий канал, вы точно определили географию того места, где развернутся трагические сражения будущего...

Евгения Монтихо, вернувшись в Париж, застала мужа в нервно-подавленном состоянии. Недавно он снова пережил приступ болезни, его душевные силы, казалось, были уже на исходе.

— Ты знаешь, что недавно сказал Тьер? «Отныне, — заявил он моим министрам, — нет уже ни одной ошибки в политике, которой бы вы еще не свершили...»

Монтихо с бурной материнской радостью подхватила на руки маленького принца Лулу; лаская ребенка, ответила:

— Тьера не надо слушать! Война способна исправить все наши ошибки, какие были. Война нужна Франции хотя бы ради этого очаровательного дитя, ради сохранения для него короны.

...В эти дни Горчаков писал прозорливо: «Наполеон изолировал сам себя в зияющей пустоте, и в поисках выхода из тупика, не исключено, он будет искать удачной войны».

.....
— А я испанка, самая настоящая, каких можно встретить в кварталах Палома, где под кружевами носят острые навахи.

Так говорила о себе Изабелла II, возродившая при дворе Мадрида нравы времен упадка Римской империи. Нет, читатель, она никогда не забывала о боге и одну из ночей в неделю справляла любовную мессу с кем-либо из клерикалов (чаще всего с Сирилло де аль-Аламейдо, автором книги «Золотой ключ»). Если же, перепутав расписание, к ее услугам являлись сразу двое монахов, то одного из них забирала для горячих молитв наперсница королевы — монахиня Патрочиньо. А в дальнем углу Эскуриала, словно жалкий паук, гнезвился муж королевы — храбрый и благородный идалго фон Франсиско, живший доходами от продажи апельсинов из собственных садов в Севилье. Подарить любовнику восемь миллионов реалов сразу для Изабеллы

ничего не стоило, лишь бы он показал себя стойким мужчиной, а не тряпкой. При ней в Испании была основана «Академия моральных наук». Но самый блестящий жест королевы — открытие Лосойского водопровода в Мадриде, а то ведь, стыдно сказать, помыться гранду — целая проблема!

Никто не ощущал грозы, и папа римский переслал Изабелле II розу, которая не пахла, — розу из тонких золотых лепестков. Прицепив ее к поясу ажурного платья, Изабелла поехала на морской курорт Лаквейсио; она купалась в волнах Бискайи, когда из Мадрида пришли слухи о народной революции.

— Это замечательно! — сказала Изабелла II, нагишом проследовав на ложе любви. — Пусть же случится что-либо ужасное, чтобы встряхнуть мою скуку... Вот тогда я выхвачу из кружев наваху и покажу всем оборванцам, какая я испанка!

Инсургенты захватили Мадрид, восстал и флот Испании, к власти пришла революционная хунта, раздавшая ружья народу. Изабелла II скрылась в Биаррице, где искал покоя от суеты ее давний приятель — Наполеон III; он сразу все понял.

— Мадам, в вашем распоряжении замок По...

Из замка По она переслала в Мадрид свое отречение от престола. Но революции бывают разные. Иногда, свергнув одного монарха, они сразу же начинают подыскивать себе на шею другого. Европейская печать охотно подсказывала Мадриду новых претендентов на испанскую корону...

В переписке Бисмарка появилось слово «Испания».

«Вот что может вызвать взрыв!» — заключил он.

Жернова истории мелют медленно, но верно...

Бисмарк, словно усердный ревизор, вел строгий учет всем ошибкам Наполеона III, мало того, исподтишка подталкивал императора на свершение новых. В преддверии грозных событий он ошеломил кайзера просьбой об отставке. «Министру, — писал бундесканцлер, — следует быть более хладнокровным, менее раздражительным и прежде всего обладать хорошим здоровьем...»

Бисмарк нервничал. Томился. Он издергался в выжидании той блаженной ситуации, когда можно скомандовать: пли!

Бабельсбергские старые супруги о чем-то шушукались и часто вздрагивали при его появлении. Вильгельм I отставки ему не дал. А между тем Бисмарк и правда был болен. Его доконал ревматизм, его украсила желтуха от крысиного укуса. Он уехал в померанское имение Варцин, где и прозябал в угрюмом затворничестве. Не будем думать, что канцлер устранился от дел. Варцин — это его боевая засада, сидя

в которой он зорко следил за действиями противников. Отсюда-то он и подталкивал тяжкие жернова истории, чтобы война из розовых мечтаний о ней стала суровой и непреложной явью.

Дела и дни Горчакова

Возвращались из Гатчины поездом; царь да Горчаков — больше в вагоне никого не было. Александр II всю дорогу много курил. Поезд уже катился по окраинам столицы, когда он сказал:

— Не знаю, что со мною, но таким, как теперь, я еще никогда не был. Раньше хоть радовала охота. А теперь лишь вино да женщины — это как-то отвлекает. Кончится для меня все какастрофой... Не спорьте, князь! Я был в Париже у одной гадалки вместе с дядей Вилли, она ему накаркала долгую жизнь и множество успехов. Потом взяла дату моего рождения — тысяча восемьсот восемнадцатый год — и молча переставила только две последние цифры: получилось тысяча восемьсот восемьдесят первый — вот это и есть год моей гибели.

— Как вы можете верить в такую мистику?

— А почему и не верить?..

Машинист с искусным шегольством затормозил поезд так, чтобы подножка царского вагона застыла как раз над ковриком, разостланным на перроне. Александр II надел каску и шагнул мимо коврика. Неожиданно грубо сказал, обращаясь к канцлеру на «ты»:

— Князь, на днях ко мне в Летнем саду подошла твоя племянница и похвасталась, что вопрос о браке ее с тобою уже решен. Если женишься, я сердиться не буду. Но прежде подумай: Надин за твоей спиной развела шашни с конногвардейцем Николаем Лейхтенбергским. Когда мы ездили на Парижскую выставку, я, чтобы тебя не огорчать, указал шефу жандармов Шувалову не давать ей заграничного паспорта. Разберись сам...

В окружении свиты и охраны царь удалился, а Горчаков испытал слабость в коленях. Но распускаться нельзя, прямо с вокзала надо ехать в Совет министров. Там он сказал, что экономику империи можно выправить добычею нефти на Кавказе и угля в Донецком бассейне, — ему не поверили. Вечером у него был в гостях мудрый армянский католикос, недавно вернувшийся из турецкого Вана; в беседе за бутылкой вина они провели время до полуночи, разговаривая по-гречески, по-итальянски и на древней латыни. Проводив гостя, канцлер с помощью Якова устроился в постели, в стакан с водою опустил искусственную челюсть (работы славного парижского дантиста Дезирабода).

— Шыновья вернулишь? — спросил, беззубо шамкая.

— Да где уж там... гуляют.

Утром в министерстве его подждал Нэпир.

— Да, — говорил Горчаков, — мы обещали Англии не ходить в Бухару и Хиву, но жители Бухары и Хивы не обещали, что перестанут ходить к нам с жалобами на своих ханов.

— Ваш ответ, — иронизировал Нэпир, — напомнил мне ответ дамы, нарушившей любовную клятву: «Да, я клялась любить его до гроба, но я ведь не клялась сдержать свою клятву!»

— Однако депутации угнетенных племен из ханств среднеазиатских сатрапий — это не мой сладкий вымысел! Они идут к нам, взывая о восприятии российского подданства...

При этом, дабы излишне не раздражать Англию, Горчаков благо-разумно умолчал о тайной миссии из далекой Индии, которая про-сила народ России избавить их от колониального гнета. Если бы англичане были уверены в прочности своего положения в Дели, они бы не тряслись над барханами Средней Азии, как нищий над писаной торбой. Теперь Лондон выдвигал идею о разграничении сфер влияния в Средней Азии.

— На сегодня, пожалуй, закончим, — сказал Горчаков Нэпиру. — Мы согласны считать Афганистан буфером между нами при условии, что вы гарантируете нам его независимость и не станете расширять владений афганского эмира за счет Бухары и Коканда во вред чисто российским интересам.

С докладом канцлер отбыл во дворец, где император оставил его обедать в кругу семьи. За столом царь неожиданно спросил — что он думает об Игнатьеве? «Ага, стало быть, подыскивают мне замену».

— Игнатьев очень умен, но поздравляю того, кто ему доверится, — ответил Горчаков с хитростью старого дипломата.

Императрица Мария вдруг встала шпильку:

— Иметь Бисмарка — какое счастье для немцев!

За этим стояло: у нас Бисмарка нет. Острый кончик тугого воротничка врезался князю в щеку, но он не замечал боли.

— Ваше величество, я не поручусь за немцев, но смею полагать, что русскому народу Бисмарки пока не требуются.

— Дайте поесть спокойно, — вмешался царь.

Первая атака отбита. Надо ожидать второй.

Великосветский Петербург наполняли слухи *au sujet de la blonde* (по поводу блондинки). Блондинка — это Надин, которую с «белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь».

Горчаков вступил в кризис — старческий:

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

В осеннем парке Павловска канцлер встретил Тютчева; два дипломата бродили среди прудов, засыпающих в умиротворенном покое. Разговор как-то не вязался.

— Неужели нет новостей? — спросил Тютчев.

— Последняя из них такова... Я не сразу сообразил, что к моей увядшей мужской оболочке Надин хотела бы стать красочным приложением, вроде цветной картинки дамских мод, вклеенной в скушнейший номер еженедельника по вопросам земской статистики. Но я еще не выжил из ума и сознаю весь тяжкий грех перед покойницей Машей... Пора сказать себе, чтобы не мучиться более: ты старик, Горчаков!

Последняя женщина была у каждого, и она отлетала почти безболезненно, как облако... Тютчев замедлил шаги:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснувшего дня...
Тяжело мне... замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

— Жестоко, но справедливо, — отозвался Горчаков...

Помолчали. Канцлер потом сказал:

— Нехороший признак: государь груб со мною.

— Он и со всеми таков!

— Со всеми — да, но со мною бывал на равной ноге.

— Вы догадываетесь о причине?

— Косвенно виноват я сам, ибо дал повод к слухам о Надин...

А иногда, — с надрывом признался Горчаков, — я с ужасом ловлю себя на том, что теряю мысль в разговоре. Мне страшно! Неужели конец? Это в мои-то семьдесят три года, когда бы только жить да радоваться...

Вечером в Михайловском театре давали «Орфея» Глюка; Горчаков сидел подле Надин, искоса наблюдая за партером, где в окружении ослепительных дам беззастенчиво жуировали его статные красавцы

сыновья. По выражению глаз племянницы старик догадался, что она с большим бы удовольствием перешла из ложи в партер. Дежурный флигель-адъютант попросил князя пройти в императорскую ложу. Надин с хрустом разгрызла карамельку, и этот хруст показался канцлеру треском рушащейся карьеры... Александр II сидел со своей сестрой великой княгиней Марией Николаевной, когда-то очень красивой Мессалиной, а теперь эта женщина не расставалась с костылями. Она и начала:

— Вы женитесь или только волокитничаете?

Судя по всему, перед нашествием Пруссии на Париж от Горчакова решили избавиться. Кандидатуры известны: константинопольский посол граф Игнатьев или шеф жандармов граф Шувалов. Горчаков ответил, что каждый человек вправе оставить за собой решение сердечных проблем.

— Дипломатический корпус, — заговорил царь, — поставлен тобою в неловкое положение. Ты говоришь — племянница. Но каждую сплетницу я не стану отсылать в Департамент герольдии за генеалогической справкой... Не будь смешным!

Всем было смешно, только не ему. Внутри дома тоже разлад. Сыновья заявили, что у них нет больше сил выносить присутствие этой... блондинки. Старик понимал, что Надин вторгалась в их меркантильные интересы: женись он на молоденькой, и тогда из наследства им останется один пшик на постном масле. Но рядом с Горчаковым (чего он не замечал) страдала и мучилась еще одна добрая душа... В один из дней канцлер подъехал к дому, и швейцар ошаршил его известием:

— Яков-то умер.

— Яков? Как умер?

— А так. Погоревал. И преставился...

Это было словно предупреждение для него. Горчакову вспомнился Яков молодым хватом-парнем, его бурный роман во Флоренции с красивой торговкой рыбой, и теперь все исчезло, будто провалилось в бездонный колодец. А ведь они были ровесники... В лютый мороз канцлер великой империи, следуя за скорбными дрогами, проводил своего лакея до Волкова кладбища. Оглушительно громко скрипнул снег в могиле, когда на него поставили гроб. С похорон князь вернулся продрогший до костей, едва жив, его бил озноб. Но все же он поехал во дворец...

— Из ампулы влюбленного юноши я должен переключиться на роль благородного старца, озабоченного будущим счастьем племянницы. Прошу — выдайте ей заграничный паспорт.

Царь точно определил «будущее счастье» Надин:

— Я скажу Шувалову, чтобы не чинил препятствий для выезда им обоим... ей и герцогу Лейхтенбергскому!

Ну вот и все. Горчакову стало легче.

.....

В начале лета он отбыл на немецкий курорт Вильдбад, где в горах Шварцвальда его и застала кровавая интермедия к войне. Здесь его повидал французский журналист Шарль Муи:

— Бисмарк недавно проговорился, что если бы в Зимнем дворце считались с мнением русского народа, то в предстоящей войне Россия бы выступила заодно с Францией против Пруссии. Скажите, канцлер, есть ли в этом смысл?

— Пожалуй, да, — кивнул Горчаков.

— Какое же положение займет ваша империя?

— Россия сохранит нейтралитет до тех пор, пока обстоятельства не заденут ее национальной чести. Вы, французы, можете искать союзников среди обиженных Пруссией: в Италии, обязанной вам за войну в Ломбардии, в Дании, оскорбленной узурпацией Шлезвиг-Голштинии, наконец, в Австрии, где еще не скоро забудут Садовую... Практически я не вижу со стороны Франции никаких услуг, за которые Россия должна бы сейчас платить своей кровью. Вот разве что за Севастополь, где ваша артиллерия не оставила камня на камне.

— Не будьте так жестоки к нам, канцлер!

— Зачем же? Я просто реально смотрю на вещи.

— И каков ваш нейтралитет? Вооруженный?

— Не знаю. Но мы будем тщательно повторять каждый военный жест вашей союзницы Австрии: оседлала она лошадей — наши выведены из конюшен, зарядила Вена пушки — наши тут же будут выкачены из арсеналов... Я не скрываю, — сказал Горчаков, — стоит Австрии выступить против Пруссии, как наша лучшая армия из Варшавы сразу же переместится в Галицию.

— Вы очень откровенны, — заметил Шарль Муи.

— А я не Талейран, который утверждал, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли...

Шарль Муи тогда же схватил на карандаш фигуру русского канцлера: сгорбленный, но еще осанистый, хитрое, очень подвижное лицо с тонкими губами сатира, изящные, старомодные манеры, полученные в наследство от XVIII века, и — «предрассудки старины, хотя никто в Европе лучше Горчакова не знал, что от них взять, а что оставить без употребления».

Загадка эмской депеши

Костлявый палец Мольтке прилип к карте Франции.

— На что вы мне указываете? — спросил Бисмарк.

— Это «Вогезская дыра» — равнина между Вогезами и Арденнами, через которую легче всего выйти к Парижу... Скажите мне,

сколько вы, политик, разрешаете нам, генералам, взять от Франции для нашей Пруссии?

Бисмарк, причмокивая, рассосал затухшую сигару.

— Берите больше, — отвечал, окутываясь дымом, — чтобы мне было что потом отдавать. А то ведь знаете как бывает? Если не вернешь все отнятое, обвинят в скупости...

Зная, как лучше дразнить галльского петуха, Бисмарк инспирировал в германской прессе выдвижение на испанский престол прусского принца Леопольда Гогенцоллерна-Зигмаринена. Расчет был точен: если справа от себя Франция имеет соседом прусских Гогенцоллернов, для нее будет самоубийством иметь Гогенцоллернов еще и на южных границах — за Пиренеями. Галльский петушок, почуяв нутром, что его готовят для немецкой духовки, должен сразу взъерошить перышки!

Леопольд Гогенцоллерн — добрый католик и лейтенант прусской армии; женатый на португальской инфанте, он увлекался спортивным альпинизмом, едва начинавшим входить в моду. Молодой человек отнесся к идее Бисмарка весьма сдержанно: ему замечательно жилось, а в Испании полно разных анархистов, для которых подстрелить короля — раз плюнуть!

— Франция, — разумно говорил он, — никогда не позволит Гогенцоллернам утвердиться по ту сторону Пиренеев.

— Твое ли это дело? — возмущался его отец. — Поезжай в Мадрид и старайся не вылезать на улицы, а уж Бисмарк, будь уверен, утвердит тебя с обеих сторон Пиренеев... Или ты думаешь, что быть лейтенантом лучше, нежели королем?

Из Мадрида прибыл к Бисмарку посол Салазар, вдвоем они уговорили принца не отказываться от короны. Секретная агентура Штибера уже просочилась в Испанию, чтобы проведать на месте — не забыли ли испанцы прежних обид от Наполеона I и нет ли у них желания заодно с Пруссией потрепать галльского петуха за гребень? Все это творилось за спиной кайзера, и Бисмарк информировал его об испанских делах лишь весной 1870 года, когда интрига была на полном ходу... Неожиданно для канцлера Вильгельм I заупрямился. Бисмарк призвал на подмогу Мольтке с Рооном; три верных паладина горячо доказывали королю, что в случае отказа Леопольда от короны в Испании может возникнуть народная республика, анархия и прочие чудеса: из Мадрида эта зараза, как лишай, переползет в Италию и во Францию, а потом, чего доброго, зачешутся и берлинцы...

Короля проняло! Но он предупредил Бисмарка:

— Только очень прошу вас, чтобы эти испанские дразги не рассорили меня с Францией...

Неожиданно где-то на проводе между Берлином и Мадридом произошла «утечка информации». Вечером 2 июля парижские газе-

ты оповестили Францию о переменах в Испании... Накануне этих событий Франц-Иосиф, еще не смирившись с разгромом при Садовой — Кёнигсгретце, готов был рвать Пруссию со стороны хвоста, если Франция вцепится ей в загривок. Он послал в Париж эрцгерцога Альберта, который прибыл — со словами:

— Мы согласны поддержать вас в войне с Пруссией при условии, что австрийцы вступят в сражение не раньше *сорока двух* дней со дня начала военных действий.

Естественно, Наполеон III любопытствовал — а что собирается делать Австрия все эти 42 дня?

— Мы будем готовиться, — отвечал венский посланец.

Наполеона III не так-то легко провести! Он понял, что за 42 дня побежденный уже определится, и тогда Вена попросту примкнет к победителю. Ему следовало помнить и о России: Горчаков потрясет в колокольчик — и русские армии распалют до небес бивуачные костры на рубежах Галиции, после чего «боевая» Австрия мигом свернется в калачик. Наполеон III не забывал, что в сейфах Бисмарка — Альвенслебенская конвенция 1863 года, за которую русский царь должен расплачиваться нейтралитетом, благоприятным для Пруссии.

— Об изоляции Франции говорить еще рано, — сказал он премьеру Оливье. — Я верю, что в одном строю с нами окажутся южногерманские княжества, которые не могут выносить деспотизма Пруссии...

Два дня подряд, 6 и 7 июля, в Законодательном собрании шли бурные дебаты. Военный министр Лебёф доложил, что последняя пуговка на гетрах последнего солдата давно пришита, митральезы заряжены, мобильный пехотинец — мастер штыкового боя, способный выкрутиться из любого положения. Оливье заикнулся, что Франции без России несдобровать, но его дружно ошिकाки. Один сенатор впал в транс:

— Последний парад доставил мне невыразимую радость, и я вас спрашиваю: почему прямо с Лоншанского поля войска, митральезы и кавалерия не были двинуты прямо на Берлин?..

Газеты сообщили, что Бисмарк, обескураженный воинственным пылом Франции, прячется в Варцине, а вывод таков: «La Prusse cane» (Пруссия трусит). Бисмарк не очень-то огорчился оттого, что его планы разоблачены раньше времени: скандал уже разразился... только бы не подвел король!

Вильгельм I находился в Эмсе, где его навещил французский посол Бенедетти. Совсем не расположенный влезать в испанские дела, кайзер радушно сказал ему:

— Мне этот бой быков совсем не по душе. Кто его только выдумал? Я не вижу никакой надобности для Гогенцоллерна вступать на престол Испании. Не волнуйтесь: я все улажу...

Отдадим кайзеру должное: обещал — сделал!

Леопольда Гогенцоллерна дома не оказалось. С альпенштоком в руках он забрался на снежные кручи Швейцарии, и никакой телеграф не мог до него достучаться. Вильгельм I обратился к его отцу, и тот за сына отказался от испанского престола. Улаживание этого вопроса заняло четыре дня — с 8 по 12 июля. Кайзер был настолько любезен, что даже переслал в Париж телеграмму с выражением радости по случаю устранения конфликта между Пруссией и Францией...

Казалось бы, все? Бисмарк потерпел крах!

Но легкость, с какой досталась Парижу эта победа, расстроила планы Тюильри, где заново был разожжен угасающий факел войны. Евгения Монтихо вмешалась, выговорив мужу:

— Не давай пруссакам так легко отвертеться! Помни, что от военного успеха зависит будущее нашего Лулу...

Наполеон III вечером 12 июля собрал свой кабинет — лишних здесь не было. Военный министр Лебёф совсем зашелся:

— Прусская армия? Я отрицаю эту армию. Ее нету!

Сообща составили телеграмму Бенедетти.

Бенедетти крепко почивал, когда его разбудили и подали эту телеграмму. Сонный посол сообразил лишь одно:

— С какими глазами я покажу ее кайзеру?..

«Я, — вспоминал Бисмарк в мемуарах, — решил отправиться 12 июля из Варцина в Эмс, чтобы исходатайствовать у его величества созыв рейхстага для объявления мобилизации. Когда я проезжал через Вуссов, мой друг, престарелый проповедник Мулерт, стоя в дверях пастората, дружески приветствовал меня. Я ответил из открытого экипажа фехтовальным приемом в квартах и терциях, и он понял, что я решил воевать...» По дороге в Эмс канцлер узнал об уступчивости короля и вместо Эмса прибыл в Берлин с перекошенным от злости лицом. Неужели он пересидел в своей померанской «засаде»? Но в любом случае старый дурак король не стоит того, чтобы из него делали германского императора. Бундесканцлер не спал всю ночь...

Это была ночь с 12 на 13 июля.

Рано утром 13 июля Бенедетти поспешил на Брунненпроменад, чтобы не упустить кайзера во время моциона. Вильгельм I еще издали приветливо помахал ему газетой, в которой сообщалось об официальном отказе Леопольда от испанского престола:

— Вот видите, Бенедетти, как все идет хорошо!

Вслед за этим Бенедетти, сгорая со стыда, был вынужден передать ему волю своего императора. Смысл требований таков: Вильгельм I дает Франции твердые гарантии в том, что никто из семьи Гогенцоллернов впредь никогда не осмелится претендовать на чужие престолы.

Вильгельм I справедливо ответил Бенедетти, что все, что можно, он уже сделал:

— Какие же еще гарантии нужны Франции?

Но тут пришла новая телеграмма из Парижа — от короля требовали не только устных гарантий, но еще и заверение в письменном виде, что Пруссия не станет посягать на достоинство французской нации. Это уж глупо! Вечером кайзер отъезжал в Кобленц к жене, а на вокзале опять встретился с Бенедетти. Понимая, что посол лично ни в чем не виноват — он лишь исполнитель чужой воли, — король дружески протянул ему руку:

— Всего доброго, посол! Через несколько дней я буду в Берлине, и там мы с Бисмарком все уладим.

В вагоне король велел секретарю фон Абекену:

— Генрих, изложите все слышанное в депеше и телеграфируйте на берлинский адрес господина Бисмарка...

— Чтобы эта склочная Франция увернулась от войны — да ни за что! — говорил Бисмарк, приглашая гостей к столу.

Их было двое: Роон и Мольтке. Хозяин ворчал:

— Нашему кайзеру надавали в Эмсе по шее, а он как ни в чем не бывало поехал в Кобленц... а там — фру-фру!

Был теплый берлинский вечер, пахло резедою из сада. Парижские газеты оповещали мир, что Бисмарк скрылся в Померании. А он здесь, в Берлине! Подвыпив, канцлер сказал:

— Я уже телеграфировал семье в Варцин, чтобы не трогались с места. Возможно, мне осталось одно — отставка...

Он был подавлен и не скрывал этого. Генералы тоже пришли в тусклое уныние. Мольтке заявил с прямою солдата:

— Король лишил нас дивного повода к войне!

Сообща стали думать, как бы вызвать Францию на удар по Пруссии, чтобы потом воевать с чистой совестью. В этот-то момент бог не оставил их своею милостью — Бисмарку принесли Эмскую депешу от фон Абекена; он прочитал ее четыре раза подряд и протянул руку над столом:

— Дайте что-нибудь... хотя бы карандаш! — С карандашом в руке, не отрывая глаз от депеши, он резко спросил: — Мольтке, вы можете поручиться мне за победу над Францией?

— Успех армии обеспечен, — последовал ответ.

— Роон, — спросил Бисмарк, — вы, как военный министр, можете поручиться за точную организацию снабжения армии?

— Армии не хватает только мармеладу.

— Хорошо, — поднялся Бисмарк. — Тогда, друзья, ешьте и пейте, а я... на минутку оставлю вас.

Вскоре канцлер подсел к столу с депешью, которую безбожно, почти варварски сократил. Мольтке на досуге писал романы и драмы, а потому, как писатель, хорошо понимал, что сокращение текста способно привести к искажению смысла. Вот эту-то работу Бисмарк и проделал! Теперь из Эмской депеши явствовало, что кайзер в грубой форме указал послу Франции на дверь... Гости сразу оживились, веселее зазвенели вилки и рюмки, а Мольтке, вдохновленный, воскликнул:

— Замечательно, канцлер! Вы шамаду превратили в фанфару. Сигнал отхода с позиций прозвучал призывом к атаке.

Генерал Роон молитвенно сложил длани:

— Старый бог еще жив, и он не даст нам осрамиться...

Бисмарк вызвал статс-секретаря Бюлова, вручил ему текст искаженной Эмской депеши, наказав строжайше:

— Чтобы завтра напечатали все газеты...

На следующий день, 14 июля, Германия встала на дыбы; в университетах профессура (старый боевой авангард пангерманизма) призывала студентов исполнить солдатский долг, который превыше всего; уличные толпы ревели «Wacht am Rein». Берлинские карикатуристы подбавили жару; в газетах было наглядно изображено, как стоящий наверху лестницы браваый кайзер дает хорошего пинка послу Франции, и несчастный Бенедетти носом пересчитывает ступеньки... Простой народ Франции еще вчера уверовал в благополучный исход кризиса, а сегодня сверху обрушилась весть — война! В ночь на 15 июля Наполеон сделал свою последнюю ошибку...

— Которая дорого обойдется Франции! — кричал Тьер.

— Замолчите, мсье. Стыдно вас слушать.

Бенедетти официально уведомил Берлин об открытии военных действий. Бисмарк с ожесточением выколотил пепел из трубки:

— Единственное, что меня сейчас утешает, это то, что на бедную маленькую Пруссию напали, и она вынуждена защищаться. Видит всевышний, как я старался, чтобы войны избежать...

Бисмарк никогда и ничего не забывал. Опять щелкнул ключ, словно взводимый курок. Из глубин секретного сейфа канцлер извлек выманный им у Франции проект захвата Бельгии и Люксембурга.

— Вот это, — велел он своим пресс-атташе, — надо срочно фотокопировать и копии разослать по всем кабинетам Европы, а заодно и в лондонскую «Таймс»...

Франция предстала перед миром как наглый агрессор. К прусской армии примкнули южногерманские государства — Саксония, Бавария, Вюртемберг и Баден. Для Наполеона III это был удар. «Что стало с тупоголовыми, что они вдруг вздумали связаться с прусской

сволочью?» — таковы его подлинные слова. Франция недооценивала противника и предалась неуместному упоению от предстоящей победы... Там еще танцевали!

Furor teutonicus

Германия провела мобилизацию с быстротой, поразившей и друзей и врагов, Мольтке всегда понимал значение рельсов — отныне железнодорожные узлы были в руках офицеров генштаба, разбиравшихся в эксплуатации дорог лучше путейцев. Частные переезды кончились — билетов не продавали. Денно и ночью на вокзалах Германии, словно раненные звери, орал локомотивы Борзига. На этот раз солдат не пришлось загонять в вагоны силой: на Германию напали — немцы защищаются! Эшелоны несло к Рейну, солдаты весело горланили:

Суп готовишь, фрейлейн Штейн,
дай мне ложку, фрейлейн Штейн,
очень вкусно, фрейлейн Штейн,
суп ты варишь, фрейлейн Штейн...

В конце эшелонов тяжело мотались платформы, заполненные известью. Солдаты старались не замечать их — этой известью они будут засыпаны в братских могилах, чтобы разложение тел не дало опасной инфекции... Все было учтено заранее!

Последний дачный поезд подошел к станции Красное Село; было уже поздно. Французский посол Эмиль Флери долго блуждал среди недостроенных дач и конюшен, отыскивая царский павильон. Александр II ночевал сегодня в шатре, возле которого зевали часовые, а в мокрой траве лежали трубы и барабаны полковых музыкантов. Было видно, как за пологом разожгли свечи, скоро вышел и он сам — в одной рубашке, в узких кавалерийских рейтузах, с горящей папирсой в руке. Спросил:

— Ну, что у вас, генераль?

Флери сказал, что война... Вдали от станции, беснуясь на привязях, лаяли собаки. Император пригласил посла внутрь шатра, где скопилась липкая ночная духота.

— Не думайте, что только у Франции есть самолюбие, — вдруг заявил царь, садясь на походную лежанку. — Ваш император сам вызвал войну, и это... *конец династии наполеонидов!*

Он ничего не забыл, все давние оскорбления даже теперь заставляли дрожать его голос. Он помнил бомбежки Севастополя и унижение

Парижского мира, недавний выстрел Березовского и даже выкрик Флоке: «Да здравствует Польша, мсье!» В эту ночь, среди неряшливой обстановки лагерного быта, Александр II говорил с послом Франции чересчур откровенно:

— Красные тюрбаны ваших зуавов в Крыму, согласитесь, это вызывающая картина! Разве в Париже нет Альмского моста или Севастопольского бульвара? Зачем было переименовывать улицы, оскорбляя наше достоинство? Князь Горчаков подтвердит, что мы пытались спасти хотя бы Францию... я уж не говорю о вашем императоре. Будем считать, что его нет! — Флери пытался возразить, но царь жестом остановил его, продолжая: — Было бы ошибкой, генерал, думать, что прусский король в Эмсе уступил вашему послу Бенедетти лишь по доброте душевной. Нет! Я и Горчаков, вызванный мною из Вильбада, сделали все, чтобы кандидатура Леопольда Гогенцоллерна была устранена и не раздражала вас, французов. Мы выиграли для вас спасительный мир, но вам захотелось войны... Теперь воюйте!

Флери поспешил встретиться с Жомини, верной тенью и эхом Горчакова; между ними сразу возник острейший диалог:

— Не значит ли, что, вступаясь за Пруссию, воюющую с нами, Россия тем самым выступает против Франции?

— Нет! Но мы не позволим усилиться Австрии — ни в союзе с вами против Пруссии, ни в союзе с Пруссией против Франции.

— Значит, — сказал Флери, — чтобы достичь благосклонности России, Франции следует помирить вас с Австрией?

Жомини рассмеялся над коварною комбинацией:

— Вы логичны, Флери! Но если бы все было так просто, как мы говорим... увы. Тут, — добавил он, помолчав, — припутывается старый славянский вопрос. А мы не дадим в обиду балканских друзей ни туркам, ни тем более австрийцам.

— Вы проговорились, назвав своих противников. Сделайте же еще один смелый шаг — назовите друзей.

— Мы много лет *искали их во Франции...*

6 августа был день Преображенского полкового праздника. Утром Флери принес царю депешу о блистательной победе французов при Марс-Латуре. Затем прусский посол принц Генрих VII Рейсс явился с депешей о полном разгроме французов под тем же Марс-Латуром. Выйдя к войскам гвардии, император провозгласил здравицу в честь непобедимой немецкой армии:

— Французы с дороги на Верден отброшены к Мецу!

Но Флери опередил посла Пруссии, и по настроению в войсках царь заметил, что тут уже было всеобщее ликование от успехов французов. Теперь на лицах солдат и офицеров медленно угасали улыбки. Александр II крикнул «ура!», но его поддержали лишь несколько

голосов. Нависло плотное, непроницаемое молчание. Царь оказался в опасном отчуждении. Он был здесь едва ли не единственным, кого радовали прусские победы, а его армия скорбела о поражении французов... В этот день к генералу Флери подходили совершенно незнакомые русские люди.

— Франция, — говорили они, — никогда не погибнет! Но Франции никак нельзя жить без дружбы с нами...

Флери отбыл в Париж, оставив поверенным в делах маркиза де Габриака; умный человек, он писал на родину: «Россия нейтральна, но ее нейтралитет дружествен Франции; император тоже нейтрален, но его нейтралитет дружествен Пруссии».

Лишь объявив войну, Франция стала готовиться к войне. Призывник с севера ехал через всю страну на юг, чтобы там получить ружье, а навстречу ему из Марселя катил на поезде южанин за ружьем в Руан; то еще полбеда, а вот зуавы ездили экипироваться даже в Алжир — из Европы в Африку, и обратно! Наполеон III рассчитывал, что соберет на Рейне полмиллиона солдат, но с большим опозданием наскребли лишь четверть... На дорогах Франции царил хаос, батальоны, отправленные в Эльзас, застревали под Дижоном, а уздечки от лошадей, посланных на Маас, находились в Ницце... Кое-как все же собрались!

Наполеон III, прибыв в конце июля в Мец, взял командование на себя, а его жена осталась в Париже регентшей империи. Еще не все было потеряно. Лучшее, что можно было сейчас сделать, это всеми силами обрушить Шалонскую армию в стык между Южной и Северной Германиями, отсекая от Пруссии богатые людскими резервами области Бадена, Вюртемберга, Баварии и Саксонии, но этого не сделали. Немцы сплотили под знаменами Пруссии ровно полмиллиона солдат, чтобы удушить Францию численностью, умением и железной организацией порядка.

Дивизия Дуэ, имея в рядах лишь 5000 солдат, первой угодила под удар 40 000 немцев. Французы сражались великолепно, но их разможили, их просто растоптали в пыли, и по мертвым телам сразу вошли в Эльзас! Гонимые гранатами гаубиц, будто листья осенним ветром, французы устремились в Лотарингию к Шалонскому лагерю. Возле домов стояли крестьянки и, оперев руки в бока, осыпали уходящих солдат бранью — за то, что оставляют их пруссакам. А немцы шли массами, подобно грозovým тучам, они заполняли горизонт, как неистребимая саранча. На каждый выстрел «мобиля» пруссаки отвечали тремя. Знаменитая атака парижских кирасир надолго запомнилась патриотам Франции: немецкая картечь барабанила по кирасам, словно град в звонкие медные литавры, а юноши все еще понукали лошадей, умиравших под ними в последнем рывке безнадежной атаки... Против

французской отваги и доблести Мольтке выдвинул *fuog teutonicus*, проникнутую почином немецкой инициативы. Прусский генштаб давал французам бой не там, где они хотели, а там, где было выгодно и удобно немцам. «Идти врозь, а бить вместе!» — стало для Мольтке формулой. Немецкие колонны, словно лезвия ножниц, разрезали фронты противника и в точно назначенный срок сходились в единый кулак, образуя мощные соединения в тех местах, где французы их не ждали.

— Ну, как наши враги? — спросил кайзер у Мольтке.

— Они дерутся как львы и убегают как зайцы...

Линия Вогезов была оставлена, в ставке Наполеона III возлагали надежды на Мец, Верден, Страсбург — крепости. Из Парижа обворожительная регентша молила мужа о победе. Хоть какой-нибудь — пусть крохотной, но победе. («Это нужно нашему Лулу для получения офицерских шпор».) Император внешне напоминал мертвеца. Если в боях за Ломбардию его пугали кровь и трупы, то теперь он равнодушно закрывал глаза на людские страдания. Временами казалось, что он — военный атташе нейтральной державы, для которой безразлично, кто победит, но долг вежливости требует присутствия при этом кошмаре...

Прусская кавалерия фон Бредова продемонстрировала перед Францией, что она тоже умеет умирать на галопирующем марше под батареями, но, умирая, все-таки идет к цели. Генерал фон Штейнмец, герой богемской кампании, укладывал своих солдат на полях битв, будто поленья, его даже устранили с фронта — за безжалостность. Французские полководцы неустанно маневрировали, словно шахматисты на досках, но бравурная сложность перестановок корпусов и армий только запутывала их сознание, не давая дельного результата. Уже чувствовалось, что, заняв город, немцы не собираются покидать его. Вешали заложников, расстреливали крестьян и кюре, сжигали дома с живыми людьми, а возле публичных домов выстраивались длиннющие очереди, и в этих очередях все время дрались баварцы с ганноверцами, мекленбуржцы с пруссаками, саксонцы с голштинцами...

Мне трудно определить грань, за которой из войны «оборонительной» немцы вступили в войну захватническую, войну грабительскую. В хаосе маневрирований я не могу разглядеть ту незримую черту, дойдя до которой, французы повели войну освободительную, войну отечественную! Но уже настал роковой и возвышенный момент, когда, ведя борьбу с армией Франции, немцы столкнулись — неожиданно для себя — с сопротивлением народа Франции, который не хотел быть их рабом...

А обширные познания немецкой разведки могли привести в состояние столбняка любого дилетанта. Стоило немцам занять француз-

скую деревню, как они с реквизиционными актами в руках быстро расходились по домам крестьян — четкие, безапелляционные и, как всегда, требовательные. Диалог строился таким неукоснительным образом:

— Добрый вечер, мсье Бужевиль! Вы не беспокойтесь: с вас тридцать четыре яйца, пять баранов, одна корова, восемь фунтов масла и три кувшина сметаны...

Подчистую не грабили: мсье Бужевиль оставался обладателем трех яиц, одного барана и полфунта масла. Спорить было невозможно, ибо немцы, живущие в Берлине, отлично знали экономические возможности французской деревни Лоншер. Ограбив мсье Бужевилья, они дружно топали к дому мадам Пукье, и эта крестьянка потом долго пребывала в наивном недоумении:

— Откуда бестии узнали, что у меня было семь кур?..

Об этом надо бы спросить у Штибера! Сейчас он молот кофе для господина Бисмарка, который, сидя в жалкой лачуге, счищал щепкою коровий навоз с ботфортов и говорил:

— А будет жалко уходить из Эльзаса и Лотарингии...

«Мы разоряем эти хорошенькие города, — писал Штибер домой, — здесь скоро появится тиф и другие болезни». Баварцы, особенно жестокие после выпивки, застреливали детей в колыбелях, а матерей, рыдающих от ужаса, насиловали на глазах отцов и мужей... Бисмарк устал выслушивать жалобы.

— Штибер, — говорил он, — разберись с этим сам!

Штибер строчил жене: «Мы забираем себе все съестные припасы, громадные количества вина и пива проливаются на землю. Мы вырубаем фруктовые деревья в аллеях и садах. Магазины закрыты, фабрики бездействуют... Вчѐра в деревне Горс французский крестьянин выстрелил в повозку, наполненную пруссаками. Его подвесили под мышки перед собственным домом и затем медленно прикончили, выпустив в него тридцать четыре пули... У нас имеются отдельные комнаты, чтобы пробовать различные сорта вин: одна для шампанского, другая для бордо, третья для дегустации рейнвейна...» Бродячие певцы распевали на улицах гневные песни, кафе и рестораны были битком забиты немецкою солдатней, всюду слышались марши баварцев:

Лишь попадись нам враг —
перешибем костяк,
а если не замолк —
добавь еще разок,
да в зубы долбани,
да в угол загони...

В письмах Густава Флобера кричало невыносимое страдание: «Я умираю от горя. Я провожу ночи, сидя в постели, и стенаю, как умирающий. Каннибалы не навели бы на меня такого ужаса, как прусские офицеры, которые руками в белых перчатках разбивают зеркала, которые знают санскрит и набрасываются на шампанское, которые крадут ваши часы с камина, а затем вам же посылают свои визитные карточки... цивилизованные дикари!»

Английский историк Томас Карлейль выспренно возвестил, что в крахе Франции видна рука господня, наказующая галлов за «вырождение», а немцы — это высшая раса, в будущем Германии предназначено создать в Европе «новый порядок» на основе бодрого арийского духа. В ответ на это французский историк Жюль Ренан вступил в открытую переписку с немецкими коллегами, профессурой Германии; он предупредил, что тевтономания и презрение к другим народам завершатся трагедией для немцев и в будущих поколениях германский расизм будет победен усилиями всей Европы... Но я начал с Флобера — им же и закончу. «Россия, — писал он в эти дни, — имеет сейчас *четыре миллиона солдат*», — эта цифра его утешает. Французы стали думать, что только Россия способна спасти их родину, только она способна устоять перед бурей и натиском *furor teutonicus*...

Через тридцать лет, в 1900 году, старый князь Грузинский рассказывал молодому ученому Обручеву... Однажды князя вызвали в Зимний дворец, провели к царю, который поручил ему ехать в прусскую ставку.

— Вот тебе три Георгиевских креста для кронпринца, для Мольтке и Мантейфеля. — Александр II поднял тяжелую шкатулку. — А здесь ровно сотня «Георгиев» для немецких солдат. Передай их кайзеру и скажи, что я буду счастлив, если он по своему усмотрению украсит ими грудь своих храбрецов. А теперь ступай к Горчакову — он вручит тебе секретный пакет.

Горчаков вручил пакет со строгим наказом:

— Что здесь, вас не должно интересовать, но учтите: нет такого золота в мире, которое бы пожалели Англия или Франция, лишь бы узнать содержание моего письма...

В этом письме Горчаков предупреждал Бисмарка о скором де-нонсировании Парижского трактата. Согласно положению о царских курьерах, Грузинский представился министру императорского двора графу Адлербергу. Для проверки поручения он должен был в точности повторить приказание. Но при повторении царских слов Адлерберг грубо прервал курьера:

— Его величество никогда не говорил вам — *я буду счастлив*, государь лишь сказал — *я буду рад*. Запомните это и в беседе с королем прусским не ошибитесь...

Несмотря на чрезвычайную важность поручения, Грузинский раздобыл себе билет посредством взятки, данной кондуктору. Никакой охраны к нему не приставили, а на таможне в Вержболове еще и обыскали. Зато, едва он пересек границу, в купе сразу вошел прусский солдат с ружьем, не сводивший с посланца глаз. Во время остановок поезда на платформах выстраивался вооруженный караул. И до самого Майнца курьер вспоминал, что не счастлив царь, а только рад... Большая разница! Ясно, что даже в близком окружении царя назревают антипруссские настроения, германофильству царя угрожает серьезная оппозиция.

Разбитые вдребезги

Навстречу беженцам, спасавшим себя и свой скарб, шагали по обочинам солдаты, воздев над собою ружья с наколотыми на штыки буханками хлеба и жареными индюшками. В садах Франции плодоносяще провисали ветви яблонь. И текли дожди...

Шалонская армия маршала Мак-Магона насчитывала 124 000 человек. Наполеон III вполне разумно желал двинуть ее на защиту Парижа, но его остановила жена. «После всех неудач, — писала она, — каковы последствия возвращения в Париж? Что до меня, то я не решаюсь взять на себя ответственность за совет...» 30 августа Мольтке настиг Мак-Магон и отбросил его к стенам маленького городка — это был Седан! Прodelав ряд четких маневров, Мольтке начал запирать Наполеона III между Маасом и бельгийской границей. В четыре с половиной часа утра баварцы открыли сражение атакой на деревню Базейль; деревню отстаивала морская пехота; когда ее всю повыбили, из подвалов открыли стрельбу крестьяне во главе с кюре. Баварцы перекололи их штыками, а жителей с детьми умурили дымом в подвалах... На рассвете Мак-Магон нарвался на шальную пулю, и это спасло его от суда истории. Командование принял генерал Дюкро; он еще мог вытащить Шалонскую армию из тисков, чтобы отвести ее к Парижу, нуждавшемуся в защитниках; горнисты проиграли сигнал об отходе. Войска уже отходили, когда в 8 часов утра генерал Вимпфен вынул из кармана письмо военного министра Лебёфа и сказал, что, в случае выбытия Мак-Магона, он имеет право принять армию под свое командование:

— Дюкро, ваш сигнал к отходу я отменяю...

Дюкро призвал в референты самого Наполеона III и стал доказывать, что армия теряет время.

— Франции надоела наша беготня от города к городу. Через три часа немцы будут сброшены с пушками прямо в Маас!

На этот выпад Вимпфена Дюкро сказал:

— Будем считать себя самыми счастливыми на свете, если, дай бог, к вечеру вытянем свои кишки.

Кольцо сомкнулось, и все храбрые атаки кавалеристов Салиньяка и Галифэ оказались бесплодны, хотя и вызвали восхищение Мольтке:

— Помирать они еще могут, но побеждать уже не способны...

Французская артиллерия была попросту разрушена, словно пришел злой мальчик и разломал игрушки девочки; при взрывах орудия вылетали из лафетов, как перегорелые спички. Началось бегство. Сначала одиночки, затем группы и, наконец, беспорядочные толпы устремились в город, ища среди домов укрытия. Внутри Седана возник хаос. На тесных и кривых улочках перемешались в кашу коровы и пушки, комоды и снарядные фуры. Среди криков и пальбы метались, совсем потерянные, жители города, а солдаты швыряли на мостовые оружие. Раненые лежали на прилавках магазинов, ноги убитых торчали из разбитых витрин разгромленных бистро. Обставив пушками окрестные высоты, немцы методично и нещадно избивали Седан артиллерией; грохот канонады был слышен за много миль от Седана — даже в прусской армии, штурмовавшей крепость Мец. Седан горел...

Адъютант генерала Дюкро вдруг поднял руку:

— Смотрите! Что это значит?

Над башней города трепетал белый флаг.

— Не может быть, — обомлел Дюкро, — наверняка это флаг Красного Креста, только крест на нем смыло дождями...

Императора он нашел в здании седанской префектуры.

— Это я велел поднять белый флаг! Постараюсь при свидании с королем Пруссии выговорить почетные условия сдачи.

Дюкро ответил, что великодушие не в характере немцев, лучше выстоять до вечера, а потом рискнуть на прорыв.

— Какой прорыв, Дюкро? Вы же видели, что творится на улицах... Армии нет. Она полностью деморализована.

Появился и Вимпфен, грозно требуя отставки:

— Мне, солдату, невыносимо видеть белый флаг.

— Мне тоже... Дюкро, пишите акт о сдаче.

Дюкро написал, но подписать его отказался:

— Вимпфен погубил армию, пусть и подписывает.

Два генерала схватились за шпаги.

Наполеон III встал между ними:

— Вимпфен, никто не просил вас утром вскрывать письмо военного министра, которое вы таскали в кармане, словно чулочную подвязку любимой дамы. Вы сами влезли в эту историю! Вот и поезжайте к немцам, а Дюкро от этой чести избавим...

Все это — в грохоте взрывов, в шипении пламени. На выходе из префектуры Дюкро в бешенстве поддал ногой какой-то мяч и только потом с ужасом разглядел, что это не мяч, а голова ребенка... Седан! Самая черная страница французской истории.

Было 10 часов вечера, когда Вимпфен со штабом и адъютантом императора Кастельно прибыли в бедненький замок Доншери на берегу Мааса, где их ожидали победители. Комната для переговоров была украшена зеркалом в простенке и портретом Наполеона I; посреди стоял накрытый дешевой скатертью стол и несколько стульев. Французы, позвякивая саблями, сразу же отошли к окну; немецкие генералы, громяхая палашами и звеня шпорами, сгрудились возле кафельной печки. Мольтке, натянутый как струна, высоким голосом ликующе прогорланил:

— Разбитые вдребезги, ваше сопротивление тщетно! Если не сдадитесь, мы сокрушим вас с первым лучом утренней зари...

Бисмарк сел, деловито спросив французов:

— Чью шпагу вы сдаете? Франции или Наполеона?

За всех поторопился ответить Кастельно:

— Мы сдаем шпагу Наполеона...

— Ну хорошо, — сказал Бисмарк, подумав. — Значит, Франция оставила шпагу в своей руке, а это обстоятельство вынуждает нас предъявить вам очень суровые условия.

Мольтке, затаив усмешку, обратился к Вимпфену:

— Знаете ли, сколько у нас пушек? Их ровно шестьсот девяносто, и каждая имеет свою цель в Седане...

Во мраке ночи пролился бурный, освежающий ливень.

Вимпфен подписал капитуляцию. Только три тысячи храбрецов штыками пробили дорогу в Бельгию, а 83 000 французов сдались в плен (победители уже не знали, куда складывать трофейные ружья). Утром 2 сентября Бисмарк взгромоздился на свою рыжую кобылу и тронулся навстречу Наполеону III; он ехал под дождем вдоль аллеи, обсаженной старыми вязами; на его голове расплылась в блин белая солдатская бескозырка. Вдали показалось открытое ландо, в котором сидел, укрытый дождевиком, поникший император Франции. Бисмарк дал кобыле шенкеля, и она, показав заляпанное грязью брюхо, взвилась на дыбы. Выхватив палаш, канцлер отсалютовал своему пленнику.

— Нет, — крикнул он хрипло, простуженно, — вы не Христос, а я не Пилат... Помните, вы говорили, что каждый политик подобен высокой колонне. Пока она торчит на пьедестале, никто не берется ее измерить. Но стоит ей рухнуть, как все накидываются измерять ее высоту... Вы рухнули, сир!

Свернув с аллеи, он поскакал прочь, давая копытами лошади кочны неубранной капусты, растапывая стебли гниющей спаржи.

Берлин ликовал! Королева Августа часто появлялась на балконе замка, не уставая раскланиваться перед депутациями верноподданных. Своего лакея-лотарингца, знавшего французскую кухню, она отправила под Кассель, где в замке Вильгельмсгёе отвели покои для пленного императора. «Корми его досыта, — наказала Августа, — как и он кормил в Париже моего короля». 4 августа в замке появился Наполеон III, швырнул в угол кепи.

— Что вам угодно? — сразу же спросили его.

— Только покоя... О, и библиотека! Чья она?

— Жерома Бонапарта, вашего дяди.

— Как раньше назывался Вильгельмсгёе?

— Наполеонсгёе.

— Прекрасно! — сказал Наполеон...

Здесь его навещал железный канцлер Бисмарк.

О чем они беседовали — это осталось тайной истории.

Париж слишком бурно воспринял известие о драме в Арденнах; было еще темно, когда протопал батальон Национальной гвардии (составленный из одних лавочников-буржуа).

— Отречения! — вопили они. — Требуем отречения...

Следом прошел батальон парижских пролетариев:

— Не отречения, а — свержения... Долой!

Рассвет 4 сентября Евгения встретила словами:

— Не уготован ли мне эшафот, как и Марии-Антуанетте?

В шесть утра она прослушала мессу. Потом председательствовала в Совете министров. Разговоры велись полупшепотом, словно в Тюильри лежал покойник. Телеграммы с фронта поступали одна тревожнее другой. Парижский губернатор Трошю сказал, что он, как верный бретонец и благочестивый католик, отдаст за императрицу свою жизнь, но посоветовал сейчас не появляться на публике.

— Пожалуй, — сказала женщина, уходя...

Вокруг Тюильри стояли, чего-то выжидая, тысячи парижан. Компания Лебретон подала на подносе остывший завтрак. Евгения Монтихо, не отходя от окна, съела тартинку. Был третий час дня, когда к ней проникли послы — венский князь Меттерних и сардинский граф Коста Нигра (давний обожатель). Венец сказал, что оставил карету на набережной — к ее услугам.

— Хорошо, — отвечала Монтихо. — Французская история повторяется. Но я не стану ждать, когда мне отрубят голову...

Она появилась возле решетки Тюильри: толпа сразу заградила ей выходы к набережной. Пришлось вернуться. Лебретон где-то

отыскала связку ключей от картинных галерей Лувра; через торжественные залы они вышли на площадь Сен-Жермен л'Оксерруа, где народу было немного. Меттерних и Нигра поспешили к набережной, обещая вернуться за женщинами с посольской каретой. Уличный гамен вдруг радостно закричал:

— Вот же она! Вот наша императрица...

Лебретон остановила проезжавший мимо фиакр. Монтихо, как испуганная кошка, пружинисто запрыгнула в глубину кареты.

— Боже, — обомлел кучер, — кого везут мои клячи!

С недобрим намеком он похвастал, что у него дома есть кухонная «гильотинка» для нарезания сыра. Но не дай бог подставить под нее палец... Монтихо опустила на лицо густую сетку вуали. Лебретон вспомнила адрес своего зубного врача Томаса Эванса — американца, жившего в Париже. Дантиста дома не оказалось. Он появился к вечеру. Монтихо ему сказала:

— Увы, это я! Счастье так переменчиво...

Появился и доктор Крэн (англичанин).

— Вы уже непопулярны, — деликатно намекнул он. — А что у вас есть, помимо этой вуали и пары перчаток?

— Еще два носовых платка.

— И все?

— Еще паспорт, который в последнюю минуту передал Меттерних, но по ошибке он выписан на чье-то мужское имя.

— Ложитесь спать, — распорядился Эванс...

В половине пятого утра Монтихо была уже на ногах. Поверх платья из черного кашемира набросила плащ с узким белым воротничком, надела шляпу «дерби» с вуалью.

— Я готова, — сказала она. — А вы?

Лошади быстро миновали предместья Парижа, в сельской глуши сделали первую остановку. Эванс с Крэном зашли в дорожный трактор, где как следует выпили и закусили. Вернулись в фиакр с бутылкой дешевого вина и стаканами; женщинам дали по ломтю хлеба и кольцо жирной булонской колбасы.

— Все это, — сказала Монтихо, с удовольствием закусывая, — напомнило мне бедную юность. Боже, неужели это была я? Мне казалось, нет птички, которая бы не пела для меня...

К полудню лошади выдохлись. В живописной местности Аганто врачи купили последний номер парижского «Фигаро».

— Ну и что там написано обо мне?

— О вас ни слова, — мрачно ответил Крэн.

— Что ж, так всегда кончается слава.

— А в Париже уже республика, — прочитал Эванс.

— Выходит, я вовремя удрала. Моя голова не годится для ящика с отрубями... Кто же возглавил правительство?

— Губернатор Парижа — генерал Трошю.

— Подлец! — сказала Монтихо. — Еще вчера он ползал в ногах как червяк, и лизал мой подол, давая клятвы не оставить меня в беде... Теперь этот бабник поставил свою кровать прямо на вершину баррикады! Ну и свинья же этот Трошю...

За 30 франков купили новый экипаж, впрягли в него свежих лошадей. С резвостью, отмахивая хвостами жалящих слепней, лошади покатали беглянку к морю. Евгения не считала свое дело погибшим: лишь бы кончилась война, а там она вернется... Из Пасси путь лежал в приморский Довиль. В номере дешевой гостиницы для моряков она сразу рухнула на постель:

— Какие пышные подушки! Это даже слишком роскошно для меня. Почему я не хозяйка этого отеля? Будь я женою местного нотариуса, мне бы уж не пришлось волноваться... О, из окна я вижу берега Англии, где встречу сына! Надеюсь, — сказала она компаньонке, — что мой муженек, страдающий почками, скоро так надоест Бисмарку, что он его прогонит подальше...

Лежа, она сбросила с ног туфли, упавшие на пол, и сразу уснула. Эванс обнаружил в соседней гавани Трувиля яхту «Газель» английского полковника Джона Бургойна, путешествовавшего по белу свету. Бургойн согласился перегнать яхту в Довиль. Здесь он принял на борт императрицу с компаньонкой и сразу поднял паруса. Ла-Манш встретил их страшной бурей (во время которой трагически погиб со всем экипажем британский фрегат «Кэптэн».) Но полковник оказался замечательным спортсменом: его маленькая «Газель» стойко выдержала удары волн и ветра. 9 сентября яхта вошла в устье реки Солент; на берегу Англии тихо бляели курчавые овечки. Оглушенная штормом, экс-императрица Франции первым делом опустила в траву, долго расчесывала гребнем длинные мокрые волосы, скрипящие от морской соли. Из ближайшего трактира ей принесли сэндвич и газету; она узнала, что ее сын уже здесь, а муж еще в немецком плену. Королева Виктория прислала за беглянкою экипаж; через два часа быстрой гонки по отличному твердому шоссе Евгения Монтихо была на вилле Чизльхерст, где порывисто обняла сына.

— Лулу, Лулу, — шептала она, целуя мальчика в глаза, — неужели, милый Лулу, тебе не носить короны Франции?..

... Через несколько лет она пожалела два шиллинга и купила ему кавалерийскую сбрую в лавке подержанных вещей. В жестокой схватке с зулусами подруга лопнула, и Лулу погиб, исколотый африканскими стрелами, из-за двух шиллингов, которых для него пожалела мать... Евгения Монтихо умерла в 1920 году — одинокой и мрачной старухой, всеми давно забытая.

Флоту быть в Севастополе

Была теплая дождливая осень, которую Горчаков проводил в Царском Селе... С наивным видом он спросил Милютин:

— Вы, как военный министр, объясните, что там происходит? Базен туда, Мольтке сюда. Читаю газеты — не разберусь.

Милютин снисходительно пояснил:

— Быстрая мобилизация — гарантия победы. Наполеон хотел вломиться за Рейн и разом покончить с немцами. Но опоздал. Они разбили Мак-Магона и Базена по отдельности, вклинились между ними, не дав им соединиться. Шалонская армия сдалась при Седане, а Базена они заперли в Меце... Вкратце так!

Пожевав впалыми губами, Горчаков сказал:

— Кто вам атташирует в прусской ставке? Драгомиров?

— Нет, граф Голенищев-Кутузов... По его мнению, количество фронтовых ужасов должно отвлечь всех немцев от военного ремесла на сотню лет вперед. Так он пишет.

— Они же там... кормятся, — фыркнул Горчаков.

Пришла телеграмма: 18 сентября осажденный Париж закрыл ворота, а ставка прусского кайзера перенесена в Версаль.

— Но я, — сказал Горчаков, — не могу желать и поражения Пруссии, ибо это повлекло бы усиление венских позиций!

24 сентября в Царском Селе появился Тьер, весь в черном. Еще с порога, трагически заломив руки, он крикнул:

— Спасите Францию от поругания!

— Садитесь, — вежливо ответил Горчаков. — Францию может спасти только Франция. Вы, мсье, опоздали не только с мобилизацией, но и с призывом к России о помощи...

Тьер сейчас объезжал столицы Европы, хлопоча о посредничестве к заключению мира. Горчаков сообщил, что по его настоянию царь недавно отправил письмо кайзеру, прося Вильгельма I не быть слишком суровым с побежденными.

— Но его величество, государь мой, предупредил меня при этом, что его дядя Вилли слишком упоен победами армии и без аннексий и контрибуций уходить из Франции не пожелает.

— Что отвечал вам кайзер из Версаля?

— Ответа еще не последовало... ждем!

В сопровождении маркиза де Габриака он повез высокого гостя на прием к царю в Зимний дворец. Всю дорогу маркиз молчал, зато Тьер болтал без умолку, обвиняя в войне бонапартизм и суля новую республику. («Горчаков, — писал он в мемуарах, — любящий похвалиться свободой от предрассудков, признался мне, что республика, как таковая, страха в него не вселяет...»)

Александр Михайлович спросил Тьера:

— Может ли Франция, столь великая прежде, оказать немцам сопротивление? Ваши поражения опечалили всех в России, мы с тревогой взираем на возрастание немецкой мощи.

Карета дробно стучала колесами по булыжникам.

— Если Россия возглавит политику мира в Европе, властолюбию Берлина будет положен конец. А Франция обладает еще немалым источником сил и богатств, чтобы стать приятной союзницей великой России...

— Ах, — отвечал Горчаков, — если бы эти речи да слышать от Франции раньше. Но время альянсов еще не пришло.

Александр II принял Тьера без сантиментов:

— Вы просите вмешательства? Но слова бессильны. Берлин примирает, если ему погрозят оружием. А кто это сделает?.. Считайте, что наш призыв к гуманности и справедливости — это пока самая действенная помощь Франции.

Горчаков неожиданно задал Тьеру вопрос:

— А как вы относитесь к потере Эльзаса и Лотарингии? Будь я на вашем месте, я бы отдал их немцам... временно.

Ответ из прусской ставки на призыв России к гуманности не поступал очень долго. Тьер нервничал. Среди ночи он был вызван на Певческий мост. Горчаков бодрствовал.

— Версаль наконец-то ответил государю, — сообщил он. — Имейте мужество снести унижение. Мы просили Пруссию не отрывать кусков от Франции, но решать этот вопрос будем не мы, а победители из Norddeutschebundeskanzlei Бисмарка...

Заметив на рукаве Тьера траурную повязку, русский политик со строгим упреком выговорил ему:

— Рано вы начали носить траур по Франции.

— О, — воскликнул Тьер, — если б только Франция! А то ведь на днях скончалась моя горячо любимая мадам Доон.

— Простите, это...

— *Моя теща*. Ах, какая дивная дама!

Отпустив Тьера, Горчаков долго не мог опомниться:

— Впервые в жизни я вижу человека, влюбленного в тещу. Это ведь тоже оперетта, но под похоронную музыку...

.....
Жомини совершил нечто вроде глубокой политической разведки — по тылам Европы, посетил и Англию, которую ненавидел. Измотанный качкой, на голландском пароходе он вернулся домой.

— Ну и каковы же выводы? — спросил его канцлер.

— Европа в смятении. Денонсируйте Парижский трактат без боязни. Англия ограничится лишь суровой нотацией...

Горчаков опустился на колени перед иконой, в тиши кабинета было слышно, как хрустнули его коленные суставы.

— Господи, — взмолился он, — укрепи меня...

Близился миг, которого он ждал 14 долгих лет!

В кабинете царя был созван секретный совет. Горчаков сказал, что поражение Наполеона III устранило с политического горизонта одного из главных виновников Парижского трактата 1856 года. Россия должна провести ревизию этого документа.

— Мы честно исполняли тяжкие условия трактата, сохраняя нейтралитет Черного моря даже тогда, когда иные страны под разными предложениями вводили в наше море не только корабли, но и целые эскадры. Англия — главная нарушительница нейтралитета! Наконец, у нас нет флота, а враждебной Турции сохранено право держать флоты в Проливах и в Архипелаге. Пора нам разорвать трактат, благо он превратился в дешевую бумагу...

Все министры поддержали мнение Милютина, который предложил — ради осторожности — сначала снестись для консультаций с державами, подписавшими Парижский трактат, а уж потом (только потом) действовать сообразно их реакции.

Эта оглядка по сторонам возмутила Горчакова:

— В Каноссу не пойдем! Пока я буду выклянчивать согласие на денонсирование Парижских протоколов, Севастополь по самые уши зарастет тиною... Нет! Односторонним волевым действием мы поставим мир перед свершившимся фактом.

Царь, до этого помалкивавший, сказал:

— Я ведь помню, что за этим же столом четырнадцать лет назад мною была проявлена... трусость. Это моя личная слабость, а потому я даю ей то название, какого она и заслуживает. Но сейчас я всецело за твердую позицию князя Горчакова...

19 октября — в день лицейской годовщины, словно справляя тризну по ушедшим друзьям юности, — Горчаков выступил с циркуляром, объявляя всему миру, что Россия отказывается от соблюдения статей трактата о нейтрализации Черного моря.

Жомини предупредил его:

— Ждите! Сейчас на вас обрушатся молнии.

— А мне, поверьте, совсем не страшно. Я ведь знаю, что изнутри России я буду поддержан всеобщим мнением от самых низов народа — повсеместно и поголовно...

Протесты сразу посыпались, как мусор из дырявого мешка. Посол королевы Виктории не находил слов, чтобы выразить возмущение, обуявшее прегордый Альбион:

— Ваш циркуляр встречен в Лондоне с ужасом!

Выстояв под словоизвержением, князь сказал:

— Чрезвычайно вам благодарен! Вы дали мне возможность прослушать эрудированную лекцию по международному праву... Некоторые моменты на эту тему я даже освежил в памяти.

На пороге уже стоял австрийский посол Хотек:

— Вена прочла ваш циркуляр с крайним удивлением!

— И только-то? Право, не узнаю гордой Вены... Лондон более выдержал свой характер, придав лицу Дизраэли выражение Горгоны. Но, господин посол, прошу помнить, что Россия на Черном море плавала и будет плавать. Лично вам, как чеху, я напому о чешских демонстрациях в Праге, где ваши собратья по крови приветствуют возрождение русского флота...

Явился и скромный де Габриак — от правительства Франции, которое из Парижа бежало в Бордо. Горчаков улыбнулся:

— Дорогой маркиз, вы же понимаете, что ваш протест выйдет наивно. Я послал циркуляр в Бордо не из политической необходимости, а лишь из чувства элементарной вежливости.

От посла Италии он отделался одним ударом, напомнив, что в разгар боев под Севастополем итальянцы зарились на Крым:

— Откуда у вас эти захватнические потуги?..

Горчакова навестил и посол далекого Вашингтона:

— Америка никогда не признавала условий Парижского трактата. Эскадры флота Соединенных Штатов в вашем распоряжении. Скажите слово, и наши мониторы появятся на Босфоре, готовые залпами по сералу султана Турции расплатиться с Россией за все услуги, которые она оказала президенту Аврааму Линкольну в его борьбе с Южными Штатами...

— Я тронут, — сказал Горчаков. — Передайте благодарность конгрессу. Но война ограничится порханием бумаг. Потом все бумаги подошьют в дела архивов, а мы, успокоив нервы валерьянкой, приступим к возрождению Черноморского флота.

Когда все бомбы взорвались и осколки пронесло над головой Горчакова, он сел к столу и вдогонку за циркуляром разослал по столицам Европы ответные ноты. В них он решительно подтвердил, что ни при каких обстоятельствах российская нация не откажется от принятого решения!

Твердый тон — это был самый верный тон.

Все попытки давления Горчаков смело отметал.

Англия предложила созвать конференцию.

— Без колебаний, — согласился на это Горчаков. — Но при условии, что конференция не сделает даже слабой попытки сомневаться в суверенности наших прав на Черное море...

.....
В зале министерства накрыли стол для торжественного банкета.
С бокалом шампанского выступил седенький Тютчев:

Князь, вы сдержали ваше слово!
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.
И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Лондонская конференция, как и предвидел Горчаков, превратилась в обычную говорильню; английские дипломаты прочитали Филиппу Ивановичу Брунову нудную нотацию на тему о том, что «вечность» договоров следует уважать. Пока «юркий Диззи» долбил его клювом в темя, Брунов сладко подремывал. Посол в Лондоне был слишком стар, и нотация не подействовала...

Горчаков переживал триумф! Его кабинет был засыпан тысячами телеграмм. Канцлера отовсюду поздравляли с дипломатической победой — во славу отчизны. Писали люди разные — чиновники и педагоги из глухой провинции, восторженные курсистки и офицеры дальних гарнизонов, студенты и артисты, писатели и художники. В театре при его появлении публика встала, аплодируя ему. Горчаков к титулу князя получил приставку — светлейший... Жмурясь от удовольствия, он слушал похвальные стихи в свою честь:

И вот: свободная стихия, —
Сказал бы наш поэт родной, —
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой.

Здесь тютчевские строчки волна перемывала заодно с пушкинскими, словно гальку на морском берегу.

Севастополь пробуждался от заколдованного сна...

В громадной витрине магазина Дациаро на улице Гоголя был выставлен большой портрет «светлейшего» Горчакова; прохожие останавливались, судачили:

- Горчаков-то... смотри какой, а?
- Старый дядька. Уже слепенький.
- Так что? Гляди, какого дёру всем задал...

Под Парижем без перемен

В обворованном немцами Понт-а-Муссоне царил уже настоящий голод. Штибера навестил племянник маршала Даву, не евший три дня: старый француз выпросил в канцелярии Бисмарка кусок хлеба для своей старой жены. Обозы с провиантом отстали. Бисмарк ехал с герцогом Шверинским и американским атташе Шериданом — тоже голодные как волки. Всевышний где-то послал канцлеру пяток яиц. Зайдя за угол дома, Бисмарк выпил два — сырыми, а три яйца он честно принес на ладони:

— Это вам, герцог, это вам, атташе, а одно мне...

И он с удовольствием проглотил третье!

Через «Вогезскую дыру» немцы уже прорвались к Парижу, а ключ от Парижа, крепость Мец, еще оставался в руках Франции. Было уже холодно, ноги солдат засасывала мокрая глина. Армия маршала Базена, державшая оборону Меца, давно сидела на скудном пайке (каждый день в гарнизоне резали 250 лошадей). Однажды рано утром майор Ганс Кречман увидел, что от фортов Меца едет к ним на лошади юный французский офицер.

— Не стрелять! — скомандовал майор солдатам. — Этот каналья пьян и наверняка едет к нам сдаваться...

Но офицера шатало в седле — от слабости, от потери крови из ран, кое-как перевязанных. Он вскинул руку к кепи:

— Вам со стороны виднее наше положение, так будьте откровенны, майор: можем ли мы еще сражаться?

— Да. Но без успеха, — ответил Кречман.

Офицер снова качнулся в седле:

— Тогда продолжим... нам лучше умереть.

Бисмарк переслал Базену прокламацию, в которой выразил недоверие к генералу Трошою и намекнул, что ему удобнее договориться с Базеном, поставленным еще властью императора. Базен решил, что канцлер поможет ему захватить власть над Францией... Мольтке смеялся: «Мец я не стану трактовать под политическим углом зрения — для меня это прежде всего крепость». Вечером 27 октября Базен сдал Мец с гарнизоном в 173 000 человек. Немцы требовали знамена. Но французы в самый последний момент сунули их в пламя костров. Теперь все кончено. Немецкие войска, избавленные от осады Меца, усилили армию, осаждавшую Париж. Окончания нервов этой войны пучком сходились сейчас в тихом Версале, где на Провансальской улице в доме № 12, под вывеской Norddeutschebundeskanzlei, лежал под одеялом Бисмарк, «равномерно сохраняя, — как он говорил, — теплоту тела». Версаль настигли жестокие холода, в его улицах бушевали снежные вьюги...

.....
Офицеры прусского генштаба негласно делились на два ранга — боги и полубоги. Мольтке — уже бог, да еще какой! Но Бисмарк немало терпел от полубогов: генералы не прощали ему, что в 1866 году, после битвы при Садовой, он не дал им вломиться в богатую Вену.

— Но теперь-то пошел он к чертовой матери со своей дурацкой политикой. Прусские интересы разрешит только меч! Бисмарка нельзя допускать к делам войны: что он в ней смыслит? Разве он проливал кровь? Вы говорите — шрам на лице? Так это он неудачно открыл бутылку зубами и порезался...

Бисмарк слышал эти слова генерала фон Подбельского, обращенные им к Роону; канцлер сознавал — под стенами Парижа предстоит борьба, какая уже была под стенами Вены. Бисмарк въехал в Версаль вслед за королем, который остановился в городской префектуре, роскошно отделанной изнутри. В листовках немцы обещали версальцам «ограждение личности и собственности, общественных памятников и произведений искусства». На деле это выглядело так: солдаты вламывались в любой дом, жрали и пили что хотели и, все разграбив, перемещались в другой. На версальцев была наложена контрибуция в 400 000 франков; город короля-солнца превратился в нечто среднее между казармой и борделем. Беспробудное веселье не угасало в офицерском ресторане Ганка, в отеле на улице Резервуар, где можно было встретить пьяных королей, герцогов и принцев Германии, головы которых украшали уже не короны, а железные прусские каски. Версаль был переполнен агентами Штибера; переодетые в блузы пролетариев и сюртуки буржуа, они шныряли повсюду, ловя каждый вздох скорби французов; тюрьма была набита недовольными. Доблестный префект Рамо публично отказался пожать руку Бисмарку — простили. В ответ на приглашение к столу кайзера он сказал: «Будем считать, что меня не звали», — простили. Наконец Рамо не выдержал: «Ну и свиньи же вы, господа» — тогда его посадили... Всех жителей Штибер принудил заполнить анкеты, от француженок требовал указать точный возраст. Женщины были поражены, что посторонний мужчина, пришелец из чужой страны, желает знать их лета, о которых не догадываются даже мужья и любовники...

Бисмарк появлялся в походной канцелярии, на нем был халат из черного атласа на желтой подкладке, подпоясанный толстым белым шнуром. Его окружали чиновники пропаганды и продажные журналисты, через которых канцлер воздействовал в угодном ему духе на газеты — немецкие и европейские. Если какая-либо статья казалась ему удачной, он говорил:

— Надо, чтобы она наплодила нам деток...

Ему подавали омлет с вареньем и шабли, Штиберу — цыпленка в белом вине с бутылкой бургундского. Их трапезу охраняли два

бугая-жандарма — столь высоченных, что, привстав на цыпочки, они раскуривали сигары от газовых рожков, светивших под самым потолком. Бисмарк не скрывал от Штибера серьезности положения: хотя треть Франции уже захвачена немцами, но страна, имевшая массу традиций, боевых и революционных, устрасала его сопротивлением народа. А что в Париже?

— Говорят, там свирепствует голод. Что ж, население должно страдать от войны. Тем скорее оно предпочтет капитуляцию. Мы оставим французам одни глаза, чтобы они могли оплакать свою судьбу. Без победы над Францией не может возникнуть Германская империя... Ешьте, Штибер, и пейте!

Боги и полубоги добились того, что военные советы ставки проходили без участия Бисмарка; идеи канцлера проталкивал упрямый, но недалекий Роон. Бисмарк желал от генералов скорейшей победы, иначе в ход войны могла вмешаться Россия. Германские газеты уже прискучили обывателям стереотипную фразой: «Под Парижем без перемен». Бисмарк писал: «Возможность европейского вмешательства была для меня источником тревоги и нетерпения в связи с затягивающейся осадой». Уже в который раз он с угрозой спрашивал Мольтке:

— Когда же вы подвезете осадные «бруммеры» Круппа, чтобы они смели с лица земли эту «Мекку цивилизации»?

Мольтке ссылался на протяженность коммуникаций и трудности доставки осадных парков; корректный и невозмутимый доктринер, он полагал, что Париж «сдохнет и так — от голода». Бисмарк настаивал на формуле: голод + бомбежки = победа! Он угрожал королю, что, если в ближайшие дни Париж не подвергнется бомбардировке, он сразу же подаст в отставку.

— Бисмарк, — отвечал кайзер, — коли вы похитили с неба огонь, то вам, как Прометею, кто-то ведь должен клевать печенку... Ладно, так и быть, я переговорю с Рооном.

Роон геройски протолкнул по рельсам к самым стенам Парижа тяжелую артиллерию. Но 400 «бруммеров», обложенных терриконами в 100 000 бомб, еще молчали. Бисмарк встречал рассветы в ярости от того, что проснулся сам, а не был разбужен грохотом канонады. Жене он сообщал: «Роон болен от досады на интриги, направленные против бомбардировки... Царственное безумие от успеха ударило в корону; именем Мольтке прикрываются другие...» Наконец канцлер созвал пресс-бюро и наказал своим подопечным изготовить статью, способную вызвать бурю возмущения в Германии против нерешительности богов и полубогов генштаба:

— И пусть эта статья наплодит крикливых деток...

27 декабря была страшная метель; в вихрях снегопада «бруммеры» открыли огонь по Парижу, по его улицам и бульварам, по театрам и кафешантанам, по госпиталям и музеям («к вящей радости благочестивых прусских пасторов и чувствительных берлинских дам, с громким воплем требовавших от военных разрушения этого Вавилона»).

От имени временного правительства Франции в Версаль срочно прибыл Жюль Фавр — адвокат, защищавший когда-то Орсини и Березовского. Фавр не знал, что за столом ему прислуживает Штибер, переодетый в ливрею лакея. Он не знал и того, что в доме на Королевском бульваре, где его поместили, находится прусская тайная полиция. Адвокат о многом уже проболтался перед своим любезным «лакеем», но Бисмарк не желал вступать в переговоры до тех пор, пока ему точно не станет известно положение внутри Парижа после бомбардировки:

— Хоть бы одну вчерашнюю газету из Парижа!

— Вы ее получите, — обещал Штибер...

Штибер сразу же кинулся в ватерклозет, где уничтожил всю туалетную бумагу. Жюлю Фавру пришлось подтираться теми газетами из Парижа, которые он захватил с собою в дорогу. Потом Штибер извлек наружу испачканные клочья бумаги, прополоскал их в тазу с теплой водой, высушил на столе и предъявил Бисмарку для прочтения, а канцлер отнес их к его величеству. Вильгельм I вычитал, что одна из бомб угодила в Коллеж де Франс, причем профессор истории сказал студентам после взрыва: «Если это вас не очень беспокоит, будем продолжать...»

Через артиллерийскую оптику Бисмарк обзирал крыши предместьев Парижа, он видел полеты бомб, оставивших в небе след, будто их траекторию проводили рейсфедером.

— Охота обошлась Пруссии чудовищных денег, — сказал он. — Но зато приятно смотреть на зверя, зная, что зверь мертв.

«Железо и кровь» политики Бисмарка обращались для семейства Круппов в самое вульгарное золото. Каждый убитый парижанин обходился прусской казне в 150 000 франков!

.....

Прусская военная каста видела в Бисмарке только штабс-офицера кавалерийского полка (не велика шишка!). Из потомков стратеги боги еще не разглядели, что Бисмарк-политик давно не отстает от их грозной фаланги, а время от времени даже усиливает ее шаг. Под стенами Парижа сначала разругались, а потом помирились Бисмарк и Мольтке... В следующей войне, по мнению Мольтке, Германии предстоит борьба на два фронта — с Францией и Россией! Мольтке требовал от Бисмарка согласия на оккупацию всей Франции, а для себя власти на войне — такой же диктаторской, какой в дни мира обладал канцлер.

Бисмарк со всеми потрохами выдал Большому генеральному штабу своего старого приятеля Роона, и с этого момента прусский генштаб стал главной силой в его же, бисмарковской политике... Но канцлер не соглашался на захват всей Франции.

— Если вы решили, что армия устала, — доказывал Мольтке, — так она готова повторить войну от самого ее начала.

— Дело не в этом, — отвечал Бисмарк. — Помимо ослабленной Франции, существует набирающая силы Россия, а эта кляузная страна никогда не позволит растереть Францию в порошок.

— Если не всю Францию, — говорил Мольтке, — так что же вы, Бисмарк, дадите немцам после всех громких побед армии?

— Достаточно Эльзаса и Лотарингии.

— Мец! — выкрикнул Мольтке гортанно.

— Неужели вам нравится этот плевый городишко?

— Мец для меня — крепостной гялисис, за которым я могу спрятать целую армию. Владая Мецем, я всегда держу двери Франции открытыми настезь... входи и хватай Париж за глотку!

Стратегия согласовывала свои планы с политикой, а Германия обретала свое единство в прусской казарме. Будущее обсуждалось в грохоте пушек, составленных одна к другой так плотно, словно бутылки в винном погребе.

Империя — железом и кровью

Париж в блокаде! Начало голода было отмечено появлением в лавках консервов; на их этикетках красовались английские надписи: «Boiled beef» («Вареная говядина»). В ресторанах подавали угрей и пескарей, выловленных в Сене гаврошами. Появились продуктовые карточки на мясо. Наконец железные шторы на витринах мясных лавок опустились разом — мяса больше нет! Дольше всех удержались в продаже вино, кофе и шоколад.

Бисмарк роскошествовал в Версале, а парижане получали 15 граммов риса или гороха, 20 граммов овса, 30 граммов рубленой соломы. Русский очевидец писал: «Ели собак, кошек, мышей и крыс, которые по вкусу напоминали смесь свинины с куропаткой. Кошки продавались за 20 франков, крыса стоила до четырех. Фунт волчьего мяса нельзя было достать дешевле 30 франков, зелени — ни за какие деньги, молоко на три четверти разбавлялось водой». А зима выдалась суровая, запасы угля быстро иссякли, парижане жгли мебель, сводили под корень старые деревья парижских бульваров. Возле промерзлых очагов все чаще находили умерших стариков и детей — они умирали первыми. На Рождество случайно попавшие в Париж крестьяне про-

сились у немцев выпустить их в провинцию, к семьям, — Бисмарк наотрез отказал: «Чем полнее картина страданий, тем полнее чувство победы. Сожаление недопустимо — оно мешает достижению цели...» Париж связывался с миром полетами воздушных шаров. Крупп моментально отреагировал на это явление, и в цехах Эссена родилась задранная в небо пушка — первая в мире зенитка. Парижане запускали почтовых голубей. Бисмарк велел доставить из Германии адресированных ястребов — над крышами Монмартра возникали трагические воздушные поединки.

Париж боролся и жил! По вечерам открывались театры, оркестры продолжали, как и раньше, исполнять музыку немецких композиторов. На деньги, собранные артистами, рабочие отлили пушку и назвали ее «Бетховен». Вдоль набережной Сены, как и раньше, букинисты раскидывали свои лотки. В промерзлых лабораториях химики трудились над изготовлением похлебки из желатина, а физики изобрели для фортов мощный дуговой прожектор. Отлично сражалась морская пехота, ставшая костяком обороны, и Национальная гвардия; франтиреры ходили в штыковые атаки там, где сейчас расположен знаменитый аэродром Ле-Бурже. К французам примкнули итальянские отряды Джузеппе Гарибальди; на подступах к Парижу плечом к плечу сражались русские добровольцы и польские эмигранты...

Однажды пехотинец тащил на себе мешок с землей, чтобы уложить его в бруствер. Вдруг немецкий снаряд сорвал ношу со спины, и мешок сам собою шлепнулся точно в нужное место. Француз, даже не удивившись, сказал вдогонку снаряду:

— Конечно, спасибо тебе, но я ведь еще не устал!

Жаль, что этой фразы не слышал Штибер. Сейчас он был озабочен писанием утешительных писем жене, которая подозревала его в частых изменах. Штибер уверял супругу, что сохранит себя в святости: «Невозможно представить, как здесь всех нас ненавидят, особенно женщины... Француженка плюнула бы в лицо той, которая бы мне улыбнулась. Будь спокойна, мое сокровище: при всем желании я не в силах изменить тебе...»

Бисмарк завел речь об империи сразу после Седана, когда сопровождал короля в его объезде поля сражения. Проезжая по трупам павших, он сказал, что необходимо добиться превосходства прусской короны надо всеми коронами немецких земель, а это возможно лишь при создании Германской империи.

Кронпринц Фридрих, настроенный романтичнее отца, поддерживал канцлера, но Вильгельм I ответил, что старая добрая Пруссия всегда только и делала, что дубасила немцев Германии, — как же

теперь ему, наследнику былой прусской славы, вдруг именоваться «германским» именем? Направляя свою массивную кобылу вослед королевской Веранде, Бисмарк не уступал: он говорил, доказывал, горячился... Основной признак империи — единство подчинения и централизация власти; упрятать всех немцев под одну корону — вот его заветное желание.

— Прекратите, Бисмарк! — велел ему король...

Несколько дней он не мог смотреть на канцлера без отвращения. Кронпринцу Фридриху он сказал, негодуя:

— Мое сердце, сынок, не выдержит, если прекрасное имя Пруссия растворится в бурлящем котле по имени Германия, которое всегда было враждебно Берлину и священным прусским порядкам...

Бисмарк предлагал оставить в Германии целостность титулов королей и герцогов, учитывая, что под скипетром императора они особенно-то не разгуляются. Вильгельм I потихоньку сдавался на соблазны. Но вопрос перешел в область грамматики: король желал стать не германским императором, а лишь императором Германии. Бисмарк утверждал, что никогда не было императора Рима, а был римский император. Король сослался на рапорты 5-го Калужского полка, шефом которого состоял:

— Там везде пишется — император России.

Бисмарк завел беседу о форме дательного падежа имени прилагательного. Кайзер вспыхнул:

— Прекратите учить меня, как младенца.

На помощь призвали переводчика с русского на немецкий — гофрата Луи Шнейдера*, и под суровым взглядом канцлера он подтвердил, что рапорты Калужского полка переведены неверно: надо — всероссийский император, а не император России.

— Но я хочу быть лишь императором Германии!

Когда же и кронпринц пожелал проявить свои наблюдения над грамматикой, отец грубо хряснул кулаком по столу:

— А ты кричи «хох», когда тебя попросят...

Вильгельм I не догадывался, что корона, в сущности, венчает не его голову: коронация — это лишь повод для закрепления победы прусского милитаризма. Бисмарк велел подготовить для церемонии Зеркальный зал Версальского дворца. Но канцлер не учел того, что в нескольких минутах ходьбы от этого зала находился и Зал для игры в мяч, где прозвучала клятва Великой французской революции!

* Луи Шнейдер — отец прусского короля, тайный агент России при потсдамском дворе; был личным осведомителем Александра II в Берлине, Шнейдер оставил после себя мемуары.

Штибер был в мелком поту: сколько французов предстояло выселить из Версаля, чтобы не вздумали помешать коронаванию: остальные жители дали друг другу слово, что запрут двери на засовы и не покажутся на улицах (это Штибера вполне устраивало)... Настал полдень 18 января 1871 года. Бисмарк облачился в белый мундир кирасира при золотом поясе, натянул высоченные ботфорты с бронзовыми блямбами. Канцлер по праву занял место подле самого алтаря, над которым колыхались складки победных стягов. Когда к нему приблизился прифранченный, благоухающий Мольтке, он тихо шепнул ему на ухо:

— Вы не волнуйтесь: генштаб остается прусским...

В Зеркальный зал были допущены только чины высшего генералитета, только германские государи. Держа в руке каску, старый король поднялся на возвышение алтаря. Яркий солнечный свет щедро проливался в высокие арки окон, дробясь под потолком в сверкающих люстрах; из-под боевых шлемов виднелись бороды фронтовиков и гладкобритые личины богов и полубогов генштаба. Из штатских присутствовал один Вилли Штибер, похожий сейчас на жалкую мышь, случайно угодившую на кошачью свадьбу. Бисмарк доверил сыщику высокую честь: в этом зале он представлял народные массы будущей Германии!

Взявшись за эфесы оружия, генералы были готовы воскликнуть «хох-хох-хох», когда герцог Баденский стал зачитывать прокламацию торжественного акта немецкой истории. Бисмарк заранее напрягся, еще не зная, как сладят в документе с этой паршивой грамматикой. Но герцог прокричал славу:

— ...императору Вильгельму Первому!

Так что ни вашим, ни нашим. И сразу взметнулся к люстрам мерцающий частокон сабель и палашей, толпа генералов сдвинулась вокруг алтаря, приветствуя рождение нового светила. В позе титана, свершившего большой труд, Бисмарк плотно врос в паркет перед императором, которого он же и породил! Но Вильгельм I, обозленный потерей титула прусского короля, кажется, так и не понял, какое важное событие свершилось сегодня в этом сверкающем Зеркальном зале...

Свершилось окончательное объединение Германии под крышей империи. Грубая сила, сила железа и крови, породила новое государственное образование. В самом центре Европы, между Францией и Россией, образовалось жесткое сцепление немецких княжеств в единой империи — без прежних буферных прокладок. Теперь от балтийского Мемеля до Эльзаса, от гаваней Киля до отрогов Альп, вооруженная до зубов, пролегла новая Германия — бисмарковская! Эта империя была все тем же прусским королевством, только увели-

ченным в размерах, но с прежними повадками Гогенцоллернов: захватить что-либо и поскорее переварить, чтобы другим не осталось. Новой была лишь корона — имперская, и что рейхсканцлер Бисмарк сейчас сколачивал, то полиция рейха тут же бдительно охраняла! Тогда говорили:

— Бисмарк делает Германию великой, а немцев — маленькими...

Русский аристократ князь Витгенштейн, прибывший из Парижа, рассказал царю, что все слухи о голоде — ерунда.

— Я зашел в ресторан и заказал устрицы. «А омары сыщутся?» — спросил я просто так, ради любопытства. «Для русских всегда», — ответил гарсон, и я поглощал омара под грохот немецкой артиллерии... Поверьте, это было незабываемо!

Все так, но Витгенштейн не сказал, чего стоил ему этот обед, и умолчал о том, что устрицы с омарами были доставлены для богачей Парижа на воздушном шаре. Прусского посла, принца Генриха VII Рейсса, царь предупредил:

— Мир, основанный на унижении побежденного, это не мир, а лишь краткое перемирие между двумя войнами. Вы закончите войну парадным банкетом, но Европе уже не спать спокойно...

На все просьбы царя умерить рваческие аппетиты к Франции кайзер «со слезами» отвечал, что он рад бы всей душой, но вынужден уступить своим «верноподданным». В этой мерзкой демагогии не следует, читатель, выскивать напористого влияния Бисмарка — кайзер и сам был хорош гусь!

Итак, дело за добычей. Бисмарк требовал не только Эльзас и Лотарингию с крепостью Мец, но и 7 миллиардов контрибуции. Тьер соблазнял его в обмен на контрибуции расплатиться заморскими колониями — Пондишери (в Индии) или Кохинхиной (Вьетнамом), на что канцлер отвечал ему так:

— Германии колонии не нужны. У нас нет флота, чтобы их охранять. Колонии хороши лишь для того, чтобы ссылать туда безработных столичных чиновников. Для немцев колонии — роскошь, словно у польских аристократов, которые спят без простыней, но зато таскают собольи шубы...

Позже он признавался: «Я не желал Меца, сплошь населенного французами, но меня принудили взять его генералы; если б Базен не сдал вовремя Меца, нам бы пришлось даже снимать осаду с Парижа». Срок перемирия подошел к концу, а переговоры с Тьером и Фавром затянулись; Тьер упрямялся.

— Мне уже надоело ваше красноречие, — сказал Бисмарк. — Покончим с этим, иначе я стану говорить по-немецки. — В течение часа он произносил речь по-немецки. — Теперь переведу... Сотни тысяч ваших пленных наполняют наши казематы от Ульма и Ингольштадта

до Кольберга и Данцига. Восемь недель подряд мы держали их на голой земле, прямо под дождем. Мы их кормили овсяной баландой и турнепсом, который жрут одни свиньи. Отныне весь свет им стал немил! Что, если я снова раздам им трофейные ружья и всех верну лично императору Наполеону Третьему? Он, уверяю вас, придет. Он придет и свернет вам шею.

— Не острите так кровожадно, — ответил Тьер.

— Ладно, — расщедрился Бисмарк, — мы вернем вам эльзасский Бельфор, но за это Париж откроет ворота для нашей армии...

Это был плевок в лицо Франции! Бисмарк человек не мелочный, и для него прогулка по Елисейским Полям ничего не значила. Просто канцлер хотел расплатиться с генералами за то, что пять лет назад не позволил им промаршировать по венскому Пратеру... 1 марта, грохоча сапогами, немецкие армии под сводами Триумфальной арки вошли в «Мекку цивилизации», и в этот день Париж одержал над ними замечательную победу!

Словно по мановению волшебника, закрылись двери и окна, на витрины с язгом опустили жалюзи. Немцы маршировали через мертвый город... Тишина, безлюдье, пустота — только грохот сапог по камням: буц-буц, бац-бац! На дверях кафе висели надписи: «Закрыто по случаю национального траура». Немецкая армия, согласно конвенции, заняла пространство между Сеною и площадью Согласия, от предместья Сент-Оноре до авеню Терн, — и будь уверен, читатель, дальше этой демаркационной линии ни один пруссак носа не выставил... боялись!

Вечером Париж не ожил: нигде ни огонька, ни одного фиакра или омнибуса, театры пустовали, кабаре заперты, всюду отчаянное молчание кладбища. Вильгельм I невольное вспомнил свои молодые годы, когда в 1814 году он вступал в Париж:

— О, тогда было все иначе, даже нельзя сравнивать. А теперь мечтаю об одном: как бы поскорее отсюда убраться...

Всего 62 часа продолжалась оккупация части Парижа, и немцы оставили Париж, пристыженные французской солидарностью, раздраженные своим смехотворным триумфом.

Впрочем, Бисмарк все-таки повидался с одним парижанином. Это был пролетарий, уже в летах. Он спросил канцлера:

— Судя по карикатурам, вы и есть Бисмарк?

— Да, я Бисмарк.

— Выстрелить не могу, но могу плюнуть...

— Знаешь, приятель, — ответил Бисмарк, вытираясь, — это все-таки честнее, нежели было в Австрии, где венские чиновники выклянчивали у меня прусские ордена... Ступай, храбрец!

Накануне

Война обошлась Германии в 2 700 000 000 марок, а Франции она стоила 9 820 000 000 франков. Тьер всплескивал руками — где взять еще семь миллиардов, чтобы насытить золотом прусские банки? Французам помогла Россия: из Петербурга светлейший канцлер энергично нажал на Бисмарка, и контрибуции были снижены до пяти миллиардов...

Раскрутив перед собой глобус, Горчаков резко остановил его вращение и щелкнул по Франции:

— Публичный опыт людоедства подходит к концу. Но даже агония Франции способна вызвать потрясение основ мира.

— И все-таки, — сказал Тютчев, — Европа не может не испытывать сердечного ущемления при таком глубоком падении прежнего величия страны поэтов и философов, вкуса и грации.

— Вы забыли упомянуть — и революций! Франция пошла на войну, неся в своих ранцах заветы республики...

Тютчев писал дочери Ане Аксаковой: «Эта война, каков бы ни был ее исход, расколет Европу на два лагеря, более чем когда-либо враждебных: социальную революцию и военный абсолютизм». Поэт умел предвидеть события: ранней весной мир был извещен, что возникла Парижская коммуна — первый опыт диктатуры пролетариата. Поражение правительства — не есть поражение нации. На обломках погибающей в хаосе империи Наполеона зарождалось нечто новое — грандиозное и величественное. Оскорбленный нашествием германских полчищ, народ Франции сам хотел решать судьбу Франции! Тютчев и Горчаков были немало удивлены, прослышав, что их близкие друзья не скрывают своего сочувствия парижским коммунарам...

Канцлер обедал в Зимнем дворце; за царским столом сидел и флигель-адъютант Логгин Зедделер, только что прикативший из Берлина; царь расспрашивал его о своем дяде.

— Ваш дядя великолепен! Он принял меня в комнате, загроможденной цветами... столько цветов я никогда еще не видел. Кайзера в благоухании окружали его генералы — Мольтке, Подбельский, Штейнмец, Белов, Штош, Тресков. А ваша ангельская тетушка Августа каталась между нами на инвалидной колясочке и угощала всех испанскими мандаринами.

— Испанскими! — громко захохотал царь. — Все-таки, черт побери, они своего добились. Недаром же Бисмарк подсовывал Мадриду своего принца Гогенцоллерн-Зигмаринена.

Горчаков, уткнувшись в тарелку, буркнул:

— Стоило ли устраивать возню из-за мандаринов?

Александр II понял его недобрый намек.

— Светлейший, — холодно сказал он канцлеру, — на французах лежит клеймо дьявола... Коммуна! Вы не думайте, что ее коммунистических ответвлений нету у нас, в России...

Зедделер вспоминал: «Обед был очень изысканный, государь много шутил с метрдотелем из французов, называя его коммунаром; перед каждым блюдом он, смеясь, спрашивал — не отравлено ли оно коммуною?» Горчаков испортил царю настроение, сообщив, что Бисмарк, ведя переговоры с Тьером, вступил в сношения и с руководителями Парижской коммуны...

— Откуда у вас эти гнусные сведения?

— От нашего посла в Лондоне.

— От Брунова? Не сошел ли он там с ума?

— Ему сообщил об этом сам Наполеон! Бывший император сказал, что поражен выкрутасами жонглера Бисмарка.

— Я тоже, — сознался царь, мрачней...

Берлин поставил над этим фактом густую дымзавесу; Бисмарк утешал Горчакова нелепой идеей, что, мол, Парижская коммуна «является по существу не чем иным, как осуществлением идеальной прусской коммунальной организации». Сбросив очки на стол, Горчаков долго смеялся... Его навестил маркиз де Габриак, принесший телеграмму от Жюля Фавра, умолявшего канцлера обломать рога Бисмарку. «Пруссия, — писал он, — становится пособницей Парижской коммуны!» Горчаков не стал даже вникать:

— Дорогой маркиз, я лучше вас знаю, что Бисмарк может стать собутыльником самого Вельзевула в пекле огненном, но он никогда не станет коммунистом!

Тютчев в эти дни разлюбил мир германских «иллюзий» и начал ратовать за франко-русское сближение. Не станем думать, что в этом порыве сердца не было политической логики.

— Истина, — говорил поэт, — никогда не может быть окончательной: за освоением первой следуют поиски второй, а потом третьей. Истина — это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового...

Все это время Горчаков колебался: он то возлагал робкие надежды на сопротивление Коммуны германской армии, то вдруг переходил к резкому поруганию коммунаров. Винить ли нам «светлейшего» за это? Канцлер великой Российской империи просто не понимал, что сейчас в Париже пролетариат оформляет контуры государства нового типа, отличного от государств буржуазного порядка. Пройдет сорок лет, и Ленин напишет: «Дело Коммуны — это дело социальной революции, дело полного политического и экономического освобождения трудящихся... И в этом смысле оно бессмертно!»

72 дня французской истории стали историей нашего будущего: в восстании парижских коммунаров уже таился «зачаток Советской власти». Мы помним, что художник Курбе обрушил наземь Вандомскую колонну — искусный символ милитаризма и угнетения; огромная бронзовая «дылда» высотой в 45 метров рухнула на площадь, и сама эта площадь была переименована в Интернациональную.

Но уже от самых первых дней Коммуны она испытывала сопротивление контрреволюции. На той же Вандомской площади протестующие демонстрировали журналисты, биржевики, политики и офицеры. Впереди них, помахивая тросточкой, вышагивал высокий элегантный человек с благообразными чертами лица.

Это был Дантес — убийца Пушкина!

Сейчас объединялись силы реакции, и Бисмарк с Тьером, и Тьер с Бисмарком должны были стать «дантесами» Парижской коммуны...

...Бисмарк провел *первую* бессонную ночь. Под утро, оглушенный ликерами и крепкими сигарами, он сообразил, что, не отвергая сношений с Коммуной, можно смелее шантажировать Тьера на переговорах о мире. Бисмарк стал делать вид, будто признает правомочность Коммуны говоря от имени всей Франции:

— Но коммунары даже не заглянули в банк Парижа, а там в подвалах завалились последние три миллиарда франков...

Тьер силами версальской армии не мог расправиться с Парижем, и его беспомощность вызвала бешенство Мольтке:

— Вот что получается, когда за военные дела берутся дилетанты! Неужели так уж трудно устроить кровавую баню! Я вижу, что Тьер в нас нуждается, но он нас... стыдится.

— Зато, — сказал Бисмарк, — он сразу стал уступчивее в переговорах. Когда эта шельма размякнет совсем от страха, будьте готовы снова бомбардировать Париж...

Тьеру при свидании с ним канцлер заявил:

— А ведь я человек добрый! Так и быть. Я репатрирую пленных французов, а как их лучше использовать — это уж ваша забота...

Бисмарк помог Тьеру собрать армию в 130 000 штыков. Мольтке блокировал Париж с востока и севера своими войсками. В одну из ночей немцы тихо раздвинули фронт, через брешь пропустили версальцев на Париж — со стороны, откуда коммунары не ждали нападения. Первая в мире диктатура пролетариата не сдавалась! Коммунары дали последний и решительный бой на кладбище Пер-Лашез; здесь, вместе с детьми и женщинами, прижатые к горящей стене, они были расстреляны из трескучих наполеоновских митральез.

Версальцы побросали живых и мертвых в ямы, а сверху облили их негашеной известью и керосином.

Только тогда в городе Франкфурте-на-Майне Тьер оформил окончательный договор с Германией. На пороге кабинета Горчакова предстал сияющий маркиз де Габриак и поздравил канцлера с финалом «этого кошмара Европы». Мысли Горчакова занимало другое. Он без нужды передвинул чернильницу с места на место.

— Как по-вашему, — спросил он, — что во Франкфуртском договоре сыграло решающую роль: желание немцев насытить свои домны лотарингской рудой или... чистая стратегия?

— Наши железные руды перенасыщены фосфором, что затрудняет их обработку. Скорее немцев больше соблазнила стратегическая выгода, нежели экономика.

— Я такого же мнения, — кивнул канцлер. — Но где вы наберете пять миллиардов, чтобы избавиться от оккупации?

— Французы скупы, но обожают траты на пустяки. Если все пустяки, вроде мыла, зонтиков, табака, проезда по дороге, обложить налогом, — Франция быстро воспрянет...

Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, засучил рукава и взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое. В своем патенте на изобретение Пастер писал: «Это будет пиво *национального реванша*...» Он своего достиг: французское пиво стало лучше баварского! Страна начинала накопление денег...

Всюду гремели песни Фрейлиграта, «певца нации»:

Hurrah, Germania, sfolzes Weib,
Hurrah, die grosse Zeit!
(Да здравствует Германия, гордая дева.
Да здравствует великое время!)

Теперь Бисмарк мог и поблагодарить:

— Политика — наука о возможном. Все, что лежит за гранью возможного, это жалкая литература для тоскующих вдов, которые давно потеряли надежду выйти замуж...

Наконец-то устроились по-домашнему. Серое огромное здание рейхстага на Вильгельмштрассе — там с трибуны рывкает на всех канцлер, а позади Бранденбургских ворот на Кёнигсплатце воздвигнуто красное здание Большого генштаба — там заключен мозг армии, в тиши кабинетов шуршат секретные карты.

— А мне скучно, — удивлялся Бисмарк. — Великие дела свершены. Империя создана. Она признана. Ее боятся. Мои слова внушают миру уважение. Мое молчание приводит всех в трепет. Другие, когда им скучно, дуются в карты. Охотятся на зайцев. Это не для меня! Вот

если бы уложить опять жирного кабана... вроде Франции, тогда бы я, кажется, снова ожил...

Начиналось опруссачивание Германии: не Германия поглощала Пруссию — нет, сама Пруссия, заглотив Германию, растворяла ее в своем организме. Мольтке, родом мекленбуржец, еще смолоду был опруссачен, а теперь не противился и германизации. Этот сложный процесс прошел для него безболезненно, в то время как другие берлинские генералы, заматеревшие в пруссомании, не могли даже точно определить, где они теперь находятся...

Мольтке подступал к Бисмарку с вопросом:

— Можете ли вы, как политик, гарантировать генштабу, что Франция не станет грозить нам реваншем?

— Я смело гарантирую обратное: Франция всегда будет стремиться к реваншу. Моя задача — держать ее в изоляции, делая несоюзоспособной. Ваша задача — не ждать, когда она размахнется, а всегда быть готовым к превентивной войне.

— Благодарю! Выходит, все плоды наших побед — это ближайшие полвека жить в казармах, имея ружья заряженными.

— Да, — вздохнул Бисмарк, — таковы перспективы будущих двух-трех поколений немцев... Войны лишь укрепят нацию!

Мольтке, зардевшись как юноша, тихо сознался, что в революцию 1848 года он испытал сильное душевное потрясение.

— Какое же? — удивился Бисмарк.

— Я уже собрал вещи, хотел бежать в Австралию, где, по моим расчетам, еще лет двести не будет никаких революций.

— Мольтке, что бы вы делали в Австралии?

— Я бы разводил там белые розы... на продажу.

— Какие там, к черту, розы? Там овцы, Мольтке.

— Ну разводил бы овец. Какая разница?

— Вы очень наивный человек.

— Возможно, — согласился Мольтке. — Теперь-то я вижу, что моя слабость могла бы стать непоправимой бедой...

— Для всей Германии! — подхватил Бисмарк.

Парижская коммуна оставила шрам на его сердце; сразу же после «кровавой бани» канцлер обратился к кабинетам Европы с призывом воссоздать Священный союз монархов против коммунизма и Интернационала. Опасность коммунизма, предупреждал Бисмарк, лишь приглушена, но огонь где-то еще полыхает внизу, угрожая вновь вырваться наружу. «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!» — эти слова проняли канцлера до озноба в костях... Бисмарк развил свой план: «Используя страх перед Интернационалом, восстановит Россию против Франции, как страны Коммуны и красных вообще, и завоевать на свою сторону Австрию». Пресловутая роль жандарма

Европы, в которой обвиняли николаевскую Россию, теперь должна перейти к бисмарковской Германии!

Александр II летом 1871 года пил воды в Эмсе; из тиши курортной благодати он горячо поддержал проект Бисмарка. Затевалось нечто удушающее... Горчаков говорил Тютчеву:

— Я уже наблюдал однажды кошмарное видение из Апокалипсиса. Это было в пору моей юности — в Лондоне... По улицам, грохоча и почти разваливаясь, промчался дилижанс с пьяным кучером, а внутри дилижанса вовсю дрались пассажиры. Европа напоминает мне сейчас этот сумасшедший дилижанс...

Горчаков все чаще обращался к балканским делам, где мир славянства боролся за свободу и самостоятельность.

— Надежды наших братьев славян на Россию — это как земное тяготение, от которого никому не избавиться. Оно существует, независимо от того, как мы к нему относимся...

На балканские дела приходилось посматривать, увы, через очки венской политики. Впрочем, Австрии уже не было! Задерганный страхом перед венгерской революцией, Франц-Иосиф без боя сдал «немецкие» позиции и венчал себя в Будапеште мадьярской короной. Он рискнул на ортодоксальный «дуализм»: вместо Австрии возникла новая страна — Австро-Венгрия, появление которой давно предрекал Бисмарк...

Горчаков вошел к царю с докладом:

— Из неофициальных источников мною получены сведения, что в Зальцбурге встречаются кайзер Вильгельм Первый и император Франц-Иосиф, дабы продемонстрировать забвение прошлого. Австрийского кесаря сопровождает венгерский премьер Дьюла Андраши, желающий прочного боевого союза с Германией.

— Союза... против кого?

— Возможен один вариант — против России.

— Документы в Зальцбурге подписаны?

— Кажется, ограничились поцелуями и устными заверениями.

Но теперь в полный рост поднимается фигура графа Андраши, а он, предупреждая вас, злейший недруг России...

— Хорошо, я вытряхну душу из германского посла!

Но когда царь спросил Генриха VII Рейсса, о чем шла беседа в Зальцбурге, берлинский посол отделался фразой:

— Мы обещали Австрии нашу верную дружбу.

— Принц, — обозлился царь, — будьте точнее.

— Точнее, мы обещали Австро-Венгрии... будущее!

Горчаков расшифровал ситуацию:

— Бисмарк наглядно демонстрирует, что Германия в новом ее качестве способна сама выбирать союзников, а Россия пусть издала

любуется на ее амуры с Веною... Мы тоже, — сказал канцлер, — должны показать Германии, что у нас есть прекрасная невеста по имени Франция.

— О чем вы? Франция повержена.

— Франция — да, но не народ Франции...

Осенью 1872 года в Берлине ждали с визитом императора Франца-Иосифа, а русского царя-батюшку даже не пригласили. На летних маневрах Балтийского флота, в паузах между залпами, когда броненосцы разрушали целевые щиты, Александр II, не выдержав, сказал германскому послу:

— Принц Рейсс, разве в Берлине (залп!) не хотят видеть меня вместе (залп!) с австро-венгерским монархом?..

...Горчаков спал в купе вагона, который увозил его в швейцарский Веве; сон канцлера был по-старчески легок и тревожен. Под ним стучали колеса, визжали рельсы, в стакане с морсом, взятым в дорогу из Питера, дребезжала чайная ложечка, на которой, если приглядеться, еще можно различить стершийся герб маменьки канцлера — Елены Васильевны.

Он проснулся от того, что где-то с немецким акцентом произнесли трижды «Гортчакофф». Поезд стоял возле станции за Нюрнбергом. Кондуктор протянул телеграмму — царь требовал канцлера в Каноссу (в Берлин!). Вещи быстро вынесли на перрон. Горчаков присел на громадный кофр, снял цилиндр и долго смотрел, как вдалеке, в синей изложине гор, тают огни последнего вагона. Ему было нехорошо от дурных предчувствий.

Поездка в Каноссу

Франция заделывала «Вогезскую дыру» новыми фортами, а это значило, что Германия в будущем пойдет на Париж через Бельгию, почему Бельгия и стала укреплять крепости Намюр и Литгих, — сразу началась всеобщая гонка вооружений. Парижские газеты истошно призывали: «Француженки, не бойтесь рожать много детей! Из них мы воспитаем поколение мстителей...» Французы никак не могли смириться с видом рубах из белой парусины, в которых щеголяли по их земле оккупанты. Немцам же было все ясно: они уйдут из Франции, когда сполна получат пять миллиардов. Теперь только качай да качай... К делу выкачки денег из французов Бисмарк приспособил своего доверенного банкира, хитроумного и наглого Гирша Блейхредера.

— Мой банкир лучше любого насоса, — хвастал канцлер. — Он зачахнет на своей работе, но не оставит ее, пока последний француз не отдаст ему своего последнего сантима...

Германский генштаб уже закончил разработку плана нападения на Россию. Это был план превентивной войны на два фронта. Решительный бросок на Париж через нейтральную Бельгию, после чего, оставив на западе прах и пепел руин, победоносная германская армия быстро устремляется на восток, где еще только-только начинает пробуждаться «колосс на глиняных ногах»...

Бисмарк подверг этот план суровой критике:

— О какой войне с Россией вы, Мольтке, рассуждаете? Россия не имеет объектов, захватив которые вы могли бы пировать победу. Допустим, вы дошли до Волги... даже до Урала, а что дальше? Осталось одно — повернуть домой. Но я не уверен, что вы донесете до Берлина мешок со своими костями.

Сейчас Бисмарк занимался активным сватовством Германии с Австро-Венгрией, а граф Андраши обещал стать сильным и коварным политиком, какого Вена не имела со времен Меттерниха. Берлин учитывал, что мадьярская федерация стала плотиной, которую должны разбиться мощные волны славянского моря. Разделив власть в стране поровну с немцами, будапештская аристократия ни в чем не желала уступить славянам, как третьей силе в лоскутной империи Габсбургов. Вчерашний борец за свободу венгров, заслуживший от немцев смертный приговор через повешение, граф Андраши не желал свободы для чехов, поляков, русинов и сербов; он цинично заявлял: «Австро-Венгрия — как перегруженная хламом ладья: брось в нее горсть дерьма или золота — в любом случае она сразу потонет...»

Бисмарк подозвал к себе любимого пса Тираса и, поглаживая собаку за ушами, логично рассуждал:

— Австрию мы сейчас загоним на Балканы, где она обязательно столкнется с сопротивлением России, желающей славян освободить... Так что не волнуйтесь, Мольтке: я не бездельник, и у меня всем в Европе найдется масса всякой работы!

Опередив на день Франца-Иосифа, царь прибыл в Берлин, одетый в прусский мундир, и обнял любимого дядю-кайзера в мундире Калужского пехотного полка. Немецкие генералы, соблюдая давний потсдамский обычай, благоговейно целовали руки царя. На платформе вокзала, отдавая честь, стоял и Бисмарк; завидев вылезавшего из вагона Горчакова, он сказал Бюлову:

— Вот и невский Демосфен, который не перепрыгнет даже канавы, чтобы не полюбоваться в ней своим отражением.

— Разве он так красив?

— Если меня называют бульдогом, то Горчакова я отношу к породе мопсов. Мы оба с ним из собачьей породы! В любом случае Европа ужаснется, когда мы сцепимся в клубок...

Прибыл и Франц-Иосиф со стройным графом Андраши в мадьярском доломане. Бисмарк сказал английскому послу:

— Вы где-нибудь видели такое? Впервые в истории собрались закусить и выпить в защиту мира сразу три монарха. Я образую из них живописную группу вроде трех граций Кановы. Конечно, им не терпится поболтать за выпивкой. Но только пусть они не воображают себя государственными людьми...

Горчаков считал, что Священный союз монархов давно погребен на свалке истории и возрождать его — это как эксгумировать разложившийся труп из могилы. Но когда канцлер заикнулся об этом, царь грубо прервал его:

— Я надену русский Георгий, австрийский Марии-Терезии, прусский *Pour le merite* — и Союз трех императоров сокрушит любую коммуу. Отныне моя политика — вся на моей груди!

Горчаков не понял — трезвый он или пьяный? Впрочем, у Александра II достало ума вскоре же заметить, что в Берлине он оказался на положении непрошеного гостя. Владыка ведущей державы мира прискакал, как мальчик, за вкусным гостинцем, а его взяли и высекли. Все почести сознательно преподносились Францу-Иосифу с его роскошными бакенбардами. Императоры говорили между собой — без канцлеров, а канцлеры — без императоров. Бисмарк так ловко обставил дело, что если он беседовал с Андраши, то не было Горчакова, если беседовал с Горчаковым, то не было Андраши...

Царь, явно подавленный, спросил:

— Как у вас, светлейший?

— Плохо, — сказал Горчаков. — За нашей спиной происходит какой-то *тайный сговор о Балканах*, думаю, что на этот раз не как в Зальцбурге — не только устно, но и письменно.

— А, плевать! — отреагировал царь...

За свою долгую жизнь Горчаков повидал разные переговоры. Бывало, и сам говорил часами, чтобы только ничего не сказать. Но в берлинском свидании слова неслись как мутные ручьи, и лишь в одном собеседники были откровенны и солидарны — в решении оградить себя от угрозы коммунизма. Во всем этом Горчакову запомнился один яркий момент. Начальник русского генштаба фельдмаршал Берг подошел к начальнику германского генштаба фельдмаршалу Мольтке и сердечно поздравил его с тем, что даже армия Японии реорганизуется на прусский лад.

— Да, наши заслуги признаны всем миром, — скромно отозвался Мольтке. — Но самое интересное, что Франция вводит всеобщую

воинскую повинность тоже по прусскому образцу. Я не скрою, что поведение Франции нас уже настораживает...

Бисмарк фиксировал: «Андраши мил и весьма приятен. Что касается этого старого дурака (!), то он действует мне на нервы своим белым галстуком и своими претензиями на остроумие. Он привез с собой белую бумагу, много чернил и хочет здесь писать, но я не обращаю на это никакого внимания».

Горчаков ничего не хотел писать! Он нашел случай повидаться с французским послом в Берлине виконтом Гонто-Бироном.

— Помните, — сказал он ему, — что у вас много друзей в России, и Россия людоедству не помощница. Но нас устроит союз с вами в том случае, если Франция не будет беспомощной.

— Благодарю. А как истолковать ваш приезд сюда?

— Как мое личное поражение...

Андраши с подкрашенными губами и помадным румянцем, как стареющая красавица, еще жаждущая «разбития сердца», буквально по пятам ходил за Горчаковым, говоря, что Австрия не питает никаких вожделений к Балканам, а это значило, что он, сукин сын, туда ползет. Когда царь и вся свита затискались в вагон, Александр II вдруг «обрадовал» Горчакова:

— Решено! В следующую весну Петербург навестит мой дядя с Бисмарком и Мольтке... А каковы ваши впечатления?

— Из этой незабвенной встречи я, государь, выношу огромные нравственные последствия, — сказал канцлер.

Царь не понял иронии. Горчакову казалось, что он сильно поглупел. Впрочем, царь много пил. А когда едешь в Каноссу, надо не пьянствовать, а посыпать главу золой и пеплом.

Жаловаться в этом царском эшелоне было некому.

.....

— Это ужасно! — жаловался он Тютчеву. — Я чувствовал себя так, словно меня раздели, обмазали дегтем, вывалили в пуху и перьях, а потом, посадив на шест, пронесли через весь город. При этом я вспоминаю, что с одним американским оратором именно так и поступили. Когда его позже спрашивали, как он себя чувствовал, он отвечал: «Если бы не все те почести, которые мне оказывали, все было бы великолепно!»...

Тютчев отлично разбирался в тонкостях политики:

— Бисмарк боится «коалиции Кауница», какая была в Семилетней войне, когда наша армия била Фридриха Великого. Но Священный союз в прежнем меттерниховском составе особенно вреден России при наличии мощной Германии...

Теперь, писал Тютчев, «во имя Drang nach Osten немцы не прочь упрятать Россию за Урал. Разгулявшемуся милитаризму душно в

нынешней узенькой рамке». Поэты живут нервами, и 4 декабря Тютчева хватил удар: резко ухудшилось зрение, левая рука отказала ему. Федора Ивановича мучили головные боли. В постели его застало известие, что Наполеон III при смерти. Писать он не мог — Эрнестина Тютчева записывала его слова:

Спасенья нет в насилии и во лжи,
Как ни орудуй ими смело,
Для человеческой души,
Для человеческого тела.

На следующий день Тютчев встал; невзирая на протесты семьи, сам отнес стихотворение в редакцию газеты «Гражданин». Дни перед Новым годом он был в состоянии сильного нервного подъема. 1 января 1873 года поэт вышел на последнюю прогулку. Что с ним было, он не помнил... Когда очнулся, увидел над собой яркие звезды, падающий снег и толпу прохожих, обступивших его. Молодая женщина с руками в пышной муфте склонилась над ним, и он увидел, как прекрасно ее лицо.

— Что с вами, сударь? — певуче спросила она.

— C'est mon... Se'dan*, — ответил поэт.

Бегом из Каноссы

— Седан не должен повториться, — предупредил Горчаков. — Франция должна быть сильной, сильной, очень сильной...

Такими словами он встретил нового французского посла — генерала Шарля Леффло, сухошавого седовласого старца.

— Очевидно, в этом есть необходимость для вас?

— Да, — не стал скрывать Горчаков...

Народом Франции нельзя было не восхищаться. Французы поняли, что победить оккупантов оружием они не в силах, но зато способны изгнать их прочь досрочной выплатой контрибуции. Франция напрягалась в небывалом финансовом усилии. Требовалось собрать денег столько, что если бы 20-франковые монеты сложить в ряд на земле, они бы вытянулись на 3262 мили. Если сумму контрибуции оформить в виде куба из чистого золота, то его грань равнялась бы 4 метрам 25 сантиметрам. В подземельях парижского банка, обитых железом и похожих изнутри на отсеки броненосцев, монеты лежали навалом, как овес в амбарах. Слитки золота напоминали груды кирпичей. Га-

* Это мой... Седан (франц.).

зовые горелки, дрожа от напряжения, освещали это мрачное царство, где владычили лишь три вида живых существ — казначей, пауки да кошки, забегавшие сюда погадить. На случай ограбления была предусмотрена система быстрого затопления подвалов водою. Воры, если они станут спасаться по винтовой лестнице, будут сразу погребены под лавиной морского песка, который ринется на них сверху... Близился час расплаты, когда Франция, перестав работать на Германию, сможет вновь жить для себя!

Но за Ла-Маншем, в замке Чизльхерст, Наполеон III думал иначе — Франция должна жить снова для него.

— Не забывай о нашем Лулу, — внушала ему жена.

Тьер был крайне непопулярен во Франции, и потому надежды на реставрацию казались осуществимы. Высадка с берегов Англии вооруженных десантов бонапартистов на берега Франции была запланирована на 20 марта 1873 года: Наполеон III хотел повторить «Сто дней» своего дяди, Наполеона I. Ради этого триумфа он согласился на операцию по раздроблению камней в мочевом пузыре и умер от большой дозы хлорала, избавив народ Франции от новых потрясений... Наполеона III погребли в том мундире, который был на нем при Седане!

А сами «герои Седана» уже подкатывали к Петербургу, где они собирались (по выражению кайзера) «проветрить мундиры». То, что происходило на перроне, внимания недостойно. Гораздо интереснее было на площади перед Варшавским вокзалом, от которой войска тянулись шпалерами до Зимнего дворца. При появлении на площади кайзера, Бисмарк и Мольтке неприятную тишину прорезал молодецкий посвист и дерзкий возглас:

— Колбасники приехали... чичас нафаршируют!

Гости достаточно владели русским языком, чтобы понять смысл этого выкрика. Это была реакция чисто народная, и полиция ничего не могла поделать с уличными мальчишками, которые кричали вслед отъезжавшим каретам: «Вильгельм — ослытина, Мольтке — дохлятина, Бисмарк — стервятин!» Дипломаты с вокзала разбегались по домам, дабы сразу оповестить свои кабинеты об отрицательной реакции простонародья на приезд европейских громовержцев... В этом году новинкой для Петербурга были электрические «солнца», освещавшие подъезды к дворцам. Великолепна была и вечерняя «зоря», которую до полуночи исполнял сводный оркестр столичного гарнизона, состоящий из 1500 музыкантов, 600 горнистов и 480 барабанщиков. Этот гала-оркестр, заполнивший Дворцовую площадь, играл не только «Марш Штейнмеца» или марш Мейербера из оперы «Пророк», а исполнял даже романс Шуберта «Хвала слезам» (на мед-

ных тарелках) и «Гавот Людовика» (на барабанах). Высокое мастерство солдат-оркестрантов и согласованность их были совершенны, а игра на барабанах вызывала в прохожих петербуржцах слезы...

Полушутливо-полусерьезно Бисмарк сказал канцлеру:

— Я слышал, вы надели маску миротворца, а между тем ваша армия в мирное время имеет солдат больше, нежели германская в дни войны. Наконец, мне известна ваша сомнительная фраза: «Я хотел бы воевать с Михелями, да Франция еще не готова!»

— Откуда вы это взяли, Бисмарк?

— Это слышала от вас одна берлинская дама, которая в Бадене остановилась в соседнем с вашим номере.

— Как же она могла это слышать?

— Через щелку в стене, — пояснил Бисмарк.

— Так это, мой милый, уже не дипломатия... это сплетня! Как можно доверять даме, которая через щель в стене подглядывает за незнакомым мужчиной? Будьте серьезнее...

Горчаков никогда не скрывал, что ему нравится внимание публики. Но сейчас он явно сторонился появляться в компании прусского Агамемнона и его сподвижников. Журналисты упрекали канцлера, что он нарочно подлаживается под настроение низших слоев общества, встретивших немецких гостей почти враждебно. «Стыдно, г-н Г.! — писала одна газета, — искать популярности на задних дворах столицы, в харчевнях для кучеров и дворников...» Но канцлеру было стыдно не за кучеров и дворников, а за тех придворных аристократов, что раболепно толпились вокруг новых светил Европы, жаждая уловить исходящие от них лучи злодейской славы. Во время придворного бала в Эрмитаже Горчаков уединился в Зале керченских древностей, но его все-таки здесь откопали, как археологическую ценность, и явили публике... Мольтке в мундире российского генштаба отплясывал так, будто перед ним была не княгиня Белосельская-Белозерская, а неприступный Седан, решивший сразу не сдаваться. Бисмарк в белоснежном мундире кирасира с желтым стоячим воротником, подпиравшим его бульдожьей брылей, громогласно окликнул посла Рейсса:

— Вы живете роскошно, как я погляжу. А я вот натерпелся на вашем посту... одни дрова тут чего стоят!

Рейсс, умный человек, вдруг сглупил.

— Дрова? — удивился он (тоже громогласно). — Но ведь все посольства получают их от русской казны бесплатно.

Бисмарк покраснел, как вареный рак.

— Ну да! — заворчал он. — Получают даром только те, кто умеет устроиться. А я платил из своего кармана...

Пьяноватый царь увлек Горчакова в сторону:

— Как вы отнесетесь к заключению новой конвенции?

- С превеликим отвращением, государь.
- Даже с отвращением это надо сделать.
- В каком плане вы конвенцию мыслите?
- Как тайную и оборонительную. Двести тысяч штыков. Мы — им, они — нам... Не пойму, князь, что тут плохого?
- Это развитие Альвенслебенской конвенции?
- Да о ней все забыли, — ответил царь...

На следующий день пошли переговоры с перебранкой. Бисмарк тоже восстал против конвенции, и царю с кайзером не удалось переломить его упрямство. Мольтке залучил Бисмарка в отдельную комнату, где они закрылись, и там уже не Бисмарк мылил шею Мольтке, а начальник генштаба ломал хребет железного канцлера. Бисмарк сдался на составление конвенции, предупредив:

— Но без участия Австрии она — ничто!

Горчаков подписывать конвенцию отказался. Бисмарк — тоже. Военный сговор скрепили начальники генеральных штабов. Вильгельм I все же протянул перо Бисмарку:

— Хотя бы контрассигнуйте подпись Мольтке.

— Не стану, — огрызнулся Бисмарк.

Царь выразительно глянул на своего канцлера.

Забастовка канцлеров таила в себе признаки вражды. Но, умея скрывать свои чувства, они оставались взаимно вежливы. Празднества продолжались. Во время объезда столицы кайзер задержался возле Манежа и снял каску.

— Вот на этом месте, — провозгласил он, — в восьмьсот семнадцатом году меня, еще молодого принца, искусила злая русская собака.

Все неволью огляделись, словно удивляясь — почему на этом месте нет памятного обелиска? Манежная площадь была абсолютно пустынна. Лишь где-то вдалеке пробежала одинокая собака.

— Это не она ли? — серьезно спросил Горчаков.

— А похожа... — присмотрелся кайзер.

Кавалькада карет и всадников тронулась дальше — на Литейный, где гостям обещали поджечь старый дом, чтобы продемонстрировать умение быстро тушить пожары. После отъезда немцев, в день 1 мая, над Петербургом был совершен полет воздушного шара; в небеса взвились смельчаки — лейтенант флота Рыкачев и сербский офицер Милош. Горчаков из окна министерства видел, как шар потащило ветром над крышами куда-то к черту на кулички, и канцлер сказал с консервативной ясностью:

— От хорошей жизни не полетишь...

Герои спустились возле станции Левашево, вернулись дачным поездом, а на вокзале их встретила ликующая толпа.

— Я этого удовольствия не понимаю, — признался Горчаков. — Для меня сейчас важнее спуск первого корабля на Черном море... Жомини, запросите посла в Париже по телеграфу: что там слышно о контрибуциях? Немцы рвут бедняжку Францию так, что мясо летит кусками, а Блейхредеру помогает сам Ротшильд... Обычная история: где деньги, там и шейлоки!

Вскоре царь велел ему собираться в Вену.

— Застраховаться по флангам не мешает, — сказал он. — Попробуем вырвать у Вены военную конвенцию...

— Мне противен этот сладкий красавец Андраши, напоминающий невесту в медовый месяц, которая впервые испытала, что такое сладострастие... испытала от насилия Бисмарка! — Но ехать в Вену канцлер согласился. — Сейчас я уже не против сближения с нею, чтобы этим актом лишить Англию единственного ее союзника в Европе, паче того, что наша армия сейчас прокладывает маршрут через пустыни — прямо на Хиву!

.....

Франция досрочно расквиталась с Германией, и оккупанты покидали ее пределы... Если бы теперь полковник Драгомиров повидал немецкую армию, он бы ее не узнал. Куда делась прежняя пуританская скромность? Сам дух грабительской войны развратил армию: «Грабили теперь не только солдаты, но и офицеры главного штаба... Генералы приписывали себе победы в сражениях, в которых они даже не участвовали». Жившие за счет Франции на всем готовом, офицеры умудрялись высылать в Германию родным по 100 талеров *ежедневно!* Госпитальных врачей, тех просто развезло на войне от наживы... Салтыков-Щедрин, проезжая в это время через Германию, с ужасом говорил о сверкающих моноклях в донельзя распыленных глазах победителей, а при встрече с немецким офицером ему хотелось перебежать на другую сторону улицы. «Всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, бритым подбородком так и тычет в меня: смотри, я герой! Если б вместо того он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, — мне все-таки было бы легче...» Сами же пруссаки признавались русскому писателю: «Прежде мы солдатчины не чувствовали, а теперь даже болезнью от нее не отмолишься».

Франция испытание на жизнестойкость выдержала: через ее департаменты гроыхали платформы, на них увозили «бруммеры», разрушавшие Париж; с трубками в зубах, загорелые и бородатые, ехали домой, сдвинув на ухо бескозырки, солдаты-победители, — они *отступали...* Но, видя француженков, носивших траур по убитым и по тем родственникам, что остались за чертою границы в Эльзасе и Лотарингии, немцы говорили так:

— Надо же! Они еще плачут... Мы же ничего плохого этим грязным тварям не сделали. Лягушатники просто неисправимы!

Драгомирову показалась бы диким этот лексикон. Но как же иначе говорить солдатам, если даже в университетах Германии почтенные мужи науки, читая студентам лекции, называли французов «обезьянами», русских — «варварами», румын — «шайкою жуликов». А пять миллиардов, всосанных банками Германии, вызвали бурный рост германской промышленности. Но они же, взорвав ритм экономики, вызвали и жестокий финансовый кризис. «Мы просто облопались на даровщинку», — откровенно признавались берлинские биржевики. Однако, признав это за аксиому, вегетарианцами они все-таки не сделались, — они требовали:

— Германия нуждается в колониях за океаном!

Меттерних когда-то разделял все государства на две категории — на сытых и голодных. Сытые — это те, что захватили себе земли соседей и смирно жуют украденное. Голодные — те, что дико озираются по сторонам: где бы отхватить кусок пожирнее? Исходя из этой варварской теории «добрососедских международных отношений», Бисмарк, довольный, сказал:

— Я не вижу вокруг себя ничего такого, что бы стоило завоевывать мечом. Будьте спокойны: отныне Германия сыта...

Надолго ли?

Пустынный марш

Серое пасмурное утро сочилось в окна уютной большой квартиры... Горчаков уселся в кресле поудобнее.

— Вы говорите — я красноречив, а другие обвиняют меня в вульгарной болтливости. Помню, очень давно, когда я был причислен к посольству в Лондоне, меня пригласили провести вечер в одном респектабельном обществе. После сухоядного ужина, при котором даже сальные свечки могли бы показаться шедевром кулинарии, мужчины расселись возле каминов и самым наглым образом уснули. А мисс и миссис, образовав чопорный круг в виде неприступного форта, замолчали столь выразительно, что в тишине была слышна невидимая для глаза работа их аристократических желудков. Тут я не выдержал и решил посягнуть на роль интересного молодого человека. Бог мой, о чем я только не распинался! Об операх Метастазии и атрофии хвоста у человека, о галерее Джорджа Доу и удобстве гомеопатии. В оцепенении я был выслушан, но более никогда не приглашен. Английский свет выносит только тех, кто не суется со своим мнением. Подлинный джентльмен запечатан прочнее, нежели бочка с коньяком, и потому,

когда лорд пьян, от него даже не пахнет. Англия, — заключил рассказ Горчаков, — кажется, и поныне считает меня плохо воспитанным человеком...

Монолог предназначался Тютчеву, лежавшему на старенькой кушетке под огромным букетом первой весенней сирени.

— Судя по вашему брюзжанию, — сказал он, — отношения с Англией снова натянуты, как тетива лука.

— Господи, да когда они были хорошими? Наши купцы, ездившие с караванами ситцев в Коканд, рассказывали, что видели в пустыне войска, снабженные лучшим оружием Европы, а подозрительные офицеры командовали на... английском языке! Лондон умудрился создать очаг напряжения под самым нашим боком...

Тютчев, закрыв глаза, тихо произнес:

— Как я им завидую...

— Кому, Федор Иванович?

— Нашим солдатам, что шагают сейчас на Хиву.

— Там вода делится на караты, как бриллианты... там жарыща такая, что люди падают замертво... там...

— Все равно завидую, — прошептал Тютчев.

Слабеющей рукою он надписал Горчакову в подарок майский выпуск журнала «Русский архив», где напечатали его статью о цензурном засилии в России.

— Шестнадцать лет назад, вы помните, мы вместе сражались за раскрепощение русской мысли. Увы, с тех пор ничто не изменилось. Самая бесплодная вещь на этом свете — добиваться правды! Теперь все кончено... Для меня нет надежды на воскресение, и потому завидую даже солдатским мукам в пустыне.

Уходя, Горчаков спросил Эрнестину Федоровну:

— А что говорят врачи?

— Говорят об экссудации мозговых артерий. Федор Иванович всю жизнь провел в страшном напряжении. Мыслить для него — это жить, и когда в тот вечер его подняли на улице сердобольные прохожие и привели домой, он первым делом проверил свой разум. И обрадовался, что мозг еще служит ему...

На улице Горчаков отпустил карету, пешком добрал до Певческого моста. В пустом кабинете сидел барон Жомини.

— Бог мой, — сказал канцлер, — вокруг меня все шире пустота. Вот и Тютчев... ведь он намного моложе меня! А из лицейстов остались лишь трое: я, граф Корф да еще калека Комовский. А из второго выпуска Лицея все давно под травой...

С озлоблением он зашвырнул в угол цилиндр.

— Какие новости о марше на Хиву?

— Солдаты идут, — ответил Жомини кратко.

— О, верно! Если бог дал ноги, так и топай на Хиву, давая скорпионов... Я устал, барон. Буду честен до конца: не столько устал, сколько состарился. Закон природы... она мудра! Пора и под траву...

Англия много лет бушевала, посылая громы и молнии на Петербург, но получалось как в басне Крылова: «... а Васька слушает да ест!»! Ташкент уже сделался столицей Туркестанского края, в цветущей долине Зеравшана русские войска разбили полчища бухарского сатрапа и вступили в Самарканд, где в гробнице лежал сам Тамерлан. Россия вышла на каспийские берега Красноводского залива, в глубь туркменских пустынь протянулась жидкая ниточка рельсов. Англичане оторвали от Китая громадную область Кашгарии, вооружили ее и направили против России. Поднявшись на кручи Тянь-Шаня, русский солдат разбил армию кульджинских владык и вернул Кашгарию под власть Пекина. И не было таких неприступных стен, которые не преодолели бы русские солдаты, не было таких прочных ворот, которых бы не развалила русская артиллерия. На полях битв все чаще находили мертвецов в бухарских халатах и в чалмах, но с лицами бледными и тонкими — это были англичане, тайные агенты и военные советники королевы Виктории. Колонизаторам, стремившимся отринуть русских под кордоны Оренбурга, русская армия противопоставила свой натиск, свою силу, свою ярость — и она уже выходила к подножиям голубеющих гор Афганистана...

Горчакова в обществе частенько спрашивали:

— Скажите, светлейший, будет ли война?

— С кем?

— Ну, конечно же, с Англией.

— Я об этом ничего не знаю, — отвечал канцлер.

— Но ведь в газетах-то пишут...

— А я ведь не редактор газет, мадам! У меня совсем иные обязанности: сделать так, чтобы Россия избежала войны.

Горчаков отчасти уже нейтрализовал Уайтхолл заверением, что Россия считает Афганистан вне сферы русских влияний. И он очень не любил напоминаний о силе британского флота:

— Каракумов броненосцами не завоевать.

Недоступным оставалось Хивинское ханство! Безводные пустыни, страшная жара летом и морозы зимою берегли хищников-ханов, столетиями живших трудом невольников. Дипломатия, даже изошренная, тут не помогала. В ответ на протесты Горчакова хан высылал на Орский тракт новые орды разбойников, и в гаремах Хивы появлялись русские женщины, казачат оренбургских станиц безжалостно скопили для роли евнухов, пленным солдатам выкалывали глаза, впрягали, как волов, в плуги.

1873 год — год памятный: ранней весной по зыбучим барханам, которые перемещались как волны беспокойного моря, тронулись колонны солдат. Орудия застревали в песке по самые оси, верблюды влачили станки для запуска боевых ракет, залпы которых убийственны для вражеской конницы. Редко-редко в пустыне встретится зловещий мавзолей какого-либо восточного сатрапа, еще реже — колодцы, в которых едва зачерпнешь ведро тухлой воды. Особые «водяные» команды отходили назад, наполняли водою всю посуду, какая имелаась, и снова нагоняли колонны. Солдаты пили... Верблюды падали, лошади умирали, а они все шли и шли. Лишнее, что затрудняло движение, сжигалось. Наконец колонны сошлись под стенами Хивы, где их резво обстреляли новенькие британские батареи. Но солдату важно было дойти... Приказ такой:

— Ракетами — по коннице, артиллерия — по воротам!

Самое удивительное, что простонародье Хивы встретило русских как освободителей от ханской сатрапии. Сам же хан, воспользовавшись суматохой, вскочил на туркменского скакуна и умчался из города, охваченного радостным оживлением...

Горчаков снова посетил Тютчева:

— Сегодня, кажется, первый теплый день. Последние годы я по-стариковски начинаю отогреваться лишь в конце мая... Ну, дорогой мой Федор Иванович, как вы себя чувствуете?

— Это неважно. Важно другое — что с Хивой?

— Марш закончен, — ответил Горчаков.

— Теперь я умру спокойно...

Он умирал в страшном беспокойстве за все на свете — за дела Франции, за свои стихи, за судьбу солдат, на которых уже ложилась исполинская тень Гималайского хребта. Жена перевезла его в Царское Село, ветхая дача скрипела каждой ступенькой, по ночам ветер хлопал ставнями. Это были звуки жизни, покидавшей его, и поэт мужественно предостерегал себя:

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир...

Его навестил зять Аксаков, приехавший из Москвы.

— Я, — сказал ему Тютчев, — впервые стал задумываться о себе как о писателе. Останусь ли в памяти потомства? Всю жизнь относился к своим стихам безобразно. Лишь сейчас меня охватила тревога: хочу быть живым в будущей России. Но имею ли право? Так мало сделано... Ах, я лентяй, какой лентяй!

Он признался зятю, что уже потерял чувство рифмы и стихотворного ритма. Вошла жена, дала ему лекарство. Тютчев на минуту задержал в своей ладони ее руку, произнес:

Все отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон.
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

Аксаков невольно отметил, что в этом четверостишии поэту удалось выдержать ритм и найти скромную, но точную рифму. А вскоре Тютчева постиг новый удар. «Все полагали, — вспоминал Аксаков, — что он умер или умирает. Но недвижимый, почти бездыханный, он сохранил сознание. И... первый вопрос его, произнесенный чуть слышным голосом, был:

— Какие последние *политические* новости?..»

Потом замолк. И только глаза, в которых светилась громадная работа мысли, эти глаза еще продолжали жить на маленьком сморщенном лице. Приступ опять повторился. Родные позвали священника прочесть над поэтом отходную...

Тютчев прервал молитву вопросом:

— А что слышно из Хивы?..

Последние дни чело поэта было озарено светом глубокого раздумья над тем, что было при нем и что будет после него. Тютчев молчал, но глаза выдавали, что он продолжает жить насыщенной и бурной жизнью мыслителя. Глаза говорили, спрашивали и сами себе отвечали... Рано утром 15 июля на лице отразилось выражение ужаса — это пришла смерть. И он погрузился в будущее России с напряженно работающим мозгом, как уходит в бездну корабль, до конца продолжая трудиться раскаленной машиной...

Умер поэт. Умер гражданин и патриот.

Над дачами Царского Села молния вдруг распорол небеса с таким треском, словно шквал рванул отсыревшие паруса. На давно жаждающие сады и парки пролился восхитительный ливень. Поэт лежал на письменном столе, сложив на груди руки, и, казалось, чутко вслушивался в ликующие шумы дождя:

Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокопящий кубок неба,
Смесь, на землю пролила...

Горчакова под руки увели с его могилы.

Старый канцлер не плакал, но часто повторял:

— Умер... большой политик, умер он...

— Умер поэт, — поправил его Аксаков.

— Ах, не спорьте... вы не знали его, как я!

Под могучими вязами хивинского серала был раскинут текинский ковер, посреди него поставили колченогий венский стул — для туркестанского генерал-губернатора Кауфмана. А вокруг него стояли офицеры и солдаты в белых шлемах с длинными на-затыльниками, спадавшими им на плечи. Заслышав топот копыт, Кауфман сказал:

— Ну вот, едет! Поздравляю всех — для России наступает долго-жданый исторический момент...

На садовой дорожке показался хивинский хан — семипудовый ленивец, верный муж 518 жен, завернутый в ярко-синий халат. Он слез с лошади и, обнажив бритую голову, на коленях издали начал подползать к русским воинам, моля о пощаде. Американский писатель Мак-Гахан, присутствовавший при этой сцене, тут же записал, что «теперь самый последний солдат русской армии был намного сильнее хана». Вместе с русскими невольниками из Хивы были вызволены и 40 000 персов, томившихся в рабстве; уходя на родину, персы зывали к солдатам: «Дозвольте, и мы оближем пыль с ваших божественных сапог...»

Кауфман говорил от имени русской армии:

— Так вот, хан, нравится вам это или не очень, но мы все-таки навестили вас в «недоступной» Хиве, где вы так приятно кейфовали в тени этого серала...

Хан еще ниже склонил голову, ослепительное солнце било теперь прямо в толстый, как бревно, багровый затылок:

— Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива исчезнет под водою, но аллах не знал, что мне предстоит кланяться пришельцам из заснеженных русских лесов...

Свободно опираясь на ружья, загорелые и усадые, с презрением взирали на ханское унижение солдаты (этих легендарных героев можно видеть и сейчас: они смотрят на потомков с красочных полотен Верещагина).

Русский солдат не шел туда, где его не ждали.

Он шел туда, где ждали его как освободителя.

В звенящем зное пустынь русский человек свергал престолы средневековых деспотов — ханов, султанов и беков, всю эту мразь и нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана.

И грешно забывать наших прадедов, которые в жестоких лишениях создавали великое многонациональное государство...

... В министерстве Горчакова ожидал новый английский посол лорд Эндрю Лофтус; естественно, он сразу с гневом завел речь об агрессии России, о захвате русскими Хивы.

Горчаков плотнее уселся, сложил руки на столе.

— А кто вам сказал, что мы захватили Хиву? — спросил он. — Мы лишь умирили хивинского хана, чтобы впредь ему было неповадно разбойничать в наших пределах... Ваше благородное беспокойство о Хиве позволяет мне проявить немалое беспокойство об угнетаемых вами ирландских фениях. По какому праву протестантская Англия преследует ирландских католиков?

— Ирландцы — это наше внутреннее дело.

— Не отрицаю. Тем более что безопасность Оренбурга и Орска — внутреннее дело России... Возьмите циркуль, милорд, и измерьте по карте расстояние от Лондона до Хивы.

— Лучше измерить расстояние от Хивы до Дели.

— О боже праведный! Вы опять за старое, милорд. Тогда я продолжу об угнетении вами ирландских католиков...

Боевая тревога

Бисмарк ел и пил, но... как пил! Жена сказала:

— Отто, ты же сам знаешь, что врачи не велят тебе увлекаться выпивкой. Пожалей свою печень ради меня и детей.

— А, врачи... лицемеры! — воскликнул канцлер. — Если я не хлопну три стакана мозель-муссё, я вообще испытываю отвращение к политике. Что делать? Приходится жертвовать здоровьем ради великой Германии... Энгель, где фазан?

Статс-секретарю Бюлову он отрезал жирный огузок:

— Все Бюловы, каких я знал, умные люди... Ешьте!

«Когда принесли блюдо с гусем, — писал очевидец, — канцлера заставили съесть такое количество, что он уже задышался, после чего последовала жареная утка...» Под окнами его дома прошагал с песнями очередной «факелцуг» германской молодежи, и Бисмарк воспринял как должное выкрики с улицы:

— Гер-ма-ния превыше всего... Хох, канцлер!

В ряд с солдатскими колоннами по немецким землям маршировали ферейны — спортивные, певческие и охотничьи, на тирольских шляпах вызывающе торчали петушиные перья. Немцев было легко организовывать: по первому сигналу трубы они вставали под знамена землячества, уже в прочной обуви, с рюкзаками за плечами, имея сбоку баклагу с пивом и сверток с бутербродами. Заняв место в строю, пруссак заводил патриотическую песню и ждал только одного — ко-

манды, чтобы маршировать, куда укажет начальство... Все заправили германского мира (от первых курфюрстов и до Гитлера) всегда умело использовали в своих целях это бесподобное умение немцев сплываться в колонны и подчиняться приказам свыше.

«Германия, куда ж ты идешь, Германия?..»

Пангерманизм — предтеча фашизма — при Бисмарке набирал силу. Начиная с пышных кафедр университетов и кончая бедными сельскими школами, в головы немцев усердно вдалбливали: «Величайшие в истории подвиги — немецкие, знаменитые творения резца и кисти — германские, Берлин — красивейший город мира, все великие изобретения — наши, самые лучшие гимнасты — немецкие, наши наука и промышленность — передовые, самые толковые рабочие — немцы. Мы имеем прекрасную армию, с прусским лейтенантом никто не сравнится! Германский офицерский корпус — вот в чем наша главная сила, и поэтому никто в Европе не посмеет с Германией состязаться...»

Хотя Бисмарк и заявлял, что Германия «сыта», но сытой он ее не сделал. Кризис лихорадил берлинскую биржу, на фабриках увольняли до половины рабочих, пролетариат объединялся для борьбы, и Мольтке советовал разрубить все невзгоды одним ударом меча — по Франции... Железный канцлер вступал в кризис, как и страна, лежавшая перед ним. Он рассчитывал, что Франция надолго погрязнет в моральном упадке, униженная и ограбленная, но французы так быстро расквитались с контрибуциями, что это Бисмарка потрясло не меньше Парижской коммуны! Франция показала ему наглядно, что в ее народе много здоровой силы и боевого задора. Выплачивая по германским векселям, французы словно бросали веселый вызов судьбе.

Петербург открыл новый 1874 год манифестом о введении в стране всеобщей воинской повинности. «Россия, — как сказано в старом циркуляре Горчакова, — сосредоточивалась». А портфель с иностранными делами Франции получил герцог Деказ, сразу же «обворовавший» русского канцлера: «Франция сосредоточивается!» — возвестил Деказ миру.

— Неужели, — переживал Бисмарк, — мне так и не удалось законсервировать слабость Франции до тысяча девятисотого года? Необходимо крутое решение... Думай, канцлер, думай!

Синие вьюги заматали Россию, морозы с ноября держались такие, что даже во рту леденило зубы, и каждый, в ком билось русское сердце, радовался ядерной и здоровой матушке-зиме.

Новый год начался неудачно: на Невском, когда лошади вдруг понесли, Горчаков выпал из саней, разбив бок о фонарную тумбу; долго лежал в постели. Оправясь, канцлер вечером посетил Михайловский

театр. Обнаженные плечи дам, вырезные жилеты, мундиры и фраки, колоссальные шиньоны, точные английские проборы, парики и лысины, усы и локоны, пенсне и монокли, бороды и бакенбарды, жемчуга и бриллианты, пудра и кольдкремы — в этом оживленном разнообразии совсем затерялся старикашка канцлер с тугим от крахмала пластроном ослепительной манишки. Давали «Прекрасную Елену», а публика (платившая по 100 рублей за билет) ожидала m-lles Филиппо и Лотар, которые, исполняя песенку о любви, милыми жестами наивно объясняли, что такое любовь... В толпе знатоков слышалось:

— Нас ожидает нечто волшебное. Но не лучше ли предъявить публике *les cuisses en tricot de m-lle Lotar**, а чтобы m-lle Филиппо пропела: *il me faut de l'amour!* О Venus, quel plaisir trouves-tu a faire cascader ma vertu**, — и после этого можно опускать занавес: сто рублей уже окупилась.

В зале притушили свет, когда Горчаков заметил дежурного чиновника министерства, кравшегося к нему между рядами сановных кресел. Вручив князю депешу из Берлина, он шепнул:

— Речь Мольтке в рейхстаге... ужасно, ужасно!

«Прекрасная Елена» уже не представляла для Горчакова никакого интереса. Вышел в фойе, где и прочел: «Мы можем встретить неприятеля лицом к лицу на Западе и на Востоке одновременно». В глубоком раздумье канцлер спустился по лестнице, почти механически проделав руки в рукава шубы, поданной лакеем. Тишину морозной площади прорезал вопль городского:

— Кучер его светлости... канцлера!

Мгновенно подцокали из тьмы лошади. Горчаков сел, продолжая думать. За окнами кареты пронесло великолепную ширь запурженной Невы, на Васильевском острове уютно мерещились теплые огни. Заметив свет в окнах французского посольства, он велел остановиться... Генерал Лефло встретил его с исключительным радушием. Стол был сервирован моментально. По суете среди персонала посольства Горчаков угадал, что его появление здесь завтра же распишут в газетах Парижа как отрадное явление французской политики...

Лефло справился о недавнем ушибе.

— Благодарю. Я отделался легко. А вот кучер лежит в больнице. Лошадей же дворники перехватили уже за Фонтанкой...

За спиной канцлера вылетела пробка из бутылки.

— Нет, нет, — отказался он от вина и попросил чаю.

Остались вдвоем — посол и канцлер.

* Обтянутые трико бедра мадемуазель Лотар.

** Мне нужна любовь! О Венера, неужели тебе приятно играть моей добродетелью?

— Ну-с, — сказал Горчаков, подцепляя из вазочки ароматный пти-фур с розовым кремом, — хорошего ничего не будет. Берлин объявил тревогу, а Бисмарк роет землю рогами.

— Отчасти, — начал Леффо, — повинны и наши епископы. В пастырских посланиях под Рождество они благословили сограждан-католиков Эльзаса и Лотарингии, а вы же знаете, какое гонение на католиков устроил Бисмарк! После этого...

После этого, как раз в ночь под Новый год, статс-секретарь Бюлов сказал французскому послу виконту Гонто-Бирону:

— Развращенная католицизмом Франция, кажется, замышляет реванш противу богобоязненной лютеранской Германии... Что ж, — криво усмехнулся Бюлов, — теперь из соображений не только политических, но просто человеколюбивых и даже, если угодно, христианских мы должны снова воевать с вами...

Гонто-Бирон телеграфировал Деказу, чтобы Франция вверила свою судьбу России, ибо в Европе сейчас нет иной силы, способной постоять за Францию. Деказ вызвал на Кэ д'Орсэ берлинского посла князя Гогенлоэ и сказал ему — в отчаянии:

— Хотите войны — нападайте! Делайте, что вам угодно, берите Бельгию, Голландию, Люксембург — нам все равно. Мы даже не выстрелим. Мы будем убегать от вас хоть до Луары, пока Европа не проснется и не остановит вас...

Гогенлоэ, хилый сморчок, спросил:

— Европа? А где вы ее видите?

— Да вот же она... на карте, — показал ему Деказ.

«Деказ — это шар, — записал Бисмарк для себя, — я хочу его проколоть, он откатывается, и я не могу в него попасть». В эти дни германская пресса проявила солдатскую дисциплинированность — она печатала лишь угодное Бисмарку: «Германия никогда не смирится, наблюдая, как возле ее границ бесстыдно обогащается и реорганизует армию кляузная и алчная Франция». 13 января дело шантажа взял в свои руки сам Бисмарк.

— Германия, — заявил он Гонто-Бирону, — отныне считает себя в угрожаемом положении. Для нас это вопрос безопасности. Мы не допустим, чтобы вы опередили нас в нападении. И не станем ждать, когда вы пришлете последнюю пуговицу.

Гонто-Бирон клятвенно взывал к благоразумию:

— Мы же разгромлены вами, у нас нет такой армии, чтобы достойно соревноваться с вами на полях сражений.

Бисмарк звякнул под столом шпорами:

— Вы даже переняли у нас военную систему!

— Но одной системой, как бы она хороша ни была, много не навоюешь. На вашу систему надо еще насадить штыки...

Тем временем Мольтке поучал посла Бельгии:

— Буду откровенен! Силою оружия мы за полгода сколотили Германскую империю и победами обрели влияние. Но мы нигде, увы, не снискали себе симпатий. Теперь, чтобы отстоять мир в Европе, мы должны обещаться оружием с ног до головы. Иного выхода у немцев нет. Если же Франция посмеет вооружаться, — добавил он, — мы будем вынуждены занять Нанси... в залог мира!

...На другой стороне Невы мещане погасили огни и легли почитать. Лефло, закончив свой рассказ, предложил Горчакову выпить еще чашку чая.

— Благодарю. Я сейчас поеду домой.

— И вы ничего не скажете в утешение?

— Все это, — сказал князь, с кряхтением поднимаясь, — не более как комедия, обреченная на провал за неимением актеров, ибо Бисмарк не может разыгрывать ее один... Приготовьтесь, Лефло: я на днях устрою вам аудиенцию у государя.

Александр II был чрезвычайно лапидарен:

— Успокойтесь. Войны не будет.

Лефло заговорил об угрозах Бисмарка и Мольтке:

— Им нужна война... только война. Для них это хлеб насущный, они уже не могут жить без войны.

— Я вам уже сказал, что я войны не хочу!

В этом «я» таилась надежда, ибо царь говорил с Францией от имени всея Руси. Только теперь Англия с ужасом увидела, что опаздывает в свершении добрых дел, и королева Виктория срочно сочинила письмо кайзеру, предупреждая, что политика Бисмарка опасна для дела мира. Впрочем, как писал Альфонс Додэ, «если Англия выступает в пользу Франции, это значит, что она торопится вслед за Россией».

.....
Старый император учинил Бисмарку выговор:

— Почему о вашей возне с Францией я должен узнавать со стороны, от королевы Виктории? Да перестаньте жонглировать пылающими факелами, будто вы цирковой фокусник...

На обеде в рейхсканцелярии Бисмарк стал бушевать:

— Довольно мне высокомерия русских! Лучше уж Австрия, которая, с тех пор как Германия навела на нее пушки, полюбила нас, а граф Андраши готов чистить мои сапоги...

Журналист Бухер (правая рука канцлера по части гнусных словозвержений) решил пригласить Бисмарка тостом:

— Выпьем за величайшего германца после Лютера!

Но лестью Бисмарка не подкупил.

— Сядь, дуралей! — заворчал «бульдог с тремя волосками». — Ты вообще должен помалкивать. Пусть знают все, сидящие за столом,

что я подобрал тебя из грязи. Если б не твой литературный слог, ты бы славно чистил берлинские помойки...

На приеме послов он сказал Гонто-Бирону:

— Говорят, виконт, вы хлопчете о поездке в Петербург, дабы развлечь Горчакова сплетнями обо мне. Счастливого пути! Только не забирайте своего повара... Это будет непоправимая потеря для всей дипломатии Европы.

Гонто-Бирон позеленел от оскорбления, но смолчал. Он действовал в духе того направления политики, какому следовали на Кэ д'Орсэ: уклоняясь от ударов Германии, ориентировать Францию на закрепление дружбы с Россией. Но прежде Гонто-Бирона на берега Невы прибыли Франц-Иосиф и граф Андраши, поразивший русских дам своей «потасканной» красотой. Балканские дела толкали русскую дипломатию на сближение с Веней.

Хороший дипломат умеет извлекать пользу даже из своих неудач. Так и Горчаков, невзлюбив альянса трех монархов, решил добыть из него выгоду для себя. Союзом с Веней он помаленьку изолировал на континенте Англию. Развалится союз — и черт с ним, а сейчас он еще послужит русской политике... Визит венских гостей прошел благополучно, если не считать того, что Андраши смертельно обиделся, когда от царского двора ему поднесли табакерку с алмазами:

— Мне еще никогда в жизни не дарили коробок. Я совершенно не представляю, для каких целей ее использовать?

— Ах, боже мой! — отвечал Горчаков. — Да выдерните из нее бриллианты для любовницы, а коробку швырните в окно...

С большой дипломатической ловкостью он залучил Андраши на прием во французское посольство, и там, тонко играя на струнах католицизма, православный Горчаков вынудил католика Андраши принести католику Леффло самые сердечные заверения в том, что Вена не одобряет лютеранского натиска Германии на Францию... Об этом выпаде Андраши канцлер через неофициальные каналы поспешил уведомить Бисмарка: пусть побесится!

А когда в Петербурге появился Гонто-Бирон, его еще на перроне вокзала сразу накрыли огромной собольей шубой.

— У нас чертовские морозы, — сказал Жомини.

В царском павильоне вокзала посла ожидал роскошный завтрак с яркой клубникой и ароматным ананасом.

— Откуда у вас эта прелесть? — восхитился посол.

— Из ботанического сада... Угощайтесь, виконт.

Потом, сидя в саях, посол Франции спросил — можно ли Парижу надеяться на прочный союз с Петербургом?

— Да. Но позже. Когда вы окрепнете...

Гонто-Бирон сообщил Горчакову:

— Бисмарк вдруг проиграл отбой, и за это Франция в века сохранит благодарность России и лично вам! Случилось почти чудо: этот зверь Бисмарк пришел на вокзал к отходу моего поезда и сказал мне несколько любезностей.

— Не обольщайтесь, — ответил Горчаков. — Мы отбили лишь первый натиск. Бисмарк временно отступил и окопался. Не забывайте, виконт, что внутри Германии не все благополучно. Биржа может потребовать от Бисмарка ясности в политике, чтобы марка не шаталась по курсу. А ясность Бисмарк может найти в войне... Да! Ибо только война способна оживить стынувшие без работы цехи заводов Круппа и Борзига, а эти «стальные» господа (да простит мне бог!) крепче «железного» канцлера.

Но Бисмарк, как и Горчаков, тоже умел из любой неудачи выковать выгоду. Под бой барабанов и газетную трескотню он провел через рейхстаг новый военный закон, который увеличил германскую армию. В казармах ружья Дейзе спешно заменяли новейшими ружьями системы Маузера...

В эти дни от Горчакова услышали фразу:

— Очевидно, вся моя жизнь, — сказал он, — являлась лишь предлюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю!

Разведка боем

Царь попросил Горчакова не ездить в Веве:

— В мире неспокойно, и вы в любой момент можете мне понадобиться. Предлагаю сопровождать меня в Эмс...

В последнее время у царя голос был сиплый, дребезжащий, и он надеялся поправить его с помощью эмского «шпруделя». Император навестил в Англии свою дочь Марию Эдинбургскую, оттуда заехал в Бельгию, где имел беседу с королем Леопольдом, после чего направил монархии стопы в Эмс, где уже томился Горчаков.

— Вы пили шпрудель? — спросил он канцлера.

— Нет, государь. Я пил местное вино.

— И как?

— Дрянь!

Александр II даже здесь боялся покушений революционеров и жил в Эмсе под именем графа Бородинского в отеле Vier Thurme, где в саду за каждым кустом сидели тайные агенты Вилли Штибера. Впрочем, вся публика знала царя в лицо, а цены на продукты в Эмсе сразу поднялись. Невоздержанный женолюбец, Александр II иногда во время

прогулок совал в руки Горчакову стакан со зловонным шпруделем и говорил извиняясь:

— Подержите, князь. Я на одну минуту отлучусь...

А сам, словно бесстыжий фланер, нагонял какую-либо из гуляющих дам. Горчаков выплескивал из стакана воду в кусты и брел домой... К приезду германского императора эмские власти соорудили на реке Лана плавающую павильон, имевший форму прусской короны, внутри которой засел оркестр, непрерывно игравший «Боже, царя храни!». Вечером, сняв пиджаки, в одних жилетках, без галстуков, его величество с его светлостью — царь и Горчаков — неумеренно употребляли бургундское.

Закуривая папиросу, царь сказал:

— Я вот еще в Брюсселе подумал: а что, если Бисмарк прав в дознаниях? Может, Франция и впрямь готовит реванш?

— Кто осмелится? — спросил Горчаков. — Маршал Мак-Магон, битый при Седане, или герцог Деказ, под которым трясется даже кресло? Нет, государь, медиократы* всегда благоразумны.

Вскоре прикатил Вильгельм I, суматошный, вечно охающий, но еще крепкий старик. Никто в Европе не ждал от него остроты ума, а Бисмарк даже боялся отпускать его одного, чтобы кайзер не ляпнул чего лишнего. Дядя сразу нажаловался своему царственному племяннику:

— На тебя с Горчаковым приятно смотреть, а мой Бисмарк невыносим! Он ведет себя, как беременная женщина. То кричит на меня, то заливается слезами. Чуть что не по душе — сразу в отставку! Потом напьется хуже извозчика и неделю валяется в постели. Дела рейха стоят без движения. Я еду к нему, стаскиваю его на пол. Он целует мне руки, мы обнимаемся, как старые друзья, и наша карусель крутится дальше...

Горчаков деликатно намекнул, что в России возникла острая реакция на «истеричку» Бисмарка в отношении Франции.

— Упаси бог, я здесь ни при чем, — заволновался кайзер. — Но судите сами, князь! Франция богатеет, у нее дымят фабрики, все рабочие заняты. Они сыплют в землю какую-то химию, совершенствуют плуги и снимают небывалые урожаи. Наконец, эти каналы совсем отказались от дерева и строят корабли из железа. Они торгуют со всем миром, а мы, немцы, трудолюбивые и скромные, сидим на клочке Германии, и скоро нам уже не станет хватать даже воздуха... Бисмарк отрицает нужду в колониях, а я уже стал подумывать, что люди с большими деньгами правы: в Африке нам есть где развернуться.

Александр II сказал потом Горчакову:

* Медиократ — посредственность (от латинского *mediocris*, что значит «посредственный»).

— Не обращайтесь внимания. Мой дядя уже стар.

— Государь, еще Тацит в глубокой древности предупреждал, что германцами движет зависть к другим народам.

— Ну, Тацит... кто его сейчас читает?

— Да, государь, сейчас все читают Ренана, а тот пишет: «У немцев мало жизненных радостей, для них наивысшее наслаждение — это ненависть и подготовка к войне».

— Ты должен умереть, иначе погубишь Германию!

С такими словами немецкий рабочий (Кульман по имени, бондарь по профессии) набросился на канцлера, когда тот гулял по тихим улочкам Киссингена. Бисмарк не успел увернуться, и кинжал глубоко вспорол ему руку. Пришлось лечиться. Одной рукой канцлер листал газеты. Осенью пришло из России известие, что в ней провели первый в истории призыв новобранцев по новой системе. «Сколько же это дало русской армии миллионов штыков?» — раздумывал Бисмарк. Мольтке он сказал:

— Вот, дорогой фельдмаршал! Россия что-то много стала кричать о мире, а это значит, что она готовит войну.

— Вы думаете... Афганистан? Война с Англией?

— Нет. Я убежден, что кулак России обрушится на Турцию. Султан нагнал в Болгарию многие тысячи черкесов, бежавших с Кавказа, и они творят там неслыханные зверства. Вырезают целые деревни. Матерям вспарывают утробы и запихивают в них кричащих младенцев. Я знаю русских — они очень отзывчивы на чужие страдания.

— Какое же это имеет отношение к нам?

— Никакого! Хотя из этого дела можно выжать немало масла, чтобы жарить потом лепешки для Германии...

Временно окопавшись в обороне, Бисмарк не сдал позиций. Он жил мечтой о полном разгроме Франции, чтобы французы до конца XIX века шатались от голода, нищие и оборванные, а их страна стала бы покорным германским вассалом. Но он понимал: разгром Франции возможен лишь при попустительстве России, чтобы русская дипломатия закрывала глаза на то, как дюжие Фрицы и Михели насилуют несчастную Жанну...

— Русским надо что-то дать! — решил он. — Лучше всего в таких случаях дарить то, что самому не принадлежит. Пусть они лезут выручать болгар, а взамен я потребую от них Францию. Ну а вы, Мольтке, еще разок припугните Бельгию!

Кстати, выпал и удобный случай для запугивания. Полиция Брюсселя арестовала рабочего-медника Дюшена, который проповедовал, что Европе теперь не жить спокойно до тех пор, пока не будет уничижен Бисмарк... Дюшен брал Бисмарка на себя:

— Пусть я погибну, но этого пса растерзаю!

Бельгийский король, боясь *furor teutonicus*, велел судить Дюшена пострее. Но суд присяжных оправдал медника, ссылаясь на показания очевидцев, которые видели, что Дюшен сначала выпил горькой можжевельной, а потом отлакировал ее пивом... Разве можно судить человека за пьяную болтовню?

Бисмарк получил повод для вмешательства.

— Бюлов, — наказал он статс-секретарю, — вы, дружище, составьте ноту для Брюсселя похлеще, в ней Германия должна требовать от Бельгии изменения в ее законодательстве.

Брюссель (не кривя душою) ответил, что, слава богу, составление законов принадлежит не внешней, а внутренней политике. Бисмарк извлек из сейфа целую пачку бумаг.

— Будем играть начистоту! — сказал он послу Бельгии. — Тут у меня заготовлены впрок ноты протеста для вас, которых мне хватит на целых полгода: в месяц — по штуке! А потом я погляжу, как бельгийцы станут принимать на ночь снотворное...

Вскоре он указал Бюлову:

— Телеграфируйте в Петербург нашему послу принцу Генриху Седьмому Рейссу: пусть срочно скажется больным и выезжает, взяв курьерские прогоны до Амстердама, откуда тишком переберется в Бонн, где и затихнет. Вызывайте ко мне фон Радовица и готовьте на его имя верительные грамоты для Петербурга.

— В каком обозначить ранге? — спросил Бюлов.

— В ранге чрезвычайного посла Германской империи...

Начиналась разведка боем. Мольтке в серых брюках с лампасами и в скромном кителе снова появился в бельгийском посольстве, где при виде его посол вздрогнул.

— Войны желает не та страна, которая нападает, — сказал он, — а та, которая вынуждает нас напасть на нее...

Из этой академической фразы торчали волчьи зубы. Мольтке доктринерски завуалировал смысл агрессии: виноват будет тот, кто слаб, не будешь слаб — не будешь и виноват. В разговоре он снял каску и водрузил ее ребром на колено. Он выглядел монументально, как памятник активному милитаризму, сработанный из скучного серого мрамора. Со вздохом Мольтке добавил:

— Впрочем, последнее слово остается за провидением!

В этом случае ссылка на бога — вроде канцелярской печати, приложенной к официальной справке о совести...

На стол Горчакова положили сообщение из Брюсселя: «Король Леопольд отдает себя под Ваше покровительство и умоляет Вас о заступничестве в пользу Бельгии». Теперь уже два государства,

Франция и Бельгия, вручили свою судьбу в руки России как самому авторитетному государству Европы.

Молодой секретарь Бобриков доложил канцлеру:

— В ранге чрезвычайного посла Германской империи к нам пришел Йозеф-Мария фон Радовиц... прямо из Берлина!

— Пусть войдет, — зевнул Горчаков.

В последний момент он шепнул Жомини:

— Ни куска мяса им... ни даже кости!

Радовиц заговорил с канцлером на отличном русском языке. Но речь его была полна многозначительных недомолвок:

— Цель моей миссии — выявить дружбу наших дворов. Рейхсканцлер просил меня побыть в роли курьера, способного точно донести до Берлина все ваши мудрейшие советы и пожелания.

— Ну, — засмеялся Горчаков, — как же я осмелюсь держать вас в скромной роли докладчика? Впрочем, доложите.

— Колоссальные вооружения Франции... — начал тот.

— Какие? — И Горчаков приставил к уху ладонь, вроде бы не слышав; фон Радовиц поспешно увильнул в сторону:

— Вы знаете, у нас так много осложнений...

— Догадываюсь, — ответил канцлер, разворачивая газету «Kölnische Zeitung» от 9 февраля. — Оказывается, вам, помимо Франции, нужна еще Бельгия и Голландия, и от Люксембурга вы тоже решили не отказываться. Но я никогда не поверю, что мой приятель Бисмарк стал бы серьезно говорить о таких вещах...

Горчаков решил про себя так: если посол совместит в одну строку русские дела на Балканах и немецкие дела в Европе, значит, он плохой дипломат. Но Радовиц оказался политиком тонким и угрем протаскивающим мимо горчаковских рогаток, ни разу не объединив эти две проблемы воедино. Горчаков понял: Бисмарк предлагает ему свои векселя, по которым Россия должна платить наличными, — за освобождение Болгарии немцы получают право на разгром Франции, но Россия не в таком низком ранге, чтобы на войну с Турцией испрашивать разрешения на Вильгельмштрассе... Радовиц вдруг словно с разбегу наскочил на глухую стенку: ни сочувствия, ни даже понимания. Горчаков имел вид старого рассеянного человека, которому все уже давно опостылело. Радовиц сказал ему, что народ России питает большие симпатии к народу Франции, и в Берлине с этим уже смирились, но плохо, что русские дипломаты в Европе также ратуют за Францию, и нельзя ли, спросил Радовиц, пресечь эти неуместные симпатии указанием свыше.

— Я и сам питаю симпатии к Франции, — был ответ...

Этим канцлер поставил точку. «Горчаков, — докладывал Радовиц Бисмарку, — испытывает крайнее неудовольствие, когда затрагивают

эту тему». Бисмарк слал по телеграфу инструкции: надо представить дело таким образом, что Россия, не желая изолировать Францию, сама же станет морально ответственна за то нападение Германии на Францию, какое вскоре случится. Но Горчаков от такой моральной ответственности уклонился.

— Государь вас ждет, — сказал он Радовицу...

Посол надеялся, что в кабинете царя рассеется горчаковский туман, а царя можно прозондировать и глубже. Кто будет владеть Константинополем? Как сложатся судьбы славян на Балканах, когда Турецкая империя развалится под ударами русской армии? Радовиц этими вопросами хотел вызвать царя на широкую дискуссию... Александр II сказал:

— О да! Мы не забываем о страданиях славян под гнетом султана, но у меня нет планов захвата Константинополя.

Эта фраза обрушила все. Русские не шли на спекуляцию торгового обмена и ради свободы рук на Балканах не желали покидать Францию в полном одиночестве перед нашествием. С ловкостью светского человека Александр II перескочил на обсуждение мелких проблем... Радовиц сообщил, что в немецком Торне польская газета дурно отзывается о русском самодержце; не желает ли царь, чтобы Берлин наказал немецких поляков?

— Я не служу в вашей полиции, — обозлился царь. — Петербургу безразлично, что творится у вас в Торне!

Разведка боем закончилась ничем — фон Радовиц вернулся в Берлин с пустыми руками. Бисмарк озлобленно хлопал ящиками стола, выгребая из них какие-то документы. Сказал:

— Горчаков повел себя, как барышня, которую гусар хочет поцеловать. Барышня обязательно скажет «нет», после чего ее тут же целуют... Благодарю вас, Радовиц! Почва для надежд все же имеется: именно в этой неопределенности переговоров. И потому, если мне удастся представить Францию стороной нападающей, мы смело можем начинать войну.

— Вариант не исключает риска: от платонических заверений в дружбе с Францией русские могут перейти к действиям.

— Чепуха! Балканы связали им руки в Европе...

Журналистика стала его любимым делом: было приятно сознавать, что газеты умеют стрелять, как пушки. Маскируя объект главной атаки, бисмарковская пресса вела пристрелку по флангам Парижа — по Бельгии, по Голландии, по Люксембургу, а правительства этих стран были настолько задержаны страхом перед Германией, что их газеты ласкали Германию, как божью невесту, — народы оставались в трагическом неведении опасности!

Мольтке исправно шантажировал бельгийское посольство:

— По ту сторону Вогезов опять раздаются воинственные клики. Не сомневаюсь, что французская армия, готовя нападение на рейх, двинется через ваше королевство. — За этой ложью он спрятал свои замыслы. — К сожалению, — добавил Мольтке, — у Германии до сих пор нет хорошей границы с Бельгией...

Наведя ужас на Бельгию, он удалился, позванивая шпорами и сверкая ярко начищенной каской. «Право силы — идейное благо!» — возвещал Мольтке, еще не подозревая, что оставляет завет для «белокурой бестии» в черном мундире эсэсовца.

Артиллерийская подготовка

— Какие новости? — спросил Горчаков утром.

— Да так... пустяки. Вот египетский хедив совсем разорился, — доложил Жомини, — и, по слухам, пакет его акций Суэцкого канала готовится скупить парижский банк Дервие.

Горчаков, отвернувшись в угол, с минуту молился перед иконой, беззвучно шевеля губами. Отмолясь, он продолжил:

— Вы говорите — парижский банк Дервие? Боюсь, как бы не опередили англичане... * Ладно, давайте сводку по Европе.

— Европы больше нет, — ответил Жомини. — Такое ощущение, что в ней остались лишь две силы: Россия и Германия... Французы, дабы обновить свои конюшни, стали закупать у немцев лошадей для артиллерии, а Бисмарк сказал нашему послу, что от этих закупок пахнет порохом.

— И много французы успели закупить?

— Лишь триста двадцать голов. В то время как сама Германия приобрела у Франции полторы тысячи лошадей. Из этого видно, что в выгоде остались немцы, а Бисмарк — лжец!

Горчаков нехотя полистал немецкие газеты:

— Какой согласованный концерт... узнаю руку опытного дирижера. Парижские, — сказал он, откладывая их в сторону, — я даже не стану читать. На Кэ д'Орсэ давно полыхает крыша, а герцог Деказ все еще боится разбудить жильцов в нижних этажах. Удивительное время, барон! Если солнце и вращается вокруг нашей земли, то скорее из любопытства...

* Опасения Горчакова оправдались: осенью 1875 года Дизраэли тайно получил от Ротшильдов 4 млн фунтов стерлингов, на которые и скупил пакет египетских акций компании Суэцкого канала, проделав всю операцию даже без обсуждения в парламенте — своей волей. Англия тогда же включила Суэцкий канал и Египет в сферу своей колониальной политики.

В середине дня Горчаков был на экзамене в Смольном институте, где в числе многих гостей находился и прусский военный атташе генерал Вердер. Канцлер в кругу юных девиц со стариковской снисходительностью воспринимал их танцы с ужимками, их прекрасную игру на арфах, декламацию и решение на доске алгебраических уравнений с двумя неизвестными. Краем уха он слушал, как бравый Вердер внушал царю вредные мысли:

— Франция вооружается, в ее полках раньше было по три батальона, теперь они вводят четвертый. Это даст французам увеличение армии сразу на сто сорок тысяч штыков...

При разезде гостей Горчаков сказал царю:

— Вердер не сказал вам, что фирма Круппа получила заказ на ежемесячную поставку четырехсот полевых пушек.

— Это правда? — с гневом спросил император Вердера. — Четыреста пушек в месяц — многовато даже для России... Уж я-то в таких делах понимаю: Крупп не отливает болванки с дыркой!

В конце марта европейские газеты осторожно намекнули, что предстоит визит русского царя и его канцлера в Берлин. Дядя оставался дядей, но его племяннику делалось уже тошно от быстрого роста соседней державы. Горчаков немало поработал, чтобы переломить в самодержце родственные настроения.

— Спасти Францию — спасти Европу, — доказывал он.

В отличие от Бисмарка, Горчаков имел славу «бархатного» канцлера: да, он был человеком мягким и добрым. Но еще никто не догадывался, что Горчаков умеет быть и «железным».

Тьера уже не было — президентствовал маршал Мак-Магон.

Страх перед Германией заставлял его не только скрывать правду от народа Франции, но даже Леффло, проводивший отпуск в Париже, не был осведомлен о нарастающей опасности.

В день отъезда в Петербург дипломат завтракал в русском посольстве; посол князь Николай Алексеевич Орлов сказал ему:

— Вы кстати, Леффло! Я как раз пишу Горчакову...

От стола, сразу от легкомысленных разговоров, перешли в кабинет. Орлов поправил на лбу черную повязку, скрывавшую красную язву вместо глаза, выбитого в Крыму французской пулей:

— Садитесь и читайте... секретов нет!

Из его донесения Леффло впервые уяснил для себя масштабы того, что скрывали от него в Париже. Орлов предупреждал Горчакова, что в планах Бисмарка 25 лет оккупации Франции и, кажется, еще 10 миллиардов контрибуции. Леффло отправился в Елисейский дворец, где

высказал Мак-Магону упрёки в недоверии к нему... Президент был вынужден сознаться:

— Все это так, Лефло! По одним сведениям, на нас нападут в мае, по другим — осенью... без объявления войны, как во времена Фридриха Великого. Вы едете вечерним поездом? Я умоляю вас приложить максимум стараний, чтобы Россия спасла нас...

От Парижа до Петербурга экспресс находился в пути 72 часа. Во время остановки в Берлине Лефло навестил Гонто-Бирон.

— Ради бога, генерал, — сказал он, входя в купе, — превзойдите сами себя, но добейтесь, чтобы Россия не оставила Францию на съедение. У вас есть козырь: война с Францией на этот раз станет войной всеобщей, а России сейчас невыгодно отвлекаться от дел балканских. Если старика Горчакова поймать на эту наживку, он зашевелится.

Лефло ответил, что на эту наживку фон Радовиц и хотел подцепить Горчакова, но канцлер «не клюнул», и фон Радовиц смотал свои удочки. Парижский экспресс покати́л Лефло дальше — на Варшаву, а виконт Гонто-Бирон прямо с вокзала отправился на ужин в английское посольство. Там его соседом по кувертам оказался фон Радовиц: подле него сидела жена — русская (отсюда и знание им русского языка). Сначала Радовиц отрицал подготовку Германии к войне, но, подвыпив, стал откровеннее:

— У немцев есть причины поторопиться. Чувство обиды, нанесенной вам Германией, это чувство не иссякнет даже в следующем поколении, а сейчас вы еще не имеете союзников по оружию... Зачем же нам жить в вечном страхе неизбежного отмщения? Лучше уж мы сами нападём на вас!

При этом госпожа Надежда Ивановна фон Радовиц (урожденная Озерова) выразительно наступила под столом туфелькой на штиблет посла Франции, и в этом жесте он усмотрел поддержку великой и могучей России... Гонто-Бирон осмелился возразить.

— Исходя из вашей аргументации, — сказал виконт, — мир в Европе вообще никогда не возможен. У всех стран есть исторические обиды на соседей, и всегда кто-то сильнее другого. Оставим Францию и посмотрим на Россию. — Оба невольно посмотрели на Надежду Ивановну, а женщина рассмеялась. — Эта страна намного сильнее Германии, и она тоже соседствует с вами, только с другого боку. Согласно вашему мировоззрению, Германии завтра же следует начать атаку на Россию.

— Это логично, виконт, — ответил фон Радовиц. — Но я тут, кажется, наговорил чего-то лишнего... Давайте условимся, что наша беседа носила частный характер двух приятелей.

Надежда Ивановна со значением глянула на посла:

— Безусловно! Иначе ведь и быть не может...

Париж уже через полчаса был извещен об этой беседе по телеграфу; заодно Гонто-Бирон переслал Деказу немецкие газеты, в которых до-деловому было сказано: «Высшие военные авторитеты вполне убеждены, что новая война неотвратима, и чем раньше, тем лучше... Только наш великий канцлер с помощью великого Мольтке может точно решить, когда придет время поставить Францию перед выбором между разоружением и войною!» Деказ подчеркнул в статье новое для него слово «разоружение» и с льстивой поспешностью привстал, когда ему объявили:

— Посол империи Германии, князь Хлодвиг ГогенлоэШиллингсфюрст, на вашем пороге...

Гогенлоэ словно подцепил тему прямо из газеты.

— Сейчас, — сказал он, — назрел вопрос о разоружении Франции, и, разоружившись, Франция может этим актом заверить Германскую империю в своем искреннем стремлении к миру.

— А ваш рейх разоружится вместе с нами?

— Увы, — отвечал Гогенлоэ, — Франции предстоит смириться с односторонним разоружением. Германия же, как всеми признанный оплот мира в Европе, должна остаться вооруженной...

Все это было сказано тихим и ровным голосом. Вечером Деказ встретился в ресторане с князем Орловым; одноглазый меланхолик, абсолютно трезвый, сказал герцогу в утешение:

— О-о, за Гогенлоэ не волнуйтесь! У него жена русская и любовница тоже русская. Наконец, он богатейший помещик нашей планеты, а поместья его расположены в русской Литве. Если он станет наседать на вас с этим идиотским разоружением, я намекну ему в приватной беседе, что Петербург решил секвестировать его имения в русскую казну... Тогда он станет чесать за ухом уже не вам, а Бисмарку!

Все эти дни герцог Деказ о каждом пустяке информировал Горчакова, умалчивая лишь о том, что они с президентом Мак-Магоном частенько бывали на приемах в германском посольстве, где провозглашали тосты за дальнейшее развитие франко-германской дружбы и... взаимопонимание. Пока они там угодливо любезничали, Бисмарк дал интервью журналистам Будапешта.

— Французы для Европы, — сказал он, — это то же самое, что краснокожие для Америки: их надо истреблять!

Горчаков, расслабленный, лежал на кушетке под овальным портретом покойной жены. Лефлю читал ему обращение Деказа, умышленно делая пропуски в тексте резких выражений, могущих задеть самолюбие российского канцлера. Горчаков, казалось, дремлет.

Вдруг он вздрогнул, глаза его оживились:

— Вы не все читаете мне! Это нехорошо...

Опытный стилист, он даже на слух заметил разрывы в тексте. Лефло высыпал из портфеля на стол груды своих бумаг.

— Франция в руках России, — сказал он. — Вы можете знать все, что думают в Париже... я ничего не скрываю! Деказ спрашивает — согласны ли вы обнажить меч за Францию?

— Это слишком сильно сказано, — засмеялся канцлер, скидывая ноги с лежанки. — Иногда лучше поработать языком, чтобы поберечь кровь... Оставьте мне письмо Деказа, я приобщу его к докладу императору. Заодно он вас примет.

Лефло еще никогда не видел царя таким раздраженным. Инициатива в европейской политике принадлежала сейчас Германии — самолюбие русского монарха было ущемлено. Мало того, немцы выставляли себя защитниками мира, царь хотел бы им верить, но в письме Деказа скрупулезно перечислялись факты подготовки Германией большой войны — и все это творилось без ведома Петербурга... Царь говорил сквозь зубы:

— Бисмарку доставляет удовольствие приумножать зловещие признаки. Сейчас он сделал в Вене заказ на сорок миллионов патронов к винтовкам Маузера — такую цифру не оправдать даже ссылкой на большие маневры. Я не осуждаю желание Франции усилиться. Если Германия развяжет войну, это ей предстоит делать на свой риск, а наши страны отныне имеют общие интересы. В случае возникновения опасности для своей страны вы сразу узнаете об этом лично от меня! Врасплох мы застигнуты не будем.

Лефло спросил царя о поездке в Берлин.

— Нет, я не еду в Берлин, — ответил Александр II. — Мы с Горчаковым лишь на два дня задержимся в Берлине проездом на Эмс. Я хочу честно поговорить с дядей. Задачи Горчакова гораздо сложнее — он берет на себя самого Бисмарка...

.....

Сатаня от препятствий, Бисмарк мрачнел. Военный атташе Вердер сообщал из Петербурга, что Россию совсем не радуют успехи фирмы Круппа, царь устроил ему головомойку, и теперь в русской столице почти не осталось людей, которые бы хорошо относились к немцам, а генерал Лефло сделался в Зимнем дворце своим человеком... Завтракая с Бюловым, канцлер сказал, что его котлы вот-вот взорвутся от перенасыщения паром. Он подцепил на вилку жирного балтийского угря и перебазировал его на тарелку любимого статс-секретаря.

— Приоткройте немножко клапан...

Бюлов встретил Гонто-Бирона милой улыбкой.

— У вас хорошее настроение? — спросил посол.

— Превосходное! Меня огорчаете только вы, виконт. Разве можно быть таким обидчивым? Мир с Францией на сто лет вперед — вот

единственное, о чем мы с канцлером мечтаем в тихие лунные ночи...
К чему ваши опасения?

Вечером на балу в доме графини Гацфельд германский кайзер дружески обнял французского посла.

— Виконт, — сказал он ему, — какая собака хотела нас посорить? Но теперь, кажется, все миновало...

Нет, не миновало! Известие о приезде царя с Горчаковым обжигало Бисмарка новой тревогой. На всякий случай, чтобы избежать ответственности за разжигание войны, железный канцлер подал прошение об отставке, ссылаясь на нервное состояние. Вильгельм I сразу же отверг его просьбу:

— Бисмарк, неужели я отпущу вас сейчас, когда в мире такое страшное напряжение? Почитайте, что пишут в газетах...

Это было глупо: Бисмарк сам писал в газеты!

Вдруг оживилась партия берлинских русофилов, воспитанных на давних традициях дружбы Берлина с Петербургом, и стала обвинять Бисмарка в том, что он свернул с укатанной и привычной колеи, переставив Германию на кривые рельсы союза с Веною; эти люди не забывали, что в 1813 году Пруссия была спасена русской армией, а Германия не может существовать без исконной дружбы с Россией... На берлинской бирже курс марки падал, словно ртуть в столбе барометра перед штормом; все немцы, будто сговорившись, кинулись в банки — обменивать бумажные деньги на золото. Весенние ярмарки в Германии обанкротились: торговцы, в чаянии войны, заключили сделки сроком на шесть недель — не больше. Злобный тевтонский джинн, выпущенный Бисмарком из древнего сосуда, обратился против него самого. По слухам канцлер знал, что Горчаков, при всей его осторожности, вдруг резко сдвинул демаркационную линию русской политики: теперь он заговорил о своем согласии на возвращение французам богатой рудами Лотарингии...

Разговор канцлера с Мольтке ничего не дал.

— Спорные вопросы разрубит меч, — твердил Мольтке.

Бисмарк бросил на стол связку ключей от сейфов.

— Хорошо бы мне... спянуть! Горчаков приедет, а с меня нечего взять. Я только посмеиваюсь...

Русский посол из Берлина отстукивал на берега Невы, прямо в уши Горчакова: «Более чем когда-либо я убежден, что обстановка является серьезной и вмешательство императора и его правительства необходимо для предотвращения печальных последствий». Пушки на Рейне уже заряжены и нацелены на Францию; в кругах дипломатов шепотом говорили, что существует план германского генштаба о полном уничтожении Парижа артиллерией. Из Бельгии тоже телеграфировали на

Певческий мост: «Страх перед германским вторжением подавил все иные наши заботы...»

Был первый день мая. Утром лакеи одевали старого русского канцлера. Его забинтовали в корсет, и грудь выпрямилась. Щелкнула челюсть, поставленная на место. После мытья огуречным рассолом лицо размягчилось. Был подан мундир. Муар андреевской ленты отливал нежной голубизной; звезды сверкали бриллиантами чистой воды; на шее Горчакова болтался драгоценный «телец» Золотого Руна... Что еще надо дипломату?

Треуголка. Перчатки. Трость. Платок. Табакерка.

— Карету! — крикнул Горчаков свежо и молодо.

Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира. Карета российского канцлера эффектно остановилась возле французского посольства; по Неве плыли глыбы ладожского льда.

Горчаков взмахнул шляпою перед Лефлю:

— Вполне официально заверяю правительство Французской республики, что Россия имеет основной политической задачей сохранение мира в Европе ради блага народов, ее населяющих, и будьте уверены, дорогой посол, мир мы обеспечим!

Начинался демарш — битва железных канцлеров.

Битва железных канцлеров

Царский вагон уже стоял на запасных путях Варшавского вокзала, путейцы простукивали его оси, лакеи из дворца свозили посуду, метрдотель загружал буфеты вином и закусками, когда вдруг встрепенулась Англия, боясь, что на чужом огне она не успеет согреть свои руки... За счет России, за счет усилий русской политики милорды решили сколотить капитал «миротворцев»: Англия примкнула к демаршу Горчакова. При этом Дизраэли не выступал против Германии, — нет, он лишь видоизменил форму борьбы против России, отнимая у нее славу защитницы мира, чтобы ослабить ее международный авторитет. Дизраэли предупредил Викторину: «Возможен союз между Россией и нами ради данной конкретной цели», — ради того, чтобы не допустить немецкие армии на берега Па-де-Кале.

8 мая царский поезд тронулся в путь. Май выдался теплый, леса уже шумели листвой, ярко зеленела трава на березовых полянах. Миновали дачные пригороды. Горчаков открыл окно... Перед ним, понукая белого арабского скакуна, мчалась в высоком седле стройная амазонка. Ветер сорвал с женщины шляпу, разметал длинные волосы. Какие-то две-три минуты она неслась вровень с поездом, Горчаков даже разглядел ее молодое возбужденное лицо. Потом до-

рогу всаднице преградила река, и она растаяла вдалеке, как дивное видение юности.

Горчаков подумал, что эта женщина, видевшая в окне вагона обрюзглого старика, конечно же не догадалась — кто он таков и куда он едет. Впервые в жизни канцлер смутно осознал себя исторической личностью: ныне от его слов зависело будущее Европы, будущее всего мира и, может быть, даже детей и внуков этой беззаботной всадницы...

Остерегаясь простуды, он закрыл окно. Локомотив истошным криком покрывал великие русские пространства.

Берлин! Вдоль идеально чистого перрона выстроились оркестры, гремели могучие литавры, гулко ухали медные тарелки, воинственные флейты повизгивали как поросята. Ветер раздувал серые пелерины богов и полубогов прусского генштаба. В окружении статс-секретарей рейхсканцелярии истуканом высился железный канцлер, совиным взором озирая — поверх касок с шишаками — сутолоку встречающих.

В дверях вагона показался и Горчаков, широко улыбаясь, размахивая цилиндром и тростью.

— Он, как всегда, — сказал Бисмарк, — с улыбкой примадонны на устах и с ледяным компрессом на сердце...

Два канцлера протянули друг другу руки.

— Вы, — напомнил Бисмарк, — получили в соседи сильную Германскую империю, с которой предстоит отныне считаться.

Улыбка не сходила с уст князя Горчакова:

— Говорят, что вы мой ученик, но, кажется, превзошли меня, подобно Рафаэлю, который превзошел своего учителя Перуджино. На правах старого мэтра я все-таки поправлю ваш неудачный мазок на роскошном полотне германского величия... Желая вам получить в соседи сильную Францию, с которой вам, немцам, отныне тоже предстоит считаться.

Александр II обошел строй почетного караула, составленный из померанских гренадер. В церемонии представления дипломатическому корпусу канцлер отвечал невнятно, слабо пожимая руки послов. За его спиной голенасто вышагивал Бисмарк в ботфортах... Музыка гремела не умолкая.

За обедом в королевском замке кайзеру, чтобы он не разболтался с племянником о своем миролюбии, подавали одно блюдо за другим с невероятной быстротой. Вильгельм I едва успевал отведать одно, как сбоку подставляли другое. Кажется, в этом случае руками лакеев управлял сам Бисмарк. Но царь за столом все же провозгласил, что заботы Франции о своей безопасности не дают Германии юридического повода для нападения на нее. Кайзер поспешно заверил племянника, что в Берлине никто и не помышляет о войне.

— Но если война случится, — ляпнул он, — я снова встану во главе пруссов... Тьфу, дьявол, не могу отвыкнуть! Я хотел сказать: во главе непобедимой германской армии.

При этом старец чихнул так, что оросил ордена на груди своего племянника, а мельчайшие брызги, словно из пульверизатора, обдали и железного канцлера, хотя он сидел на почтительном расстоянии. В конце пиршества подали печеные каштаны, которые было трудно есть, не снимая белых перчаток, обязательных по этикету Потсдама.

Горчаков участливо спросил Бисмарка:

— Говорят, вы стали большим домоседом?

Ответ Бисмарка имел «двойное дно»:

— Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался. Все несчастья происходят от того, что мы не умеем сидеть дома...

Оставив царя с кайзером, канцлеры покатали в Радзивилловский дворец, о котором Бисмарк сказал, что хочет купить его для своей резиденции. Старые вязы, растущие перед окнами, рассеивали блеск солнца, создавая внутри комнат приятные зеленоватые потемки... Бисмарк хмуро предложил:

— Может, для начала выпьем?

— Э, Бисмарк! — ответил Горчаков. — Это только в России сначала выпьют, а потом подерутся. Давайте видоизменим этот порядок: сначала подеремся, а потом и выпьем...

Бисмарк сосредоточенно раскурил трубку:

— Я добр с друзьями и жесток с врагами. Если вы на потеху Европе решили всколотить мне на шею, чтобы прокатиться верхом, то я, ваш доверчивый ученик, не стану сносить оскорбления. Я сброшу вас! А это вызовет общий смех...

— Молодой человек, — произнес Горчаков (Бисмарку в этом году исполнилось ровно 60 лет), — не забывайте, что войны возникают от слов, тихонько сказанных дипломатами. А вы кричите даже слишком громко... Но любой ваш конфликт с Парижем сразу же отзовется в Петербурге! Вы не думайте, что монархические принципы нас удержат: Россия-монархия через голову Германии-рейха протянет руку дружбы Франции-республике.

Бисмарк отвесил ему издевательский поклон:

— Слава богу, *Roma locuta est**. Но еще на вокзале я заметил, с каким апломбом вы размахивали своей палкой, словно хотели этим сказать: «Вот я вас всех!»

— Пусть плотнее закроют двери, — велел Горчаков. — Кажется, Бисмарк, мы будем слишком откровенны.

* Рим высказался (*лат.*). Смысл выражения таков: после слова римского папы всякие возражения неуместны.

До этой весны, весны 1875 года, Бисмарк катил Германию как вагон по рельсам. Только сейчас, впервые в жизни, он столкнулся с коалицией России, Франции и Англии...

Накануне приезда Горчакова газеты Европы стали открыто писать, что Германия готовит европейскую катастрофу, и это произвело на людей ошеломляющее впечатление. Народы вдруг узнали, что над их жизнью занесен топор. Потому-то визит Горчакова в Берлин казался тогда спуском в кратер бушующего вулкана — для европейцев он стал событием международной важности...

Бисмарк на все время переговоров запретил журналистам соваться в министерство. Никто не должен знать, что железный канцлер рас-терян и разоблачен...

О военной угрозе сначала он рассуждал так:

— Это придумали лейтенанты, которым нечего делать в казармах, они шляются в казино и там начинают хвастать. Газеты раздули болтовню лейтенантов, а Европа встала на дыбы. Но я при всем желании не могу редактировать и газеты! Обеспечить мир совсем не трудно, — сказал Бисмарк, — для этого надо перевешать редакторов всех газет.

— Ваше мнение, — отвечал Горчаков, — лучше присыпать щепоткой перца. Ведь не газеты же задели честь Франции!

— Честь — понятие весьма отвлеченное.

— А знамя, — напомнил Горчаков, — тоже отвлеченное понятие. Красиво раскрашенную тряпку приколачивают к палке гвоздями. Однако за эту тряпку люди идут на смерть...

Бисмарк с трудом отыскивал аргументы защиты:

— У вас две головы — азиатская и европейская, но вы по старости лет пугаете их: европейская уткнулась в Азию, азиатская же косит на Европу. Определите свое значение точно — кто вы? В прошлый раз, когда я гостил в Петербурге, я, как друг, убеждал вас, что для России важнее дела восточные... Если вам так уж хочется драки, так забирайтесь на Балканы и деритесь там с турками! Ради чего, Горчаков, вы приехали сюда, шокируя берлинское общество старомодным галстуком?

В словах они не стеснялись. Разговоры велись на ножах. Английский посол Одо Россель застал канцлеров на второй день спора; он рассказывал, что Бисмарк был похож на раздавленную жабу, угодившую под колесо телеги, а Горчаков приятельски (но сильно) хлопал его по спине ладонью, говоря:

— Вы мне противны с вашими нервами! Кого решили обмануть? Неужели меня? Но для этого, дорогой друг, вам следует целый год просыпаться на часок раньше моей светлости. А я привык вставать при первых лучах зари... Не сваливайте, Бисмарк, свою личную вину на биржевую панику!

Бисмарк озлобленно огрызнулся:

— Вы не знаете этой публики! Наконец, еврей Ротшильд... это, я вам скажу, бесподобная скотина. Ради спекуляций на бирже он готов похоронить всю Европу, а виноват... я?

Бисмарк угрожал. Он отстреливался. Иногда сам бросался в штыки. Но было видно, как из железного канцлер превращается в ватного... Горчаков напомнил, что вчера император Германии уже дал русскому царю «определенные заверения в том, что не имеется в виду никаких агрессивных действий по отношению к Франции».

— Наконец, — добавил Горчаков, — ваш кронпринц Фридрих сознался, что вы убедили его в неизбежности войны с Францией, а теперь он огорчен, что послушался вас...

Горчаков, как тонкий психолог, с интересом наблюдал за поведением Бисмарка. Газетчики, лейтенанты, банкиры были уже свалены Бисмарком в выгребную яму — теперь он отправил на помойку и кронпринца Фридриха с его женою, дочерью английской королевы Виктории, а потом, спасая остатки своего престижа, канцлер задал жару и всем прусским генералам:

— Я не генерал, слава богу, а значит, не такой осел, как эти господа... Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем и мне лишние лавры в суповой тарелке? Назовите мне хоть один объект, который бы Германии необходимо было завоевать?

Горчаков сказал, что иногда складывается впечатление, будто Германией управляет уже не канцлер, а начальник прусского генштаба Мольтке... Бисмарк пришел в бешенство.

— Мольтке, Мольтке, Мольтке! — закричал он. — Всюду, куда ни придешь, везде заденешь этот скелет, бренчащий костями. А что он понимает в политике?..

Бисмарк полностью дезавуировал Мольтке в политике, обозвав его молокососом, а Горчаков с иронией заметил:

— Если Мольтке такой идиот, каким вы его изобразили, то мне кажется, для Германии в высшей степени опасно держать его на посту начальника генерального штаба...

После этого он завел речь о Лотарингии:

— Пока только о Лотарингии, не касаясь Эльзаса, где, ваша правда, среди населения имеется тяга к Германии. Я слышал, вы посредством химии научились избавляться от избытка фосфора, которым так богаты лотарингские руды. Но из-за промышленного сырья для Круппа я не стал бы ссориться с Францией...

Намек был опасный. Бисмарк обмяк, словно шар, из которого выпустили воздух. Железный канцлер проиграл отбой, сделав заявление, что «не существует никакого намерения нападать на Францию и что в этом отношении у него вполне определенные убеждения, которыми

и диктуются его действия» (так записал позже его речь Горчаков). Но, униженный своим поражением, Бисмарк все же пожаловался царю на Горчакова.

— Если ему, — говорил он, — так уж хочется славы миротворца, так зачем же клевать мне печенки? Чтобы не портить отношений с Россией, я согласен хоть завтра начеканить пятифранковые монеты с надписью на ободочке: Горчаков — защитник мира! Наконец, я не пожалею бенгальских огней, чтобы осветить вашего канцлера в Париже, когда он выступит там в варьете с крыльями херувима за плечами...

Царь понял, что за шутками стоит нечто большее — гнев! Он дал ответ, не лишенный доли лукавства:

— Не принимайте всерьез старческое тщеславие...

Горчаков был измучен столкновением не меньше Бисмарка. Он сознавал, что Германия отошла на исходные рубежи и на время Европа спасена! Россия уже давно не имела такого политического веса, какой обрела в эти два майских дня, когда мокрая рубашка прилипла к спине Горчакова... В борьбе за мир его поддержали все европейские государства. Все, кроме Австро-Венгрии: граф Андраши не хотел портить отношений с Берлином. Горчакова в день отъезда навестил английский посол Одо Россель и поздравил с плодотворным успехом его миссии. Но при этом он чересчур горячо советовал продолжать (!) натиск на Бисмарка.

— Для этой цели, — сказал он, — вы получите в свое распоряжение *всю силу Англии*, включая и флот королевы.

Горчаков был воробей стреляный, и на мякине его не проведешь. Он сразу догадался: Англия желает усилить конфликт между Россией и Германией, но канцлер слишком хорошо знал, где в политике следует остановиться.

— Благодарю, — ответил Горчаков с ядом, — вы, кажется, приложили руку к тому месту, где находится эфес шпаги. Но вы забыли посмотреть — вложена ли она в ваши ножны...

Дипломатическая интервенция в Берлине закончилась. Можно ехать в Эмс и спокойно пить дурацкий шпрудель. Горчакову осталось только оформить свою победу. 13 мая русский канцлер оповестил Европу телеграммой по-французски: «Сохранение мира обеспечено». Но слово *maintien* (сохранение) телеграфист переделал на созвучное *maintenant* (теперь).

Александр II тоже послал телеграмму: «Я увожу из Берлина все желаемые гарантии». В первом слове *J'emporte* телеграфист изменил две буквы, и вместо «я увожу» у него получилось *J'emporte'* (забияка). Таким образом, когда царь с Горчаковым покидали Берлин, в газетах мира появились две телеграммы странного содержания:

1. ТЕПЕРЬ мир обеспечен, и

2. ЗАБИЯКА в Берлине дал мне желаемые гарантии.

По воле чужой рассеянности вышло так, что русские визитеры закатили на прощание по звонкой оплеухе — и кайзеру и Бисмарку! Кайзер индифферентно смолчал, а Бисмарк стал бушевать, говоря, что подобного скандала он никогда не забудет. С этого момента для Бисмарка начался кошмар — тот самый, который он назвал «кошмаром коалиций»!

Я пишу эти строки в 1975 году, когда исполняется столетний юбилей со дня «битвы железных канцлеров». Политические кризисы — не редкость в нашем мире. Но кризис 1875 года вошел в историю человечества как небывалый. О нем написаны целые библиотеки. К изучению его обстоятельств историки возвращались множество раз, ибо в финале кризиса хорошо просматривалось будущее всей Европы.

Чего же достиг Горчаков за эти два дня в Берлине?

По сути дела, он избавил Европу от страшной бойни, тем более что Россия к широкой войне на континенте еще не была подготовлена основательно. В этом его великая заслуга не только перед своим народом, но и перед всем человечеством...

Неофашисты на Западе ныне проводят мысль, что в 1875 году Бисмарк совершил непростительную для него ошибку: Германия, по их мнению, не должна была уступать русской дипломатии. Если бы Бисмарку удалось переломить волю Горчакова и если бы Германия завершила тогда полный разгром Франции, то немцев бы миновали поражения 1918 и 1945 годов, а «цели, которые ставил перед собой Гитлер, были бы достигнуты давно... Немцы, — сетуют фашистские историки, — были слишком мирными, слишком простодушными, слишком порядочными. Еще и сегодня они несут наказание за эту вину».

Но в том-то и дело, что процесс истории необратим; Горчаков выиграл схватку с германским милитаризмом, и последствия его внушительной победы сказались в будущем мира.

Заключение третьей части

Когда Горчаков жил в Ницце, терпеливо ожидая смерти, один заезжий русский записал его рассказ: «Однажды утром я получаю три депеши от консула в Белграде, он извещал меня, что турки идут на Сербию кровавым следом, все выжигают, все уничтожают... Я встал и с полной решимостью заявил: «Ваше величество, теперь не время слов — наступил час дела... посол наш в 24 часа должен оставить Константинополь»».

Итак, решение о войне было принято!

...Горчаков по-стариковски зябнул. Он сидел, отгородясь от сквозняков тонкими бумажными ширмами, перед ним висели раскаленные проволочные спирали старомодных курильниц, источавшие нежный аромат лаванды. Задремывая, канцлер вдруг увидел себя маленьким на руках своей бабушки Анны Ивановны, урожденной дворянки Пещуровой; они едут на бричке среди заливных лугов родимой Псковщины (кажется, в захудалое Лямоново, что лежит по соседству с пушкинским Михайловским), и ему, мальчику, так приятно доброе тепло, исходящее от большого и рыхлого тела бабушки, так забавно видеть машущие хвосты лошадей и порхание бабочек над ромашковыми полянами...

Молодой секретарь Бобриков прервал чтение:

— Не утомил ли я вашу светлость своим докладом?

— Да нет, вы не утомили меня. Это я утомил Европу своим долголетием, — сказал Горчаков, словно оправдываясь. — Мне ведь уже восемьдесят... пора и под траву! Предчую, — заговорил он далее, — что уйду из политики, провожаемый бранью недругов и завистников. Но патриоты отечества не могут отнестись ко мне дурно. Историкам будущего предстоит кропотливая работа, дабы разобраться в сложности мотивов моей политики. Но я верю, что в потомстве установится на меня взгляд уважительный. Я ведь все делал исключительно во благо России и своего народа... Слабости? Ну, — горько засмеялся Горчаков, — у кого же их не было? Ошибки-то? Согласен, ошибок я сделал немало. Господи, да кто же безгрешен? Только одни трутни, ничего не делающие, всегда остаются правы...

Пришло время отвесить Горчакову последний земной поклон. Мы, читатель, расстаемся с ним в поезде, который на полных парах спешит в румынский Бухарест.

Поглядывая в окно, где так часто менялись картины пейзажей, канцлер сказал:

— Ах, как мы несемся! Я ведь еще застал то блаженное время, когда дилижанс от Страсбурга до Парижа тащился двенадцать дней, за что с меня в конторе Турн-и-Таксисов содрали целых сто франков, а от Берлина до Кенигсберга, помню, ехал четверо суток и с наступлением сумерек задыхался от нестерпимой юношеской тоски. Мне так хотелось любви. И чтобы я любил тоже... О боже, как давно это было!

Канцлер ехал на войну.

— Я уже был повивальной бабкой при рождении дитяти — Румынии, теперь, чую, предстоит в громе пушек принять роды нового государства, которое вечно будет благодарно России...

Он имел в виду Болгарию!

Начиналась война. Война подлинно народная и священная. Русский человек оставлял пашеское орало и брался за меч, дабы встать

на защиту угнетенных... Горчаков (пусть это не покажется странным) был против этой войны. До последней минуты он рассчитывал, что освобождение славян и создание независимой Болгарии возможны методами бескровной дипломатии, при поддержке цивилизованных государств. Но, увы, никто в Европе не пожелал помочь России в ее благородном подвиге. Напротив, кабинеты Лондона, Вены и Берлина старались поставить русскую армию под строжайший контроль...

Зато теперь, когда война стала явью, Горчаков решил быть вместе с армией. Он, глубокий старик, хотел разделить ее тяготы, ее неудачи и победы. До самого взятия Плевны канцлер оставался в рядах войск, обеспечивая им дипломатическую защиту. Александр Михайлович не раз выражал желание умереть именно здесь, в центре спасенной Болгарии, среди радушного и милого народа, чтобы его увезли домой на пушечном лафете как солдата великой российской армии...

Мы, читатель, прощаемся с Горчаковым.

Из прошлого столетия доносится до нас его усталый голос — голос русского любомудра и патриота отчизны:

— Европой я могу только любоваться, будучи ее нечаянным гостем. Но жить и работать по-настоящему я способен только в России, чтобы умереть за Россию, чтобы мои бранные кости навсегда остались в этой милой сердцу русской земле, то зеленой весной, то заметенной зимними выюгами... Мне не уйти от этой земли! И пусть хоть кто-нибудь и когда-нибудь постоит над моей могилой, попирая прах мой и суету жизни моей, пусть он подумает: вот здесь лежит человек, послуживший Отечеству до последнего вздохания души своей...

И снова вспоминается тютчевское — неповторимое:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Вместо эпилога ПОСЛЕДНИЙ КАНЦЛЕР

(ОПЫТ АВТОРСКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ)

Горчакова уж не было в живых, когда Бисмарк говорил:

— Тяжело и скверно у меня на душе. За всю жизнь я никого не сделал счастливым — ни друзей, ни семью, ни даже себя. А зла причинил очень много. Я был причиною трех войн, по моей милости убиты тысячи не-

винных людей, о которых еще плачут матери и жены в разных странах. Во всем этом я дам отчет на небесах, но зато теперь не имею радостей жизни... Если и напишу мемуары, пусть их печатают после моей смерти, а читатели, закрыв книгу, скажут: «Ух, какой был подлец!»

В год смерти Горчакова люди, помогавшие Гитлеру прийти к власти, были уже взрослыми: Гинденбургу исполнилось 37, а Людендорфу 18 лет. При Бисмарке же вышли из пеленок будущие гитлеровские маршалы — Рундштедт, Паулюс, Гальдер, Кейтель, Манштейн, Гудериан и прочие.

Между рождением Горчакова и смертью Бисмарка (1798—1898) миновало ровно столетие, в конце которого Германия создала мощный аппарат милитаризма, развязавший Первую мировую войну; в финале этой войны по мостовым Европы покатались три короны древнейших династий — Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов... Дети своего класса и своего времени, не этого ожидали канцлеры, но такова была закономерность развития бурной эпохи капитализма. Почувяв ослабление мысли и памяти, Горчаков ушел из политики сам. Бисмарк из политики выгнали; но, оказавшись за ее бортом, он до конца жизни цеплялся за обломки прежней власти. Прах канцлера Горчакова перевезли в Санкт-Петербург, предав земле на кладбище Троицко-Сергиевой обители. Бисмарк завещал похоронить себя не в столице, а на высотах Тевтобургского леса, в старой Саксонской земле — там, где Германик сражался еще с римлянами, где происходила исконная многовековая борьба славян с немцами.

На вопрос: «Что бы делал Бисмарк сегодня?» — Гитлер отвечал: «При его политическом уме он никогда не стал бы вступать в союз с государством, обреченным на гибель», то есть с Россией. Но в том-то и дело, что железный канцлер был намного умнее фашистского фюрера. Бисмарк видел в России страну с великим будущим, с почти нетронутыми природными ресурсами, с умным и активным народом, который разгромит любого агрессора и завоевателя... Бисмарк предрекал:

«Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских... Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это — неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей...»

Канцлер упрятал в архивы древний клич тевтонов *Drang nach Osten*; Вильгельм II заново отточил этот девиз как старое идейное оружие пангерманизма; а Гитлер перенял его из рук монарха: «Мы начинаем там, где Германия кончила шесть веков назад...»

Так определилась будущая трагедия немцев!

1882 год — начало правления кайзера Вильгельма II, который (как говорили немцы) хотел быть на каждой свадьбе — невестой, на каждых крестинах — младенцем, на каждых похоронах — покойником. Бисмарк и кайзер принадлежали двум различным эпохам, их разделяли 44 возрастных года. Уже пришло время адмирала Тирпитца с его дредноутами, цеппелинами и подводными лодками; то, что для Бисмарка являлось новизной, Тирпитц, как и кайзер, относил к числу «стариковской чепухи»... Конфликт был неизбежен!

5 марта 1890 года кайзер поднялся на кафедру Бранденбургского ландтага (плоский лобик, из ушей торчала вата, сухую руку он искусно скрывал под гусарским доломаном).

— Всех, кто вздумает чинить препятствия моим желаниям, я сокрошу вдребезги, — объявил он народу.

Бисмарк понял, в кого этот камень запущен. Но он уже закоснел в собственном непомерном величии — он, великий Бисмарк, который при жизни видел, как Германия водружает ему памятники в граните и бронзе. «Я, — говорил канцлер, — наблюдал трех королей нагишом и могу сказать, что их величества красотой не блещут. Что же касается нынешнего красавца, то он далеко не орел, каким возомнил себя!» Это еще мягкое высказывание, а другие попросту нецензурны... Недовольство кайзера Бисмарком вызревало давно. Однажды канцлер не доложил о передвижении русских войск возле австрийских рубежей, и кайзер узнал об этом из генерального штаба.

— Россия идет войной, а вы скрываете это, Бисмарк! Немедленно поставьте всю армию в боевую готовность, срочно предупредить Вену... Пусть только сунутся эти чурбаны!

Бисмарк справедливо заметил, что весной, в связи с маневрами, русская армия ежегодно перемещается близ границ, и нервная позиция Берлина к маневрам России может лишь ухудшить отношения с Петербургом, и без того испорченные; при этом он трахнул кулаком по столу, а Вильгельм II сказал:

— Только не запустите в меня чернильницей!

— Если вы станете дергать меня по всяким пустякам, то мне лучше просить отставки...

Кайзер промолчал, а Бисмарк не понял его молчания. Через день из дворца прибыл генерал-адъютант фон Ганке и напомнил канцлеру, что он хотел требовать отставки.

— Я сам буду сегодня у императора...

Во дворце ему сказали:

— Его величество отъехал из дворца...

На следующий день об отставке напомнили. Вильгельм II утвердил отставку без промедления, помазав на прощание Бисмарка титулом

герцога Лауэнбургского (в честь Лауэнбурга, который он под пьяную лавочку перекупил у Австрии). Бисмарк в ярости сорвал со стены кабинета портрет кайзера и велел отправить его во Фридрихсруэ — на конюшни:

— Под хвост кобылам — только там ему и место!

Вильгельм II, избавясь от опеки железного канцлера, повел себя как выпущенный на свободу арестант. В одном из залов замка он устроил пивную и назвал гостей, перед каждым из них красовались пивные бутылки, кружки и сигары, а кайзер до часу ночи упивался своим красноречием. Но для большинства немецкого народа, жившего в неведении интриг, отставка Бисмарка казалась непоправимым бедствием. Германия сроднилась с этим громким именем, которое сопутствовало ей на протяжении жизни целого поколения. Улица перед домом канцлера с утра до ночи была заполнена толпами, и стоило Бисмарку появиться в окне, как его встречали овациями и рыданиями. Кайзер в резкой форме велел канцлеру побыстрее убираться из столицы. Бисмарку это было не так-то легко сделать, ибо предстояло упаковать 300 ящиков одной только переписки и 13 000 бутылок вина. Когда 29 марта он тронулся прочь из Берлина, полиция с большим трудом прокладывала дорогу его карете. На вокзале канцлера провожал почетный караул, который он пропустил мимо себя в церемониальном марше. Вдоль перрона выстроился дипломатический корпус. Бисмарк, гримасничая, сказал иностранным послам:

— Поздравьте меня — комедия кончилась...

Он отъехал во Фридрихсруэ, оставив после себя вооруженную до зубов Германию и Европу, похожую на военный лагерь. «Мы не должны забывать, — писал Энгельс, — что двадцать семь лет хозяйничанья Бисмарка навлекли на Германию — и не без основания — ненависть всего мира... Бисмарк сумел создать Германии репутацию страны, жаждущей завоеваний... Теперь уже никто в Европе не доверяет «честным немцам...»

Всем известны и слова Ленина: «Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело... Объединение Германии было необходимо... Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контрреволюционно, по-юнкерски». Однако после кризиса 1875 года, измученный «кошмаром коалиций», Бисмарк чудовищно запутал германскую политику в противоречиях и договорах с соседями — страховочных и перестраховочных: здесь он обнаружил свою дипломатическую слабость! Но «русский вопрос» всегда оставался для него главнейшим вопросом внешней политики. Канцлер никогда не забывал, что Германия может следо-

вать, куда ей хочется, лишь до тех пор, пока из Петербурга не крикнут «стоп!» — и тогда Германия замрет на месте. Самый реальный политик мира, Бисмарк в частной беседе с графом Шуваловым выразился честно:

— В критический момент я брошу Австрию на произвол судьбы — этим я верну Берлину расположение Петербурга...

Бисмарк не раз выступал с предупреждением, что мировая война завершится для Германии катастрофой; он говорил, что Германия непобедима до той поры, пока не столкнётся с Россией, в груди которой бьется два сердца — Москва и Петербург.

— Будем же мудры, — взывал он к рейхстагу, — и побережем наших славных гренадеров. А если война на два фронта все же возникнет, то в конце ее ни один из немцев, отупевших от крови и ужасов, уже будет не в состоянии понимать, за что он сражался...

Глубоко оскорбленный отставкой, канцлер в тиши Фридрихсруэ днями поглощал крепкие вина, а по ночам делал себе обильные впрыскивания морфия. Он стал алкоголиком и наркоманом. Бисмарк почти никогда не спал. Однако голова его оставалась свежей. Он еще силен — через газеты, верные ему! — отсрочить крах империи, им же созданной, и призывал Берлин улучшить отношения с Россией, но ему не внимали... Советский академик Ф. А. Ротштейн пишет: «Его брутальная беспощадность к противникам... не уменьшилась и после отставки. Он вел непрерывную кампанию против своих преемников и императора, желая показать им свое превосходство и их ошибки, не останавливаясь даже перед раскрытием важнейших государственных тайн... Однажды у Вильгельма II возникло желание арестовать его и предать суду за антигосударственное поведение». В канун смерти Бисмарк посетил Гамбургский порт, где в грохоте лебедек и цепей дымили гигантские лайнеры, легко и быстро пересекавшие океаны. С горечью он признался:

— Да, это совсем иной мир. Совсем новый...

В этом новом мире ему уже не оставалось места. Бисмарк ругал врачей за то, что не дают ему перед смертью как следует напиться. Он откупоривал шампанское, поглощал любимые чибисовые яйца и, нещадно дымя трубкой, рассуждал о политике. Сейчас он был склонен вернуть Франции даже Лотарингию — как залог примирения с нею. Уже стоя над гробом, он еще говорил, что Германия без дружбы с Россией погибнет, а вся его политика (вся!) была построена исключительно с учетом того, что Россия непобедима. Если же теперь немцы решили думать о России иначе, ему осталось только одно — умереть!

В июле 1898 года он умер, и не было такой газеты мира, которая не отметила бы эту смерть «крепчайшего дуба германского леса».

Начинался XX век — воистину железный век, а Германия выходила на старт мировой войны.

Идут века, шумит война,
встает мятеж, горят деревни,
а ты все та ж, моя страна,
в красе заплаканной и древней, —
доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

Сейчас уже мало кто знает, что в 1900 году в Москве был сооружен памятник железному канцлеру. Справедливости ради замечу, что Россия памятника Бисмарку никогда не ставила — его соорудила немецкая колония, а в 1914 году москвичи обвязали его веревкой за шею и свергли с пьедестала наземь.

Бисмарк не был другом нашей страны, но в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Бисмарк, объективно рассуждая, стал вроде нашего союзника. В самой логике его речей таилась угроза фашистским захватчикам. Советское радиовещание на берлинской волне часто цитировало Бисмарка, предупреждавшего немцев, что любая попытка завоевания России закончится для них могилой. Имя канцлера было слишком авторитетно в Германии, а его слова верно попадали в цель, не потеряв политической актуальности. Национальный комитет немецких военнопленных «Свободная Германия» выступал против фашизма под черно-бело-красным знаменем старой кайзеровской Германии, которую создал Бисмарк.

На Тегеранской конференции 1943 года Уинстон Черчилль настаивал на возвращении Германии в первобытное состояние, желая украсить карту Европы феодальными лоскутками прежних самостоятельных баварий, ганноверов, гессенов, саксоний и мекленбургов. Сталин энергично воспротивился этому, ратуя за сохранение единства немецкой нации. Бисмарк, создавший это немецкое единство, конечно же, не мог предполагать, что неизбежный ход истории расколется его империю на два социальных лагеря — и на западе ее немцы-реваншисты сохранят «гордые воспоминания о битвах», а на востоке немцы-демократы скажут:

— Н и к о г д а б о л ь ш е!..

МИНИАТЮРЫ

Дорогой Ричарда Ченслера

Не спору, что многие впечатления юности теперь померкли в моей памяти, но иногда, как в мелькающих кинокадрах, освещаются краткие мгновения: атаки подводных лодок, завывания вражеских пикировщиков, а вровень с нашими эсминцами Северного флота шли конвойные корветы британского флота; рядом с нашими выпелами развевались тогда и флаги королевского флота Великобритании. Только потом, уже на склоне лет, анализируя минувшее, я начал понимать, что мы шли путем, который в давние времена проложил Ричард Ченслер...

С чего же начать? Пожалуй, с Шекспира!

Шекспироведы давно обратили внимание на одну фразу из комедии «Двенадцатая ночь» — фразу, которую с упреком произносит слуга Оливии сэру Эгчику: «Во мнении графини вы поплыли на север, где и будете болтаться, как ледяная сосулька на бороде голландца...» Ясно, что этим голландцем мог быть только Виллиам Баренц, переживший трагическую зимовку на островах Новой Земли. Но Шекспир наверняка знал о том, что в XVI веке Англия верила в существование загадочной Полярной империи; король Эдуард VI даже составлял послания к властелину сказочной страны, которой никогда не существовало...

Будем считать, что предисловие закончено.

Впрочем, мы начинаем рассказ как раз с того времени, когда до рождения Шекспира оставался всего десяток лет.

— Да, — рассуждал Кабот, — стоит только пробиться через льды, и мы сразу попадем в царство вечной весны, которое освещено незакатным солнцем, люди там не знают, что они ходят по земле, наполненной золотом и драгоценными камнями...

Себастьян Кабот был уже стар. В жизни этого человека, картографа и мореплавателя, было все — и даже тюремные цепи, в которые его, как и Христофора Колумба, заковывали испанские короли. Кабот мно-

го плавал — там, где европейцы еще не плавали. Навестив холодные воды Ньюфаундленда, кишащие жирной треской, он дал беднякам Европы вкусную дешевую рыбу, а сам ошибочно решил, что открыл... Китай! Впрочем, и Колумб, открывший Америку, твердо верил, что попал в... Индию!

Познание мира давалось человечеству с трудом.

Ныне платье Кабота украшал пышный мех, на груди его висела тяжелая золотая цепь. Пылкий уроженец Италии, он служил королям Англии, которая еще не стала могучей морской державой, а лондонские купцы алчно завидовали испанцам, этим вездесущим идальго, отличным морякам и кровожадным конкистадорам. Кабот преподавал космографию юному Эдуарду VI, он стучал драгоценным перстнем по мифическим картам, где все было еще неясно, туманно, таинственно.

— Вашему величеству, — утверждал он, — следует искать новые пути на Восток, куда еще не успели забраться пропахшие чесноком испанцы, пронирливые, будто корабельные крысы.

Король соглашался, что треска вкуснее селедок:

— Но я не откажусь от золота, мехов и алмазов...

Лондонские негоцианты образовали компанию, для которой купили три корабля. Наслушавшись пламенных речей Кабота, утверждавшего, что через льды Севера можно достичь Индии, купцы посетили королевские конюшни, где за лошадьми ухаживали два татарина. Их спрашивали: какие дороги ведут в Татарию и какие в «Китай» (Катай), где расположен легендарный город «Камбалу» (Пекин)? Но татары-конюхи успели в Лондоне спиться, в чем они весело и сознались:

— От пьянства мы позабыли все, что знали раньше...

В начальники экспедиции был выбран Хуго Уиллоуби — за его большой рост, а пилотом (штурманом) эскадры назначили Ричарда Ченслера — за его большой ум. Себастьян Кабот лично составил инструкцию, в которой просил моряков не обижать жителей, какие встретятся в странах неизвестных, не издеваться над чуждыми обычаями и нравами, а привлекать «дикарей» ласковым обращением. По тем временам, когда язычники убивали всех подряд, уничтожая древние цивилизации, инструкция Кабота казалась шедевром гуманности. Не были забыты и экипажи кораблей: «Не должны быть терпимы сквернословие, непристойные рассказы, равно как игра в кости, карты и иные дьявольские игры... Библию и толкования ее следует читать с благочестивым христианским смирением», — наставлял моряков Кабот.

В мае 1553 года Лондон прощался с кораблями сэра Уиллоуби, матросы были обряжены в голубые костюмы, береговые трактиры на Темзе чествовали всех дармовой выпивкой, народ кричал хвалу

смельчакам, возле Гринвича корабли салютовали дворцу короля, придворные дамы махали им платками из окон.

...Прошел один год, и русские поморы, ловившие рыбу у берегов Мурмана, случайно зашли в устье речки Варзины: здесь они увидели два корабля, стоящих на якорях. Но никто не вылез из люков на палубы, из печей камбузов не курился дым, не пролаяли корабельные спаниели. Поморы спустились внутрь кораблей, где хранились товары. Среди свертков сукна и бочек с мылом лежали закостеневшие в стуже мертвецы, а в салоне сидел высокорослый Хуго Уиллоуби — тоже мертвый; перед ним лежал раскрытый журнал, из которого стало ясно — в январе 1554 года все они были еще живы и надеялись на лучшее... Их погубил не голод, ибо в трюмах оставалось много всякой еды; их истребили тоска, морозы, безлюдье.

Поморы поступили очень благородно.

— Робяты! — велел старик-кормщик. — Ни единого листочка не шевельни, никоего покойничка не колыхни. И на товары чужие не зарься: от краденого добра и добра не бывает...

В объятиях стужи законсервировались лишь два корабля. Но среди них не было третьего — «Бонавентуре», на котором плыл умный и энергичный сэр Ричард Ченслер (пилот эскадры). «Бонавентуре» в переводе на русский означает «Добрая удача».

Сильный шторм возле Лафонтенов разлучил «Бонавентуре» с кораблями Уиллоуби; в норвежской крепости Вардегауз, что принадлежала короне датского короля, была заранее предусмотрена встреча кораблей после бури. Но Ченслер напрасно томился тут целую неделю, потом сказал штурману судна:

— Барроу! Я думаю, купцы Сити не затем же вкладывали деньги в наши товары, чтобы мы берегли свои паруса.

— Я такого же мнения о купцах, — согласился Барроу. — Вперед же, сэр, а рваные паруса — признак смелости...

Мясо давно загнило, насыщая трюмы зловонием, а течь в бортах корабля совпала с течью из бочек, из которых вытекали вино и пиво. Ветер трепал длиннющую бороду Ченслера, и он спрятал ее за воротник рубашки. Справа по борту открылся неширокий пролив, через который англичане вошли в Белое море (ничего не ведая о нем, ибо на картах Себастьяна Кабота здесь была показана п у с т а). Плыли дальше, пока матрос из мачтовой «бочки» не прогорланил:

— Л ю д и ! Я вижу людей, эти люди похожи на нас...

«Двинская летопись» бесстрастно отметила для нашей истории: «Прииде корабль с моря на устье Двины реки и обослався: приехали на Холмогоры в малых судах от английского короля Эдварда посол Рыцарт, а с ним гости». Был август 1553 года. Архангельска еще не

существовало, но близ Холмогор дымили деревни, на зеленых пожнях паслись тучные стада, голосили по утрам петухи, а кошки поморов признавали только одну рыбку — перламутровую семгу. В сенях крестьянских изб стояли жбаны с квасами и сливочным маслом; завернутые в полотенца, под иконами свято береглись рукописные книги «древлего благочестия» (признак грамотности поморов).

Для англичан все это казалось сказкой.

— Как велика ваша страна и где же ее пределы, каковы богатства и кто у вас королем? — спрашивали они.

Поморы отвечали, что страна их называется Русью, или Московией, у нее нет пределов, а правит ими царь Иван Васильевич. Ченслер, обращаясь с русскими, вел себя очень любезно, предлагая для торгового обмена товары: грубое сукно, башмаки из кожи, мыло и восковые свечи. Ассортимент невелик, и русские могли бы предложить ему своих товаров — побольше и побогаче. Они обкормили экипаж «Бонавентуре» блинами, сметаной и пирогами с тресковой печенью, однако торговать опасались:

— Нам, батюшка, без указа Москвы того делать нельзя...

Воевода уже послал гонца к царю. Ричард Ченслер убеждал воеводу, что король Эдуард VI направил его для искания дружбы с царем московским. Очевидно, он поступал вполне разумно, самозванно выдавая себя за посла Англии.

— Я должен видеть вашего короля Иоанна в Москве! — твердил он воеводе. — Не задерживайте меня, иначе сам поеду...

Укрытый от мороза шубами, Ченслер покати в Москву санным «поездом», все замечая на своем пути. Между Вологодой и Ярославлем его поразило множество селений, «которые так полны народа, что удивительно смотреть на них. Земля вся хорошо засеивается хлебом, жители везут его в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро можно встретить до 800 саней, едущих с хлебом, а некоторые с рыбой... Сама же Москва очень велика! Я считаю, что этот город в целом больше Лондона с его предместьями».

Понимал ли Ченслер, что делает он, въезжая в Москву самозванцем? Вряд ли. Но так уж получилось, что, служа интересам Сити, он — как бы невольно! — обратил свою торговую экспедицию в политическую. Ченслер стал первым англичанином, увидевшим Москву, которую и описал с посвящением: «Моему единственному дяде. Господину Кристофору Фротсингейму отдайте это. Сэр, прочтите и будьте моим корректором, ибо велики дефекты». Корабли, найденные поморами, вскоре были отправлены обратно в Англию вместе с прахом погибших. Но они пропали безвестно, как пропадали и тысячи других... Таково было время!

Иван Грозный еще не был... грозным! Страна его, как верно заметил Ченслер, была исполнена довольства, города провинции процветали, народ еще не познал ужасов опричнины.

После разрушения Казанского ханства следовало завершить поход на Астрахань, дабы все течение Волги обратить на пользу молодого, растущего государства: в уме Ивана IV уже зарождалась война с Ливонией — ради открытия портов балтийских. Россия тогда задыхалась в торговой и политической изоляции; с юга старинные шляхи перекрыли кордонами крымские татары, а древние ганзейские пути Балтики стерегли ливонцы и шведы... Потому-то, узнав о прибытии к Холмогорам английского корабля, царь обрадовался:

— Товары аглицкие покупать, свои продавать... Посла же брата моего, короля Эдварда, встретить желательно!

Ченслер застал Москву деревянной, всю в рощах и садах, осыпанных хрустким инеем. Из слюдяных окошек терема видел, как в прорубях полощут белье бабы, топятся по берегам дымные бани, возле лавок толчется гуляющий народ, каменная громада Кремля была преобильно насыщена кудрявыми луковицами храмов, висячими галереями, с богато изукрашенных крылечек пологие лестницы вели в палаты хором царских.

Иван IV принял Ченслера на престоле, в одеждах, покрытых золотом, с короною на голове, с жезлом в правой руке. Он взял от «пилота» грамоту, в которой Эдуард VI просил покровительства для своих мореплавателей.

— Здоров ли брат мой, король Эдвард? — был его вопрос (а «братьями» тогда величали друг друга все монархи мира).

Ченслер отвечал, что в Гринвиче король не вышел из дворца проститься с моряками, ибо недужил, но, вернувшись в Лондон, они надеются застать его в добром здравии.

— Я стану писать ему, — кивнул Иван Васильевич...

После чего посла звали к застолью; «число обедавших, — сообщал Ченслер, — было около двухсот, и каждому подавали на золотой посуде». Даже кости, что оставались для собак, бояре кидали на золотые подносы, убранные драгоценными камнями. Иван IV сидел на престольном возвышении во главе стола, зорко всех озираал, каждого из двухсот гостей точно называл по имени. Ченслеру, как и другим, был подан ломоть ржаного хлеба, при этом ему было сказано:

— Иван Васильевич, царь Русский и великий князь Московский, жалует тебя хлебом из ручек своих...

Кубки осушались единым махом, но, выпив, бояре тут же крестили свои грешные уста, заросшие широкими бородами. А борода Ченслера была узкой и длинной, как у волшебного кудесника. Пир

завершился ночью, и царь, по словам Ченслера, возлюбил его «за ум и длинную бороду».

Ранней весной он сказал ему:

— Езжай до короля своего и скажи, что я рад дружбу с ним иметь. Пусть купцов шлет — для торга, пусть рудознатцы едут — железа искать, да живописцы разные... Всех приму!

Ченслер отплыл на родину. Уже в виду берегов Англии на «Бонавентуре» напали фламандские пираты. С воплями они вцепились в корабль абордажными крючьями и вмиг разграбили все русские товары, расхитили подарки от русского царя — спасибо, что хоть в живых оставили... На родине англичан ждали перемены: Эдуард VI умер, на престол взошла Мария Тюдор («Кровавая») со своим мужем — Филиппом II, королем испанским. В стране началась католическая реакция: протестантам рубили головы, людей нещадно сжигали на кострах.

Россия, стиснутая между татарами и ливонцами, еще оставалась для Европы terra incognita (загадочной землей), и Филипп II не совсем то верил рассказам Ченслера:

— Мы лучше знаем могучую Ливонию, но у нас темно в глазах от ужаса, когда мы слышим о варварской Московии.

— Так ли уж богата Русь? — спрашивала королева. — Стоит ли нам связывать себя с нею альянсом дружественным, если торговых иметь не будем?..

Ченслер поклонился, бородою коснувшись пола.

— О, превосходнейшая королева! — отвечал он. — Мнение Европы о Московии ошибочно, это удивительная страна, где люди рожают много детей, у них обильная конница и грозные пушки. Правда, там не знают того, что знаем мы, но зато мы не знаем того, что знают они, русские. Если бы Московия осознала свое могущество, никому бы в мире с нею не совладать.

Коронованные изуверы рассудили здраво: Англия вела войну с Францией, а Россия ополчается на войну с Ливонией, — в этом случае Англии полезно дружить с Россией, а торговые сделки купцов всегда скрепляли узы политические. Себастьян Кабот тоже понимал это, и поэтому почтенный старец не слишком-то огорчился от того, что вместо легендарного «Камбалука» (Пекина) Ченслера занесло в Москву:

— Если плыть по Волге, там, за Астраханью, недалеко до Персии, страны чудес и шелка. Тогда от персидской Испагани до Лондона протянется великая «шелковая дорога».

— Осмелюсь вспомнить, — льстиво улыбнулся Ченслер, — что от Персии совсем недалеко и до Индии...

Королевской хартией в феврале 1555 года Мария Тюдор образовала «МОСКОВСКУЮ КОМПАНИЮ», которую стал возглавлять Себа-

стьян Кабот. Старику было уже больше восьмидесяти лет, но, когда Ричард Ченслер грузил корабли для нового рейса в Россию, Кабот крепко подвыпил в трактире с матросами. На зеленой лужайке он даже пустился в пляс, и золотая цепь венецианского патриция болталась на его шее, как маятник.

...Здесь я напомним, что русские уже тогда не боялись зимовать на Новой Земле и на далеком Шпицбергене, о чем Шекспир, наверное, не знал. Корабли поморов, внешне неказистые, были лучше британских, они легче взбегали на гребень волны; к удивлению англичан, они опережали в скорости их каравеллы и пинассы... Не тогда ли, я думаю, англичане и переняли многое для себя из опыта русского кораблестроения?

На этот раз Ченслер прибыл в Москву уже не самозванцем, а персоной официальной, его сопровождали агенты «Московской компании», вооруженные королевской хартией с правом торговать, где им вздумается... Иван IV был рад снова увидеть Ченслера, а его свиту «торжественно провели по Москве в сопровождении дворян и привезли в замок (Кремль), наполненный народом... они (англичане) прошли разные комнаты, где были собраны напоказ престарелые лица важного вида, все в длинных одеждах, разных цветов, в золоте, в парче и пурпуре. Это оказались не придворные, а почтенные москвитяне, местные жители и уважаемые купцы...»

Англичан именовали так: «гости корабельские».

Г о с т ь — какое хорошее русское слово!

После угощения светлым хмельным медом царь взял Ричарда Ченслера за бороду и показал ее митрополиту всея Руси:

— Во борода-то какова! Видал ли еще где такую?

— Борода — дар божий, — смиренно отвечал владыка...

Бороду Ченслера тогда же измерили: она была в 5 футов и 2 дюйма (если кому хочется, пусть сам переведет эти футы и дюймы в привычные сантиметры). Иван IV велел негоциантам вступить в торги с купцами русскими, а Ченслеру сказал:

— За морями бурными и студеными, за лесами дремучими и топями непролазными — пусть всяк ведает! — живет народ добрый и ласковый, едино лишь о союзах верных печется... С тобою вместе я теперь посла своего отправлю в королевство аглицкое, уж ты, рыцарь Ченслер, в море-то его побереги.

Посла звали Осип Григорьевич по прозванию Непея, он был вологжанин, а моря никогда не видывал. Посол плакал:

— Да не умею плавать-то я... боюсь!

— Все не умеют. Однако плавают, — рассудил царь.

Ричард Ченслер утешал посла московского:

— Смотрите на меня: дома я оставил молодую жену и двух малолетних сыновей. Я не хочу иметь свою жену вдовой, а детей сиротами... Со мною вам разве можно чего бояться?

Буря уничтожила три его корабля, а возле берегов Шотландии на корабль Ченслера обрушился свирепый шквал. Это случилось 10 ноября 1556 года возле залива Петтислиго.

«Бонавентуре» жестоко разбило на острых камнях.

Ченслер, отличный пловец, нашел смерть в море.

Осип Непея, совсем не умевший плавать, спасся...

Местные жители сняли с камней полузахлебнувшегося посла.

— Теперь-то вы дома, — утешали они «московита».

— Это вы дома, — отвечал Непея, — а мне-то до родимого дома вдругорядь плыть надо, и пощады от морей нету...

С большим почетом он был принят в Вестминстерском дворце. Довольная льготами, что дали в России английским негодантам, королева предоставила такие же льготы в Англии и для русских «гостей»: в Лондоне им отвели обширные амбары, избавили от пошлин, обещали охрану от расхищения товаров.

Осип Непея отплыл на родину в обществе английских мастеров, аптекарей, художников и рудознатцев, пожелавших жить в России и трудиться ради ее пользы и украшения.

Скоро возникли консульские конторы в Холмогорах, в Вологде, в Ярославле и Новгороде, в Казани и Астрахани: торговые флотилии англичан приплывали в Россию по весне, а осенью уплывали обратно с товарами. По велению времени возник новый славный город — Архангельск, без которого теперь мы уже не мыслим существования нашего обширного Государства.

Дорога Ричарда Ченслера открыта и поныне — для всех, кто плывет к нашим берегам, чтобы торговать с нами, и я уверен, что мирный обмен товарами — это ведь тоже Большая Политика, ибо товар, проданный и купленный, пусть незримо, зато основательно скрепляет дружеские связи народов...

Осталось сказать последнее. Целых полтора столетия зыбкая дорога между Лондоном и Архангельском была единственной коммуникацией, связывающей Россию с Европой.

Так длилось до Петра I, открывшего «окно» в Европу со стороны хмурой Балтики. «Московская компания», основанная в 1555 году, просуществовала до 1917 года, когда наша страна вступила в новую эпоху...

На путях Ричарда Ченслера, случайно открывшего Россию со стороны севера, до сих пор иногда возникают торжественные «ми-

нуты молчания». В такие минуты, насыщенные пением корабельных горнов, опускаются траурные венки на волны, под которыми навеки уснули на дне Полярного океана, как в общей братской могиле, наши и британские моряки. Можно не помнить о подвиге жизни Ричарда Ченслера, но стоило бы почаще вспоминать о боевом содружестве двух великих наций в общей борьбе против фашизма.

«Вечный мир» Яна Собеского

Летний сад в Ленинграде — не до конца прочитанная книга истории. Конечно, многое нам известно, но чаще мы блуждаем в аллеях, даже не вникнув в символику тех скульптур, что расставлены в саду задолго до нас, дабы потомки призадумались.

Здесь мы встретим и бюст Яна Собеского, а подле него королеву Марию-Казимиру, прозванную Марысинкой. Среди городского шума, окруженные новой и чуждой для них жизнью, они глядят на нас из былого, в котором все было другим, все было иначе, да и этого города на Неве не существовало...

В 1986 году исполнилось 300-летие с того времени, когда Ян Собеский утвердил «вечный мир» Польши с Россией. Кажется, это достаточный повод, чтобы помянуть героя былой эпохи и ту его любовь, которая достойна нашей памяти.

Европа считала поляков самым воинственным народом. Почти не ведая передышек от войн, польские рыцари умели спать на голой земле, наматывая на руки поводья боевых коней, чтобы ринуться в новую битву по первому сигналу трубы. Ведя генеалогию от дикого племени сарматов, они порою и вели себя подобно скифам... Речь Посполитая жила еще в дремучих лесах; волки, медведи и злобные рыси стерегли неосторожного путника. Паны измеряли время водяными часами — «клепсидрами». На дворах усадеб паслись фазаны, гагакали жирные гуси. Шляхта шеголяла в жупанах и кунтушах, стойко удерживалась древняя мода на меха (лисьи, куньи, собольи), а мещане носили шубы из шкур волчьих. Молодые паненки украшали прически венками из свежих роз. Ясновельможные славились скандалами, буйством, обжорством и пьянством. Садились за стол утром и падали под стол к ночи. Пили из особых «кулявок» (бокалов без ножек), которые невозможно поставить, прежде не опорожнив. По усам панов текли меды вольнские, золотистый дубняк и рыжая свирепая старка. Со времен королевы Боны Сфорца поляки тяготели к Италии и потому, сказав фразу по-польски, считали своим долгом украсить ее латинской цитатой.

— Польша сильна рокошами! — орали задиры...

Страна изнемогла от «рокошей» (раздоров шляхетских), ее «кресы» (окраины) были истерзаны набегами османлисов и кочевников, а Версаль навязывал полякам своих королей и королев. Герцог Анжуйский, сын Екатерины Медичи, уже «потаскал» корону Пястов, бежав из Польши ночью, как воришка из чужого дома; Владислав IV взял в жены Марию Гонзаго, дочь герцога Наваррского; живописцы изображали эту даму сидящей у ворот Варшавы на барабане, она руководила стрельбой из пушек... Если раньше шляхтич набирался знаний у профессоров Болоньи или Падуи, теперь его приманивали соблазны Парижа, откуда он возвращался в Краковию или Мазовию, отягощенный париком, долгами и сплетнями.

Ян Собеский тоже провел молодость в Париже, но среди множества развлечений усердно штудировал Паскаля и Декарта; в особой «красной гвардии» Людовика XIV он служил вместе с великим пересмешником Сирано де Бержераком... На родине он, богатый и знатный, сразу стал коронным хорунжим. Польша отстаивала свои «кресы» от шведов, пруссаков и крымцев, в каждой из битв она восхваляла молодого Яна Собеского.

Европа нарекла Собеского именем «Гроза турок».

Он воевал и с русскими, которых уважал:

— Видя их обширные косматые бороды, я невольно испытываю почтение, будто мне встретились мои же предки...

Против него отважно сражался киевский воевода Василий Шереметев, о доблести которого знали в Париже и Вене. Когда же ляхи предательски выдали его татарам, один лишь Собеский, благородно-возмущенный, вступился за своего противника:

— Нельзя делать того! Я сейчас подниму свои хорунжи, весь regiment приведу в лагерь князя Барятинского, вместе с русскими врежусь в татар, дабы избавить Шереметева от плена!

Из рук коронного хорунжего выбили саблю:

— Стоит ли твоя слава жизни одного москаля? Эй, хлопы, не спите! Налейте ему еще одну кулявку...

Собеский не был женат. А когда Мария Гонзаго покидала Францию ради польской короны, она вывезла в Варшаву девочку, дочь гувернантки, по имени Мария Гранж д'Аркьен, обещая матери устроить ее судьбу. Вряд ли королева думала, что безвестная девчонка, воплощенная в каррарском мраморе, будет потом красоваться в парке русской столицы... Собеский встретил ее, когда она была женою сандомирского воеводы Яна Замойского.

Собеский в ту пору назывался уже гетманом. Он предстал перед женщиной в обличье «*homo militaris*» (военного человека). Грудь воина покрывала жесткая карацена — кольчуга, как у древнего римля-

нина; длинный плащ из пунцового бархата широко стекал с могучего плеча, словно струя горного водопада...

Глаза Марысинки вспыхнули — почти алчно.

— Люди не лгут, — сказала она, кокетничая. — Вы совершенны во всем, как совершенна и ваша отчизна, от которой уже нельзя ничего убавить, но вред ли стоит что-либо добавлять...

Библиотека Собеского считалась тогда лучшей в Варшаве, о ней ходила молва во всех образованных странах Европы.

— Однако, — отвечал он красавице, — жизнь любого мужчины похожа на библиотеку, в которой всегда будет недоставать одного тома — самого редкостного... Счастлив же пан Замоиский, слабыми пальцами перелистывая такую прекрасную книгу!

Марысинка была умна: она сразу все поняла.

— Не мучайся сам и не мучай меня, — шептала она гетману наедине, — мой воевода уже стар, нам недолго до счастья...

Любовники переписывались, как изощренные шпионы: тайным шифром. Собеский и Марысинка оставили для потомков ценнейший эпистолярный памятник эпохи, в котором виден человек того сумбурного века — с его страстями и подозрениями, с его знаниями и пределами этих знаний. Отныне в жизни Собеского не было такого момента, когда бы он не думал о своей Марысинке. Он повергал врагов отчизны с ее именем на устах. Кратко изложив перипетии минувшей битвы, израненный, он писал: «Ну, довольно этих пустяков, как мои раны...» — и далее изливал на женщину каскады горячей, нетерпеливой нежности. Сандомирский воевода еще не умер, когда Ян Собеский тайно обручился с его женою!

Русь в ту пору переживала тяжкие времена: измены гетманов на Украине, бунты казаков на Дону заставили ее поспешить с миром. Русские удержали за собою Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и Заднепровье, по договору в Андрусове они обещали полякам вернуть им Киев через два года...

— Нельзя верить москалям! — негодовали ляхи.

Чело гетмана избороздили морщины печальных раздумий:

— Поляки, как и москали, имеют общего врага — это султаны турецкие, это ханы крымские... Если разобщить усилия Москвы и Варшавы, наши древние храмы станут мечетями, а наши прекрасные жены будут загублены в заточении гаремов...

После смерти Марии Гонзаго король Ян-Казимир отрекся от престола. Но перед тем, как навсегда покинуть Польшу, он произнес перед сеймом пророческие слова: «Придет время, и Московия захватит Литву, Бранденбургия овладеет Пруссией и Познанью, Австрии достанется вся Краковия, если вы, панство посполитое, не перестанете посвящать время межусобной брани. Каждое из этих трех государств

пожелает непременно видеть Польшу, разделенную между ними, и вряд ли сыщется охотник, чтобы владеть ею полностью...» Король уехал, а Польша снова вскипела «рокошами», каждая «магнатерия» пушками и звоном мечей утверждала на престоле своего кандидата. На элекционном сейме бедный шляхтич Михаил Вишневецкий, ночуя в грязной корчме под лавкой, видел сон — будто над Польшею летит гигантский рой золотых пчел. Вишневецкого схватили за ворот жупана и потащили на выборное коло, как агнца на заклание:

— Вот наш круль... А пчелы — хорошая примета!

Вишневецкий стал королем. Марысинка сказала:

— Новый круль, сын Гризельды Замойской, племянник моего старого воеводы. Но мне уже мало быть лишь теткою короля, я сама хочу стать польскою королевой...

Собеский был уже великим коронным гетманом!

Султан Магомет IV двинул армию против Польши: Львов выдержал осаду татар и ногаев, но крепость Каменей пала. На креслах польских все было черно от пожарищ, небо вдоль горизонта багровело от пламени... Тысячи, многие тысячи поляков угоняли в полон! Татары на глазах мужей бесчестили их жен, на глазах матерей они совершали обрезание мальчикам...

В 1672 году в галицком городишке Бучаче был подписан унизительный мир: Польша отдавала султану всю Правобережную Украину, всю Подолию, она отсчитала для султана колоссальную контрибуцию, обязавшись платить ему ежегодную дань.

— Стыд выел мне глаза! — говорил Собеский Марысинке. — И пусть жалкий круль тешится миром в Бучаче, но я, гетман коронный, разрушу мир... Где посол москальский? Я скажу ему, что Днепр отныне — граница между Россией и Турцией. Если даже мне страшно, так пусть и русские придут в ужас!

Султан собрал войска в гигантский лагерь под стенами неприступного Хотина, куда Собеский под осень и привел своих воинов. Он обнажил боевой меч со словами:

— Мы пришли сюда по высшему ордонансу...

Стрелы татарские летели дальше пуль, а раны от них были страшнее ружейных. Польские «хузары» носили за плечами громадные крылья из перьев орла, покрытые золотом. Началась сеча, и она, кровавая, длилась до тех пор, пока к ногам Собеского не швырнули Зеленое знамя пророка — святыню султанов. Мост через Днестр рухнул под бегущими, толпы потонувших османов завершили страшное и небывалое их поражение.

— Не платить нам дани этим поганцам, — заявил Собеский, указав отправить Зеленое знамя в подарок Риму...

Михаил Вишневецкий умер, и снова возник «рокош»: кому быть крулем? Франция и Австрия толкали к престолу варшавскому своих кандидатов, а Марысинка встретила мужа наказом:

— Выводи войско на коло... с пушками! Кто осмелится пойти против тебя, избавившего страну от мира позорного?

Против Собеского стенкой вставала литовская «магнатерия» с братьями Пацами — пузатыми, пьяными, бритоголовыми:

— Не хотим Пяста, а хотим немца или француза!

Пестрело в глазах от лошадиных попон, пошитых из шкур пантер, леопардов и барсов. Пушки были заряжены. Жужжали пули. В рядах избирателей то здесь, то там падали убитые. Собеский галопом подскочил к послу Людовика XIV и сказал, что такая элекция может завершиться избранием сразу двух королей, после чего в Польше возникнет гражданская война.

— Откажитесь от своего кандидата, выдвинутого Версалем, а с кандидатом Вены я всегда могу потягаться славою...

Франции было важно избавиться Варшаву от влияния венских Габсбургов, и потому посол быстро согласился:

— Но с одним условием: вы не забудете услуг Версаля.

— Их учет моя жена... — отвечал гетман.

Воевода Яблоновский, посинев от натуги, уже истощно выкрикивал имя победителя под Хотинном, и все подхватили:

— Желаем Пяста... Виват Ян Собеский!

Когда элекция закончилась его торжеством, французский посол из-за плеча Собеского нашептал ему, чтобы он не забывал добрых услуг Версаля. Марысинка — уже королева! — величаво обернулась к послу, произнеся надменно:

— Нет, мы не забудем Версаля, но при одном условии, посол: если Версаль возвысит моего отца герцогским титулом.

Собеский показал себя настоящим патриотом: он отказался ехать в Краков на коронацию, пока от границ Польши не отражена угроза нового нашествия. Магомет IV уже стронул свои несметные орды против России, а Собеский вторгся в Подолию, изгоняя пашей султана за Днестр, он выбивал их войска из пределов Червонной Руси. В боях под Журавино он принудил турок к заключению мира, выгодного для славян. Москва прислала в Варшаву своего опытного посла — Василия Тяпкина, и Ян Собеский, взяв его за руку, вывел дипломата в расцветающий сад.

— Не пора ли забыть прошлое, дабы стать нам союзными? — искренне заговорил он. — Отчего московское величество держит меня в подозрении, если я не раз оказывал вашей стране доброжелательство? Вспомните: когда под Чудновом поляки поступили гадко, отдав крымцам Василия Шереметева, я не только бранился с гетманами, но

и сам хотел идти на выручку... Знаю, что обид у Москвы на Варшаву много, но время ли обидам? Османы всегда охотно подписывают мир, ибо для них мир значит лишь перемирие, дающее передышку перед новым нападением...

Тяпкин докладывал в Москву: «Тут Собеский ударил себя в грудь и сказал: «Пан резидент! Пиши все мои слова, чтоб царское величество не подозревал меня ни в каком лукавстве... Нечего ему на то смотреть, что теперь у меня заключен мир с турками. Мир этот недолог, и не сладок он мне: принужден я к нему страшными силами поганскими...»

Беспокойство поляков было понятно. Магомет IV не скрывал своих планов, мечтая смерчем пройти через германские страны, чтобы дать своим ордам отдых на виноградных берегах Рейна, а там и Франция, там и Париж, переполненный сокровищами... Пока же султан покорял славян, обращая земли Правобережной Украины в свои пашалыки. Украинцы, никак не желая влечь на себе турецкое ярмо, толпами отхлынули на Левобережную (русскую) Украину, а после них оставались пустыни, трупы, пожарища, бедствия...

Марысинка нарожала Собескому 12 детей. В 1679 году король выбрал под Варшавою место, где и начал сооружать свою резиденцию «Вилла нова» (Виланово). Собеский своими руками сажал деревья, собирал картинную галерею. Версаль не удостоил отца Марысинки титула герцога, и это дало ей повод к мести:

— Если король Франции отказал мне, польской королеве, в таком пустяке, я накажу Версаль тем, что Польша отвернется от Франции, обратясь светлым лицом к венским Габсбургам...

Есть древнее правило: что муж задумает днем, жена ночью все переделает. Герой на поле брани, Собеский в дни мира становился мечтательным сибаритом. Марысинка, ловкая интриганка, вертела им, как пряжа веретенем. Слепленный любовью, он не раз выводил ее перед народом, при всех целовал ее руки:

— Добрая жена — виновная гроздь, сулящая сладкие ягоды...

Уступая ее ночным нашептываниям, Ян Собеский вступил в союз с Веною, монархи договорились о совместной борьбе с султаном. Не всем полякам пришелся по нутру этот альянс, Собеский высидел перед разъяренной толпой шляхтичей; осыпаемый оскорблениями, он лениво думал о том, какие дубы и какие тополя вырастут в Виланове... *после него!*

Гетмана Яблоновского он потом спрашивал:

— Какой табор может собрать султан Магомет?

— Османлисы — словно песок, их силы неисчислимы. Думаю, в поле султан выставит не меньше трехсот тысяч воинов.

— А кто их считал? — отмахнулся Собеский...

Для устрашения Европы султан собирал в табуны верблюдов, велел готовить в поход боевых слонов. Собеского мучили боли в почках. Врачи говорили, чтобы исключил из меню все жирное. К столу короля подавали бобровые хвосты с вареным тестом, в громадном кубке ченстоховского пива плавали гренки из ржаного хлеба. На десерт был творог с кислым вареньем.

— Что слышно из Бахчисарая? — часто спрашивал он...

Василий Тяпкин отъехал в Крым; истощенная в неравной борьбе, Россия согласилась на мир с султаном; Днепр по-прежнему разделял непримиримых врагов, но Киев оставался за нами...

Петр I родился за девять лет до Бахчисарайского мира.

Если польский король славился ученым библиофильством, то его союзник, австрийский император Леопольд, был знаменит как нумизмат и мракобес. Все недостатки династии Габсбургов воплотились в этом хилом и гадостном создании природы. Леопольд был очень слаб в ногах, а потому всегда шатался, как маятник. Челюсть торчала крючком, из впадины рта высывались редкие зубы, говорил он с трудом, больше рычал. На молитве он казался ооченелым, как труп, выстаивая по 80 служб кряду, словно заведенный. Из окна дворца он любил наблюдать, как живьем жарят «еретиков». Еще он любил лепить красивые свечи, которые и раздаривал по монастырям. Всюду, где бы Леопольд ни явился, за ним — неслышно, словно бесплотные тени, — следовали мрачные иезуиты, берегущие свое безобразное «дитя» в духовной изоляции. Единственное было достоинство в этом выродке: он никогда не волновался. Когда молния вонзилась в окно его обеденного зала, разбросав по углам посуду со стола, Леопольд даже глазом не моргнул: «Сам Господь Бог указывает нам, чтобы мы сегодня постились», — сказал он придворным...

Зима 1683 года выдалась дождливая, к весне едва подсохли дороги. Великий визирь Кара-Мустафа собрал под своим бунчуком 260 000 регулярных войск, которые были отозваны в Европу даже из Африки, даже из далекой Месопотамии. От Адрианополя до Белграда «табор» визиря сопровождал *сам* Магомет IV, за ним ехали больше ста повозок с одалыками (любимыми женами) и невольницами гарема, жующими пастилу и орехи. Жутко ревели верблюды, влача по рытвинам тяжелую артиллерию. Наконец рать султана вторглась в пределы империи Габсбургов: «Она зажигала дома, рубила деревья, убивала людей, забирала для продажи девиц и детей. Столбы дыма и пламени обозначили ее путь...»

Первые дезертиры появились на улицах и базарах Вены, крича в свое оправдание, что гарнизоны уже вырезаны, все крепости сдались, с верблюдами и слонами никому не совладать.

Леопольд I разомкнул свои скверные уста.

— Что мне теперь делать? — спросил он иезуитов.

— Спасать свое императорское величество...

Карета повелителя первой въехала на мост через Дунай, за нею покатали кареты венской аристократии и царедворцев. Бегство началось в 8 часов вечера, а закончилось только глубокой ночью. Затем Вену оставили богатые люди, доверив оборону столицы гарнизону и голодранцам, которым нечего было спасать, кроме рубахи да штанов на себе... Вена, всегда мрачная, стала попросту страшной при общем безлюдье. Только в храмах еще светились окна: там молились. Через день вдруг раздались звуки труб и громы литавр: в Вену входил отряд французского генерала, принца Карла Лотарингского... Его встретил у ворот бургомистр Либенберг со связкой ключей от города.

— Куда их девать? — спросил он растерянно.

— Запихни их себе под хвост, — отвечал принц.

Принц Карл построил гарнизон и, пересчитав солдат по головам, словно горшки, впал в отчаяние: 21 963 человека — вот и все, что он имел. Но тут появились 700 венских студентов во главе с ректором; выстроились мясники, пивовары, дунайские рыбаки, трактирщики и бездомные бродяги, ветер с Дуная развевал над ними цеховые знамена с изображениями мясных туш, сапог, рыб и пивных бочек — так возникло народное ополчение.

Карл Лотарингский обвел рукою вокруг себя:

— Видите? Всюду пламя пожаров указывает нам, что Вена окружена, и... успеет ли прийти король Собеский?

12 июля с крепостных стен венцы увидели врагов, которые на горячем пепле выжженных форштадтов сооружали осадный лагерь. Несуразным дворцом среди кибиток возвышался зеленый шатер визиря Кара-Мустафы; внутри этого шатра-монстра были размещены спальни, молельни, комнаты для совещаний и курения трубок; посреди же комнат «струились фонтаны, были в шатре ванны, даже зверинец и быстро разбитый сад». Вена оставалась последним барьером, обрушив который великий визирь надеялся выйти со своим «табором» в срединную — Центральную Европу, к богатствам ее древних городов. Турецкие пушки молотили в стены австрийской столицы, вызывали в домах пожары. 26 августа сороканычар ворвались через пролом в улицы Вены, рубя все живое кривыми ятаганами, но их тут же перебили студенты и ремесленники. С колокольни собора Св. Стефана жители напрасно озирали окрестности:

— Где же поляки? Почему не идет Собеский?

За успешное бегство из Вены Леопольд I получил от Ватикана титул «Великого». Сидя в тыловой тиши Линца, он заводил часы,

перебирал монеты и лепил свечи из воска. Ему доложили, что Вена почти разрушена, а Собеский не подошел на выручку.

— Очень хорошо, — отвечал выродок. — Если бы Собеский победил турок, мне бы пришлось исполнить статью договора с Польшей, выдав венскую эрцгерцогиню за сына короля — Якова...

Между тем дело спасения Вены стало всеобщим делом всех европейцев. Даже из далекой Испании шагали в Австрию добровольцы, Германия поставляла своих ландскнехтов, закованных в железо доспехов. И только Англия с Голландией, поглощенные заботами о наживе, отказались спасти Европу от нашествия. Но тут к ногам Карла Лотарингского бросили, как мешок, турецкого янычара, избитого до потери сознания.

— Я не янычар, — сказал он, выплевывая зубы. — Я пан Кольшуцкий, знаю турецкий... меня прислал король! Он уже перешел Дунай, а сейчас преодолевает высокие горы Виннервальда.

— Как узнать мне его храброе войско?

— Зная у нас красное, а на нем крест — белый... Король не один: он ведет в битву и своего любимого сына Якова.

11 сентября венцы увидели знамя Собеского: в армии поляков были украинцы, белорусы, были и русские казаки. Среди позлащенных рыцарских панцирей мелькали медвежьи шкуры на плечах копьеносцев. Утром 12 сентября, когда распался туман, взору пришедших спасителей Вены открылась страшная панорама разрушений, хаоса и лабиринтов траншей. В громадных загонах турки пасли стада быков и баранов, обреченных на съедение в полдень... Собеский опустил подзорную трубу:

— Вряд ли османлисам придется сегодня обедать!

Битва началась. Впереди шли польские эскадроны, развевая хорунжи, сверкая панцирями, с крыльями за плечами — подобно ангелам смерти; драгуны и уланы завершали избиение врагов. Кара-Мустафа держался лишь полчаса, а потом был вовлечен в общий поток бегущих, и... блестящий полководец Собеский вложил меч в ножны:

— Победителям даю один день — на разграбление!

В истории тех лет сказано: «Золота, серебра, всяких драгоценностей было брошено турками такое изобилие, что победители не могли взять всего и раздали его жителям Вены». Собеский оставил для себя только сказочные шатры Кара-Мустафы, где нашел массу оружия и 500 христианских мальчиков, которых муллы визиря не успели подвергнуть обрезанию. Нашли множество мешков с кофе. Его было у турок так много, что Собеский вызвал пана Кольшуцкого с выбитыми зубами, сказал ему:

— Вари это свинячье пойло для всех, и пусть пьют.

— Да кому это дерьмо нужно? Пиво-то лучше.

— Вари! Открой кофейню. Налакаются и привыкнут...

С этого года Вена стала привыкать к кофе. Леопольд вернулся в столицу, ему внушали, что спасением Вены он обязан лично Собескому, которого надобно благодарить. Габсбург с трудом разлепил глаза, склеившиеся от нагноения:

— Вену избавили от врагов силы всевышние, а не пьяные ватаги из Польши. Я на престоле избранник Божий, а Яна Собеского избрали королем варшавские крикуны. Свиданием с этим мужланом разве я не потеряю свое императорское достоинство?

Перед массивным богатырем Собеским, сидевшим на коне, возник зябко дрожащий уродец в шляпе с черным пером, а чулки на его ногах были красные, будто Леопольд только что выбрался из крови. Собескому сказали, что он имеет право приблизиться к этому «сокровищу» не более чем на восемь шагов.

— Но я проделал миллионы шагов, торопясь спасти его Вену, а теперь от меня требуют, чтобы я соблюдал этот мизер...

Марысинке он сообщил: «Я сказал ему несколько слов по-латыни, но коротко; в ответ получил заученные фразы... причем император даже и не подумал поднять руку к шляпе». Марысинка звала его домой... Нагнав бегущих турок, Собеский еще раз устроил им избиение, после чего повернул на Варшаву.

В дороге он сказал своему сыну королевичу Якову:

— Русские, конечно, очень хитрые люди. Но если бы я пришел спасти их Москву, они бы отдали за тебя любую царевну...

Через три года сложилась коалиция государств, ведущих совместную борьбу с турецкой агрессией: к союзу примкнула и Россия. После долгих переговоров в Москве был заключен ВЕЧНЫЙ МИР Польши с Россией — Киев отныне и навсегда оставался в пределах Русского государства. Договор немедленно вступил в силу, и князь Василий Голицын, куртизан царевны Софьи, совершил два похода на Крым (оба они были неудачными). Собеского удивило возвышение Ивана Мазепы, который сделался гетманом Левобережной Украины... И невольно растревожилась память:

— Я ведь знал этого бабника! Помню, еще при дворе Яна-Казимира гоноровый пан Пассек спустил Мазепу с лестницы...

Петр I возмужал, он сверг царевну Софью, устранил князя Голицына, сам в 1695 году пошел брать Азов у турок, но взял только две сторожевые каланчи... Наступали новые времена.

— Польша сильна рокошами! — продолжались вопли ляхов.

Погружаясь в апатию, Собеский гнушался дел:

— Ах, что мне с того, если чужие волы сожрут всю траву?..

Король умирал в недостроенном замке Виланове, а в саду зеленели деревья, им посаженные. Страшная судьба у этого человека: «Блестящий полководец, он не обладал государственным умом; его победы не принесли Польше выгод; сделав так много для славы отечества, Собеский

ничего не сделал для его пользы». Теперь он умирал, испытывая лишь отвращение к людям, которые столько раз обманывали и оскорбляли его:

— Лучше уж общаться с книгами, нежели с мерзавцами...

Много рожавшая, уже немолодая, но еще красивая, одна лишь Марысинка оставалась для него самой дивной женщиной на свете. Любовь старого воина парила на тех же недоступных другим высотах, на какие он поднял свое чувство еще в молодости, когда увидел ее впервые. Ян Собеский умер 17 июня 1696 года в Виланове, а ровно через месяц Петр I взял Азов приступом. Новое время стучалось и в старинные ворота Варшавы...

Семья Собеских распалась — в раздорах, в ненависти.

Марысинка покинула Варшаву, проклиная народом:

— Это ты во всем виновата... старая карга, убирайся!

Вдовая королева провела в Риме 15 лет (не тогда ли, я думаю, и был исполнен ее бюст, оказавшийся затем в Летнем саду новой русской столицы?). Несмотря на годы и болезни, Марысинка веселилась в окружении самой беспутной молодежи. Наконец она перебралась во французский Блуа, где в 1716 году и свела счеты с бурной жизнью. Польша о ней забыла. А прах короля Собеского временно покоился в одном из варшавских монастырей. Однажды была очень темная осенняя ночь, когда привратник обители проснулся, встревоженный стуком калитки. Он засветил фонарь и вышел наружу, освещая темный сад, в котором ветви шумели под ветром. Возле усыпальницы Собеского стоял... гроб. Мучимый страхом и тайной, привратник открыл его. В гробу лежала королева Марысинка, уже высохшая, как мумия, страшная в своем безобразии. Кто привез ее прах из Блуа — осталось вечной тайной. Но, видимо, это сделал человек, знавший о бессмертной любви Собеского, который любил ее в красоте молодости и, наверное, любил бы ее даже сейчас — в этом гробу...

Теперь их тайная переписка расшифрована, сердца любовников обнажены. Историки изучают последствия «вечного мира» Яна Собеского, а романисты ПНР давно работают над темой большой любви Яна Собеского, которая могла бы восславить его ничуть не меньше, нежели все его громкие победы...

Ястреб гнезда Петрова

Петр Андреевич Толстой... Его праправнук Лев Толстой сказал о нем: «Широкий, умный, как Тютчев блестящ. По-итальянски отлично». А современник писал, что сей человек «зело острый и великого пронырства и мрачного зла втайне исполненный».

Но история ценит не столько мнения, сколько факты!

Москва, 15 мая 1682 года. На лошадях, по брюхо заляпанных грязью, неслись вдоль стрелецких полков два горячих всадника — Толстой да Милославский.

— Нарышкины извели царя Федора! — кричал Толстой.

— Травят и царя Иоанна! — вторил ему Милославский.

Был день первого стрелецкого бунта. Стрельцы сбросили кафтаны — облачились в кумачовые рубахи. Рукава засучили. Кремль они замкнули в осаде. Первым метнули с крыльца Долгорукого, и старик с криком упал на частокол пик, воздетых под ним. В лохмотья растерзали и боярина Матвеева. «Хотим еще!» — кричали, а Толстой с Милославским подбадривали: «Любо нам... любо!» Три дня подряд шла резня. В таких случаях не спрашивают: кто виноват? Важно знать: кому выгодно? А выгодно было царевне Софье, она забрала власть над страной, в Голландии заказали тогда курьезный двойной трон для царей-мальчиков — Петра и Иоанна... Толстой был вассалом Софьи, но, когда подросший Петр обрел силу, он безжалостно покинул царевну, переметнувшись в лагерь Петра; царь его принял, однако усрал от себя подальше — воеводствовать на Устюге.

Вот и новые времена! Учреждались «кумпанства», над Воронежем ветер развевал флаги, а названия у кораблей такие, что вовек не забудешь: «Скорпион», «Растворенные ворота», «Стул», «На столе три рюмки», «Перинная тягота», «Заячий бег», «После слез приходит радость» и прочие. Был канун второго стрелецкого бунта! Шестьдесят столбников собирались в «Европейский христианский госуда́рства для науки» — приучаться к флотской жизни. Ехать не хотели — им и дома жилось неплохо! Тут и отличился Петр Толстой: по своему хотению сам просился в службу на галеры венецианские. А ведь было ему 52 года.

— У меня уже детки с бородами, — говорил он...

Поехали! Сразу же за Смоленском — рубеж России, от речки Иваты начинались вотчины панства. Покружив по землям шляхетским, переплыли Днепр на пароме, ночевали в Могилеве, дивясь, что улицы выстланы камнем; от Минска ехали Литвою, в землях пана Браницкого повстречался Толстому обтрепанный Дон-Кихот на тощем Росинанте; на шею себе, словно бусы, надел он немало колец краковской колбасы, которой и кормился в дороге. Толстой спрашивал путника, кто таков и куда путь держит.

— Я благородный рыцарь из земель Ангальтских, пробираюсь на Русь искать счастья и славы. Говорят, ныне молодой царь принимает всех из Европы, кто желает служить его короне.

— Ну-ну! Езжай, — ухмыльнулся Петр Андреевич...

На перевозах через Вислу рубились на саблях пьяные ляхи с потными чубами. Будучи в «мышльне» с фонтанами, убранной морскими

раковинами и зеркалами, русские столыники с опаскою пили кофе (не вкусно!). Толстой похвалил удобства варшавской жизни, а в дневнике разругал полячек за то, что при виде мужчин за углы не прячутся, глядят на всех без страха и «в зазор себе того не ставят». Польша кончилась — кони ступили в болото, за коим начиналась «Шленская Земля» (Силезия), владения австрийского императора — кесаря! Замелькали острокрышие города, пестрые одежды народов, харчевни и постоялые дворы — столыники въехали в Вену, где их поразили шестизэтажные дома и обилие фонарей («от тех фонарей в Вене по вся ночи бывает по улицам великая светлость»). Далее путь лежал через Альпы, лошади боялись пропастей — в повозки впрягли флегматичных быков. Толстой кратко записывал: «Шел пеш, имея страх смертный пред очима». С гор спустились в цветущие долины Италии: «отсюда пошли многая винограды, лимоны, померанцы и иные». Молодежь дурачилась, пила вино в дорожных тракториях, а Толстой (самый старый!) все примечал зорко и ненасытно — как народ живет, что сеют, что едят, каковы цены... Республика Венеция радушно отворила ворота перед русскими школярами. Здесь малость онемели от диковинки: вместо улиц текли каналы, всяк плавает куда хочет; печей нет — камины. Образованный дож Валжер и красавица догаресса Квирини любезно приняли русских столыников во дворце.

Начиналась учеба флотская! А чужая жизнь увлекала безмерно. Толстой отметил, что республиканцы живут трезво, пьют больше «лимонатисы, симады, чекулаты (то есть какао), с которых пьяну никак быть не мочно; очень любят сидеть в лавках (то есть в кафе), где забавляются питьем и конфектами». Бывали русские в опере учились играть в мяч, воздухом надутый, бросая его через сетку, над площадью растянутую. Но среди приятных забав виделось Толстому и другое: «Всегда в Венеции увеселяются и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страху никто не имеет, всяк делает по своей воле, кто что хочет... и живут Венециане в покое, без страху и без обиды, без тягостных податей». Не писал ли он эти слова с оглядкою на отчизну, где мало веселья, но зато множество податей, где никто не спешил в оперу, зато многих тасили на плаху. Был как раз год, когда в Москве на Красной площади Петр I рубил головы стрельцам...

Страшные бури носили галеры от берегов Далмации до Бари, гремели пушки у берегов Сицилии; побывал Толстой и на Мальте, где его чествовали угрюмые мальтийские рыцари в белых плащах с крестами. Он освоил итальянский язык, познал и славянские наречия. Капитан галеры Иван Лазаревич выдал Толстому диплом, в коем восхвалил его знания навигации, скромность и мужество. Это правда: Толстой учился прилежно, и хотя ему, старику, было особенно тяжело, но трудов флотских он не чуждался.

1700 год он встретил уже дома — в кругу семьи. Петр I сразу оценил в Толстом трезвость, красноречие, бритое лицо, пышный парик и поразительную трудоспособность. Царь в это время неустанно хваливал чистенькую Голландию, а Толстой — Италию, за что и был однажды свирепо наказан царем, повелевшим:

— Эй, влейте в моши ему три бокала флинту!

Флинт подавался горячим. Это была смесь пива с коньяком, в которую выжимали лимон. После русских медов и квасов флинт воспринимался с трудом. Петра Андреевича замертво вынесли из покоев царских... Ну что ж! Пора начинать карьеру.

XVIII век открывался великой Северной войной: Россия выходила на большую дорогу истории, но эта дорога длиною в 21 год обошлась россиянам в одну пятую часть населения — убитых, казненных, сожженных, утопленных и просто разбежавшихся по белу свету. Россия не имела своей воды... Правда, на севере был Архангельск, а на юге отвоёван Азов, но в Черное море турки русские корабли не пропустили; они говорили так:

— Черное море — дом наш внутренний, куда никого, как в гарем, не допустим. Станете плавать — войну начнем. Или пролив у Керчи весь камнями закидаем: даже щепка не проплывет!

Итальянский язык в ту пору был официальным языком турецкой дипломатии, и это решило судьбу Толстого: он стал первым постоянным послом России у порога Блистательной Порты... Годы шли вдаль от родины, от семьи. Петр I денег не давал, а платил соболями, которые в Турции не раскупались. Громы пушек на севере Европы отдавались борьбою в передних султана; визирь Али-паша сказал однажды Толстому с кривою усмешкою:

— Когда враг по пояс в воде, можно подать ему руку; если он залез в воду по грудь, лучше не замечать его; а когда враг стоит по горло — лучше топить его без жалости!

— К чему сии грозные слова, великий визирь?

— Скоро поймете сами, — отвечал хитрый Али-паша...

В 1709 году грянула Полтава. Карл XII бежал во владения султана, Петр I требовал его выдачи, но русских курьеров турки перехитрили, — война объявлена! Петра Андреевича янычары повели в Семибашенный замок через пресловутые Красные ворота, которые (ради устрашения) накануне покрасили свежей человеческой кровью. Всю ночь послу России показывали орудия пыток.

— Меня-то этим не устроишь, — ответил старик...

Али-паша скоро навестил его в темнице.

— Мне вас жаль, — сказал визирь. — Ваш император зачем-то взял с собою ливонскую девку Катерину и пошел с этой девкой воевать против нас. Сейчас мы окружили вашу армию на Пруте.

Визирь развязал платок и показал женские украшения:

— Вот и серьги из ушей Екатерины...

— Что значит нелепость сия? — в ужасе закричал Толстой.

— Это значит, что царь сдал нам не только пушки, не только Азов и Таганрог, но даже серьги из ушей своей куртизанки...

Так и было! Прутский поход закончился катастрофой. Россия потеряла Азов и Таганрог; сожгли Азовскую флотилию. В 1712 году турки пихнули в темницу еще двух дипломатов — Шафирова и Шереметева... Толстой, тряся бороδοю, спрашивал их:

— Робята, а вас-то какой бес сюда наслал?

— А мы... мир приехали заключать. Вот и попались.

Войны не было. Но мира тоже не стало.

Только в 1714 году Толстой вырвался из этого ада...

Вернулся домой и не узнал России: столица в Петербурге, русская армия гуляла по берегам Балтики, вместо воеводств учреждены губернии, заседал Сенат, при дворе крутилась масса иностранцев, а близ Петра I стояли люди, Толстому неведомые, — Алексашка Меншиков (дука Ижорский) да «ливонская девка» Катерина... Тьфу ты! Опять всю карьеру надо начинать заново.

Сына своего, рожденного от Авдотьи Лопухиной, Петр I насильно привенчал к худосочной Шарлотте Вольффенбюттельской, родная сестра которой была супругою австрийского кесаря Карла VI, — царь нуждался в альянсе венского и петербургского дворов: политика определила этот никудышный брак. Царевич сплетничал с монахами, врагами отца, и не столько сам пил, сколько его дальновидно спаивали. Слабый здоровьем, измученный церковными постами и непосильным пьянством, Алексей со слезами умолял денщиков царя-батюшки:

— Умру ведь я. Господи! Сжальтесь надо мною.

— Пей давай... чего уж там! — отвечал Меншиков и, разжав зубы царевичу, вливал в него громадную чару с перцовкой, которая была такой крепости, что свечу поднеси — вспыхивала!

Сбитый с толку монахами, задерганный отцом, страдающий за свою мать, живущую в тюрьме, царевич еще в молодости перенес то, что сейчас принято называть инсультом. Шарлотта родила ему сына (будущего императора Петра II), но Алексей, по примеру отца, завел себе «чухонскую девку» Евфросинью, а жена вскорости умерла. Но тут родила и «ливонская девка» Катерина — тоже сына и тоже Петра по имени. Царь встал перед роковым выбором: кому оставлять престол? Или бездельнику Алексею — нелюбимому сыну от нелюбимой жены, или Петру* — любимому сыночку от любимой женщины. Возник сложный династический вопрос...

* Петр Петрович — умер в младенчестве; Петр I очень любил мальчика и называл его ласково «Шишечка»; портрет его можно видеть во Дворце-музее в Летнем саду в Санкт-Петербурге. — *Примеч автора*

Был поздний осенний вечер, по крышам венского дворца стучал сильный дождь, вице-канцлер Шенборн собирался ложиться спать, когда в двери стали ломиться, требуя с ним свидания. Это был царевич Алексей, бежавший из России!

— Мне нужен император — мой свояк, — потребовал он.

Шенборн кликнул секретаря с перьями, и потому бессвязная речь Алексея в венском дворце дошла до нас. Крича, царевич бегал по комнате, задевая стулья, наконец захотел пива.

— Я должен похмелиться. Дайте пива!

— Пива нет. Но я могу налить вам мозельвейну...

Алексей выпил мозельского и зарыдал.

— Я слабый человек, — записывал его слова секретарь, — меня спойли нарочно, чтобы расстроить мое здоровье. Я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, ибо там враги отца моего. Я передаю себя в защиту кесаря, умоляю не выдавать меня отцу. Он ни во что не ценит человеческую кровь, всегда и гневен, и мстителен, ничего не щадит — ни денег, ни крови, потому что он тиран и враг народа русского. Я изнемог...

До кесаря его не допустили. Беглеца с Евфросиньей отправили по Дунаю в Тироль, где заключили в замок Эренберг, стоящий на вершине неприступной скалы. А по Европе уже скакали русские сыщики: бегство царевича грозило России смутами. Венский посол Плейер сообщал кесарю из Петербурга: «Слухи о бегстве царевича возбудили в народе всеобщую радость. Здесь все готово к бунту...» Местопребывание Алексея открыл Румянцев, после чего Толстой навестил царя, склонившись перед ним столь низко, что букли парика коснулись паркетов:

— Ваше величество, доверьте дело мне, рабу своему.

— Что тебе надо для этого, Андреевич? — спросил царь.

— Червонцев... как можно больше червонцев!

По решению кесаря, Алексея с Евфросиньей отвезли в Неаполь, а там их укрыли в замке Сент-Альмо, возвышавшемся над городом. А за коляскою с беглецами скакал неутомимый Румянцев... Толстой, прибыв в Вену, просил Карла VI выдать царевича. Кесарь отвечал, что пусть он сам разбирается с царевичем и его пажом (Евфросинья носила мужскую одежду). 24 сентября 1717 года Петр Андреевич встретился с Румянцевым в Неаполе.

— Ах, Синька, Синька! — вздохнул старик. — Молод ты, быстро по Европам скачешь. Ну-к, ладно. Идем до царевича!

Он вручил Алексею письмо царя, который упрекал сына за бегство, просил во всем слушаться Толстого и заключал: «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе...»

— Не верю! — разрыдался Алексей. — Я стану писать кесарю, чтобы не отдавал меня отцу... Боюсь лютоги его!

Толстой выждал паузу. Веско заговорил:

— Кесарь — протектор плохой. Ежели отец двинет армию к рубежам его, кесарь выдаст тебя с головой. Но тогда будешь судим яко изменник отечеству. Нет, кесарь ссориться с Россией не пожелает! А мне велено не удаляться отселе, прежде чем не возьму тебя. Помни: куда б тебя ни везли, где бы ни спрятали — я буду, аки сатана или ангел, всегда рядом с тобою...

Толстой повидал и Евфросинью; он понял сразу, что эта девка в штанах сговорчива. Речи повел он ласковые:

— Евфросиньюшка, ах краса-то какова... будто писана! Послушька, золотко, что я тебе на ушко поведаю...

И поклялся (!) «девке чухонской», что пусть уговорит царевича вернуться домой, а тогда он выдаст ее замуж за своего сына, да в придачу даст им тысячу крестьянских дворов.

— Заживешь как барыня! Именья-то мои каковы: там и лес, и телята, и малина, и сметаны полно...

От Евфросиньи он вернулся к царевичу — с угрозой:

— Если не вернешься, разлучим тебя с Евфросиньей...

Алексей сдался! Но поставил условие:

— Жить мне частным лицом в Москве на Воздвиженке и чтоб не дергали меня боле, а с Евфросиньюшкой не разлучали...

Царевича везли на Русь через Вену; Евфросинья (беременная) ехала на Русь через Берлин; в Москве сына поджидал царь:

— Сразу откажись от всяких прав на престолонаследие и назови всех, кто шептался с тобой...

Третьего февраля 1718 года Алексея доставили в Успенский собор; положив руку на Евангелие, он всенародно поклялся, что никогда не станет искать престола российскийского, а будет признавать наследником престола сводного брата, Петра Петровича («Шишечку»). В тот же день царь манифестом оповестил страну, что царевич от службы отлынивал, жену Шарлотту замучил, а время проводил празднo с Евфросиньей (которая поминалась в манифесте как «бездельная и работная девка»). Алексей выдал единомышленников. Началась полоса пыток и казней. Дело царевича Алексея — вроде бы семейное! — стало делом общегосударственным.

Весною двор перебрался в Петербург. Евфросинью заперли в Петропавловской крепости: там она родила ребенка, судьба которого неизвестна. На картине художника Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» запечатлен как раз тот важный момент, когда царь — именно со слов Евфросиньи! — предъявил сыну жестокие обвинения... Палец царя на листе допроса:

— Ехиднин сын! Гляди сам, что писано... Когда говорили тебе, что в столице тихо, отвечал ты словами вражьими: «Тишина недаром: либо отец умрет, либо в народе бунт объявится...»

В эти дни на мызе близ Петербурга отрубили головы крестьянам — Рубцову, Поропилову, Леонтьеву. Вина их была только в том, что они видели, как царевича затащили в сарай, откуда скоро раздались истошные вопли. И хотя Алексей ежедневно обедал за одним столом с отцом, его уже подвергали пыткам. Суд в составе 127 персон вынес ему смертный приговор. Не подписался под ним только один человек — не потому, что был слишком смелый, а потому, что был слишком безграмотный.

В манифесте о смерти царевича Петр I объявил народу, что Алексей скончался от апоплексии. В честь этого была отчеканена медаль, на которой — корона царская в лучах солнца и надпись: ГОРИЗОНТ ПРОЯСНЕНИЯ. На самом же деле царевич принял смерть жестокую. Румянцев, Бутурлин, Ушаков и Толстой (наш герой) вошли в камеру, где сидел Алексей, и сообща задавили его подушками! Эта сцена убийства не испортила Петру I хорошего настроения, тем более что был праздник — годовщина Полтавской баталии. Царь со вкусом обедал в Летнем саду подле Екатерины, вечером был пышный фейерверк над Невою, веселый пир длился до глубокой ночи. Толстой как главный виновник торжества сиживал возле царя. Токарь Андрей Нартов написал как очевидец, что в разгар пира царь, «снявши с Толстого парик и колотя его по плешине, говаривал: «Эх, голова ты, голова! Кабы не была так умна, так давно бы отрубил ее...» Память подсказала царю горячий день стрельцкого возмущения, когда Толстой был «маткою бунта». Нет, царь все помнил и ничего не прощал! А погубив царевича Алексея, Толстой, естественно, сделался сторонником Екатерины...

Это было ему нужно, ибо Петр I уже был не жилец на свете. Петр Андреевич заранее (вкупе с Меншиковым) сколачивал будущее царствование, как корабль, чтобы плыть на нем далее. В мае 1724 года он получил титул графа. В конце Петрова царствования Толстой был главным инквизитором в Тайной канцелярии, созданной в помощь Преображенскому приказу, где палачи уже не поспевали рубить людям головы. Толстой лично руководил пытками и казнями, но свидетельств о его жестокости не сохранилось: очевидно, граф не был столь кровожаден, как другие инквизиторы той мрачной эпохи... Петр I перед смертью предупреждал близких, что Толстой «человек очень способный, но когда имеешь с ним дело, нужно держать камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, если он захочет кусаться!»

После смерти Петра I ближайшие его соратники оказались и главными критиками былого царствования; император еще лежал в гробу, когда

они стали разворачивать Россию назад — к старым порядкам. Мало того, птенцы гнезда Петрова стали ястребами, клевавшими один другого так, что пух и перья кружились над великим наследством великого императора. Судьи царевича Алексея хотели, чтобы императрицей стала Екатерина! Но ведь существовал и законный наследник престола — Петр Алексеевич, сын умерщвленного царевича. Толстой и Меншиков больше всего боялись, что этот мальчик, возмужав, спросит: а кто моего отца сгубил? — и потому они теперь кричали громче других:

— Хотим только матушку Катерину... пресветлую!

И вечно пьяную, кстати сказать. При избрании этой женщины в императрицы несколько человек зарезали возле престола, а несколько человек пришлось выкинуть со второго этажа.

Но ни Толстому, ни Меншикову не довелось умереть на сундуках с награбленным добром. Меншиков возжелал женить на своей дочери Петра, сына казненного царевича, — тогда и волки сыты, и овцы целы останутся... Но Толстой пришел в ужас.

— Конечно, — сказал он сыну, — ежели Алексашка Меншиков станет тестем императора Руси, он свою шкуру погладит, а вот наши шкуры, толстовские, все будут в дырках великих...

С воплями кинулся старец к умирающей Екатерине I.

— Что мне теперь счастье и что мне несчастье? — сказал он. — Но вы, ваше величество, должны понять, какой удар ожидает ваших наследников... Вижу топор, занесенный над головой детей наших и над моей головой — тоже!

— Не кричи, Андреич, — отвечала императрица. — Я уже слово дала Алексашке: пушай дочку свою за Петра выдает... Мне все едино помирать вскорости, вы сами и решайте...

За шесть дней до ее кончины Меншиков объявил, что в покои Екатерины I больше никого не впустит, даже если в него будут стрелять. Екатерина I, целиком ему подчинившись, подписала указ об аресте Толстого и его конфиденентов. Сколько людей отправил Толстой на тот свет, а теперь и сам попался.

— Для меня, — заявил он судьям, — все в этом мире давно постыло, и считаю свою участь более счастливою, нежели участь тех, кто будет после меня проживать...

Вместе с сыном его отправили на Соловки, где заточили в подземную темницу — без света. Там они куску хлеба радовались. В возрасте 84 лет Толстой умер в день 30 января 1729 года. Но перед смертью ему выпала горькая доля — выкопать могилу для своего сына, который скончался раньше отца.

Так закончилась эта яркая, грубая, сочная и удивительно сложная жизнь. Надгробная плита над прахом сохранила от давних времен лишь два слова: «Граф Петр...» — и все!

Лев Толстой задумал роман о жизни Петра I, в котором главным героем стал бы его пращур. «Если Бог даст, — писал он тетке, — я нынешнее лето хочу съездить в Соловки». На Соловецкие острова он не поехал, а роман забросил.

Позднее и сам признавался в неудаче:

— Трудно проникнуть в души тогдашних людей — до того они не похожи на нас... Царь Петр был для меня очень далек!

Старые гусиные перья

Семен Романович Воронцов, посол в Лондоне, рассеянно наблюдал, как его секретарь Жоли затачивал гусиные перья.

— Порою, — рассуждал он, — нам платят за несколько слов, произнесенных шепотом, а иногда осыпают золотом даже за наше молчание. Такова уж профессия дипломата! — Из горстки перьев посол выбрал самое старое, обмакнул его в чернила: — Склянка с этой дрянью стоит гроши, но, используя ее с помощью пера, иногда можно изменить политику государства и без крови выиграть генеральную битву... Не так ли?

С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посольства, и доложил, что ночью в Лондон прибыли русские корабли с традиционными грузами: смола, поташ, мед, пенька, доски.

— Распоряжением премьера Питта их лишили помощи лордманов, и они вошли в Темзу сами... Боюсь, уплывут домой с пустыми трюмами, ибо в закупке товаров аглицких нам, россиянам, усилиями кабинета Сент-Джемского тоже отказано.

Семен Романович воспринял это спокойно.

— Яко младенец связан с утробой матери пуповиной, тако же и коммерция для англичан от политики неотделима. Ежели парламент во главе с Питтом войны с нами жаждет, то народ Англии желал бы лишь торговать с нами. А я устал! — Воронцов тяжело поднялся с кресла. — Пожалуй, прогуляюсь!

Лондон был стар, даже очень стар. В ту пору столица имела лишь два моста, а туннеля под Темзой еще не было. Внутри кирпичных особняков царили покой и чистота, зато снаружи здания покрывала хроническая копоть от извечного угара каминов. Улицы были украшены афишами, предупреждавшими иностранцев беречь кошельки от жуликов. Лондон во все времена был слишком откровенен в обнажении своих жизненных пороков, и Семен Романович долгим взором проследил за колесницей, увозящей преступника на виселицу... Вдруг липкий комок грязи залепил лицо русского посла, раздалась брань:

— У-у, русская собака! Если ваши корабли не уберутся с Черного моря и Средиземного, вам не плавать и на Балтийском...

Было время диктатуры Уильяма Питта Младшего, время назревания того жестокого кризиса, который вошел в нашу историю под названием «Восточного» (хотя от берегов Темзы очень далеко до Азии, но виновником кризиса стал именно Лондон). Впрочем, России не привыкать выбираться из политических бурь, и Семен Романович безразлично вытер лицо.

— Нет уж! — было им сказано. — На войну не рассчитывайте. Я затем и стою здесь, чтобы войны с вами не случилось...

Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург: «Пока г. Питт, ослепленный Пруссией, пребудет здесь министром, и пока король останется в опеке своей супруги, преданной совершенно двору берлинскому, России ничего полезного от Англии ожидать нельзя...» Петербургу не стоило объяснять, что Англией правила Ганноверская (немецкая) династия, а полупомешанный Георг III был женат на Шарлотте Мекленбургской, тоже немке. В конце депеши Воронцов добавил, что сумасшествие английского короля совпало по времени с началом Французской революции. Но не он, не король определял политику Англии — это делал всемогущий и вероломный Питт Младший, породивший нелепую басню о «русской опасности» для Европы, и эта басня до сих пор хранится в боевых арсеналах врагов России — как старое, но испытанное оружие...

Перед сном Воронцов истово отмолился в посольской церкви, а восстав с колен, сказал священнику Смирнову:

— Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес они пока не имеют, дабы посуху до Москвы ехать, посеми и наняли для войны армию пруссаков. Однако, смею надеяться, и сама Пруссия прохудит свои штаны у кордонов наших.

Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии, хорошо ее изучивший, человек грамотный, отвечал послу:

— Не дадим им смолы русской, так у них борта кораблей протекать станут, а без нашей-то пеньки из чего они канатов для флота навертят? Если мы, русские, чтим воззрения Адама Смита, почему бы и милордам над экономикой не задуматься?

С этим он и загасил душистый ладан в кадиле.

После неудачной войны за океаном, потеряв владения в Америке, Англия все колониальные претензии переместила в Азию, торопливо закрепляя свое господство в Индии. При этом, бесспорно, Питта устрашали победы русских в войне с Турцией, которую, кстати сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти султана, Питт благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия получила *второй фронт* — столь опасный для нее, что даже улицы Петербурга затянуло пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта сражались враждующие эскадры.

Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и парламент Англии, повинувшись Питту, как хороший оркестр талантливому дирижеру, сыграл на слишком бравурных нотах:

— Долой русских с Черного моря!..

В русском посольстве слышались разговоры:

— Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и не ведал бы, что такой паршивый городишко существует. А ныне не только милорды в парламенте, но даже нищие попрошайки и базарные торговки рассуждают, что без Очакова им всем пропадать...

Питт Младший, опытный демагог, заверял парламент, что победы России угрожают безопасности Англии:

— Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре, русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить: ворота на Индию ими уже открыты...

Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и утвердила мир на севере. Но королевская Пруссия, это алчное государство-казарма, уже обещала турецкому султану объявить войну России, чтобы она снова задыхалась в тисках двух фронтов — на юге и на севере.

— Война с Россией неизбежна! — декларировал Питт...

Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстояло расплачиваться с Гогенцоллернами не только золотом. Как раз в это же время Лондон навестил Михаил Огинский, известный патриот Польши и композитор; в беседе с ним Питт заявил открыто:

— Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим присутствием в Данциге? Между Варшавой и Лондоном не может быть никаких отношений, пока вы, поляки, не отдадите немцам Данциг, а если вы не сделаете этого по доброй воле, они все равно отберут его у вас — силой своего оружия...

Это был, если хотите, своего рода «Мюнхен», только опрокинутый из нашего века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы предварял будущее предательство Чемберлена. Но в декабре 1790 года, утверждая свое победное торжество, русские воины — во главе с Суворовым! — взяли штурмом неприступный Измаил. А русский кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, которая до сей поры изумляет историков. Екатерина II — втайне от Европы — решила на союз с революционной Францией, чтобы сообща с нею противостоять своим недругам...

Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко запил после падения Измаила! Но все силы ада уже были приведены им в движение.

Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против России, чтобы война с нею обрела популярность в народе... Секретарь Жולי доложил Воронцову, что объявлен набор матросов на королевский флот, верфи Англии загружены спешной работой, а священник Смирнов только что вернулся из Портсмута:

— Он желает срочно переговорить с вами...

Яков Иванович встревожил посла сообщением:

— Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра в тридцать шесть линейных кораблей, кроме коих готовы еще двенадцать фрегатов и с полсотни бригов.

— Каковы же настроения матросов, отец Яков?

— Скверные! Их похватали на улицах и в трактирах, никто из несчастных сих не желает служить питтовским химерам.

Советник Лизакевич вошел к послу с докладом:

— Увы! Вопрос с объявлением войны решен, в марте последует совместный ультиматум Пруссии и Англии, чтобы Россия покинула Крым и все области Причерноморья, уже с избытком орошенные нашей кровью... Англия слишком богата и на свои деньги всегда съест дураков на континенте, готовых воевать с нашей милостью. Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться за свои неудачи на Балтике...

Итак, России предстояла борьба с коалицией!

— Я поговорю с самим Питтом, — решил Воронцов...

Беседа меж ними состоялась. Посол сказал, что Лондону следовало бы поточнее разграничить интересы самой Великобритании от интересов династии Ганноверской:

— Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и могущества: дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с Петербургом? У вас торговлей с Россией ежегодно заняты триста пятьдесят кораблей и тысячи моряков, но подрубите этот доходный сук, на котором вы сидите, и... куда денутся моряки без работы? Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков, возрастет и преступность в городах.

Питт хлебнул коньяку и запил его портером.

— Оставьте! — грубо заявил он. — Я много думал над бедствиями Европы и пришел к выводу, что именно ваша варварская страна является главной пособницей революции во Франции...

— Вот как? Мне смешно, — заметил Воронцов.

— Якобинцы, — упоенно продолжал Питт, — не смогли бы одержать столько внушительных побед, если бы ваша императрица не расшатала старые порядки Европы, если бы своей безнравственной политикой она не разрушила бы прочное равновесие Европы.

Нравственности Екатерины II посол не касался.

— Но ваш союз с Пруссией, — сказал он, — закончится разгромом... именно Пруссии! И тогда никакая Голконда в Индии не сможет возместить убытков Англии от войны с нами.

Питт не пожелал выслушивать посла далее:

— На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном одиночестве... Впрочем, — досказал он, — о мирных намерениях своего кабинета вам лучше поговорить с герцогом Лидсом.

В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали каминные. Лизакевич спросил о результатах беседы с премьером. Семен Романович погрел у пламени зябнувшие руки.

— Если Питт отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной у рта. При этом необходимо учитывать, что эта пена — самая натуральная, рожденная из бочки с портером. Не знаю, как сложится мой диалог с его статс-секретарем Лидсом... Герцог Лидс ведал в Англии иностранными делами, он всегда был покорным слугой «ястреба» Питта:

— Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, давно в оппозиции к власти Екатерины, и мне даже странно, что вы столь ретиво отстаиваете ее заблуждения.

— Я не служу личности, я служу только отечеству! — отвечал Воронцов, обозленный выпадом герцога. — Я отстаиваю перед вами не заблуждения коронованной женщины, а пытаюсь лишь доказать вам исторические права своего великого народа в его многовековых притязаниях на берега Черного моря.

— Где Черное, там и Средиземное, — усмехнулся Лидс, — а где Очаков, там и Дунай... География тут простая.

— Возможно! Только не думайте, что я стану действовать за кулисами политики, подавая оттуда «голос певца за сценой». Напротив, я решил взять политику вашего королевства за руку и вывести ее на площади Лондона и других городов Англии.

— Что это значит? — не понял его герцог Лидс.

— Это значит, что отныне я перестаю взывать к благоразумию ваших министров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне или не быть, я передаю на усмотрение вашего же народа! И я, — заключил Воронцов, — уверен, что английский народ не станет воевать с Россией...

(«Лидс не знал, что отвечать мне», — писал Воронцов.)

— Это ваше последнее слово, посол?

— Да! — Воронцов удалился, даже без поклона.

Узнав об этом разговоре, Питт долго смеялся:

— Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? При чем здесь хор, если все главные партии исполняют солисты?..

Воронцов же мыслил иначе: «Я слишком хорошего мнения об английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общена-

родный голос не заставит отказаться от этого несправедливого пред-
приятия» — от войны с Россией!

Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппозиции
Питту. Встретив Воронцова, он сказал:

— Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. Как
сторонник дружбы с Россией я поддерживаю вас. Но иногда мне кажется,
что слово «мир» дипломатам удобнее было бы заменять более доход-
чивым выражением — «временное перемирие»...

Лизакевич встревоженно известил посла:

— Прибыл курьер из Петербурга! Армия Пруссии уже придвинута
к рубежам Курляндии, английский флот из Портсмута готов выбрать
якоря... Необходим демарш!

Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена:

— Но прежде я желал бы повидать самого Фокса...

Чарльз Джеймс Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял
оппозицию партии врагов. Назло Питту он приветствовал независи-
мость Америки, восхвалял революцию во Франции. За неряшливый
образ жизни его прозвали «английским Мирабо», а Екатерина II
считала его «отпетым якобинцем». Фокс известил Воронцова, что
свихнувшийся король уже передал в парламент текст «тронной речи»,
требуя в ней «ассигнования значительных сумм для усиления флота,
чтобы придать более веса протестам Англии ради поддержания зыб-
кого равновесия в Европе...».

Фокс злобно высмеял это пресловутое равновесие:

— О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной чаше
весов гири, а на другой — куча перегнившей картошки. Сначала я
желал бы пьяному Питту сохранить равновесие своего брэнного тела
на трибуне парламента... Не волнуйтесь, посол: завтра я последний раз
проиграюсь на скачках, после чего не возьму в рот даже капли хереса,
чтобы сражаться с Питтом в самом непорочном состоянии!

Воронцов собрал чиновников посольства:

— На время забудем, что в Англии существует Питт и раболепный
ему парламент. Отныне мы станем апеллировать не к министрам
короля, а непосредственно к нации... Милый Жоли, — обратился он
к секретарю, — заготовьте побольше чернил и заточите как следует
самые лучшие гусиные перья!

Все чиновники посольства, и даже священник Смирнов, преврати-
лись в политических публицистов, чтобы переломить общественное
мнение в королевстве. Семен Романович вспоминал: «Я давал (им)
материалы, самые убедительные и достоверные, с целью доказать ан-
глийской нации, что ее влекли к гибели и уничтожению — торговли, и
то в интересах совершенно ей чуждых... В двадцати и более газетах, вы-

ходящих здесь ежедневно, появлялись наши статьи, открывавшие глаза народу, который все более восставал противу своего министерства... Во время этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, и мы ночью писали, а днем бегали во все стороны — разносили в редакции газет статьи, которые должны были появиться на другой день». К этой борьбе русских в защиту мира подключились и сами англичане — негоцианты, врачи, адвокаты, ученые. Фокс не поленился продиктовать текст брошюры «По случаю приближения войны и поведения наших министров», и Екатерина II через курьера затребовала брошюру в Петербург — для перевода ее на русский язык. Пять долгих месяцев длилась ожесточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в эти дни только надсадное скрипение старых гусиных перьев...

Наконец однажды Лизакевич обрадовал посла:

— Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры дезертируют с кораблей: им-то плевать на наш Очаков, им-то меньше всего нужна перестрелка с фортами Кронштадта.

Воронцов напомнил: природа войны такова, что она неизменно обогащает и без того богатых, но зато безжалостно обшаривает карманы бедняков, лишая их последнего пенса:

— Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных районов Англии, где рабочие и без того бедствуют...

Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен Романович умышленно отделял мнение правительства от гласа народного, гласа Божьего. Русские — поверх напудренных париков милордов — протягивали руку дружбы народу Англии, и народ живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные города Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили митингами, «на которых, — сообщал Воронцов, — было решено представить в парламент петиции с протестом противу мер министерства против России... избиратели писали своим депутатам, требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса против него. Наконец в Лондоне на стенах всех домов простой народ начал писать мелом: «НАМ НЕ НАДО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ»...

Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом обращение короля — одобрить билль о расходах на войну с Россией, а Пруссия и Англия вот-вот должны предъявить Петербургу грозный ультиматум... Питт не скрывал своих планов:

— Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска, наши эскадры достигнут русские корабли даже в укрытиях гавани Севастополя! И пусть русские плавают потом на плотках, как первобытные дикари...

При голосовании его поддержало *большинство*. Но это «большинство», всегда покорное ему, уменьшилось на сотню голосов. Многие милорды, посвятившие жизнь воспитанию собак и лошадей,

дегустации коньяков и хересов, никак не разумели, что такое Очаков и где его следует искать на картах мира.

— Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куса выжженной солнцем степи в тех краях, которые нам неизвестны? — спрашивали они. — Мы имели выгоды, и немалые, от торговли с Россией, но какую прибыль получим от войны с нею?..

Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный тон, многие из друзей Питта вообще отказались вотировать его призыв к войне с Россией... Питт был даже ошеломлен:

— Надеюсь услышать от вас и более здравые речи...

На следующий день «Фокс, по словам Воронцова, говорил как ангел...». Лидер партии вигов начал свое громоизвержение, его юмор как молния разил тщедушного Питта:

— Ах, вот он, этот человек, проводящий здесь политику берлинского кабинета, жаждущего владеть Данцигом в Польше и Курляндией в России! Нам-то, всегда сытым, что за дело до непомерных appetitов отощавших берлинских мудрецов? И разве, спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, отстаивая свои рубежи от варварских нападений?.. Джентльмены! Что можно еще ожидать хорошего от человека, который высшую поэзию усмотрел не в Гомере и Овидии, а в никудышной грамматике парламентских речений? Наконец, стоит ли нам доверять министру, который, берясь за вино, предпочитает иметь дело не со стаканом, а с бутылками?.. Между тем народ требует от нас не иллюзорных побед, а конкретных гарантий мира!

Питт и на этот раз выиграл в голосовании.

Да, выиграл. Но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял: это не победа, а поражение, вслед за которым начинается крах всей его бесподобной карьеры... Фокс в беседе с Воронцовым очень точно определил состояние Питта:

— Теперь он поглощен единою мыслью, как бы ему отсидеться в кустах, но без особого позора, ибо народ Англии никогда не пожелает разделить этот позор со своим премьером...

Питт решил на крайнюю меру — он распустил парламент. Всю вину за свое поражение он свалил на герцога Лидса, удалив его в отставку. Наконец решение было им принято:

— Ультиматума не будет! Я посылаю в Петербург старого добряка Фолкнера, чтобы тот согласился с мирными условиями петербургского кабинета... Срочно шлите гонцов в Портсмут: пусть эскадра разоружается! А пруссакам — отвести войска обратно в казармы. Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити отказывает шведам в субсидиях на усиление флота... *Всё!*

Воронцов справился у Лизакевича, в какую сумму обошлась русской казне эта кампания борьбы за мир.

— Дешево! — засмеялся тот. — Да и когда еще старые гусиные перья стоили дорого! Мы выиграли битву за мир, истратив лишь двести пятьдесят фунтов стерлингов. Для сравнения я вам напомню, что дом нашего посольства потребовал от казны расходов в шесть тысяч фунтов. Вот и считайте сами...

Был чудесный день в Лондоне, ярко зеленела трава на лужайках, когда Воронцов снова навестил Фокса.

— У меня новость... приятная для вас! — сообщил он ему. — Наша императрица пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить его в Камероновой галерее своей царскосельской резиденции, причем она уже выбрала для вашего бюста отличное место.

— Какое же? — фыркнул Фокс, явно недоумевая.

— Вы будете красоваться между Демосфером и Цицероном.

— А... вы? — спросил Фокс. — Где же ваш бюст?

Воронцов отвечал с иронической усмешкой:

— Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз взбесить Питта, то мой бюст способен взбесить только императрицу! Не забывайте, что я состою в оппозиции к ее царствованию, как и вы, милый Фокс, в оппозиции к правлению Питта...

Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся на Гарлейскую улицу, где и занял свой пост — в кабинете посольства. Именно в этом году, когда Россия выиграла войну без войны, в Англии скончался поэт Роберт Берне...

И мне стало даже печально: как давно все это было!

Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте!

Следует помнить, дорогой читатель: борьба за мир не сегодня началась и не завтра она закончится. Только нам уже не слышать мажорного скрипения старых гусиных перьев, зато из ночи в ночь грохочут в редакциях газет бодрые телетайпы...

Будем надеяться. Будем верить.

Каламбур Николаевич

В последней монографии о военной галерее героев 1812 года помещен любопытный список. В нем перечислены генералы, портреты которых должны украшать галерею нашей славы, но по каким-то

причинам они в нее не попали. Среди них значится и князь Сергей Николаевич Долгорукий (1770–1829), которого в тогдашнем русском обществе прозвали «Каламбур Николаевич», ибо этот человек обладал жалящим остроумием. К сожалению, я не могу донести до читателя едкую соль его сарказмов, ибо они рождались благодаря блистательному владению французским языком и были понятны современникам, знавшим этот язык во всех тонкостях...

1811 год застал героя в Италии, спешащим в Неаполь.

Была поздняя осень. Рим встретил дипломата сухой и жаркой погодой, а за княжеством Понтекорво хлынули мутные дожди. Карета въехала в пределы Неаполитанского королевства — во владения маршала Мюрата; от французских патрулей на дорогах князь узнал, что недавно опять пробудился от спячки Везувий, выбросив в небеса тучи гари и пепла.

— А потому и дожди текут грязнее помоев. Вы, посол, будьте осторожнее: дороги до Неаполя небезопасны... Мало мы перевешали карбонариев! Они теперь озверели и убивают каждого, кто не способен выговорить дикое слово «чече».

Конечно, освоить фонетику итальянского языка победители были не в силах. Вечер застал князя на постоялом дворе, хозяин украсил стол, на котором его ожидал ужин, двумя жиденькими свечками. Наверное, не без умысла он выставил перед ним миску с горохом.

— Ваши лошади, синьор, слишком устали. Сейчас вы ляжете отдыхать, а завтра к вечеру достигнете и Неаполя...

Могучий, как молотобоец, князь сел на лавку, и она со скрипом прогнулась под ним.

— Я буду в Неаполе завтра утром, — сказал он.

— Воля ваша! Но у нас по ночам никто не ездит, если не желает умереть без святого причастия... Попробуйте, синьор, наше блюдо! — И хозяин придвинул князю миску с горохом.

— Благодарю. Как это называется по-итальянски?

— Чече.

Долгорукий со вкусом повторил это слово, чему хозяин страшно обрадовался:

— О! Так вы, синьор, не француз! Вы, наверное, из Вены? Или... поляк?

— Я еду из Петербурга... Русский.

Итальянец выразил ему свою симпатию:

— У нас тут много всяких слухов, говорят, Наполеону мало страданий Европы, скоро он начнет войну и с вами.

После ужина Каламбур Николаевич велел запрягать лошадей в карету; прислуга заметила, как небрежно он бросил поверх дивана

футляр с дорожными пистолетами. Кожаные ремни, заменявшие рессоры, мягко и плавно укачивали, и князь Долгорукий крепко спал, когда со звоном вылетели из окон стекла, двери кареты распахнулись с двух сторон одновременно. В грудь посла России уперлись дула четырех пистолетов сразу. Слабый свет ночника, горевшего в углу кареты, осветил из мрака глаза, блестящие в прорезях масок:

— Если ты не враг, так скажи слово «чече», и тогда твоя жизнь, как и твой кошелек, останутся в целости.

Долгорукий не потерял хладнокровия:

— В русском языке, как и в вашем, сколько угодно подобных звучаний. Что там ваше «чече»? Вот вам: чечевица, человек, чудовище, чучело... Вы приняли меня за француза, придворного короля Мюрата? Вот, — показал князь на закрытый футляр с пистолетами, — как видите, я полагался в дороге не на силу оружия, а лишь на благородство патриотов-карбонариев. Да и чего мне, русскому, бояться в Италии, которой Россия никогда не причиняла никакого вреда!

Пистолеты мигом исчезли, маски были сдернуты, обнажив худые, небритые лица карбонариев, которых газеты Европы именовали бандитами. Долгорукий выбрался из кареты, к нему подошел главарь шайки — босой калабриец, галантным жестом приподнявший перед послом простреленную пулями шляпу:

— Мы рады приветствовать русского друга... Для одинокого путника найдется и угощение.

— Я не против! — согласился Долгорукий и поинтересовался: — Ради чего вы рискуете, зная, что, скорее всего, примете смерть на эшафоте?

Калабриец сказал, что итальянцам опротивело видеть, как Наполеон, словно портняжка, по собственным выкройкам раскромсал Италию на куски, создавая новые княжества и королевства для своих ближайших родственников и маршалов.

— Даже распутных сестер он сделал владычицами над нами. Имена Каролины Мюрат, Элизы Баччиокки и Полины Боргезе, надеюсь, говорят вам о многом... Наполеону достаточно нахмурить брови в Париже — и его братцы с сестрами сразу пополнят редющую армию Франции за счет несчастных итальянцев. Мюрат в Неаполе уже провел рекрутский набор для своего зятя, который, если верны слухи, собирается напасть на Россию. Будем же молить пречистую мадонну, чтобы этот злодей, забравшись в русские леса, превратился от холода в звонкую сосульку!

Близился кризис, о котором писал Пушкин: «...гроза двенадцатого года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа — еще грозил и колебался он...»

Пришло время сказать, что именно каламбуры и стали виной тому, что карьера Долгорукому не удалась. Каламбура Николаевича вместе с его опасным красноречием старались держать подальше от двора и столицы. Его посылали в Вену для финансового арбитража, потом долго томили в Гааге, где, кстати, от его остроумия немало пострадала блудливая Гортензия Богарнэ, падчерица Наполеона, силком выданная за короля Людовика Бонапарта, брата того же Наполеона...

Людовик откровенно жаловался Долгорукому:

— Сначала брат навязал мне гадину-жену, потом — голландскую корону, а я хочу одного — писать романы. Желая дружбы с Россией, я решил поставить в Саардаме памятник Петру Великому; мой проект в Петербурге одобрили, но брат запретил мне ставить памятник. Возомнивший о себе столь много, он безжалостно грабит моих бедных голландцев ради пополнения арсеналов для новых губительных войн... Боюсь, что вся наша семейка в один прекрасный день окажется на виселице!

Вражда с братом и разлад с женою вынудили Людовика отречься от короны и бежать от мести брата, после чего Наполеон приобшил Голландию к своим владениям, а Каламбур Николаевич остался без службы. Но, как тогда говорили, «если не служить, так лучше не родиться». Долгорукого вызвал в Петербург российский канцлер Николай Петрович Румянцев:

— Мы отзываем из Неаполя поверенного Константина Бенкендорфа, а вам, князь, предстоит поспешить в Неаполь... Именно поспешить, ибо нам стало известно, что Меттерних из Вены внезапно назначил посланником в Неаполь графа Миера.

— Смею думать, — отвечал Долгорукий, — что Миера будет вести себя в Неаполе столь же скромно, как его Меттерних ведет себя под императором французов.

— Возможно, — согласился Румянцев. — Но зато в Неаполе могут возникнуть осложнения с Дюраном-Марейлем...

Канцлер предупредил: король Мюрат из вассала своего зятя желает сделаться самостоятельным государем, чтобы избавить себя от наполеоновской ферулы; с этой же целью он готовит армию в сорок тысяч штыков, вполне достаточную для ограждения своего суверенитета.

Наполеон это понял и, дабы припугнуть зятя, отозвал из Неаполя своего посла Обюссона, оставив при Мюрате лишь поверенного в делах. Да, это сознательное унижение... Но Каролина Бонапарт, жена Мюрата, укатила к брату в Париж, а у этой женщины, по словам Талейрана, голова Макиавелли на торсе Венеры. Она, конечно, умоляла брата не оставлять Неаполь без своего посольства, отчего Наполеон, сжался над нею, и направил к Мюрату барона Дюрана-Марейля.

— Надеюсь, — заявил Долгорукий, — мое положение в Неаполе не будет ниже положения, занимаемого этим Дюраном.

— Дюрану, — подхватил Румянцев, — Наполеон и не позволит занять высокий пост, чтобы тем самым не возвышать Мюрата, которому как сыну трактирщика не пристало заноситься. Но Мюрат уже прислал в Петербург своего посланника Бранцио, и мы это оценили как призыв усилить русское посольство в Неаполе — в противовес влиянию Дюрана...

Долгорукий рассмеялся. Канцлер огорчился:

— Не понимаю, князь, что вас рассмешило?

Каламбур Николаевич сказал, что, наверное, будет вернее говорить о корсиканском нашествии на Европу, а совсем не о французском. Наполеон, образуя новые государства для своих домочадцев, поставил дипломатию в ненормальное положение:

— Громадный дипломатический корпус работает только по обслуживанию дворов родственников Наполеона, и мы, дипломаты, заведомо знаем, что аккредитованы состоять при лягушках, квакающих по нотам великого композитора Наполеона.

— Не забывайте о Тильзитском мире, — сухо напомнил Румянцев. — Мы не собираемся его нарушать, но Россия уже заточила штыки, дабы покарать нарушителя спокойствия...

Оказавшись в Неаполе, князь Долгорукий вручил свои верительные грамоты неаполитанскому королю. Мюрат был болтлив, как женщина (а точнее — как истый гасконец); его длинным курчавым локонам до плеч могла бы позавидовать любая красавица.

— Напрасно не оповестили меня о своем приезде заранее, — сказал он. — Я бы выслал навстречу вооруженный эскорт, а мой шталмейстер граф Реми Эксельман дал бы вам лучших лошадей из моих великолепных конюшен...

Мюрат стал королем вместо Иосифа Бонапарта, которого Наполеон пересадил на престол Испании, как пересаживают редиску с одной грядки на другую. Бурбоны в ту пору скрывались в Палермо на Сицилии, их поддерживала английская эскадра, захватившая остров Капри — как раз напротив Неаполя. Мюрат недавно изгнал англичан с Капри, но Сицилия еще оставалась для него недоступна. Вареные раки (как называли в Италии англичан за их красные мундиры) воевали спустя рукава. Лондон уже знал о скорой войне с Россией, и потому британцы сознательно сберегали свои силенки... Кровь будет пролита русская!

Иоахим Мюрат, склонный к петушиной пышности и позерству, был колоритной фигурой. Наполеон отзывался о нем с презрением: «Этот жалкий Pantaleone годится лишь для украшения моих триум-

фов». Долгорукий быстро угадал настроения Мюрата, знакомые ему по общению с Людовиком Бонапартом.

— Наши жены отбились от рук и попали в чужие руки, а дети забыли нас. Мы, славная когорта маршалов Франции, скопили несметные богатства, но не можем наслаждаться роскошью. Император таскает нас за собой, словно мы бездомные цыгане, и порою я радуюсь даже куску колбасы. Что мне перины Бурбонов, если после атаки я готов выспаться в первой же грязной луже... Куда еще потащится мой зять со своими фантазиями? Дал бы пожить спокойно...

Константин Бенкендорф (не граф!) ознакомил Долгорукого с делами в Неаполитанском королевстве:

— Наполеон превратил Неаполь в провинцию Франции, и Мюрат боится, как бы его не постигла участь Голландии. Власть короля призрачна: нищие лаццарони Неаполя — сродни санкюлотам Парижа. Весною генерал Манэ перебил в Калабрии семь тысяч крестьян, дававших партизанам-карбонариям приют и пищу... Бойтесь Эксельмана! — предупредил Бенкендорф посла. — Этот человек недавно бежал из английского плена, и похоже, что Наполеон приставил его к Мюрату, дабы удобнее шпионить за своим зятем. К сожалению, спесивый Эксельман не дал мне повода проткнуть его шпагой на дуэли...

Случайно в Неаполе оказался еще один русский — барон Григорий Строганов, бывший посол в Мадриде. Он похитил жену у португальского посла и потому не спешил возвращаться в Петербург, где его поджидала законная жена. Человек образованный и умный, Строганов рассуждал:

— Наполеон дал европейцам блага Гражданского кодекса, но за это потребовал слишком большой гонорар, и мы теперь наблюдаем, как текут ниагары крови, возвышаются монбланы пушечного мяса... Испания уже прославилась себя бесстрашием партизан-гверильясов, Италия доверила судьбу карбонариям, и смею думать, что наши русские мужики, случись нашествие Наполеона, вяют миру примеры античного мужества...

Трое русских, заброшенных на чужбину, отчетливо понимали, что война неизбежна, и потому обстановку в Неаполе воспринимали обостренно. Каламбур Николаевич приступил к своим обязанностям, состоя в дипломатическом ранге полномочного министра и чрезвычайного посланника. Но лучше будем именовать его проще — послом... Впрочем, служба не обременяла посла: охоты в Кордителло чередовались с оперой в театре «Сан-Карло», двор Мюрата (без Каролины, но с дамами) выезжал прохладиться на Капри или на озеро Аньяно. Из дипломатов Долгорукий сдружился лишь с Тассони, который горько проклинал свою в самом деле незавидную судьбу:

— Каково мне, итальянцу, быть посланником итальянским, представляя персону Эжена Богарнэ в итальянском же Неаполе, но принад-

лежащем французскому маршалу Мюрату? Не парадокс ли? И когда же мы, итальянцы, станем хозяевами в своем доме?

Венский посланник Миера держался в стороне от русских, но барон Дюран оказался и мил, и любезен.

— Наши императоры большие друзья, — намекнул он.

— Да, — надменно отвечал Долгорукий. — После встречи в Тильзите им ничего другого не оставалось. И мы останемся друзьями до тех пор, пока будем придерживаться XXVIII статьи Тильзитского трактата о равенстве и правах между Россией и той империей, которую создал Наполеон...

Долгорукий намеренно держал себя гордо — даже перед Мюратом, словно предчувствуя, что, хотя Мюрат и ершился перед Наполеоном, он покорно поведет французскую армию против русской. До короля, наверное, дошли его слова, неосторожно сказанные в присутствии графа Миера, прихвостня Меттерниха:

— В кавалерийских конюшнях Петербурга немало всяких мюратов, но они не мечтают сделаться королями, как это случилось с зятем одного корсиканца...

Миера, как и предвидели в Петербурге, отмалчивался, дабы не вызвать грома и молний Парижа. Меттерних уже тогда проводил подлую политику: заискивая перед Россией, он исподтишка толкал Наполеона на войну с Россией, понимая, что, когда русские свернут Наполеону шею, он, Меттерних, станет первой скрипкой в европейском оркестре. Соответственно тайным вожделениям своего венского патрона и вел себя посол Миера, заранее и во всем уступая первенство французам.

— Но я в протоколе не уступлю, — решил Долгорукий...

Дипломатический протокол — святая святых этикета, по которому ведутся переговоры между послами и власть предержащими. Иногда незначительный, казалось бы, пустяк в поведении способен поднять или уронить престиж государства... Каламбур Николаевич говорил: «Исполнение протокола почитаю как закон полевой тактики в развитии общей боевой стратегии — политики!» Король Мюрат, рожденный под лавкою сельского трактира, не надеялся на свое знание этикета, доверив ведение протокола маркизу Галло, и, пожалуй, он даже не обратил внимания на то, что Дюран с Миера однажды заняли место впереди русского посла. Но в следующей церемонии Долгорукий прочно занял место по правую руку от короля, всей мощью Добрыни Никитича оттеснив представителей Вены и Парижа.

Дюран высказал Долгорукому свое недовольство:

— Где-нибудь в Бразилии или в Китае я охотно уступил бы вам первенство, но только не в Неаполе, где король — зять моего императора, а королева — его родная сестра.

Долгорукий отвечал Дюрану со всей учтивостью:

— Поверьте, у меня нет никаких предубеждений против вас, барон, и быть их не может, я лишь ставлю свою персону на то законное место, которого она заслуживает не по моим личным качествам, а лишь по заслугам моего отечества...

Казалось, конфликт улажен, а Дюран даже подумал, что он может из него извлечь выгоду для своей карьеры. Однако во время завтрака в Кордителло князь был недоволен тем местом, какое ему пришлось занять за общим столом. В своем докладе Румянцеву он писал: «Я отстаивал свои права с горячностью... удовлетворившись заявлением маркиза Галло, что король не вмешивался в распределение мест и даже выразил желание, чтобы при этом не соблюдалось никакого порядка».

Затем маркиз Галло сообщил Долгорукому:

— Не знаю, чем это кончится, но в новогодней церемонии мой король Иоахим сначала заговорит с тем послом, который предстанет перед его величеством первым...

Последняя фраза была решающей. Но она же была и провокационной: Мюрат сознательно вызывал дипломатический скандал. Историк Фр. Массон писал: «Допустить, чтобы французский посланник имел преимущество перед другими, значило признать его (то есть Мюрата. — *В.П.*) подчинение императору». Потому Мюрат и готовил Дюрану унижение, которое должно быть оплеухой Наполеону. Сам король задеть зятя боялся, но, зная строптивый нрав русского посла, Мюрат понимал, что Долгорукий, конечно же, пожелает быть первым... Дюран в эти дни тоже готовился постоять за честь Наполеона, говоря Эксельману:

— Вот увидите, я буду смеяться последним...

Долгорукий, узнав об этом, сказал Бенкендорфу:

— Чтобы смеяться, надо прежде всего уметь смеяться...

Человечество вступало в грозный 1812 год, и, словно предчувствуя его роковые потрясения, в самом конце уходящего года Везувий снова разворчался, осыпав крыши Неаполя горячим и хрустким пеплом. 1 января Мюрат, окруженный свитой, появился в тронном зале. Придворный этикет не был нарушен, зато дипломатический протокол сильно пострадал с того момента, как обер-церемониймейстер объявил о прибытии господ посланников. Фр. Массон пишет, что Долгорукий преднамеренно занял первое место в церемонии, «но в ту же минуту барон Дюран сильно толкнул его сзади со словами:

— Ну уж нет! Этому не бывать...»

При этом, если верить докладу Дюрана, он сказал Долгорукому: «Дипломатия — искусство более письменное, нежели устное, так потрудитесь сочинить письменный протест...»

— С личной печатью! — охотно отозвался Долгорукий, награждая любителя писанины громкой пощечиной...

Цитирую: «Миера, стоявший ближе всех к обоим посланникам, видел, как они волтузили один другого кулаками». Дипломатический протокол общения на кулаках никогда не фиксировал. Но это было как раз то, что и требовалось сейчас Мюрату.

Заметив драку, он отчетливо произнес:

— Господа! Вашу трогательную горячность я приписываю только поспешностью, с какой вы стремитесь лицеизреть мое королевское величество. Остальное меня не касается.

Затем, обходя придворных дам, он весело шутил с ними о новогоднем извержении Везувия.

Из доклада графа Миера канцлеру Меттерниху: «Князь Долгорукий, конечно, будет утверждать, что он не брался за эфес шпаги, но я видел это своими глазами...» Из письма маркиза Галло князю Долгорукому: «Его величество (Мюрат. — *В.П.*) никак не мог себе представить, что... вы забудетесь до того, чтобы взяться за эфес шпаги, угрожая французскому посланнику».

Гофмаршал Периньони подтащил Дюрана к престолу:

— Ваше королевское величество, — сказал он Мюрату, — посол Франции требует, чтобы ему было сделано удовлетворение за нанесение ущерба в его лице императору Наполеону...

Вот тут Мюрат понял, что, играя, он сильно переиграл.

Цитирую из Массона: «Он сам поощрял претензии Долгорукого и был бы готов одобрить его поступок... с другой стороны, он боялся ссоры с Наполеоном», и, продолжая свою опасную игру, Мюрат решил «передернуть карту»: «Чтобы выйти из затруднительного положения, он игнорировал оскорбление Дюрану как представителю французского монарха...»

— При чем здесь Наполеон? — раскричался Мюрат. — Кладя руку на эфес «шпаги, русский посол нанес оскорбление не императору Франции, а лично моему королевскому престижу...»

Во время следствия один лишь итальянец Тассони назло всем чертям заявил, что он ничего не видел — ни оплеухи, ни касания князем эфеса (за что Тассони и был предан анафеме самим Наполеоном, писавшим: «Он вел себя худо — ему нельзя было уклоняться от дела, если дело шло о достоинстве моей короны»). Но дипломаты, побитые возле престолов, тоже никому не нужны, и Дюран понял, что карьера его закончилась. Чтобы спасти себя и спасти свою пенсию, он немедленно отправил Долгорукому вызов на дуэль: «Положив руку на эфес шпаги, вы позволили себе угрожающий жест в отношении меня, за который я должен потребовать у вас удовлетворения...»

Каламбур Николаевич рассудил таким образом:

— У нас на Руси принято говорить: «положа руку на сердце», а в Европе лучше беседовать, положи руку на эфес шпаги... Я принимаю вызов. И сегодня же отправлю курьера в Петербург, чтобы Румянцев позволил мне отставку со службы...

Но оплеуха, отпущенная русской дланью посланцу Наполеона, вызвала бурную радость на улицах Неаполя; стоило Долгорукому появиться в публике, как лаццарони кричали: «Чече, чече! Руссия — виват!..» Движение карбонариев затронуло не только парий общества, но даже аристократию, почему князь и не был удивлен словами итальянского генерала Караскозы:

— Друзья свободы приветствуют вас, и мы будем надеяться, что Россия поддержит наше стремление к единству...

Бенкендорф выложил перед Долгоруким письмо:

— Случилось худшее. Эксельман *тоже* прислал вам вызов на дуэль. Боюсь, подстроена непристойная ловушка...

Эксельман начинал письмо так: «Как французский генерал и подданный императора Наполеона я преисполнен понятного негодования... имею честь немедленно просить у вас удовлетворения за оскорбление, нанесенное моему монарху».

— Да, ловушка, — согласился Долгорукий. — Эксельман надеется добить меня, если это не удастся Дюрану.

Константин Бенкендорф быстро что-то писал.

— Кому? Куда? Зачем? — спросил его Долгорукий.

— Ему. Туда. Вызов, — отвечал Бенкендорф. — Вы берете на себя Дюрана, а я обещаю проткнуть графа Эксельмана...

«Смею надеяться, — писал Бенкендорф, — что после дуэли с князем Долгоруким вы дадите мне возможность исполнить священную для меня обязанность...» Пригласили и Строганова.

— Григорий Александрович, — сказал ему Долгорукий. — Дюран будет иметь двух секундантов — барона Форбена и того же Эксельмана, с моей стороны будет Костя Бенкендорф, вас прошу помогать ему в этом благородном занятии.

Строганов согласился, но предупредил:

— Как занимающий посольское место вы лишены права принимать вызов на дуэль. Или вы уже получили отставку?

— Курьер скачет и будет скакать еще долго...

Дуэль была назначена на 5 января в 7 часов утра.

— Где? На берегу Аньяно?

— Нет. Внутри храма Сераписа в Пуццоли.

— Нашли местечко! — буркнул Строганов...

Перед поединком Долгорукий сказал Дюрану:

— Еще раз выражаю вам свое личное уважение, напоминая о том, что никакой лично вражды и неприязни к вам не имею.

— Благодарю, князь. Лучше приступим к делу...

Долгорукий обнажил клинок, украшенный славянской вязью по стали: «Умри, злодей...» Первый же выпад пришелся в грудь Дюрану. Долгорукий, явно шадя противника, быстро выдернул острие из его тела, а Строганов сразу вмешался:

— Кровь была, не хватит ли этого?

— Нет. Продолжим, — отказался Дюран...

Шпаги снова скрестились очень рискованно для Дюрана, и он, отбросив оружие, кинулся в объятия Долгорукому:

— Благодарю за честь! Я удовлетворен. Мы останемся друзьями... Не так ли, князь?

Тут вовсю разорался секундант Форбен:

— Скорее! Там убивают... Помогите же, вмешайтесь!

Оказывается, Бенкендорф с Эксельманом уже яростно бились на церковной паперти. Вот здесь была настоящая бойня...

Раненный в плечо, Бенкендорф искусно пластал воздух клинком, стремясь пронзить Эксельмана. Их пытались разнять, но Бенкендорф нанес еще два удара подряд — в шею и подле уха. Эксельман обливался кровью... Работая шпагой, Бенкендорф сначала вытеснил его с церковной паперти, а потом заставил отступить и далее — прямо на церковные ступени.

— Это было изгнание из храма торгующих и нечестивых, — сказал он друзьям, батистовым платком обтирая лезвие шпаги...

Только сейчас, когда все кончилось, прискакал генерал Караскоза и заявил от имени Мюрата, что он «не допустит дуэлей в пределах его королевства». Долгорукий захохотал:

— Какая дуэль? Здесь собрались хорошие друзья...

К нему, шатаясь, подошел Реми Эксельман:

— Князь! Отправляя вам вызов, я совсем упустил из виду, что вы как официальное лицо не могли принять его, пока не получите обратно верительные грамоты... Прошу извинить меня за оплошность и забыть о сделанном вызове.

Долгорукий пожал ему руку, липкую от крови.

— Впрочем, — сказал он, — я всегда к вашим услугам и готов скрестить оружие, когда вам будет угодно...

Но скрестить оружие с генералом Наполеона ему пришлось уже на заснеженных полях России!

По чину генерал-лейтенант, Каламбур Николаевич в войне с Наполеоном командовал пехотным корпусом, имя его не раз встречается в переписке фельдмаршала Голенищева-Кутузова Смоленского. Патриотизм Долгорукого был настолько высок, что от него долго скрывали известие о пожаре Москвы: думали, он не переживет этого... Но даже на полях сражений князь оставался верен чувству природного юмора, и до нас от тех лет дошли два его каламбура.

Когда сдался в плен генерал Пеллетье, князь сказал, что теперь все французы скорчатся от холода (pelletier по-французски — скорняк, меховщик). Второй каламбур касался Тарутинского лагеря. Долгорукий вложил его в уста Наполеона, якобы сказавшего: «Koutousoff, ta gautine m'a deroute». — «Кутузов, твоя рутина (Тарутино) сбила меня с пути...»

Со своей матушкой пехотой князь Долгорукий прошагал весь путь изгнания захватчиков с родимой земли, потом участвовал в освобождении народов Европы от наполеоновской тирании, попутно исполняя дипломатические поручения в союзных странах.

Сергей Николаевич был женат на дочери известного финансиста Васильева, но семейная жизнь его бурной натуре не удалась, супруги давно жили врозь, а их дети, сын и дочь, принадлежали уже иному поколению — их можно было встретить в окружении поэта Пушкина...

Каламбур Николаевич не мог служить во времена аракатеевских порядков и после войны удалился в отставку, угаснув на чужбине — одиноким и, наверное, несчастным. О нем редко упоминают и ныне, чаще говорят искусствоведы о его портрете волшебной кисти Д.Г. Левицкого. Увы, мы видим этот портрет далеко от прославленной военной галереи — он незаметно стареет в краеведческом музее тихой подмосковной провинции, почти совсем не публикуется.

После Долгорукого остался написанный им еще в молодости исторический труд «Хроника Российской Императорской армии», изданный в 1799 году. По мнению историков, это драгоценнейший свод сведений о всех полках России, об их мундирах, штандартах и местах расквартирования. Труд тем более ценный для нас, что те материалы, которые автор использовал при его написании, погибли в пламени московского пожара, и нам их уже никогда не вернуть. Честно сознаюсь, я этой книги даже в руках не держал, хотя немало копался в заманчивых дебрях букинистических лавок...

Кровь, слезы и лавры

Генрих Карл Штейн был министром Пруссии.

— Мы, немцы, — говорил он, — давно чего-то жаждем, но, чтобы утолить жажду, осуждены глотать собственные слезы. Я боюсь не за Пруссию — я давно страдаю за всю Германию!

В канун своего позора Берлин оставался слишком заносчив. Кухарки выбивали стекла в здании посольства Наполеона, а самоуверенный (но еще не знаменитый) генерал Блюхер нахально затачивал свою саблю на ступеньках того же посольства:

— Смерть французам! Наполеона утопим в Рейне...

Королева Луиза показывалась народу в костюме Орлеанской девственницы. А солдат — ради воодушевления — толпами, словно баранов, загоняли в королевский театр, чтобы они набрались мужества от просмотра шиллеровского «Валленштейна». Пасторы в храмах столицы открыто возвещали прихожанам:

— Наполеон еще не изведал силу Пруссии! К чему нам ружья? Достаточно шпицрутенгов, чтобы гнать его генералов, вчерашних лавочников и сапожников. Одни лишь мы, пруссаки, имеем полководцев, живущих по заветам «старого Фрица»...

Наполеон одним взмахом уничтожил Пруссию при Йене, и в день погрома лишь три человека догадывались, в чем секрет его успехов, — это были Шарнгорст и Гнейзенау, а с ними и молодой Клаузевиц, любимый ученик Шарнгорста. Зато вот пылкий Блюхер, угодивший в плен, еще ничего не понимал:

— Французы для меня хуже пьяных лягушек. Как эти лягушки смогли повалить могучего прусского буйвола?..

Наполеон сознательно унижал Пруссию; во дворце Сан-Суси он забрал для себя кабинетные часы «старого Фрица».

— Вы уже достаточно ими полюбовались, — беспардонно заявил он немцам. — Теперь эти часы короля Фридриха Великого станут отсчитывать новое время — время моего величия...

Пруссия, жившая славой былых побед, считалась в Европе самой непобедимой, и тем страшнее были бедствия пруссаков. Наполеон превратил побежденных в поставщиков денег и продовольствия для армии Франции, со смехом он признавал:

— Кажется, я выжал из них целый м и л л и а р д...

Им руководила непомерная жадность к господству над всеми европейцами, желание превратить их в рукоплещущие ему толпы и чтобы никто не смел сомневаться в его гениальном величии. «Подчинись мне, или ты будешь мною растоптан!» — таков был основной девиз его оккупационной политики.

Реформы по оживлению гнилого прусского организма проводил министр Штейн; давний выученик Геттингена и поклонник Адама Смита, он считал, что «государство не может процветать, если в нем обездолена личность человека...».

— Человек и государство едины, составляя общее целое. Но без слияния народа с правительством, — доказывал Штейн, — невозможно существование никакого государства.

Все это было слишком ново для жителей Пруссии, издавна приученных надеяться, что за них думают короли.

— Армия, — предупреждал Штейн, — это тот же народ, и армия не имеет права быть игрушкой в руках королей...

Рассуждая так, министр не питал никаких иллюзий относительно патриотизма прусского юнкерства:

— Что можно ожидать от породы племенных скотов, выведенных в хлевах династии Гогенцоллернов! Бессердечные, полуграмотные люди, они способны быть только капралами в казармах или крохоборами в своих помещичьих фольварках.

Юнкера платили Штейну той же монетой.

— Лучше, — говорили они, — пережить еще два разгрома при Йене, нежели облизывать мед с бритвы Штейна. Мы скорее поладим с интендантами-обиралами Наполеона, чем с министром, выпускающим на волю наших крестьян...

В декабре 1808 года появился декрет Наполеона: «Некий Штейн, занимающийся в Германии возмущением смут, объявляется *врагом Франции* .. владения (Штейна) подлежат секвестру. Лично помянутый мною Штейн, где бы он ни был достигнут войсками нашими или наших союзников, подлежит заарестованию».

— Передайте в Берлин, — наказал император. — Сен-Марсан не вручит королю верительных грамот, пока Штейн не будет изгнан из Пруссии, и дайте понять моему послу, что мне желательно получить Штейна живьем. Я его расстреляю...

Когда такое начало я прочел своему приятелю, он сказал, чтобы я не связывался с «фон-унд-цум» Штейном:

— Ну, допустим, я его немножко знаю. А... другие? Из истории освободительной войны 1813 года у нас давно известны лишь имена Блюхера, Клаузевица, Шарнгорста и Гнейзенау. Но, помилуй, кто из наших читателей слышал о Штейне?

На это я отвечал, что почти все перечисленные имена, столь громкие в немецкой истории, позже были отчеканены на броне кайзеровских и гитлеровских крейсеров (как императоры, так и нацисты старались подчеркнуть свою мнимую причастность к героям-патриотам старой Германии).

— Но заметил ли ты, — сказал я приятелю, — что имя Штейна не засияло на бортах крейсеров и дредноутов. Ни кайзеры, ни фюреры не желали связывать себя с его личностью, ибо популярность Штейна всегда казалась слишком опасной. Нам иногда нелегко осмыслить все трагическое величие этого человека, которого поняли лишь немецкие демократы.

— Тогда продолжай, — согласился приятель...

Я продолжаю. Германия была разрознена, а вечная вражда между Австрией и Пруссией усиливала немецкую разобщенность. Монахи, епископы и всякие фюрсты не могли возглавить народы в борьбе с Наполеоном: напротив, они, словно жалкие побирушки, гурьбою толпились в передних «корсиканца», вымаливая у него земли за счет соседей, денежные дотации за счет своих же ограбленных подданных,

они умоляли деспота о пенсиях и орденах... Штейн именовал князей Германии «мелюзгой» и «сволочью». В это безотрадное время немецкая профессура возрождала угасший патриотизм немцев комментариями к старинным легендам Рейна или сказкам Одера, а посему Штейн не очень-то доверял и тогдашней германской учености:

— Наши мыслители очень далеки от жизни народа, их мудрость давно не в ладах с обычным человеческим здравомыслием. Философия словно нарочно выискивает такие точки зрения на вещи, с каких на эти же вещи никогда не смотрит нормальный человек, ежедневно озабоченный добыванием куска хлеба насущного... Что касается нашей литературы, то я не вижу пользы от ее высокопарных фантазий. Нужна простецкая песня о любви к родине!

Великий философ Гегель уж нарек Наполеона «мировым духом верхом на коне», а великий поэт Гете с поклоном принял орден Почетного легиона от человека, разорившего его Веймар. Германский романтизм витал в заоблачных грезах, боясь спуститься на землю, обильно унавоженную массовыми рейдами непобедимой мюратовской кавалерии. Прусский король Фридрих-Вильгельм III, это жалкое подобие властелина, пресмыкался перед Наполеоном, внушая своим генералам и министрам: «С ним лучше не спорить, ему не стоит и возражать, ибо Наполеон — гений». В это время только одна захудалая Испания героически погибла в пламени и руинах Сарагосы, да еще на востоке, незаметно и без лишнего шума, Россия накапливала силы для решающей битвы с удачливым узурпатором...

Пятого января 1809 года французский посол граф Сен-Марсан тайне повидался с голландским послом в Берлине:

— Вы, конечно, знакомы с декретом Наполеона, требующего ареста Штейна. Я боюсь встречаться со Штейном, ибо за мною тоже следят из Парижа, но вам это легче. Предупредите Штейна, чтобы он немедленно скрылся. Мне известно, что его сестра уже арестована и вывезена в Париж для допросов.

— Чем же Штейн вызвал гнев вашего императора?

— Шпионы перехватили его письмо, из которого Наполеон уяснил, что гражданские реформы Штейна, как и военные, скоро возродят Пруссию для борьбы с ним. По мнению Штейна, если Пруссию не смогла спасти королевская армия, теперь ее спасет народное ополчение — ландвер и ландштурм...

Предупрежденный об опасности, Штейн не слишком-то верил в благородство своего олуха-короля:

— Этому трусу ничего не стоит выдать своего же министра в дикастерию палача Фуше... Надо бежать! — сказал Штейн жене, прощаясь с нею. — Берега Швеции или Англии для меня сейчас недоступны, но еще остались владения Габсбургов...

Однако на пути к Вене его остановил указ императора Франца: «Поставьте на вид барону Штейну, чтоб он, если желает иметь пребывание в моих владениях, поселился в Брюнне и вел бы себя там скромно, иначе будет удален из страны».

— Человек, лишенный отечества, поневоле становится отбросом общества, — трезво рассуждал Штейн...

Да! Если в Пруссии народ расступался перед ним, в знак почтения снимая шляпы, то здесь, в зловещей империи Габсбургов, Штейна сторонились, словно он был проклят. С ним боялись даже разговаривать. Но уже восстали тирольцы, потомки Вильгельма Телля, а весной началась новая война. Наполеон в битве при Ваграме уничтожил войска Австрии, и Штейну, чтобы его не схватили французы, пришлось спасаться в силезском Троппау. Именно в этом городе возникла его дружба с молодым русским дипломатом Сергеем Уваровым (книга которого о Штейне была напечатана в нашей стране в 1846 году).

— Я убежден, — говорил ему Штейн, — что с Наполеоном, порожденным из чрева революции, возможна борьба лишь революционными методами: алмаз режут только алмазом! Наполеон никогда не боялся свергать монархов, он привык побеждать их армии, но Испания уже доказала: народ способен его побеждать...

Император Франц подписал в Шёнбрунне унижительный для Австрии мир, отдав Наполеону не только земли славян, но уступив для его вожделений и свою юную дочь — Марию-Луизу.

— Вот вам, — посмеивался Штейн, — еще одно доказательство, что на монархов не стоит рассчитывать. Они согласны расплачиваться с насильником даже натурой от собственной плоти... Что мы, Уваров, наблюдаем сейчас в Германии? Правителей без силы, министров без воли, а народы без права мнения...

Очевидно, до ушей Меттерниха дошли его диатрибы, и он указал изгнаннику поселиться в провинции, где поставил его под надзор полиции. Штейн вырвался в Прагу, откуда и возмущал всех немцев к борьбе своими посланиями. «Письма Штейна почитались тогда в Германии за сокровище... Где только таилась ненависть к Наполеону и где еще теплились надежды на лучшие времена, там поминалась и личность Штейна — сурового, упорного, пламенного и неподкупного носителя освободительных идеалов». Штейн умел предвидеть развитие событий:

— Наполеону кажется, что он катит колесо истории. Но он еще не знает, что это колесо скоро переедет через него и раздавит императора, как червяка посреди дороги... Идеи французской революции принадлежат не только французам, но и другим нациям тоже: корсиканский хищник погибнет, когда эти же идеи обратятся против бонапартистской деспотии!

Наполеон, ослепленный успехами, уже вошел в «семью монархов» Европы, став зятем Габсбурга, а Меттерних соглашался выделить австрийские войска для совместного похода против русских. Штейн с гневом писал, что Вена «послушно шла на поводу у новейшего Тамерлана, боготворящего собственное себялюбие и растаптывающего в грязи все человечество».

Но скоро и король Пруссии вступил в преступный альянс с Францией, причем Наполеон строго предупредил его:

— Если вы осмелитесь уповать на Россию, я найшу на Берлин сто пятьдесят тысяч едоков с отличным аппетитом, которые будут жрать за ваш же счет по рыночным ценам все самое жирное и самое вкусное, и тогда я посмотрю, что станется от берлинцев и от вашего, король, бюджета...

Шарнгорст был удален из генштаба, Гнейзенау бежал из Пруссии, Фридрих-Вильгельм III обещал Наполеону дать корпус генерала Йорка, и Наполеон милостиво принял его холуйские услуги. До нас дошли слова Штейна: «Пруссия сама предала себя в руки врага, и уж, конечно, не с верхов Германии можно ожидать энергичных импульсов к свободе, когда на ее престолах восседают подобные ничтожества...»

Штейн всегда испытывал презрение к венценосцам:

— Король позволил Наполеону сделать из Пруссии «проходной двор», и через этот «двор» Наполеон выводит свои армии прямо к рубежам России. Я верю лишь в демоническую силу народного сопротивления. Отныне, — возвещал Штейн, — мое отечество будет там, где живут честные люди — или ведущие войну с Наполеоном, или те, кому он угрожает войной...

Такой страной была для него Россия, и не только для него. Весною 1812 года русскую границу перешел прусский подполковник Карл Клаузевиц и сдал на форпостах свою шпагу:

— Если бы я остался верен присяге королю, я под знаменами Наполеона уже шагал бы сейчас в рядах его армии — против вас! Но я сознательно изменил королю и присяге, чтобы заодно с вами сражаться против Наполеона...

Блюхер, сидя пока что дома, оттачивал саблю.

— Пусть этот парень с Корсики лезет и дальше, — говорил Блюхер, — вряд ли у него башка крепче моей!

Наполеон собрал против России несметные силы почти всего европейского континента, и он уже не скрывал: «Через год я стану властелином всего мира...» Французы терялись в хаосе вассальных саксонцев, баварцев, гессенцев, вестфальцев, ганноверцев и прочих немцев, входящих в состав его «Великой армии». Эта голодная немецкая саранча, проходя через союзную Пруссию, устроила своим же союзникам такой погром, такой грабеж, какого пруссаки не из-

ведали даже от французов после Йены... Немец грабил немца, немец бил морду немцу, немец позорил жену немца же! Немец был врагом немца. Недаром немецкий поэт-патриот Мориц Арндт с горечью вопрошал Германию:

Где родина немца? Кто знает, кто знает?
Кто в Пруссии или в Баварии кто проживает?
Над кем в Померании чайки рыдают?
Для кого же на Рейне виноград созревает?
Где родина немца? Кто знает, кто знает?

Главная квартира русской армии находилась тогда в Вильне, а все дороги Европы забили войска и обозы наполеоновских полчищ, медленно и грозно сползавшихся к рубежам России. Штейну пришлось избрать кружной путь — через Галицию. На постоянных дворах и в сельских трактирах Штейн не раз слышал разговоры о том, что русские, конечно же, не устоят перед гигантской коалицией всех армий Европы... Штейн только фыркал:

— Глупцы! Всем немцам и во все времена предстоит свято помнить, что Германия еще никогда не спасала Россию, но Россия спасет Германию, она спасет и Европу...

В пути Штейн встречал русские войска, по ночам разгорались костры солдатских бивуаков. Россия подтягивала к границам свои резервы, но они показались Штейну слабыми.

— Спору нет, положение бедственно! — здраво рассуждал он. — Если русские набрали полтораста тысяч штыков, то у корсиканца их шестьсот сорок тысяч. Наполеон имеет на полмиллиона солдат больше... Бедная Россия! Наверное, я просто не извещен, какие ресурсы еще таятся в ее темных лесных безднах...

Двенадцатого июня 1812 года Штейн прибыл в Вильну и сразу был принят Александром I, который вскинул лорнет к глазам.

— Рад видеть вас у себя, — сказал император. — Помните, в Тильзите я просил вашего короля, чтобы он уступил мне вас для службы в России, но вы тогда сами отказались.

— Да, ваше величество, — поклонился Штейн. — Я отказываюсь и сейчас, ибо посты в Русском государстве пусть занимают только русские люди, а я приехал как немец, чтобы с помощью могучей России бороться за свободу Германии.

— Я вправе обидеться на вашего короля, — заметил царь. — За все доброе, что я для него сделал, он отплатил России союзом с Наполеоном, и теперь в армии маршала Макдональда, обязанной захватить Ригу, будет присутствовать и прусский корпус генерала Йорка... Что вы о нем знаете?

Штейн сказал, что генерал Йорк не пруссак:

— Он из славянского племени кашубов; как все кашубы, Йорк упрям и злопамятен. Это очень буйная голова! Он еще при «старом Фрице» сидел в тюрьме за непослушание, бежал в Индию, сражался на Цейлоне и при Мадрасе... Думаю, мне удастся оторвать корпус Йорка от армии французов. Уверен, — продолжал Штейн, — что среди многотысячной армии немцев, направленных их властелинами против России, немало и честных людей... Хорошо, если бы Россия заранее озаботилась размещением пленных и перебежчиков, которые сразу побросают оружие...

Немецкий коммунист Александр Абуш, автор книги «Ложный путь одной нации», писал о Штейне: «В этом крепком, приземистом человеке, уроженце Нассау, бунтарски противостоящем королям, князьям и величайшему завоевателю своего времени (Наполеону), было, по свидетельству современников, что-то даже демоническое». Штейн умел подчинять себе монархов.

— Что вы предлагаете? — спросил его царь.

— Россия должна иметь Немецкий комитет, работающий на благо свободы в Германии; я желаю, чтобы в рядах вашей армии сражался и Немецкий легион, который заодно с русскими начнет освобождение не только Пруссии, но и всей Германии...

Немецкий комитет Штейна явился прообразом того национального комитета «Свободная Германия», какой через сто тридцать лет возник в Москве из числа своих единоплеменников: «Вы, которых завоеватель погнал в Россию, покидайте знамена рабства, собирайтесь под знамена отечества, свободы и национальной чести...» В своих воззваниях он проклинал слабость немецких правителей, но Александр вычеркивал эти слова:

— Не будем рвать волосы с голов монархов...

Шефом Немецкого комитета царь сделал герцога Ольденбургского, изгнанного из своих владений Наполеоном и теперь сидевшего на русских хлебах. Штейн жаловался Уварову:

— Этот балбес мечтает на спинах русских солдат вернуться в свои ольденбургские поместья. Мне трудно иметь дело с дураком, который любит читать всем русским нудные лекции о благородстве герцогов Ольденбургского дома...

Герцог был против создания Немецкого легиона:

— Штейн, вы призываете немцев отказаться от присяги их королям, ваши проекты таят в себе пагубный дух революций, они разрушают основные принципы легитимизма. Неужели вы мыслите, что немцы способны действовать без нас? Все, что ни делается в Германии, все делается по почину германских князей.

Штейн отвечал, что князья — это позор Германии:

— Я сначала научу вас выкинуть из головы бред о том, будто мир сотворен Богом только для вас. И не вы поведете за собой народы, а сами потащитесь в хвосте у народов. Грош мне цена, — зло выговорил Штейн, — если бы я служил вашим сиятельным коронам. Если я чего-либо еще и стою, так только потому, что служу всем немцам несчастной Германии...

Дело было уже в Петербурге. Александр особым «мемуаром» подтвердил правомочность Штейна, для которого общность интересов немецкой нации важнее обособленных желаний германских королей, принцев, епископов и герцогов.

Штейн ожидал приезда поэта Морица Арндта:

— У него зычный, как полковая труба, голос мейстерзингера, который и пропоет для немцев сигнал, зовущий к свержению тиранов! Арндт не станет ковыряться в дебрях мифологии. Этот парень с острова Рюген умеет говорить площадным языком, каким говорили с немцами Ульрих фон Гуттен и Томас Мюнцер...

Был конец августа, когда поэт Мориц Арндт, для маскировки переодетый купцом, прибыл из Праги в Петербург и сразу же приехал к Демуту, в номерах которого проживал Штейн. Штейна он застал среди русских друзей — Сергея Уварова, агронома Федора Шуберта и мореплавателя Крузенштерна.

— О, вот и вы! — обрадовался Штейн. — Садитесь и пишите. Пишите лишь то, о чем кричит душа и скорбит сердце...

Из-под пера Арндта родился «Soldaten Katechismus» («Солдатский катехизис»), в котором поэт обращался к немецким солдатам, шагавшим по горящей русской земле:

«Вы полагаете, что, принеся присягу знамени какого-либо короля, должны слепо выполнять все, что он вам ни прикажет. Значит, вы почитаете себя не людьми, а глупыми скотами, которых можно гнать, куда королям угодно... Истинная солдатская честь заключается в том, что никакая сила и никакая власть не могут принудить благородного и свободного человека творить несправедливые дела... Германская солдатская честь — это когда солдат чувствует, что он, прежде чем стать подданным германских королей, был сыном германской нации, когда он внутренне ощущает, что Германия и ее народ — БЕССМЕРТНЫ, а его господа, все короли с их честью и позором, — лишь ВРЕМЕННЫ...»

В первые дни грозного 1941 года «Солдатский катехизис» поэта Арндта помог нашим пропагандистам в трудной борьбе с идеологией Геббельса. Но вчитайтесь еще раз в слова Арндта, и вам невольно

вспомнятся известные слова: «Гитлеры приходят и уходят, а Германия, а немецкий народ остается...»

Штейн клал горячую руку на плечо Морица Арндта:

— Мы трудимся ради лучшего будущего! Сейчас самая простецкая песня о родине, которую станут распевать в казармах или в трактирах за кружкою пива, значит для Германии гораздо больше, нежели все ходульные драмы Шиллера и Клейста...

Они засылали Германию листовками, прокламациями, песнями и стихами, зовущими к борьбе за свободу, они призывали всех немцев повиноваться едино лишь голосу совести.

— Не будем забывать об Йорке, — часто напоминал Штейн...

Наполеону было доложено, что многие немцы перешли на сторону русской армии, императора охватила ярость.

— До чего же этот коварный византиец Александр любит возиться со всякой продажной сволочью! Но я жалею... да, мне очень жаль, что мерзавец Штейн не попался мне годом раньше. Ах, как мне хочется его расстрелять!..

Воспоминания Морица Арндта о России в 1812 году были переведены на русский язык лишь в 1871 году. Русские мемуаристы еще раньше запечатлели облик и разговоры Штейна, общение с которым было делом нелегким. Его высокий подвижный ум требовал от собеседника полной душевной отдачи, большой образованности и немалого красноречия. Штейн не терпел фальши и пустого фразерства, уважая в людях только прямоту характера и веру в конечную победу. Сам же он никогда не мыслил шаблонами, авторитетов для него не существовало... Когда горела Москва, в столичном обществе возникла растерянность, аристократы гадали, куда им бежать — в Оренбург или в Олонец, но Штейн в эти дни спокойно завтракал у Демута, говоря Арндту:

— Решают эту войну не царь, не аристократ, а русские люди! Зарево горящей Москвы стоит, пожалуй, десяти испанских Сарагос, в дыму московского пожарища навсегда погасло для Наполеона волшебное солнце Аустерлица...

Иначе думали политики Европы! Наполеон уже покинул Москву, но австрийский канцлер Меттерних еще не верил в победу России, даже бегство императора в Париж не отрезвило его:

— Согласен, что Франция изнурена до предела, но ведь и армия Кутузова едва дотащила ноги до Немана; этот рубеж — последний шаг варваров к Европе, а в отступлении Наполеона из Москвы я усматриваю лишь хитрейший маневр гения, который скоро и окончательно погубит проклятую Россию...

В светских гостиных Петербурга Штейн рассуждал:

— Наполеон — это порочная смесь Талейрана с Жильблазом, но самое главное в его натуре... пошлость! Она блистательно сказалась еще в Египте, где он бросил всю армию ради спасения своей персоны, эта пошлость подтвердилась и в России, где он предельно выразил озабоченность о сохранении своей драгоценной шкуры... Вообще, — заключил Штейн, — Наполеон всегда был непревзойденным канальей!

В эти дни он был приглашен на обед к императрице Марии Федоровне, матери царя, урожденной принцессе Вюртембергской; радуясь, что теперь ей не надо бежать в Олонец или Оренбург, эта глупая матрона стала рукоплескать — со словами:

— Если хоть один француз выберется живым из России или пределов германских, я буду стыдиться называть себя немкой.

— Ваше величество, — вдруг поднялся над столом Штейн, разгневанный, — вы должны бы стыдиться не своего народа, а своих же братьев и племянников, которые давно продали свой народ и потащились вслед за Наполеоном против своей же родины — Германии и пошли против России, которая вас приютила...

Так разговаривать с монархами умел только Штейн!

Десятого ноября зима пришла в Петербург обильным снегопадом. Французы спасались бегством в сторону Вильны и Пруссии. «Наступает время, — писал Штейн, — когда моему народу следует подняться ради свободы. Пора показать миру, что не мы, немцы Германии, а немецкие монархи добровольно склоняли свои выи под чужестранным ярмом...» В декабре маршал Макдональд начал отводить французские войска из-под Риги, его прикрывал с тыла прусский корпус генерала Йорка. Была сильная метель, а на дорогах — гололедица, лошади совсем выбились из сил, волоча в постромках пушки и зарядные фуры.

Майор Антон фон Зейдлиц, адъютант Йорка, вдруг стал трясти своего генерала за рукав шубы:

— Не спите... впереди — русские! Вон-вон, вон они...

Навстречу им выехали всадники в добротных бекесах, один из них назвался генералом Иваном Дибичем:

— Стойте, генерал Йорк! Я буду говорить с вами начистоту. У вас, я знаю, хватит сил обрушить мои слабые войска, чтобы пробиться к Тильзиту, но... Подумайте о судьбе Пруссии!

Подле русского генерала — в свистящих полосах метели — маячила конная фигура прусского офицера.

— Кто рядом с вами? — крикнул Йорк из седла.

— Это я... Клаузевиц! — донеслось в ответ.

— А, черт побери! Вы уже спелись с врагами?

Пришпоренная лошадь вынесла Клаузевица вперед:

— Я сражаюсь заодно с русскими за свободу Германии, а за кого сражаетесь вы, генерал Йорк?

— Об этом стоит подумать, — отвечал Йорк и долго думал. — А если я опрокину вас всех к чертям? — вдруг крикнул он.

Но Дибич нагайкою указал на свою артиллерию:

— Видите пушки? Мы будем биться насмерть... Если кто из вас и доберется до Кенигсберга, так только на костылях.

— Не лучше ли войти в Пруссию с миром? — спросил Клаузевиц. — Не лучше ли сразу решить, кто прав, кто виноват?..

На старой Пошерунской мельнице, что скрипела под ветром в окрестностях Таурогена (ныне это литовский городок Тауреге), была подписана Таурогенская конвенция, решавшая судьбу Пруссии и будущее всей Германии. Йорк официально объявил о разрыве его корпуса с армией Наполеона. Началось братание вчерашних врагов — русских с пруссаками. Немецкий историк-марксист Франц Меринг писал по этому поводу: «Клаузевиц, вообще плохо относившийся к Йорку, называет Таурогенское соглашение самым смелым действием, имевшим место когда-либо в истории... Это и дало повод Фридриху Кеппену, другу юности Карла Маркса, назвать «предательство» Йорка формально классическим деянием».

Но король Пруссии был перепуган, он прислал Йорку письмо-приказ, в котором невозможно докопаться до истины: «Поступать по обстоятельствам. Наполеон — гений. Не выходить из границ». Однако, судя по письму, он из границ разума вышел:

— Что скажет теперь император французов о моей чести? Йорк стал изменником, а Наполеон не простит мне измены... Арестовать Йорка! Предать суду! Казнить предателя!

Узнав об этом. Штейн радостно потирал руки.

— Ну, Арндт! Наш час пробил. Пришло время заявить устами Арминия: «Ненависть — наш долг, а мщение — наша добродетель». Собирайте манатки — нас ждет свободная Германия...

Через Пруссию тащились жалкие остатки «Великой армии»: солдаты Наполеона, кутавшиеся в женские шубы и ризы священников, были встречены на улицах Берлина песнями немцев:

Барабанщик, где твой барабан?
Кирасир натянул сарафан,
Разбито войско в пух и прах —
Убирайся домой, вертопрах!

Десятого января Йорк отбросил последние колебания и сам предложил России действовать сообща; фельдмаршал Кутузов-Смоленский отвечал Йорку согласием. 16 января Штейн был уже в Сувалках, где и пересек границу Пруссии: ему предстояла встреча с

Йорком, надо было сразу наладить снабжение русской армии за счет местных ресурсов... Александр еще сомневался:

— Что может сделать генерал Йорк как губернатор Восточной Пруссии, если король дал ему отставку?

— В чем дело? — отвечал Штейн. — Если король убежал в Бреславль, будем считать, что центральной власти не существует, народ управится и без короля...

Население Пруссии уже потребовало от короля скорее заключить союз с Россией, но король отмалчивался, подавленный величием корсиканского «гения». Штейн громил его: «Кто не желает разделить с народом счастья и несчастья, бедствия и жертвы, тот недостойн жить среди нас и, как малодушный негодяй, подлежит или изгнанию, или истреблению!»

Йорк был возмущен дерзостью подобных речей:

— Не слишком ли вы далёко зашли, Штейн?

— В пределах разумного, генерал... не дальше вас! Если народ сказал свое «да», почему король повторяет «нет»?

Партизанский отряд Чернышева и прусская кавалерия майора Теттенборна уже переправились через Одер; горел Кюстрин, полыхало пламя в Шпандау, а перед ними лежала столица. Но пока на одном конце Берлина немцы чествовали русских, на другой окраине Берлина полиция расстреляла немцев, которые приветствовали казаков. Скоро русские окончательно заняли Берлин, нагоняя гарнизон французов. Немецкий журнал «Дас нойе Дойчланд» информировал Германию: «С утра на Дворцовой площади были поставлены телеги, наполненные хлебом, селедкой и водкой. Каждый русский мог там попотчеваться... «Русс и прусс — братья!» — говорили казаки, и многие из пришельцев с далекого Дона приколотили на себя прусские кокарды... Как много слез самой искренней радости, как много было пылких восклицаний: «Слава Богу, мы снова стали свободны!» Ни один русский не посмел войти в дом берлинца, дабы не тревожить покой обывателей. Русские спали прямо на мостовых Берлина, возле своих усталых лошадей. Зато в эту ночь, первую ночь свободы, берлинцы даже не закрывали квартирных дверей, впервые за много лет почивали спокойно. Утром все жители вышли на улицы с кастрюлями и кофейниками, чтобы кормить своих освободителей... Демагогам кайзеровской и фашистской Германии позже пришлось употребить немало чернил, дабы замазать в мемуарах и документах 1813 года эти страницы о горячей дружбе немцев и русских!

Штейн узнал, что Наполеон собирает новую армию:

— Пора и нам братья за оружие. Реформы Шарнгорста и Гнейзенау да воскреснут в порыве народного патриотизма...

Мимо ошеломленных французов шагали плотные ряды ландвера и ландштурма; среди ополченцев можно было видеть фартук сапожника и сюртук профессора красноречия; на дворах университетов студенты седлали боевых коней... Штейн вместе с поэтом Морицем Арндтом спешно выехал в силезский Бреславль, чтобы заставить трусливого короля сказать свое «да!». Королевское окружение встретило Штейна бранью:

— Вот вернулся предатель Штейн, эта безобразная гадина, которая никак не может захлебнуться собственным ядом...

Объяснение с королем было слишком бурным.

— Решайтесь! — заключил Штейн беседу. — Если вы не поддержите усилий народа, который стремится к союзу с Россией, я гарантирую вам хорошую и веселую революцию — и не только в Пруссии, но во всей Германии, а тогда ваша корона покатится по берлинской мостовой, будто старый ночной горшок...

Штейн вдруг заболел. Король отомстил ему тем, что запихнул больного в жалкую мансарду, лишив пищи и услуг врачей. «Придворные в Бреславле, — писал Арндт, — избегали Штейна, словно чумного». Но тут приехал в Бреславль сам русский император, и королю волей-неволей пришлось нанести визит больному.

— Арндт, — велел Штейн, — скажите его величеству, что, если он здесь появится, я спущу его с лестницы вниз башкой. Я могу перенести ненависть, но я не терплю низости!

Над потрясенной, взбаламученной Германией раздался из города Калиша старческий, но спокойный голос фельдмаршала Кутузова, призывавшего всех немцев сплотиться для общей борьбы против насилия воедино с героической русской армией. «Калишское воззвание» Кутузова логично смыкалось с лозунгами Штейна, и Наполеон быстро отреагировал на это через листы «Монитора»: «Известный Штейн, — писала газета, — является для всех честных людей предметом презрения и позора. Теперь его планы разгаданы — он силится поднять буйную чернь против всех владельцев частной собственности...»

Штейн отозвался так:

— Если я верил царю Александру в прошлом году, когда шла битва на полях России, то я не верю ему теперь, в тринадцатом году, когда пушки гремят уже на полях Европы. Да, Арндт! Ни император Франц, ни его канцлер Меттерних не позволят царю опираться на мои советы, ибо Наполеон в своем официозе очень точно высказал мое жизненное кредо. Для всех владык земных я останусь с клеймом «прусского якобинца»!

У Штейна появился новый помощник — Николай Иванович Тургенев. Будущий «декабрист без декабря» (как его называли в России)

вспоминал о Штейне так: «Голова его была слишком мощна, чтобы преследовать интересы одной лишь касты (дворянской); Штейн обладал слишком могучим и великим умом, чтобы не приравнивать его к заботам о судьбах лишь одной категории сограждан, если он мог обнимать всю общественность».

Король обнаглел и стал предельно откровенен:

— Я терплю вас, Штейн, лишь до тех пор, пока вас терпит мой друг, русский император Александр. Но с тех пор как Наполеон избавил меня от вас грозным декретом, я не считаю Штейна прусским чиновником, а ваши злонамеренные узурпации королевских привилегий будут иметь последствия.

— Догадываюсь, — отвечал Штейн со смехом...

Настала осень. Когда Наполеон подписал приказ по армии, чтобы она оставила поле битвы при Лейпциге, исход великой борьбы за освобождение Германии был решен, а миф о непобедимости Наполеона был взорван ядрами русской артиллерии. О победе при Лейпциге Штейн извещал свою жену: «Знай же, что все кончено... Нам остались КРОВЬ, СЛЕЗЫ и ЛАВРЫ».

Русские пушки на высотах Монмартра еще докуривали остатки боевой ярости, когда началась фальсификация минувшей войны.

Подвиг России и героика ее армии, освободившей Европу от наполеоновского господства, на Западе замалчивались, факты искажались, события извращались. Англия чрезмерно возгордилась битвою при Ватерлоо, Габсбурги приписывали Австрии главную роль в свержении Наполеона, а прусские Гогенцоллерны желали предстать перед миром в роли освободителей народов; король-трус был возведен в ранг национального героя...

Надвигалась реакция, которой управлял Меттерних!

Мелкотравчатые хвостушки полезли наверх, приписывая себе заслуги, каких у них никогда не было да и быть не могло. Из подлинных же героев Пруссии казенные подхалимы стали делать покорных исполнителей приказов короля (по формуле: «Король призвал — все-все пришли!»). Ни Арндту, ни Штейну уже никогда не простили того, что они — через головы монархов! — обращались прямо к народу, к лучшим чувствам немецкой власти.

Казенная историография трактовала патриотов Германии как врагов порядка, пропитанных духом Французской революции. Штейн уже никогда не вернулся из отставки. Шарнгорст сложил свою голову при Бауцене, а Гнейзенау и Клаузевиц не сделали карьеры при новом режиме. За переход под русские знамена их считали отступниками от присяги королю. Вот если бы они служили Наполеону, вместе с ним жгли бы Москву и грабили бы русский народ — в этом случае их

служебные формуляры оставались бы незапятнаны, они украшались бы орденами...

Штейн, уже полуслепой и дряхлеющий, доживал слишком бурную жизнь в своих нассауских поместьях, когда его навестил убитый горем, обнищавший и растерянный поэт Мориц Арндт:

— Горе! Меня лишили профессорской кафедры в Бонне, меня травят за мои песни, которые распевает народ... Что случилось? Те людишки, что отсиживались дома, когда звенели сабли, теперь предстали в нимбе спасителей отечества, а нас, живших ради победы, задвинули в самые темные углы, как ненужную мебель... Что останется после нас, господин Штейн?

— Ничего! Ничего, кроме воспоминаний.

— Но воспоминания оставляют люди.

— Так пишите их, черт вас побери, — отвечал Штейн. — Ничего, кроме воспоминаний, от нас и не останется. Но гордитесь, любезный Арндт: мы жили не для себя, мы жили ради будущего Германии — лучшей, нежели она есть...

Штейн скончался в 1831 году, когда в гарнизонах глухой провинции (озлобленные, разочарованные и оклеветанные) умерли Гнейзенау и начальник его штаба Клаузевиц. Германия не пошла тем путем, на который они, эти люди, ее выводили.

С той поры миновало много-много лет. И когда в ГДР отмечали столетие знаменитой «Битвы народов» при Лейпциге, известный историк-коммунист Альберт Норден произнес на митинге речь, воскрешая имена патриотов прошлого, а имя Штейна вновь засверкало благородным отблеском подлинного патриотизма.

Возле памятника русским и немцам, павшим за свободу Европы, незримо выросла тень неутомимого борца за новую, передовую Германию. Так смыкались острейшие грани истории, так давние идеи смыкались с идеями нового времени...

История! Вряд ли это только воспоминания...

Секретная миссия Нарбонна

Пусть мой вопрос не покажется чересчур наивным: какие же конечные цели преследовал Наполеон, начиная поход «двунадесяти языков» против России? Припомним знаменательную беседу славного Кутузова с не менее славным Денисом Давыдовым; на совет фельдмаршала Денису, чтобы тот поберег свою голову, лихой партизан отвечал странными словами:

— Если и погибнем, так сложим головы за Отечество, а это почетнее, нежели подохнуть на берегах Ганга от лихорадок Индии, куда загонит всех нас император французов...

Значит, цели Наполеона были обширнее? И как в заснеженных степях 1943 года у офицеров армии Паулюса, стоявшей на Волге, находили карты Персии, Сирии и даже Индии, так же в обозах армии Наполеона 1812 года казаки обнаруживали атласы Кавказа, Персии и Палестины. Академик Е. В. Тарле писал: «Путь в Индию лежит через Москву — таков был смысл наполеоновского нашествия на Россию, такова в начале дела была его цель».

Перед графом Луи Нарбонном великий агрессор даже не скрывал своих завоевательских намерений:

— Русская армия волеется в мою армию. Впереди пустим казаков на рекогносцировку, песками Средней Азии мы выйдем к Герату и сваливаемся прямо в Индию, чтобы разрушить меркантильное величие спекулятивной Англии...

1812 год начался для него успешно. В январе маршал Даву оккупировал шведскую Померанию, маркиз Арман Коленкур считал, что «решение императора в этот период было уже принято. Австрия согласилась сделаться его пособником, а Пруссию оставалось лишь заставить нарезать розги для собственной порки». Против Русского государства выступала не только Франция, но и мощная коалиция наполеоновских сателлитов; историк Альбер Вандаль писал, что «даже те из союзников Наполеона, которых он насильно гнал за собою, подверглись общему увлечению и гордились тем, что будут сражаться под начальством такого главнокомандующего, каким был Наполеон, утверждавший:

— Русские еще на своих рубежах получают от меня новый Аустерлиц, не пройдет и двух месяцев, как Россия взмолится о мире, и с Востоком будет навсегда покончено...»

Европа уже покрылась колоннами марширующей пехоты, через спящие города, будя жителей, тянулись скрипящие обозы, лошади влекли за собой артиллерию, шла на рысях звенящая амуницией конница, — и вся эта разноязычная лавина денно и ночью передвигалась на восток, напоминая переселение народов в глубокой древности... Наполеон пожелал видеть Нарбонна:

— Россия обречена! Я отъезжаю в Дрезден, куда соберутся все короли и герцоги, подвластные моей воле. Русский император встревожен. Он спешит в Вильну, куда поедете и вы, дабы вручить ему письмо, в котором я не скрываю, что поведением России... недоволен. Для меня крайне важно: русские не должны перейти Неман, пока моя армия не собралась у рубежей России. Вы успокойте Царя Александра любезным обращением, а заодно проведайте, каковы русские силы, настроения придворных офицеров и жителей... Перед царем можете не скрывать, что на этот раз я обладаю армией, какой еще не знал мир!

— А если Александр сам шагнет за Неман?

— Тогда вы притворитесь удивленным, умоляя его о мире. Наконец, черт побери, падите перед ним на колени, рыдайте, прося перемирия, лишь бы я успел подойти к Неману! Впрочем, у вас будет инструкция, как поступить. Вы ее, граф, берегите.

Русская разведка узнала о секретной миссии Нарбонна раньше, нежели Нарбонн отправился в путь... Но кто же такой этот Нарбонн? Почему такое доверие к нему императора?

В его пышном гербе красовался фамильный девиз: «Не мы от королей, а сами короли от нас происходят». Если бы не революция, такому аристократу не пришлось бы склонить выю перед Бонапартом, этим жалким корсиканским плебеем.

Происхождение Нарбонна не было загадкой для общества!

Принцесса Аделаида, тетка Людовика XVI, нечаянно забеременела от наследника-дофина и, чтобы скрыть женский грех, вызвала из Пармы свою подругу Нарбонн, тоже беременную. Нарбонн назвалась матерью ребенка от принцессы. Мальчик вырос под опекой Аделаиды, не умевшей таить материнских чувств, — она сделала его своим пажем. Нарбонн, извещенный о своем происхождении от Бурбонов, скоро превратился в развязного шалопаю. Наглость его дошла до того, что, ужиная с актрисами, он требовал привозить ему посуду прямо из дворцов Версаля.

Под стать Нарбонну был и молодой аббат Талейран, будущий сподвижник Наполеона, не забывший в своих мемуарах отметить: «У графа Нарбонна ум такого рода, который стремится произвести лишь внешнее впечатление... его вежливость лишена оттенков, его веселость часто оскорбительна для хорошего вкуса». Пусть даже так, но Талейрану в ту пору было еще далеко до высот власти, а Нарбонн уж в 1791 году стал военным министром, готовый служить одинаково и королям, и революции. Но его подвела семейная история... Он устроил побег в Италию своей настоящей матери — принцессы Аделаиды вместе с мнимой матерью — герцогиней Нарбонн, после чего бежал и сам. Сначала скрывался в Англии, потом нашел приют на швейцарской границе — в замке Коппе у своей подруги Жермены де Сталь.

Но вот над Францией воссияла звезда Бонапарта, тогда еще первого консула, и Нарбонн поспешил на родину, ибо консул испытывал слабость к аристократии. Однако будущий император не заметил возвращения бывшего министра. Нарбонн бедствовал в Париже, снимая две маленькие комнатенки в убогой мансарде. Талейран был уже наверху могущества, но мало ценил таланты Нарбонна, кланчившего у него служебного места:

— Согласен быть секретарем посольства хоть в Женеве, я готов занять даже кресло супрефекта в провинции.

— Помилуйте, граф! — отвечал Талейран. — Как же я человека с такими блистательными дарованиями, каковы ваши, осмелюсь унижить столь незначительным положением...

Бедствуя в мансарде, Нарбонн довольствовался услугами одного лакея, бывшего солдата, который вместе с молодым Бонапартом участвовал в Египетском походе. При учреждении ордена Почетного легиона лакей сделался кавалером этого ордена, и тогда Нарбонн заявил ему:

— Слушай, приятель! Теперь как шевалье садись в мое кресло, а я как лакей стану подносить тебе тарелки...

Наполеон, узнав об этом случае, воскликнул:

— Вот! Сразу видно благородного аристократа... Мюрат, — спросил он своего зятя, — ты разве способен на такое?

— Никогда! — отвечал бывший конюх...

Наполеон вызвал Нарбонна к армии, поздравив его с чином дивизионного генерала. Нарбонн, подавая рапорт императору, не стал совать его в руки Наполеона, как это делали мужланы. Он положил его в шляпу и протянул вместе со шляпой.

— Зачем это? — удивился Наполеон.

— Но так было принято при дворе Версаля, где донесения венценосцам подавали непременно в шляпе, — объяснил Нарбонн, и с этого времени его карьера полетела на крыльях.

Графа назначили послом в Баварию, но он скучал в Мюнхене, мечтая парить повыше. Наполеон прочил Нарбонна в церемониймейстеры двора своей юной жены. Федор Головкин, хорошо знавший Нарбонна, писал, что это назначение не состоялось, ибо придворные дамы не желали иметь при себе ментора, который стал бы дрессировать их в соблюдении тонкостей версальского этикета. Тогда Наполеон сделал Нарбонна своим генерал-адъютантом — «для поддержания забытых старинных традиций».

Сейчас Нарбонн уже поспешал в Вильну, а Наполеон ехал в Дрезден, при этом император говорил маркизу Арману Коленкуру, что обласкал Нарбонна умышленно:

— Когда мне кто-либо нужен, я не бываю слишком щепетилен...

Весна 1812 года выдалась запоздалой, в конце апреля виленские сады еще не покрылись листвою. Барклай-де-Толли был главнокомандующим русской армией, при нем в Вильне состоял штаб, усиленно работавший перед нашествием неприятеля. Император Александр I со свитою разместился в комнатах виленского замка. Была глухая ночь, когда по черной лестнице, ведущей со двора замка, к императору поднялся Яков Иванович де Санглен — личный шпион Александра, назначенный «директором военной полиции» всей российской армии.

— Что нового? Где армия Бонапарта?

— Армия подтягивает тылы из Германии, она уже втянулась в пределы польские и скоро будет здесь — на Немане. А сам император вдыхает фимиам безудержной лести в Дрездене.

— Мюрат с ним?

— Он выступит с кавалерией из Гамбурга.

— А что Нарбонн? — спросил царь.

— Приближается, — отвечал де Санглен. — Я нарочно перекрыл главные дороги на Вильну, оставив для проезда Нарбонна лишь непролазные проселки, чтобы он не мог видеть расположение наших резервов и количество артиллерийских парков...

Яков Иванович позже вспоминал: «По приезде Нарбонна в Вильну приказано мне было государем иметь за ним бдительный надзор. Я поручил дать ему кучеров и лакеев из служащих в полиции офицеров», знавших немецкий, французский и польский языки... Русская разведка работала тогда превосходно!

А визиту Нарбонна в главную квартиру русской армии придавал немаловажное значение историк Е. В. Тарле, считавший появление этого посланца в Вильне значительным фактором в политической подоплеке наполеоновской агрессии.

Искусный притворщик, царь вел внешне рассеянную светскую жизнь: очаровывая прекрасных пани, он обольщал виленских вельмож, явно ожидавших Наполеона как своего «освободителя». У генерала Беннигсена император заранее купил виленское имение Закрет, где велел архитектору Шульцу спешно выстроить танцевальный павильон, сказав при этом Барклаю-де-Толли:

— Несмотря ни на что я должен танцевать с улыбкой и заставить вас танцевать со всем вашим штабом. Пусть в Дрездене не думают, что мать-Россия скорчилась тут от ужаса...

5 мая ковенский полицмейстер доложил Барклаю-де-Толли, что миссия графа Нарбонна пропущена через границу, посла сопровождают ротмистр Себастьян, поручик Роган-Шабо, курьеры и камердинеры — паспорта у всех в порядке. Нарбонн сам заходил в лавки и трактиры, купил два фунта телятины, всюду спрашивая о ценах на продукты, проговариваясь, что он «везет мир». Наконец утром 6 мая Нарбонн появился в Вильне, сняв квартиру у Мюллера в его доме № 143. Агентами военной полиции сразу было примечено, что, выбираясь из кареты, Нарбонн сам вынес из нее лакированную шкатулку.

— Ее следует вскрыть, — сразу решил де Санглен...

Александр не отказал Нарбонну в аудиенции. Армия вторжения надвигалась на Россию, как туча неистребимой саранчи, а Нарбонн распинался в миролюбивых чувствах, какие его суверен испытывает лично к Александру:

— Но ваш внезапный отъезд из Петербурга в Вильну обеспокоил моего императора. Уж не собирается ли ваша армия перейти Неман, чтобы оказаться в Варшаве или Кенигсберге?

Александр понял, что миссия Нарбонна — это дешевый политический спектакль, чем-то очень выгодный для Наполеона. Но, беседуя с графом, император ни разу не проявил раздражения, отзываясь о Наполеоне с большим уважением. Для начала же царь раскатал перед Нарбонном карту.

— Вот большая Россия, а вот маленькая Европа, — сказал он, не пытаясь казаться остроумным. — Я не обнажу шпаги первым, ибо не хочу, чтобы Европа возлагала потом на Россию ответственность за ту кровь, что прольется... Французские войска в трехстах лье от моих границ! Я сижу пока дома, соблюдая верность прежним союзам. Спросите маркиза Коленкура, что я сказал ему, когда он покидал Петербург... Коленкур подтвердит, что не Россия, а именно ваш император, все время уклонялся от соблюдения условий Тильзитского мира. Ради чего он теперь оказался в Дрездене, окруженный венценосными вассалами, которые во времена моей бабки — Екатерины Великой! — продавали своих солдат за деньги англичанам, а ныне уступают их императору Франции бесплатно, за одну лишь его улыбку?

Нарбонн ответил: Наполеон желает сделать приятное молодой жене, чтобы она повидалась в Дрездене с родителями, а короли и герцоги всегда рады... праздновать.

Царь сказал, что праздник выглядит подозрительно:

— Я ведь не строю себе иллюзий, ибо высоко оцениваю полководческое дарование Наполеона. Но он не учел того, что после Парижа ему отступать будет некуда. А я могу отступить даже до Камчатки, и Россия борьбы нигде не прекратит. Русский народ не из тех народов, которые избегают риска военного жребия. Если я был крайне терпелив в обидах, то мое терпение не от слабости, а от уверенности в силах русского народа. Однако коли речь зашла о войне, требующей от империи неслыханных жертв, я обязан был сделать все возможное, чтобы избежать кровопролития...

Нарбонн открыл рот, но царь не дал ему говорить:

— Нет, это не мы должны приводить мотивы в оправдание миротворческой политики России, а ваш император должен бы оправдываться в нарушении прежних договоров. Как видите, — произнес Александр, снова указывая на карту, — на стороне моего государства время и пространство. Вся эта гигантская земля станет враждебна вам, и нет такого уголка в России, который бы русские не стали защищать. Никогда русский народ не сложит оружия, пока хоть один неприятельский солдат вашего императора будет оставаться живым

в России... Передайте своему повелителю, что наша страна может проиграть отдельные сражения, но побежденной ей не бывать!

Нарбонн не нашел слов, чтобы возразить на все доводы русского кабинета, и, вернувшись в дом Мюллера, он уныло сообщил свите, что в ответ ему «оставалось сказать (Александр) лишь несколько банальных придворных фраз».

— Впрочем, — договорил Нарбонн, — император оказался столь любезен, что всех нас пригласил вечером в театр.

Ночью императора разбудил Яков Иванович де Санглен, который поставил перед ним секретную шкатулку посла:

— Но утром мы должны вернуть ее в покои Нарбонна.

— Вы с ума сошли! Неужели... украли?

— Нет, ваше величество, мы не воры. Просто мои офицеры, переодетые слугами, перепоили всех лакеев Нарбонна, пока он развлеклся в театре, и вот... результат! Сейчас откроем и узнаем суть секретных инструкций Наполеона...

Цитирую слова самого де Санглена о содержании инструкций, составленных в основном из личных вопросов Наполеона: «Узнать число войск, артиллерии и пр., кто командующие генералы? каковы они? каков дух войска и каково настроение жителей? кто при государе пользуется большей доверенностью? нет ли кого-либо из женщин в особенном кредите у императора? Узнать о расположении духа самого императора...»

— Нашли кого посылать для такого дела! — возмущенно сказал Александр. — Нарбонн — старая облезлая кукла, которую я, будь он русским, не стал бы держать даже в Сенате, а поспешил бы сдать в ломбард на вечное хранение... Проследите за его связями с местными недоброжелателями России.

— Себастьян и Роган-Шабо знают польский язык.

— Почему вы так решили? — спросил Александр.

— По мимике их лиц, когда они с Нарбонном были в театре. В смешных сценах оба невольно начинали смеяться.

— Кстати, — сказал император, — навестите Закрет, где профессор архитектуры Шульц что-то слишком затянул строительство павильона для танцев. А мне крайне необходим именно бал, чтобы польстить виленскому дворянству.

Утром император повидался с Барклаем-де-Толли, с Кочубеем и Нессельроде, ведавшими иностранными делами.

— Всю эту историю с Нарбонном пора кончать! — сказал он с некоторым раздражением. — Пока он торчит здесь, в Вильне, Наполеон набирает очки в выигрыше времени...

Миссия Нарбонна только было начала завязывать контакты с виленским подпольем, враждебным России, как в доме Мюллера вдруг

появился придворный камер-лакей с громадной корзиной, наполненной винами и яствами с царского стола.

— Что это значит? — восхитился Нарбонн.

— Государь император жалует вам на *дорогу*...

Не успел Нарбонн очухаться от этого намека, как явились Кочубей и Нессельроде с прощальными визитами. Казенными словами они выразили пожелания доброго пути Нарбонну и его свите. Затем ввалился лейб-кучер — от имени царя:

— Лошади будут поданы в шесть часов вечера...

Все! На этом авантюра Наполеона с посольством Нарбонна завершилась, и в 6 часов вечера 8 мая колеса французских карет выкатились за виленские шлагбаумы. Но русская агентура проследила за Нарбонном до самого Дрездена, где его с нетерпением поджидал Наполеон... Выслушав доклад Нарбонна, император был несколько удручен, но тут же разразился грозной тирадой о «византийском лицемерии» русских.

— Вас провели! — кричал он Нарбонну. — Именно они, эти хитрые азиаты, готовят мне войну. Решение мое остается в силе: если они хотят войны, так они ее получают... Довольно дурачиться и танцевать! Завтра же я буду в Познани, моя армия получит приказ ускорить марш-марши... Нет, я не в обиде на вас, милейший граф Нарбонн! Я ведь затем и посылал вас в Вильну, чтобы у вас там ничего не получилось...

Де Санглен навестил имение Закрет — поторопить профессора Шульца с оформлением танцевального павильона.

— Где этот Шульц? — спросил он Беннигсена.

— Да где-то околачивается здесь. А... что?

— Кажется, он подкуплен французами. Я получил анонимный донос, будто глубина фундамента павильона никак не соответствует высоте галереи и ширине поддерживающих ее колонн.

— Не угодно ли чашку чая? — предложил Беннигсен.

«Отказаться было неловко, — вспоминал де Санглен. — Супруга генерала налила мне чаю; но едва я взял чашку в руки, как что-то рухнуло с ужасным треском». Это провалилась крыша танцевального павильона, «все арки, обвитые зеленью для предстоящего бала, лежали на полу. По рассмотрении причин сего разрушения увидели мы, что все арки между собой и к полу были прикреплены лишь штукатурными гвоздями».

— Найти подлеца! — повелел де Санглен.

Посланные за ним агенты вернулись и доложили, что Шульца нигде нет, а на берегу реки нашли его фрак и шляпу:

— Очевидно, сразу утопился от страха.

— Ну да! Зачем топиться, если можно бежать в Пруссию, оставив на берегу одежду, чтобы больше его не искали.

Странная история с павильоном! Удайся эта диверсия, и под обломками здания во время бала погибли бы не только сам император, но и главнокомандующий русской армией Барклай-де-Толли со всем генералитетом. Несомненно, это событие вызвало бы смятение в русском лагере, разброд в командовании, панику в Петербурге — именно то, на что и рассчитывал, наверное, Наполеон... С такими вот печальными выводами де Санглен навестил императора в его кабинете.

— Бал не отменяется! — ответил царь. — Пусть расчищают павильон от обломков, оставив одни лишь стены, и мы станем танцевать под открытым небом при свете звезд...

Затем он протянул де Санглену последнюю депешу:

— Наполеон начал переправу через Неман... это война!

Денис Давыдов предрекал — тогда и на будущие времена: «Еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой. И горе ее неприятелям, если она когда-нибудь поднимется!»

Разгромленная, опозоренная, завшивевшая, голодная, поедающая трупы, обессиленная — такой «Великая армия» Наполеона покидала Россию. К чести графа Нарбонна, как пишет Федор Головкин, «он один сохранял самообладание и присутствие духа». Это заметил даже Наполеон, который у Березины сказал Мюрату:

— У тебя под носом две длинные сосульки. Позавидуем старику Нарбонну! Глядя на него, можно судить, до какой степени мы все жалкие... Зато в Нарбонне сразу чувствуется хорошая порода королевских кровей!

Выдержка Нарбонна объяснялась скорее не «породой», а именно тем, что он еще с Дрездена как следует подготовился к предстоящему «драпу» из России. В своих мемуарах князь Евстафий Сангушко честно признал, что живым бы в Польшу не выбрался, если бы не стащил шубу у графа Нарбонна. В оправдание Сангушко говорил:

— На моем месте любой бы стал воровать! После Смоленска я остался в одном мундирчике. А этот версальский франт набрал в Россию целый гардероб меховых вещей, словно Нарбонн заранее предвидел, что вся эта дерьмовая история с походом на Россию добром для нас не кончится...

Освободив свою родину, русская армия совершала поход по странам Европы, дабы избавить народы от гнета зарвавшегося корсиканца. Армия Наполеона, уже деморализованная, на глазах таяла за счет дезертиров, отставших и страдающих поносом... Наполеон снова вспомнил о Нарбонне.

— Граф, — сказал он ему, — я отдаю вам в команду саксонскую крепость Торгау, чтобы вы превратили этот цветущий городок в хороший лазарет для моих голодранцев. Зная вашу честность, поручаю

вам и сбережение моей личной казны — в двадцать пять миллионов золотом. Сидите на сундуках с золотом и никого к моим сундукам даже близко не подпускайте...

2 ноября 1813 года началась осада крепости Торгау. Сидя на сундуке с золотом, отпрыск королевской династии Бурбонов умер от какой-то заразной эпидемии. Заменявший его генерал Дютальи, не желая пугать гарнизон признаками чумы, объявил, что граф Нарбонн упал не с сундука, а свалился с лошади, отчего и помер. Федор Головкин заключает: «Друзья, оплакивавшие кончину его, могли лишь радоваться тому, что Нарбонну не пришлось дожить до капитуляции крепости и испытать на себе презрение, с каким, наверное, отнеслись бы к нему победители...»

...Кто же выиграл от виленского визита Нарбонна?

Выиграли, как это ни странно, мы — русские...

На другом конце Европы М. И. Голенищев-Кутузов вел трудные переговоры с турками; победами своей армии он уже принудил Турцию к миру, но великий визирь настаивал на продолжении войны, ибо султан выжидал скорейшего вторжения Наполеона в пределы России. Наполеон убеждал султана отбросить русских от Дуная, а он будет ожидать янычарские орды на берегах Западной Двины, откуда они пойдут совместно грабить Москву...

Михаил Илларионович оказался хорошим дипломатом. Визит Нарбонна в русскую ставку он представил как проявление самых добрых, самых мирных намерений Наполеона, и турки, решив, что Наполеон отказался от похода на Россию, мир подписали. Наполеон исчерпал весь ругательный лексикон: «Поймите вы этих собак, этих болванов турок! — кричал он. — У них особое дарование быть битыми...»

Мир, заключенный Кутузовым, был для России необходим.

Он был ратифицирован в той же Вильне всего лишь за один день до нашествия Наполеона, и теперь Дунайская армия могла загасить костры на бивуаках; она тронулась от извилин Дуная в глубь Центральной России, чтобы усилить отпор врагам, а сам Кутузов вскоре принял главное командование.

Остальное слишком известно...

Судьба баловня судьбы

Смолоду я питал особый интерес к Финляндии, самоучкой пробовал изучать финский язык. Помнится, я даже пытался переводить стихи Руненберга, но поэт Всеволод Рождественский (мой первый учитель, ныне покойный) отсоветовал мне их печатать. С тех пор миновало много лет; я не изменил своим интересам, с любопытством

вникая в финскую историю, а точнее — в финско-шведскую, ибо Финляндия с XIII столетия была захудалой провинцией королей Швеции. В одном из своих романов я вскользь коснулся судьбы баловня судьбы Густава-Морица Армфельта, теперь хотелось бы рассказать о нем поподробнее.

Издавна принято думать, что шведы, под стать природе своей страны, народ угрюмый, деловито-разумный в словах и поступках, лишнего они не скажут, а пустяками не занимаются. Может, в этом и есть доля истины. Но если бы заглянуть в Стокгольм конца XVIII века, нам могло бы показаться, что мы попали в легкомысленный Версаль, где порхают амуры над газонами, а ленты Гименея чаще рвутся, нежели скрепляют сердца людей.

Жизнь и карьера Армфельта оказалась сопряжена с Россией, и настолько тесно, что он попал даже на страницы «Советской Исторической энциклопедии», где ему посвящена отдельная статья, а до революции в России вышла об Армфельте целая монография. Но жизненный путь этого человека, осыпанный не только розами, но и усталанный терниями клеветы и проклятий, настолько необычен, что поначалу даже не знаешь, как к нему подступиться, где начало его удивительной судьбы.

Начнем со свадьбы! В 1785 году король Густав III чересчур пышно праздновал бракосочетание своего любимца Армфельта со знатной девицей из рода Делагарди, которую потом в России именовали Гедвигой Понтусовной. Счастливого невесте было 20 лет, и она безмерно гордилась своим будущим мужем, красота которого была равна его военным и дипломатическим талантам. Новобрачные сидели на высокой балюстраде, а под ними развернулась красочная картина церемонии, почти театральной. Свадебный ритуал завершала кавалькада всадниц, составленная из юных фрейлин королевы. Но вдруг...

Вот эти роковые «вдруг», так часто случающиеся в истории, иногда способны изменить развитие самой истории, даже самой пристойной. Вдруг из кавалькады всадниц вырвалась одна из наездниц в костюме сказочной нимфы. Крупным галопом, словно драгун, она подскакала к балюстраде и вздыбила коня перед женихом, с вызовом тряхнув головою, отчего ветер растрепал ее длинные, как у русалки, волосы. Ее плечи обнажились.

— Кто эта дерзкая? — спросила невеста.

— Магдалина Руденшольд, — мрачно ответил Армфельт...

Впечатление от красоты наездницы было столь сильным, что прямо от свадебного стола, презрев все законы приличия, Армфельт бросился искать Магдалину, и в эту же ночь она распахнула ему свои пылкие объятия. Гедвига Делагарди была оскорблена и рыдала, а король спрашивал придворных:

— Куда же делся мой любимый Армфельт? Если он решил переиграть свадьбу, так мог бы сделать это и завтра... Нельзя же так бесстыдно нарушать мое торжество!

«Впрочем, — замечает шведский летописец, — это никого не смутило: в то распушенное время при шведском дворе Густава III бывали и не такие еще случаи...»

Другой историк, Ингвар Андерссон, писал: «Трудно дать единую картину того времени, когда переплетались мрак и свет, нужда и роскошь, новые и старые... идеи». Пока в Стокгольме двор короля потешал себя карнавалами, Швецию из года в год постигали неурожаи, народ вымирал от голода, а король пускал запасы хлеба на выделку дешевой водки, чтобы его казна не пустовала. Толпы нищих бродили по улицам городов, вымаливая под окнами милостыню, а продажные ученые доказывали Густаву, что водка — «лучшее лекарство для бедняка». Этот период шведской истории получил название «эпоха казенного пьянства».

Но близилась Французская революция, идеи которой восхищали молодых шведов. Финский патриот Магнус Спренгпортен основал тайный «Орден Валгаллы», желая, чтобы Финляндия обрела независимость. Армфельт, сам уроженец Финляндии, знал нужды своей бедной родины, и потому, невзирая на дружбу с королем, охотно соглашался со словами Спренгпортена:

— Мы стали военной добычей викингов, а когда наши жалкие покосы и пашни вытаптывали в войнах Швеции с Россией, финны страдали одинаково — как от победителей, так и от побежденных. Даже голод в Финляндии страшнее голода в Швеции!

— Будьте осторожны, — предупреждал Армфельт, — иначе ваша голова будет положена в гробу между ваших ног...

В секретном кабинете своего замка Густав III однажды принял Эренстрема, поручая ему разведать о состоянии русских войск в Прибалтике. «Во время этого разговора, — писал Эренстрем, — Армфельт высунулся посмотреть, кто был в комнате. Кажется, это не понравилось королю, так как он сказал: «Это нехорошо, барон Армфельт слишком умен и угадает причину, почему вы со мною...» Армфельт, конечно, догадался, что его друг-король готовит войну с Россией, дабы громом побед на Балтике подавить недовольство в народе, а заодно расправиться с оппозицией в дворянстве... Армфельт намекнул:

— Не слишком ли мрачны виды на будущее, король?

— Возможно! — согласился Густав III. — Но я не боюсь участи своего достославного предка — короля Карла Двенадцатого, которого пристрелили в траншеях под Фредриксхальде...

Война началась в 1788 году, когда Россия сражалась на юге с Турцией, и казалось, что с открытием второго фронта на севере Европы

русские капитулируют. Но шведы говорили: «Наш король сошел с ума! Его, как Эрика XIV, нужно засадить в замок финского Або, откуда не следует выпускать». Офицеры перестали кланяться королю, уходили из армии в отставку. «Орден Валгаллы» сеял на фронте листовки, призывая солдат не повиноваться приказам, не нарушать рубежей с Россией... Военное единорство соседей не принесло Густаву III лавров: шведы воевать не хотели, а русским совсем не хотелось бить их. В мемуарах «Капище моего сердца» князь Иван Долгорукий, тогда офицер, описывал, как вечерами шведы и русские встречались у костров, распивая шампанское, о войне напоминали караулы, стережущие эти проявления «дружбы» со взведенными курками пистолетов. Армфельт в одной из стычек получил от русских пулю в плечо; он не скрывал от короля, что уже вступил в переписку с русским командованием об условиях мира:

— Не забывайте, что я тоже финн по рождению, и мне ли осуждать офицеров, перешедших служить под русские знамена?

— Это предатели! — заявил король.

— По отношению к вам, — уточнил Армфельт, — но, предав вас, они не предавали Родины. Поищите врагов в своем доме...

Намек касался брата короля, герцога Карла Зюдерманландского: видя, как шатается престол под его братом, герцог не мешал оппозиции, втайне надеясь на падение Густава III, чтобы самому воссесть на престоле древней династии Ваза.

В 1790 году Стокгольм запросил у России мира.

— Вот и поезжайте в Верель, — указал король.

Верель — финская деревушка на берегу пенистой Кюмени, где барон Армфельт представлял Швецию на мирных переговорах. Он не выразил никаких требований к России, соглашался оставить Кюмень пограничной рекой, просил о насущном:

— Откройте свои порты на Балтике для наших коммерческих кораблей, чтобы Швеция и Финляндия могли беспошлинно закупать русский хлеб, дабы накормить всех голодных...

М и р! Эренстрем писал: «После обеда русские офицеры чуть не задушили нас своими объятиями», они свободно шлялись по шведскому лагерю, а шведы запросто лезли в палатки русских солдат, среди которых было немало башкир и калмыков. Здесь же, в суматохе банкетов и возгласов ликований, бродил, никем не признанный, сам король Густав III, скрываясь под скромным сюртуком, надвинув на глаза шляпу с широкими полями.

— Мост уже перекрашивают, — шепнул он Армфельту...

Русскую сторону моста на Кюмени побелили, а шведскую расписали цветами национального флага. Екатерина II была очень до-

вольна миром, развязавшим Петербургу руки на Севере, чтобы вся мощь России могла обратиться против султанов. Потому она щедро отсыпала 3000 червонцев в бриллиантовую табакерку.

— Отдайте Армфельту! Я не удивлюсь, — сказала императрица, — если он попросит у меня орден Андрея Первозванного. Буду откровенна: я выписала для него секретный вексель на десять тысяч рублей — пусть транжирит их со своей нимфой...

Она знала: все эти годы Армфельт не порывал отношений с «нимфою» Магдалиной, а жена Гедвига уже смирилась с тем, что сердце ее мужа опутано другой женщиной. Дополнив цитатой из шведских историков: «Магдалина Руденшольд сумела так привязать к себе Армфельта, что он не мог сбросить с себя сладкое иго Магдалины, не в силах был порвать и с женою...» Сама же Магдалина вскружила головы многим мужчинам, но постоянно отвергала самые выгодные партии, открыто говоря:

— Даже не смотрите на меня! Я люблю Армфельта...

На свою беду — несчастная женщина — она вызвала большую чувственную страсть в герцоге Зюдерманландском. Это был мрачный и мстительный злодей, пропитанный мистикой масонских таинств. Вождедея к Магдалине, он потребовал у нее покорной взаимности, но она грубо отвергала его притязания:

— Ваше высочество, не смейте даже подходить ко мне.

— Вы еще пожалеете об этом, — пригрозил ей герцог.

С этого времени он возненавидел и Армфельта, а своей ненависти к сопернику даже не скрывал:

— Ваше счастье, Армфельт, что вы считаетесь близким другом короля. Но случись так, что фортуна вознесет меня выше, и я сразу превращу вас в жалкое ничтожество...

Герцог на время затаил месть, да и что он мог сделать против фаворита короля, который после Верельского мира назначил Армфельта генерал-губернатором Стокгольма?! 16 марта 1792 года в театре шведской столицы состоялся бал-маскарад, на нем — инкогнито — присутствовал и сам Густав III.

Армфельт подъехал к театру в самый разгар бала. Швейцар открыл ему двери, предупреждая:

— Вы, конечно, можете войти внутрь театра, но выйти из театра вы, даже главный в столице, уже не можете.

— Что случилось? — удивился Армфельт.

А случилось неожиданное. Среди танцующих «масок» находились и заговорщики; с ними был офицер лейб-гвардии Якоб Анкарстрем, вызвавшийся убить короля. Но Густав III, закутанный в черное домино и укрывший лицо размалеванной маской, долго оставался неузнаваем. Наконец его окружили сразу несколько человек, один из них положил руку на плечо короля.

— Здравствуй, прекрасная маска! — было сказано им.

Эти слова послужили сигналом для Анкарстрема, пронзившего короля выстрелом в спину. Музыка еще ликовала, люди танцевали. Густав III упал среди карнавального шума, успев крикнуть:

— Никого не выпускать! Всем снять маски... Из театра никто не выйдет, пока не съедем злодея...

Когда Армфельт склонился над раненым, король уже лежал в большой луже крови, вытекавшей из-под него.

— Прощай, — сказал он своему любимцу.

Королевское «прощай» оказалось почти символическим. Гибель Густава III была и его гибелью. Анкарстрема три дня избивали палками, после чего казнили. Стоя близ эшафота, Армфельт заметил подле себя герцога Зюдерманландского.

— Теперь очередь за вами, — сказал он Армфельту, и мрачное лицо мистика осветилось злобою его торжества...

На престол Швеции вступил малолетний Густав IV, а регентом при нем стал его дядя — герцог Зюдерманландский. Армфельт понял: веселая жизнь кончилась.

Он перенял опыт Анкарстрема и, чтобы спасти себя, составил заговор с целью похоронить герцога и регента. В свой «компот» он пытался вовлечь даже императрицу Екатерину II, обратившись к ней с тайным посланием, в котором указывал: даже слабая демонстрация ее Балтийского флота возле Стокгольма способна устрасить тирана-регента. Но русские корабли не появились на пасмурном горизонте...

Между тем герцог, став полновластным хозяином Швеции, снова предложил Магдалине разделить его страсть.

— Никогда! — отвечала разгневанная женщина.

Тогда регент предложил ей грязную сделку:

— Вы ведь очень любите Армфельта?

— Я дышать не могу без него.

— Но его жизнь в моих руках... как и ваша! — зловеще предупредил Магдалину герцог. — Давайте договоримся так: в расплату за вашу благосклонность ко мне я обещаю вам сохранить Армфельту его положение при дворе и в столице.

Магдалина отвергала любовь — ради своей любви.

Армфельту было велено ехать в Неаполь шведским посланником. Он понял, что это почетная ссылка, но оставаться в Стокгольме было опасно... Напрасно рыдала перед ним Магдалина:

— Не оставь меня! Возьми с собою в Неаполь.

— Я оставляю в Стокгольме как заложницу свою законную жену и своих детей... Почему я должен брать тебя?

Он уехал. Магдалина заклинала его в своих письмах откликнуться на призыв ее сердца, но хороший дипломат оказался плохим кавале-

ром. Армфельт лишь изредка пересылал Магдалине свои инструкции, объясняя женщине, как удобнее интриговать против герцога Зюдерманландского... Регент потребовал его выдачи, но правительство Неаполя отказало ему. Армфельт, заочно судимый, был приговорен к смерти на эшафоте. Потеряв звание посла и боясь наемных убийц, из Неаполя он бежал в русскую Ригу, куда выехала и Гедвига с детьми. Но Рига слишком близка от берегов Швеции, она тоже казалась опасной, и Армфельт обратился к великодушному русского кабинета с просьбою:

— Ищущий политического убежища, я желал бы поселиться в любом из городов России, какой мне соизволите указать...

Убежище ему предоставили: он три года прожил в Калуге.

Зато у Магдалины Руденшольд убежищем остался ее дом. В ночь на 17 декабря 1793 года он был окружен полицией, которая обыскала даже лакеев. Магдалина была арестована и в кандалах, как преступница, отведена в тюрьму.

Герцог-регент, торжествуя, велел палачам:

— Для начала покажите ей орудия ужасных пыток...

Три месяца подряд женщину подвергали издевательствам допросам, терзали и мучили, убеждая «сознаться» в государственной измене, но Магдалина сознавалась только в одном:

— Да, я любила и буду любить одного Армфельта...

Больше палачам ничего не удалось добиться от женщины, и она предстала перед судом, как святая. Судьи понимали главную причину ее бедствий, уже готовые вынести оправдательный вердикт. Однако в течение одной ночи герцог Зюдерманландский сумел предупредить судей, что его устроит совсем иной приговор. И утром этот приговор был вынесен:

— Фрекен Руденшольд, готовьтесь к смерти...

Но тут запротестовал народ, на базарах и пристанях Стокгольма люди откровенно роптали, говоря меж собою:

— С каких это пор рубят головы за любовь?..

Герцог-регент испугался волнений в столице, повелев заменить смертную казнь Магдалине ее пожизненным заключением.

— Но все-таки пусть палач за волосы тащит ее на эшафот, — указал он, — и пусть она три часа порывается на виду у всех, привязанная к позорному столбу, как последняя шлюха...

Цитирую: «В день, когда должно было свершиться это наказание, весь Стокгольм высыпал на улицы. Толпа хранила благоговейное молчание, а солдаты, опершись на ружья, плакали. Магдалина с гордым видом взшла на эшафот», где отдалась в руки палача, позорившего ее удивительную красоту...

Наконец, кончилось регентство герцога; Густав IV, повзрослев, занял престол убитого отца — молодой деспот сменил старого тирана.

Он велел освободить Магдалину из заточения, и женщину насильно выдали замуж за какого-то пьяницу, который нещадно избивал ее... Она уже никогда не увидела Армфельта!

Бывший регент покорно склонился перед племянником:

— Не пора ли вернуть Армфельта в Швецию?

— А-а! — засмеялся король. — Догадываюсь, что вам не терпится подсыпать ему в бокал яду... Армфельт поедет в Вену!

В 1893 году в России были опубликованы письма Армфельта из Праги о его встрече с Суворовым. Своей дочери, оставшейся в Стокгольме, он в 1799 году писал, что пражане, дабы повидать великого полководца, платили за билеты в театр бешеные цены. Энтузиазм публики был неописуем, и Суворов из своей ложи «несколько раз давал знаки руками, показывая, чтобы не выкрикивали его имя, но когда ему это прискучило, он стал низко кланяться и кончил тем, что благословил зрителей в партере и в ложах. Никто не находил это смешным, ему кланялись, как папе». Публика захохотала лишь тогда, когда одна из дам слишком высунулась из ложи: «Суворов взял ее за нос и расцеловал».

В доме архиепископа они познакомились ближе.

— Герой! — воскликнул Суворов. — Ты побил русских...

«Я был так сконфужен, что в жизни не испытывал ничего подобного»; на приглашение быть его гостем Армфельт сказал:

— Благодарю! От ваших солдат в лесах Финляндии я получил пулю в плечо, а от вас — канонаду комплиментов...

Потом они рассуждали о военном искусстве. «Он (Суворов) часто повторял, что любит разговаривать с людьми, которые способны его понимать... он говорил удивительно умные, глубокие и интересные вещи... он не чудак; чрезвычайно глубок и тонок, в особенности ловок судить о людях и обстоятельствах». В разговоре коснулись и генерала Бонапарта, звезда которого всходила над миром. Суворов сказал Армфельту, что в делах войны необходима большая нравственность:

— Уверен! Никакие деньги английских банкиров, никакие потуги австрийской горе-тактики, даже не мое умение водворять в Европе порядок, а только справедливость мирной политики, осиянная бескорыстием и благородством народных суждений...

Армфельт — уже посол в Вене — вдруг был извещен, что Павел I направил Магнуса Спренгпортена во Францию для переговоров с Бонапартом. Это заставило призадуматься о своем будущем.

— Не значит ли это, — сказал он, — что в русской политике начинают играть важную роль те шведы, которые приняли русскую службу ради независимости Финляндии?

Он еще не знал, что Павел I выразился гораздо проще: «Я посылаю изменника к узурпатору». Армфельт в Вене общался с русским

послом Андреем Разумовским, графиня Ланскоронская ввела его в круги эмиграции, французской, польской и шведской; здесь он повстречал земляков Аминова и Эренстрема, своих конфиденентов, когда-то вовлеченных им в заговор против герцога Зюдерманландского; приговоренные к отсечению головы, они долго сидели в оковах, а теперь, обретя свободу, готовили заговор против молодого короля Густава IV. В ту смутную годину венское общество все чаще говорило о «дерзости» Бонапарта, тогда еще первого консула. Но консул вдруг превратился в императора, и его посол Шампаньи умолял Армфельта:

— Ради всех святых, воздержитесь от любой критики моего повелителя, иначе последствия могут быть ужасны... для вас!

Бонапарт, ставший Наполеоном, был достаточно извещен о той вражде, какую Армфельт питает лично к нему, он читал язвительные эпиграммы на него, сочиненные Армфельтом.

— Не запугивайте меня! — отвечал Армфельт. — Что бы ни угрожало мне, я не стану воздерживаться от осуждений корсиканского разбойника, который превращает Европу в своего вассала... Знаете ли, Шампаньи, в чем была трагическая ошибка шведов?

— В чем?

— Победа Карла Двенадцатого под Нарвой стала несчастьем для Швеции, ибо, разгромив армию Петра, они легкомысленно сочли Россию слабой, и Наполеон тоже дождется своей Полтавы...

— Тише, тише, — одергивали Армфельта австрийцы.

Вена трусливо сносила все издевки Парижа, зато Армфельт, браврируя дерзостью, являлся на приемы небрежно одетым, даже небритым. Эренстром писал, что он стал «истинным мучителем австрийских министров, проклинавшем слабость их малодушия, и никогда не щадил узость их взглядов». Когда его спрашивали, как поступит венский кабинет в том или ином случае, Армфельт с хохотом отвечал, что об этом надо спрашивать Шампаньи:

— Вена исполнит лишь то, что прикажет посол Наполеона...

Но как бы ни холуйствовал Габсбурги перед Наполеоном, он победой при Ульме открыл венские ворота, а потом выиграл битву при Аустерлице. Упоенный успехами, он вещал:

— Нет такого государства, существованию которого я не мог бы положить окончательный предел... Не знаю, зачем меня втягивают в войны, если все равно я остаюсь победителем!

Вена, заискивая перед Наполеоном, не знала, как избавиться от шведского посла. Летом 1805 года, когда Армфельт выехал в Поме- ранию ради отдыха, Габсбурги просили Густава IV об его отозвании. Узнав об этом, Армфельт вернулся и «как бомба влетел в Вену, где уже не ожидали его видеть».

— Удаляя меня, вы решили угодить Наполеону, выразив перед ним свою безголовую покорность! Горе вам и горе Вене, — предвещал Армфельт. — Но в Европе еще найдутся силы, чтобы раз и навсегда свернуть шею зарвавшемуся корсиканцу.

— Где вы усмотрели эти силы, барон?

— Может, слышали, что есть такая страна... Россия!

1 апреля 1807 года Армфельту исполнилось 50 лет. Он решил отпраздновать свой день рождения тем, что напал на маршала Мортье, вначале имел успех, но потом, сильно контуженный, отступил, передвигаясь с помощью костылей. Увидев его в Стокгольме, графиня Софья Пипер сказала, что в красавце «произошла большая перемена, но он еще сохранил всю живость своих прекрасных глаз». Густав IV встретил Армфельта признанием, что уже надел походные сапоги короля Карла XII:

— Если мой отец и проиграл войну с Россией, то я обязан эту войну выиграть... Мне необходима новая Нарва...

— Ваше величество, не забывайте о Полтаве...

Навестив Финляндию, король увидел близ Аббарсфорса пограничный мост, раскрашенный в разные цвета, и велел весь мост перекрасить полосами шведского флага. Петербург притворился, что не заметил этой грубой провокации, зато шведы стали опасаться, как бы король не втянул их в новую войну с Россией! Для Армфельта не было тайной, что герцог Карл Зюдерманландский принимал у себя по ночам датского мистика Богемана, внушавшего ему, что он владеет высшими масонскими тайнами. Бывший регент, конечно, воспитал короля в своем духе. Густав IV всем книгам предпочитал Библию, он распевал, как гимн, воинский устав и радовался закрытию типографий в стране. Всюду видя козни революции, он усматривал их даже в том, что в эти годы резко сократился улов селедки возле берегов Швеции.

— Король... спятил! — сообщил Армфельт жене.

Тильзитский мир привел Густава IV в ярость:

— Мой шурин, царь русский, предлагает мне союз Швеции и России ради совместной защиты Балтики от нашествия эскадр адмирала Нельсона, а между тем в Петербурге собрались изменники, мечтающие об отделении Финляндии от моего королевства...

Король сказал, что война неизбежна, предложив Армфельту быть главнокомандующим, но Армфельт заявил, что не желает воевать с русскими на той земле, которую считает родиной:

— Наконец, в период гонений я пользовался покровительством России, я награжден высшими русскими орденами.

— Тогда я пошлю вас отвоевать для меня Норвегию, а в Финляндию согласен ехать мой адмирал Кроншtedт.

Война началась в 1808 году, когда опустошительный пожар уничтожил половину Гельсингфорса (Хельсинки). Адмирал Кроншtedт

сдал русским крепость Свеаборг, за что позже получил от них сто тысяч рублей. Говорили, что он подписал капитуляцию по настоянию жены, имевшей в Финляндии богатые поместья. Армфельт распростился с былыми иллюзиями почитания венценосцев, тоже готовил «измену». Своим бездействием в Норвегии он вызвал гнев короля, который велел ему удалиться в деревню и не показываться в Стокгольме. Скоро одна из дам, проходя через двор королевского замка, подняла с земли письмо на имя короля, которое начиналось словами: «П р о х в о с т...»

— Прохвост! — говорил Армфельт своим конфидентам. — Мне бы увидеть его голову, положенную между ботфортов Карла...

Сейчас его больше всего тревожило будущее Финляндии!

«Богом забросанная камнями», истощенная голодом и дешевой самогонкой, эта страна была его отчизной, где-то в лесах затерялась родовая усадьба «Оминне», и судьба Финляндии казалась теперь Армфельту дороже судьбы королевской метрополии. Он хорошо знал, что Россия уже обещала финнам самую обширную автономию. А сама война с русскими была столь непопулярна в Швеции, что вызвала восстание в армии. Из ущелий Норвегии, где раньше командовал Армфельт, боевые отряды двинулись прямо на Стокгольм и окружили королевский замок.

— Ну, прохвост, посмотрим, как убежишь...

Густав IV, оставив жену, хотел скрыться через потайные двери, но был схвачен и выслушал приговор восставших:

— Вы будете сидеть в крепости Дротнинхольма до тех пор, пока не придумаете себе новое имя, с которым вам жить далее.

Под новым именем «полковника Густавсона» король удалился в изгнание, а пустующий престол династии Ваза занял последний король из этой династии — герцог Карл Зюдерманландский, принявший имя короля Карла XIII... Армфельт сообщил жене:

— Все верно! После двенадцатого следует тринадцатый. Но злодей не оставил меня в покое. Не пора ли и мне бежать вслед за «полковником Густавсоном»?

— Неужели опять... в Калугу? — спросила Гедвига.

— Теперь, когда вся Финляндия захвачена русскими, а кавалерия генерала Кульнева стучится в ворота Стокгольма, пришло время надеть орден Андрея Первозванного... Кто знает? — призадумался Армфельт. — Может быть, русские спасли не только вымирающую от голода Финляндию, скоро они будут спасать всю Европу от честолюбивых замыслов корсиканца!

Россия в 1811 году тайне готовилась к войне, и все русские признавали, что война с Наполеоном неизбежна, как снег зимой, как дожди летом. Снова удаляясь в эмиграцию, Армфельт оставил в Швеции лишь младшего сына Магнуса и свою приемную дочь; с женою и

двумя старшими сыновьями он сначала поселился в своем финском имении «Оминне»... На время он успокоился.

— Бурная жизнь преподнесла мне столько жестоких уроков, — говорил Армфельт, — что теперь я хочу пожить в тишине лесов. Мне уже пятьдесят пять, я износился душой и сердцем после всех передраг, которые принято называть «коронными»...

«Ужасно, — писал он в эти дни, — что буря, которая кидала меня из стороны в сторону, еще не улеглась. В Петербург я не поеду... буду сидеть спокойно на одном месте; отдых и забвение есть сущее благо, которого следует добиваться...»

Но в мае 1811 года из Петербурга — один за другим — прискакали два курьера в Або, отыскивая квартиру Армфельта:

— Государь-император срочно требует его к себе!

Петербург! Канцлером Румянцевым было ему сказано:

— Упаси вас Бог помыслить, будто Россия в роли завоевателя пожелает в чем-либо ущемлять финское население. Напротив, русский кабинет по зрелом размышлении счел нужным даже увеличить территорию Финляндии, приобщив к ее землям нашу вполне русскую Выборгскую губернию...

— Вот это напрасно! — невольно воскликнул Армфельт. Вряд ли он обрадовался такому щедрому «подарку» от имени царя: Выборг — не финский, а русский город, и, возможно, Армфельт заранее предвидел в уступке царя повод для будущих пограничных конфликтов, когда финскому «Виипури» придется с кровью возвращать старинное русское название «Выборг».

— Прошу не оспаривать мнение царя, — отвечал Румянцеv...

Впрочем, выгоды были несомненны! Под эгидою шведских королей из несчастной и вечно нищей Финляндии выжимали последние соки — ради тех войн, что вела Швеция. Но теперь, включенная в состав Российской империи на правах «Великого княжества», страна была поставлена в обособленные условия. Финляндия обретала свой парламент, свои судебные власти; финны получали такие «свободы», каких не имели тогда сами русские: их не брали в царскую армию, не облагали налогами, а все доходы страна могла употреблять на свои нужды; позже финны завели собственную армию и свою полицию, независимую от русской; наконец они стали даже чеканить свою монету...

Александр I знал об услугах Армфельта, оказанных им его бабке еще в старые времена, царь был достаточно информирован о ненависти, какую Армфельт питает лично к Наполеону. Он сразу предупредил своего гостя, что надеется вручить ему управление Финляндией — на правах генерал-губернатора:

— Но жить вам придется в Петербурге, дабы я мог советоваться с вами по делам Швеции, ибо общение с вами мне будет приятнее, нежели с послом выживающего из ума Карла XIII...

Армфельт вошел в число ближайших советников царя, завоевав влияние на его планы; мало сближаясь с русскими министрами, он сознательно окружал себя шведскими эмигрантами, выразившими желание остаться в Финляндии. Многие из них, неуверенные в будущем, уже начинали жалеть о потерянной родине. Армфельт горячо убеждал их, что слабая зависимость от Петербурга намного легче тяжелой зависимости от Стокгольма:

— Россия не затронула ваших интересов, напротив, академия в Або стала самым богатым университетом в Европе, а те из вас, кто пострадал от войны против России, получают пенсию от той же России... Советую учить своих детей русскому языку!

До него делами Финляндии занимался Сперанский, который не знал страны, ее дела запустил, и Армфельт, опытный заговорщик, способствовал его свержению, что не составляло труда, ибо Сперанский видел в армии Наполеона «светоч свободы». Декабрист Сергей Волконский заметил, что Армфельт даже заискивал перед русскими офицерами; «человек весьма умный, весьма хитрый, весьма смелый. Изменив своему отечеству, он искал случая стать в первом ряду... в новом отечестве. Влияние его по финским делам было для него достаточным поприщем, и он видел, что пока не удалят Сперанского, ему по его желанию не дано будет хода...». Все это так! Когда же в канун войны Сперанский был сослан, к дому Армфельта подвезли четыре громадные телеги с документами по устройству Финляндии, которые были свалены в неяршливые кучи. Пришлось разбирать эти завалы...

— Естественно, — доказывал он царю, — что в городе Або можно оставить архиепископа, но столицей Финляндии должен сделаться Гельсингфорс, называемый финнами «Хельсинки», а недавний пожар его не помешает ему в скором развитии. Эренстрем уже покинул Швецию, чтобы отстраивать Гельсингфорс заново...

Среди многих дел он мечтал о заведении научной медицины и врачей в городах, ибо таковых финны никогда не знали, а все свои хворобы лечили в банях, прыгая из них прямо в проруби.

— Я буду рад, — говорил Армфельт, — если в каждой финской провинции будет хотя бы десять-двадцать врачей...

Но больше всего хлопот доставило ему насильственное присоединение Выборга к Финляндии: эта область, заселенная русскими и карелами, никак не смыкалась с коренной Финляндией, что признавал и шведский историк Е. Тегнер: «Нелегко было соединить то, что так долго находилось в разобщении», а сам Армфельт не скрывал перед царем своего беспокойства:

— Я чувствую, что Выборг надолго останется роковой скалой, о которую разобьется целостность губернии...

Когда началась Отечественная война, Армфельт сам не пошел воевать, но два его сына, Густав и Александр, стали русскими офицерами в армии князя Багратиона... Отец сказал им:

— Благословляю на подвиг! Сражайтесь за Россию столь же отважно, как я, ваш отец, проливал кровь за Швецию...

Дочери, жившей в Швеции, он писал в это страшное время: «Лучшие минуты моей жизни прошли... теперь я могу умереть, как жил, чтобы оставить близким то уважение к себе, которое заслужил, разбивая своих врагов всей тяжестью их собственного ничтожества... мы в данное время идем, чтобы победить!»

Подвиг русского народа произвел на Армфельта очень сильное впечатление. Он привык видеть лишь поединки армий, но в России увидел сражающийся народ. Среди его бумаг потом отыскивали набросок: «Не рыцари Средних веков свершили крестовый поход против Наполеона, а само русское простонародье. Жители покинули города и села, они сжигали свое имущество, жертвуя своим состоянием и своими жизнями. Военное счастье по праву повернулось в их сторону...» Русская армия, освобождая Европу, уже двигалась на Париж, когда он почувал приближение смерти:

— Кажется, я до дна осушил чашу своей жизни...

В финской церкви Хализо заранее был приготовлен склеп, по велению Армфельта украшенный надписью, что гробница сооружена именно в том году, когда Европа избавлена от бесчестья. Врачи предупреждали жену Армфельта, что положение серьезно:

— Гедвига Понтусовна, будет лучше, если Густав Максимович поживет вдали от столичной суеты...

Армфельта перевезли на дачу в Царском Селе. Здесь он, как ребенок, радовался солнцу и зелени, но продолжал ругать епископа Тенгенстрема, осуждавшего перенос финской столицы из Або в Хельсинки. 19 августа 1814 года Армфельт весь день провел на балконе, любуясь природой. Жене он сказал:

— Еще никогда в жизни не было мне так хорошо...

С наступлением вечерних сумерек он умер после краткой агонии. В финской церкви Санкт-Петербурга было совершено отпевание, а пастор Манделин между прочим сказал:

— Мы прощаемся с человеком, который сам никогда не искал приключений, но зато сами приключения искали его... Судьба баловня судьбы неповторима, и вряд ли сыщется человек, согласный повторить ее!

На русском боевом фрегате матросы ставили паруса.

Гроб с телом Армфельта доставили в Финляндию, где и было совершено погребение — с отдаванием артиллерийского салюта, при звоне церковных колоколов. Жизнь, начавшаяся в те дни, когда русская победоносная армия громила войска Фридриха Великого, завершилась в дни полного разгрома армий Наполеона.

Армфельт не дожид до того времени, когда стараниями финских ученых возродился красочный финский язык с его песнями и поговорками, когда вышел в свет национальный эпос «Калевала», когда на улицах Хельсинки прохожие развернули листы первой газеты на финском языке...

Сначала декабристы, а затем революционные демократы Белинский, Огарев и Чернышевский горячо ратовали за национальное возрождение самостоятельной Финляндии, которая не нуждалась в царской опеке, способная сама по себе занять не последнее место в семье европейских народов. Но свобода финнов зависела от воли свободного русского народа. И в декабре 1917 года В. И. Ленин писал декрет о праве Финляндии на независимость.

В память об этом событии Урхо Кекконен, президент Финляндской Республики, в январе 1959 года установил мемориальную доску возле дверей кабинета Ленина... Надпись на этой доске заканчивалась словами, что Ленин «заслужил неразделимую благодарность финского народа».

Разные эпохи — разные мнения — слишком разные люди.

Мы, русские, не будем забывать, что Финляндия имеет давнюю и богатую историю, она свято чтит своих национальных героев, и среди них поминается имя Густава-Морица Армфельта.

Железные четки **(Под монашеским клобуком)**

Начало истории — прямо-таки из романа времен благородных рыцарей и прекрасных дам. Только дело происходило не в Валенсии или Провансе, а в старой Казани, перед Танечкой Саблуковой стояли на коленях не Дон-Кихот с Дон-Жуаном, а всего лишь два юных семинариста в замызганных рясах, и животы у них были подведены от давнишнего недоедания.

— О, как мы любим вас! — согласно взывали они к девице. — Наши чувства к вам одинаковы, только натуралии у нас разные. Вот и решили сообща, чтобы вы сами выбрали себе угодного...

Семинаристы были сыновьями бедных дьячков, между собой двоюродные братья: пригожий Саня Корсунский и раскосый (чуваши

по матери) Никита Бичурин. Девушке нравился Корсунский, о чем она созналась, и Бичурин сразу поднялся с колен:

— Вот и конец! Теперь, по уговору меж нами, Саньке под венец с тобою идти, а мне монашеский сан принимать, дабы не мозолил я вам глаза, любви вашей мешая...

Корсунский потом уехал с женою в Петербург, стал чиновником и даже разбогател, а Никита Яковлевич Бичурин для мира исчез. Под монашеским клобуком появился новый человек — Иакинф. Было ему тогда лишь 22 года. Иакинф уже блистательно владел латынью, свободно говорил по-немецки, дерзал переводить с французского вольтеровскую «Генриаду». Молодого монаха оставили в Казани, где он читал лекции по грамматике и риторике, его повысили в духовном сане.

Не будем наивно думать, что в монахи шли только глубоко верующие люди. Напротив, за стенами русских монастырей зачастую укрывались ищущие сытости вольнодумцы, потерпевшие крушение надежд и жизненные невзгоды, под благовест церковных колоколов люди погребали несчастную любовь. Убежденный атеист, Иакинф Бичурин затаил свою натуру под видом смиренника, отрешенного от земных страстей, ловко скрывая свое безбожие.

Это давалось нелегко. Недаром же впоследствии декабрист Николай Бестужев перековал свои кандалы на гирлянду монашеских четок — в подарок отцу Иакинфу:

— Чую, будут они грузны для тебя, как и для нас тяжки были кандалы такие... Потаскай, сам сведаешь!

Впрочем, это случилось позднее, а в 1802 году Иакинф был назначен в Иркутск — ректором тамошней семинарии и архимандритом Вознесенского монастыря. Из Казани он вывез с собою молодого послушника, который стелил ему постель, возжигал перед ним свечи, ставил самовар и прочее. Так бывало днем... А ночью «послушник» сбрасывал рясу и становился прекрасной женщиной, бежавшей от барщины искать воли.

— Выбрось из головы Таньку свою, — шептала она по ночам, ревнуя. — Нешто я хуже недотроги казанской?..

Эта любовная история была однажды разоблачена, женщину вернули под власть помещика, а Бичурину заточили в темнице Тобольского монастыря — именно в той камере, где в давние времена сидел, потрясая цепями, неистовый протопоп Аввакум.

Иакинфа Бичурина спасла от кары... политика!

Россия очень бережно относилась к своим дальневосточным владениям, прощая многие амбиции династии цинских богдыханов. Но своего посла в Пекине не имела, роль посольства там исполняла духовная

миссия — с монахами и студентами, изучающими китайский язык. Как раз в это время русский кабинет отправил в Китай особое посольство во главе с графом Юрием Головкиным, чтобы разрешить стародавние споры. Проездом через Тобольск граф узнал о заточении Иакинфа:

— И почему это у нас дураки в Сенате заседают, а умных людей в тюрьмах содержат? Буду писать лично императору...

Однако дипломат добрался лишь до кочевий Урги (ныне город Улан-Батор). Китайские мандарины требовали от графа исполнить унижительный церемониал «коу-тоу», отрепетировать серию поклонов и приседаний перед идолом, заменившим в их воображении самого богдыхана. Головкин унижаться не стал:

— Мне, русскому послу, не пристало ползать на четвереньках перед вашим истуканом, вылепленным из глины...

Петербург в особом меморандуме протестовал: «Возвращение российского посольства, преждевременное и неприличным образом вынужденное, есть неслыханное для нас происшествие!» Юрий Головкин настоял перед кабинетом, чтобы обновили русскую миссию в Пекине, а отца Иакинфа сделали главою миссии.

— У них там много всяких китайских церемоний, — напутствовал он монаха, — но ты в Пекине не слишком-то церемонься. Сам увидишь, что делать в царстве богдыханов... Паче того, со времен Кяхтинского трактата между великой Россией и Поднебесной империей объявлен «вечный мир»!

В январе 1808 года в Пекин въехала X духовная миссия, дабы сменить IX миссию. Иакинф оставил церковные дела в покое, сразу же приступив к изучению китайского языка. Его редко видели в храме, он пропадал на базарах и в харчевнях, осваивая разговорный язык. «Не хваля себя, могу сказать, что живу здесь единственно ради отечества, а не для себя, — писал Иакинф из Пекина друзьям на родину. — Иначе в два года не мог бы я выучиться так говорить по-китайски, как ныне я говорю». Познание Китая давалось с трудом: масса ошибок в транскрипции личных имен и в географии страны, допущенных учеными Европы, привела к невообразимой путанице в написании и произношении китайских слов. Пекинские мудрецы допустили монаха до своих сокровищ: Иакинф подкупил их невольным трепетом, с каким обращался с древними книгами. Конечно, он не смел коснуться пальцами текста, особенно бережно листал манускрипты, писанные красными чернилами, что, по мнению мудрецов, сразу в восемьсот раз повышало их ценность.

Настал 1812 год. Петербургу было не до того, чтобы думать о духовной миссии в Пекине, которая в канун войны (и даже после изгнания Наполеона) не получала ни копейки денег. Дабы монахи и студенты не побирались на улицах, Иакинф самым безбожным образом распродал церковную утварь. В 1813 году китайцы восстали против династии Цин,

Иакинф описал восстание как очевидец, дополнив статью историей прошлых бунтов в Китае. Опубликованная в «Духе журналов» русской столицы, эта статья стала первой научной работой Иакинфа.

Он любил труд, который одному человеку, кажется, и не осилить. А потому смело брался за переводы необъятных томов китайской истории, вникал в поучения азиатских философов. В душе вольтерьянец, следуя по стопам французских энциклопедистов, Бичурин даже преувеличивал восточную мудрость, облагораживал местные нравы и законы. «В таком государстве, — писал он о Китае, — без сомнения, есть много любопытного... много хорошего, поучительного для европейцев, кружащихся в вихре различных политических систем».

Историки Европы выводили корни китайцев от Египта или даже Вавилона, искали их первоисточки в библейских легендах; немецкие синологи видели в племенах Тянь-Шаня «усунь» следы прогерманского происхождения. Бичурин — вопреки всем! — точно указал на самобытность культуры Китая, которая оформилась в долинах среднего течения реки Хуанхэ.

— А Господь Бог, — говорил он, — не додумался заглянуть в эти края, так что и Библия тут сбоку припека. Немецким же духом в Азии никогда и не пахло...

До Иркутска стали доходить слухи, будто глава миссии запустил храм в Пекине, не обнаруживая никакого почтения к церковным святыням. В 1821 году Святейший синод прислал в Пекин нового владыку миссии — Петра Каменского.

— Зверь! — сказал он Иакинфу. — Ты погляди, во что храм Божий обратил. Даже мышонку огарка свечного не оставил... все пусто, хоть лошадей заводи с улицы. Куда же все подевалось, харя твоя мерзопакостная? Давай ключи от миссии.

Иакинф Бичурин брякнул ключами на пол.

— Нагнись и подыми сам, — сказал он Каменскому...

Каменский послал донос в Святейших синод. Бичурину было велено сдать дела миссии, а самому выехать в Петербург для оправданий. Иакинф выступил в путь караваном верблюдов, увозя в столицу *четыреста пудов* книжной учености по философии, экономике, географии и истории Китая.

Но мужам синодальным было не до его интересов.

— Где бы нести китайцам слово Божие, вместо этого ты в Пекине вавилонском беса блудного тешил. — Его упрекали во многих грехах, даже за пристрастие к китаянкам, искренне удивляясь: — Чего ты в узкоглазых нашел хорошего?

— Не судите о них по картинкам, исполненным европейцами, — отвечал Иакинф. — Китайки столь приятного обхождения, что во всем мире таковых не сыскать, и никогда они скандала не учинят, как это принято в странах цивилизованных...

В столице Бичурин сразу (и на всю жизнь) подружился со знатком Востока и полиглотом, владеющим знанием редкостных языков: монгольского, бурятского, тибетского. Это был барон Павел Львович Шиллинг, изобретатель первого в России электромагнитного телеграфа, основатель литографского дела, физик и дипломат; он был и приятелем поэта А. С. Пушкина.

— А мое детство прошло в Казани, когда вы, мой друг, осиливали науки в тамошней семинарии. Куда вы смотрите?

— Среди множества редкостей вашего кабинета, — заметил Бичурин, — я вижу и саблю с надписью «За храбрость».

— Да! Бывал не только дипломатом, но сражался и с Наполеоном, а эту саблю получил за битву при Фер-Шампенуазе...

Синоду же был безразличен ученый Бичурин, владыки церкви видели в нем лишь «поганую» овцу из стада Божьего, и приговор иерархов синода был слишком суров: Иакинфа разжаловать в рядовые монахи, сослать на вечное заточение в монастырь со строгим режимом. Так он, еще недавно гулявший по улицам Пекина, оказался в тишине острова Валаам. Но, покидая столицу, монах еще надерзил в Святейшем синоде:

— В монастырь заточить меня вы способны, и даже под схимой пожизненно, — сказал он. — Но вы не в силах отрешить меня от науки, коей я остаюсь предан... тоже пожизненно!

Современник оставил нам свидетельство, что на Валааме Бичурин вел далеко не монашеский образ жизни: «Когда, бывало, пойдет к нему в келью игумен и станет звать к заутрене, он обыкновенно отвечает ему: «Отец игумен, идите уж лучше сами в церковь, а я вот уже более семи лет не имел на себе этого греха...» Экономя время на молитвах, он обложил себя горами книжной учености, писал книги — о Тибете и Монголии, заглядывал в темное прошлое Джунгарии и Туркестана, составил описание Пекина с приложением плана китайской столицы. Пока он трудился в келье валаамской обители, барон Шиллинг использовал светские связи родственников, нажал на все придворные пружины, чтобы выволить Бичурину из монастырского заточения. Карлу Нессельроде, ведавшему иностранными делами Российской империи, барон не однажды доказывал:

— Надобно известить его величество, что нельзя удалять из науки человека, способного внести полезную лепту в наше востоковедение. Россия нуждается в подробном изучении Китая ради соблюдения с ним дружбы, и эта держава, для нас еще во многом загадочная, никогда не перестанет быть нашей соседкой.

Три года ушло на хлопоты друзей, чтобы вырвать Бичурину из «вечного заточения». Монаху разрешили вернуться в Петербург; его зачислили в штат чиновников Азиатского департамента; служащий днем, он обязан был ночевать в келье Александро-Невской лавры столицы. Все начатое еще в Пекине и завершенное на Валааме быстро

воплощалось в книгах, выходявших одна за другой. Бичурин становится знаменит, его переводили в Париже, им уже интересовалась Европа, о нем часто писали в русских журналах. «Московский телеграф» извещал публику: «Благодарим почтенного отца Иакинфа за то, что он решился наконец издавать в свет свои записки и сочинения о Китае... о стране замечательной, у нас мало известной и донныне по большей части дурно и неверно описываемой». В 1828 году Никита Яковлевич и барон Павел Львович Шиллинг были избраны в члены-корреспонденты Академии наук, тогда же Бичурин поднес Пушкину свой первый дар — описание таинственного Тибета.

Но однажды, беседуя с бароном Шиллингом, монах-чиновник завел речь о раскрепощении от духовного сана.

— Что ты задумал? Или сам не знаешь, что монашеский клобук чуть ли не гвоздями к голове приколачивают.

— О том мне ведомо, — отвечал Бичурин. — Но еще не изобрели кривых гвоздей, которые нельзя было бы выдернуть...

Переписывание китайских иероглифов — занятие каторжное, и барон Шиллинг, мастер на все руки, удачно применил способ литографирования, чему немало дивились зарубежные ученые. Именно с помощью литографии Павел Львович издал «Сано-Цзы-Цзин, или Трословие». В предисловии было сказано: «В сей книжке изложены все философские умствования китайцев с изъяснением понятий и выражений, странных для европейца...».

С этой книгой Бичурин навел на Пушкина:

— Александр Сергеевич, опять дарю от чистого сердца, яко переводчик сей удивительной книги...

Пушкин не только читал, но даже изучал труды Бичурина, черпая из них факты для своей работы. Монах бывал в доме поэта, познакомился с его друзьями, и вот что странно: Иакинфа чтит люди, любившие и поэта, а травил его те же самые враги, которые травили и Пушкина.

— Прямо чудеса! — судачили сплетники. — Этот монах родился в русской деревне под Чебоксарами, а глаза у него сами собой превратились в узенькие щелки, как у китайца. Неужели пребывание в Пекине способно так изменить человека?..

Не оставив своих эпикурейских привычек, Бичурин сам давал публике немало поводов для анекдотов. Его часто видели на столичных проспектах в окружении дам полусвета: женщины бережно вели его под руки, а сам кавалер был в монашеском подряснике, но клобук заменял модной шляпой, как денди. Позже он угодил в веселую компанию Брюллова, Глинки и драматурга Кукольника; подобрав края рясы, Иакинф отплясывал там вприсядку, словно загулявший деревенский парень. Святейший синод, конечно, был достаточно извещен обо всех его фокусах. Но что он мог поделать с Бичуриным, если в его услугах постоянно нуждалось Министерство иностранных

дел, а сам император Николай I отсчитывал сотни рублей для издания его научных трудов.

Министерские чиновники отзывались о Бичурине:

— До чего же негодный монах! Но смотрите, что творится с его книгами: их читают не только в публике, но даже министры. Сочинения отца Иакинфа высочайше предписано иметь в университетах, они рекомендованы для гимназий...

Наконец случилось небывалое: востоковеды Европы спешно исправляли свои прежние труды о Китае, Джунгарии и Монголии, ибо допустили в них немало ошибок, а теперь сверяли свои знания с работами русского монаха. Настал день, которого с большим нетерпением ожидал Павел Львович Шиллинг:

— Поздравь меня. Я свыше получил согласие на устройство научной экспедиции к рубежам Китая, а ты, друг, не покинешь меня в этом предприятии... оба поедем в Кяхту!

Барон щедро разлил по бокалам шампанское:

— За удачу! Назову и третьего соучастника.

— Кто же он?

— Пушкин. Он давно желает бежать из этого мира интриг, зависти, клеветы и подозрений, дабы на границах с Китаем обрести подлинную свободу. Наконец, — досказал Шиллинг, — у него в Сибири полно друзей... сосланных декабристов!

Пушкин и впрямь загорелся желанием побывать в Китае:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменно убегая:
К подножию ль стены далекого Китая...
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву...?

Наталья Гончарова (гордая и мучительная дева) не могла удержать его: Пушкин был готов ехать! Однако побывать в Китае поэту не довелось. Император не сразу соизволил выпустить из монастыря на волю Иакинфа Бичурина, но он совсем не хотел потерять надзор над поэтом, который в Сибири рассчитывал повидать друзей-декабристов...

Пограничную Кяхту русские люди знали по тем «цыбикам» китайского чая, которыми торговали в Москве и Петербурге; коробки с чаем, обтянутые красивым шелком, были разрисованы пейзажами Китая, гуляющими под зонтиками нарядными китаянками. Выпив чай,

русские провинциалы не спешили выбрасывать эти коробки, а долго держали их в доме как украшение семейного быта.

Кяхта была столицей богатых часторговцев; в недалеком Селенгинске проживали ссыльные декабристы, среди них и Николай Бестужев, наезжавший в Кяхту, где писал портреты местных жителей... В этом удивительном городе, пристроившемся на самом отшибе России, барон Шиллинг и монах Иакинф развернули свою экспедицию. Бичурин уже давно испытывал острый интерес к истории монголов, он задумчиво рассуждал:

— Именно через Кяхту пролегли пути древней цивилизации Востока, и надеюсь, мы сыщем здесь такие сокровища письменности, коих не могли найти прежние изучатели Азии...

«Я здесь не без дела, — отписывал он на родину. — Обучаю детей китайскому языку, переделал китайскую грамматику... привожу к окончанию перевод монгольского словаря». Отрываясь от занятий, он выполнял и важные поручения министерства по расширению торговых связей России с Китаем. Но главное — школа! Бичурин набрал детишек, сам вел с ними занятия. В кяхтинской школе никогда не слышали свиста розги, зато ученики отца Иакинфа быстро осваивали китайский язык.

Шиллинг с бурятскими и монгольскими ламами был погружен в изучение древних книг, он сказал Бичурину:

— Книг такое множество, что для перевозки их в Петербург потребно выложить из кармана восемь тысяч рублей. Мои родственники уже извылись, глядя на мои траты. То на физику, то на изыскание тайн азиатских, то на законы электричества... Ярываюсь между двух стихий: Востоком и Электричеством!

Бичурин ответил, что он тоже расколот надвое:

— Кому принадлежу? Церкви или науке? Не скрою, что избрал второй путь. Так помогите мне выдернуть те самые гвозди, которыми к моей голове приколочен клобук монашеский...

Шиллинг оповестил Нессельроде из Кяхты, что требуется избавиться Иакинфа от стеснительных уз монашества, дабы он вышел на стезю науки под мирским именем Никиты Яковлевича. Бичурин сам просил церковь об этом, и синод вроде бы с ним согласился. Нессельроде тоже был солидарен с вескими доводами барона Шиллинга, предсказывая Бичурину скорую карьеру чиновника при Азиатском департаменте. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не личное вмешательство императора Николая I, повелевшего Бичурину жить «по-прежнему в Александро-Невской лавре, не позволяя ему оставлять монашество...»

— Да, кривые гвозди, — опечалился Бичурин.

Двух человек, слишком разных, барона и монаха, объединяло общее уважение к тем народам, которых в Европе даже за людей не считали.

Но они видели уникальные книги в убогих юртах бурятов, под мычание коров выслушивали предания местных лам. Европа только слышала, но слабо верила в существование великого «Ганджура», полного свода буддийского учения; в незапамятные времена его целыми столетиями переписывали с санскрита на язык тибетский: «Ганджур», по мнению Шиллинга, состоял из 106 громадных томов, а страницы его — шире газеты. Именно в окрестностях Кяхты они и нашли полный «Ганджур» (даже 108 томов), который когда-то очень давно буряты выкупали у ханов Бухары за целое стадо в семь тысяч быков...

— Мы все вернем обратно, — обещал Шиллинг буддистам. — Если раньше у вас уходили века на переписывание священных книг, то в Петербурге любая книга в единственном экземпляре приобретает тысячи близнецов. Не считайте меня волшебником. Я не скрываю чуда, которое называется «тиражом»...

Загруженные древними книгами и томами «Ганджура», они вернулись в Петербург, где еще не все доросли до того, чтобы оценить значение их научного подвига, а когда Шиллинг устраивал электрический телеграф, его даже высмеивали:

— Барон рассчитывает беседовать с далекими друзьями, передавая свои мысли через медную проволоку... Чушь какая!

1837 год оказался для России трагическим: на дуэли погиб А. С. Пушкин, в этом же году скончался и барон П. Л. Шиллинг.

Бичурину оставалось только оплакивать своих друзей.

Никита Яковлевич родился в 1773 году, но лета не ослабили его сил, не уняли порывов сердца. Высокий ростом, жилистый, как бурлак, в движениях порывистый, он не сдавался старости. Его черные глаза сверкали еще молодо. Священный синод давно махнул на него рукой как на отпетого бродягу, зато Бичурина признала Академия наук, присудившая ему первую Демидовскую премию; он получил ее за сочинение по истории калмыков.

Пришлось снова навещать Кяхту, где для училища синологов он составил библиотеку на восточных языках. В 1838 году Никита Яковлевич вторично заслужил Демидовскую премию за китайскую грамматику, которая «показывает удивительную легкость, с какою можно выучиться читать и переводить с китайского. Он доказал это на практике в кяхтинской школе, где его ученики чрезвычайно легко и скоро стали разумеать по-китайски».

Бичурин всегда верил в могущество Китая, вольно или невольно восхищаясь его порядками и нравами жителей.

— Что могут знать о Китае в развращенной Европе? — рассуждал он. — Один знаток задуривал неучей, будто табачные плантации близ Кантона поливают мочою падших женщин, отчего и урожай

там хороши. Европейец, попав в Китай, мнит себя мудрецом в стране «дикарей», а китаец плюет вослед европейцу, называя его «варваром». Не спорю, что у китайцев преувеличенная национальная гордость, но таким же качеством обладают французы, немцы, англичане и даже мы, грешные...

«Опиумная» война вызвала в нем приступ ярости.

— Бессовестные! — отзывался Иакинф о колонизаторах. — В обмен за опиум вывозили из Китая груды серебра, а теперь пушками убеждают китайцев в пользе курения отравы. Но я в недоумении: как три тысячи британских матросов могли управиться с великой империей, населенной миллионами людей?..

Белинский писал: «Китай силен, но держится пока с севера миролюбием России», а сам Бичурин в своем почти слепом почитании Китая стал доходить уже до крайности.

— Вот это по-азиатски, — ликовал он, наблюдая хорошее. — А вы остались испорченным европейцем, — упрекал он, заметив дурное в человеке. — Обратитесь лицом к Востоку..

Бичурин устал и сам порой удивлялся тому, как много он успел написать. Знаменитый ориенталист Генрих Клапрот, почти враждебно к нему настроенный, вынужден был признать, что сделанное Бичуриным под силу целому институту с немалым штатом ученых. Научный авторитет Иакинфа был неоспорим, востоковеды Европы просили его быть арбитром в своих спорах, и решение русского монаха оставалось для них безоговорочным.

Намотав на руку железные четки, выкованные из кандалов декабристов, в развевающейся на ветру долгополой рясе, язвительный и громогласный, он всюду вызывал удивление. Его не раз спрашивали: откуда такие странные четки?

— Не скажу! — отвечал Бичурин. — Кузнецы, ковавшие это железо, еще не обрели бессмертия, нужно время, чтобы мои четки стали народной святыней... Боюсь, вы меня не поймете!

Только близкие ему люди знали, что под монашеский клобук Бичурина подвела несчастная любовь к Татьяне Саблуковой, и виновница этой драмы, ныне богатая барыня вдова Корсунская, жила в Петербурге. Никита Яковлевич не забыл своей горькой любви, до самой кончины Татьяны Лаврентьевны он навещал ее, дети и внуки женщины стали для него родными, называя его «дедушкой». Перед смертью она успела сказать ему:

— Прости меня! Я-то знаю, что по моей вине ты в монахи постригся, а теперь мой последний вздох принимаешь...

Умевший ненавидеть, Бичурин был очень добр. Он терпеть не мог, когда дочь покойной, Софья Александровна Мицикова, наказывала детей, а своих лакеев отсылала в полицию ради их сечения. В таких

случаях Никита Яковлевич вступался за крепостных с такой же яростью, как и за детишек:

— Это варварство! В Китае так бы не поступали...

В 1843 году он стал трижды лауреатом Демидовской премии. К деньгам относился равнодушно, никогда не знал, сколько у него в бумажнике. Однажды за партией в преферанс полез расплачиваться, но бумажника при себе не обнаружил. Заподозрили домашнего лакея. Мищикова велела дворнику тащить лакея на двор, драть его нещадно, но лакей в краже не сознался.

— Да что вы делаете! — возмущался Бичурин. — Плевать я хотел на эти премиальные, только оставьте человека в покое...

Через год или два бумажник нашли. Бичурин велел позвать лакея и при всех вручил ему свой бумажник:

— Сколько б там ни было денег, все твои. Бери за свои невинные страдания. Бери, дурак, не отказывайся... Ты ведь, я знаю, драным всегда будешь, а лауреатом — никогда!

В доме Мициковых прижился молодой художник Костя Флавицкий, позже прославленный картиною «Княжна Тараканова», а тогда он был пропадавший в нищете неудачник. Но Костя осмелился ухаживать за Наденькой Мициковой, которую Бичурин почитал своей «внучкой» и невзлюбил Флавицкого, называя его «прощельгой». Но при этом тайно помогал ему деньгами, оплачивал наем квартиры, даже сам нанял молочника, чтобы тот снабжал Флавицкого молоком... Г-жа Софья Мицикова осуждала его:

— Сумасшедший! Чуть ли не всю Демидовскую премию моему же лакею отдал. С утра лба не перекрестит, сразу за книгу, а в храм Божий на аркане его не затащишь. Зато мечтает в балете побывать, дабы оценить волшебные па Тальони...

Это правда. Никита Яковлевич, в нарушение заветов монашества, театр обожал. Удачно гримируясь, одетый под купца, он ездил в театр любоваться балеринами, слушал в опере лучших итальянских певцов. Но его уже начинала грызть старческая тоска о прошлом, со слезами он поминал Пушкина и Шиллинга; молодежи, окружавшей его, Никита Яковлевич рассказывал забавные случаи из жизни современников — Крылова, Жуковского, Брюллова и Глинки, а в конце рассказа, как правило, он впадал в меланхолию, вытирал слезу:

— Для вас, молодых, все это уже история, а для меня это была жизнь. Умру вскорости и тоже перейду в область преданий... Только вот вспомнят ли обо мне?

Наденька Мицикова просила подарить ей четки.

— Глупая ты девчонка, — отвечал ей Бичурин. — Для тебя это лишь повод потешиться, а для меня это ведь тоже история. Не дам! Подрастешь, и оставлю четки тебе на память...

Между тем Виссарион Белинский, всегда высоко ценивший научные заслуги Бичурина, резко отозвался об описанном им «гражданском и нравственном состоянии» Китая. Белинский был возмущен не только искренне, но и справедливо:

— Это уже ни на что не похоже! Беру книгу Иакинфа и читаю, что в Китае все живут в райском блаженстве, никто из китайцев не ведает взятки и насилий, потом я раскрываю последнюю книгу Николая Греча, где автор глубоко скорбит, что во Франции перестали сечь людишек розгами...

«Книга почтенного отца Иакинфа, — писал Белинский в рецензии, — истинное сокровище для ученых по богатству важных фактов», а далее разоблачал великодушие Бичурина, который не заметил деспотии цинских богдыханов, закрыл глаза на повальную нищету народа, умолчал о коррупции продажных мандаринов. Я не знаю, с каким чувством отец Иакинф воспринял критику Белинского; в это время он уже начал болеть. Монах жил в загородном доме Мициковых на Выборгской стороне, в зелени сада занимал скромную беседку, крыша которой протекала, с утра до ночи пил чай, продолжая трудиться. Более трех лет он писал историю народов Азии, Сибири и Дальнего Востока.

В 1851 году он был удостоен четвертой Демидовской премии. Почувяв что-то неладное со своим здоровьем, Бичурин подарил свои четки «внучке» Наденьке. Мициковы снимали дачу на станции Мурино, старый монах ходил с деревенскими девками в лес за грибами, собирал ягоды, крестьяне любили его за добрую душу, все кланялись ему, когда он шел по деревне с лукошком опят или сыроежек. Однажды в лесу с ним случилась какая-то загадочная история. Его нашли привязанным к дереву, над ним висели на сучке золотые часы, циферблат которых был украшен 12 апостолами, в бумажнике Иакинфа остались целы 300 рублей.

— Я ведь слышал, когда меня люди в лесу окликали.

— Так чего же вы сами-то не отозвались?

— Нельзя было, — понуро отвечал Бичурин...

После этой истории, тайну которой он унес в могилу, Никита Яковлевич заболел. Пробовал писать, но «почти плача, жаловался, что у него ничего не выходит... И тогда же, вспоминала Наденька, он говорил мне, что у него сделано духовное завещание, в нем он определил, в какие музеи должны быть отправлены после его смерти вывезенные им из Китая древности».

Но скоро больной старик показался мадам Мициковой лишней обузой, и она, вызвав карету, отправила его в Александро-Невскую лавру, где у Бичурина была своя келья...

Иакинфа все забыли, иногда лишь его навещала Наденька, ставшая к тому времени невестой Моллера. В своих мемуарах она, сама уже старуха, писала, что смотрела на луну и думала о всяком любовном

вздоре, «с упоением я вслушивалась в этот вздор, а дедушка был забыт». После свадьбы она решила навестить его. Ключник с неудовольствием отворил ей двери.

— Напрасно ходите сюда, — сказал монах женщине. — Давно пора отцу Иакинфу предстать перед судом отца небесного...

Монахи старались не допускать родственников до кельи Иакинфа, они придумывали разные причины, чтобы его кончина прошла незаметно для общества. Если Святейший синод раньше оказал ему за безбожие и прегрешения в светской жизни, то почему оказались столь жестоки монахи? Кажется, они сами желали ускорить кончину Бичурина, ибо уже началось бессовестное расхищение его пожитков. В один из визитов Моллер застала «дедушку» зябко дрожащим под каким-то нищенским отрепьем. Она знала, что у него никогда не переводились запасы чая, полон сундук мехов, присылаемых друзьями из Кяхты.

Она кинулась к сундуку, чтобы достать шубу, но там было уже пусто, а в шкафу болталась лишь старенькая ряса.

— Холодно... чаю... забыли меня. Все оставили...

Надя велела прислужнику лавры поставить самовар, строго спросила: куда девалась шуба, где все меха?

— Отвезли к меховщику... на хранение... — соврал тот.

Своих часов Надя не имела, обещая мужу не опоздать к обеду, и вспомнила о часах «дедушки» с 12 апостолами. Обыскав всю келью, не нашла их и снова обратилась к келейнику:

— Послушайте, а где же часы отца Иакинфа?

— Мы их сдали в починку, — нагло отвечал тот...

С каждым разом монахи становились грубее, не хотели впускать женщину в обитель, Надя подолгу барабанила в колокол у ворот, чтобы их открыли. «При виде дедушки я невольно содрогнулась. Переменился он ужасно... громко стонал...

— Обижают... не кормят... забыли... не ел...»

Так записано в ее мемуарах. Она с плачем взмолилась:

— Покормите отца Иакинфа, где же ваше милосердие?

Монах-прислужник назидательно ответил:

— Зачем ему пища земная, если ждет его пища небесная?..

Надя Моллер вдруг ощутила злобное. По грязной рубашке Бичурина ползали отвратные насекомые. «Наволоки на подушках, простыни — все было грязно и воняло. Закрыт он был ситцевым драньем, из которого торчали клочья ваты. Я приподняла одеяло и отшатнулась: по простыни ползали мелкие белые черви, умирающий дедушка лежал в нечистотах». Так — в смраде, в гноище, среди ползающих червей и насекомых — церковь оставила умирать человека, далекого от святости; четырежды лауреата Демидовской премии, основоположника отечественной синологии, которая уже затмила востоковедение всей Европы...

— Чего здесь ходите? — вдруг обозлился монах. — Уйдите, и не зачем смущать покой умирающего старца...

«Он выждал, пока я оделась, вышел со мною и долго шел молча сзади меня, постукивая клюкой монаха по каменному полу коридора обители. Это было в конце апреля, а в начале мая пошли у нас хлопоты о найме дачи...» Среди бытовых хлопот родственники забыли Бичурина, и лишь 13 мая 1853 года в газете «Северная Пчела» вычитали о его смерти.

— Боже мой! Завтра уже хоронят, — сказала мать.

Всей семьей Мициковы и Моллеры поехали на следующее утро в Александро-Невскую лавру, чтобы не опоздать к отпеванию. Но впусивший их в лавру монах сказал, что они опоздали:

— Мы вашего ученого нехристя уже закопали.

— Господи! Да почему не известили о его кончине? Мы единственные его родственники, — сказала г-жа Мицикова.

— У братии монашествующих нет земных родственников, — отвечал привратник. — Есть один отец небесный...

Никита Яковлевич был погребен на старом Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, и могила его сохранилась. Позже она была отмечена памятником: подле некрополоической справки о датах жизни выстроилась колонка китайских иероглифов. Туристы, посетив кладбище, удивляются — откуда здесь взялись иероглифы? Между тем китайские письма гласили о Бичурине подлинную истину: «ПОСТОЯННО И ПРИЛЕЖНО ТРУДИЛСЯ НАД ИСТОРИЧЕСКИМИ ТРУДАМИ, УВЕКОВЕЧИВШИМИ ЕГО СЛАВУ».

Разве не странная судьба выпала этому человеку?

Вольтерьянец-безбожник смолоду, а пошел в монахи.

Всю жизнь прожил в окружении умнейших друзей, а умер в забвении одиночества, окруженный врагами и хапугами.

Наконец, оставил после себя целую библиотеку написанных им книг, но до сих пор еще не все они вышли в свет, и рукописи Никиты Яковлевича продолжают печатать уже в наше время. Ожидает публикации и гигантская книжища «Все проникающее зеркало» об истории Китая, составляющая 16 толстых томов.

Да, умел старик поработать... нам бы так!

В 1953 году ученая общечественность нашей страны отметила столетие со дня смерти Н. Я. Бичурина, а в 1973 году состоялась особая научная сессия востоковедов СССР, посвященная двухсотлетию со дня рождения Бичурина.

В одном из докладов о нем были приведены его пророческие слова, сказанные Никитой Яковлевичем еще в 1844 году:

«Очень неправо думают те, которые полагают, что западные европейцы давно и далеко опередили нас в образовании, следовательно, нам остается только следовать за ними. Эта мысль ослабляет наши умствен-

ные способности... рассудок наш будет представлять в себе отражение только чужих мыслей, часто странных и нередко нелепых».

Об этом, читатель, не стоило бы забывать.

Русские, мы всегда и всем будем обязаны России, благодарные за все нашим пращурам... На этом и конец!

Резановский мавзолей

Повесть начнется с осени 1802 года, но, верный своим навыкам — забегать во времени вперед, я приглашаю читателя в Калифорнию 1847 года, когда эти края навестил известный английский мореплаватель и ученый Джордж Симпсон.

Сан-Франциско еще не блистал огнями, к северу от Сакраменто бурная Славянка впадала в залив Румянцева, в устье этой реки высился гордый Форт-Росс, окруженный множеством ранчо русских поселений, где они выращивали редьку в пуд весом, а к югу от Сан-Франциско располагался Монтерей — столица всей испанской Калифорнии. Уроженец тех краев, американский писатель Брет Гарт, вспоминал, что случилось тогда в цитадели праздничного Монтерея:

Много собралось народу на торжественный банкет,
Принимал все поздравления гость, английский баронет.
Отзвучали речи, тосты, и застольный шум притих:
Кто-то вслух неосторожно вспомнил, как пропал жених.
Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон:
— Нет, жених не виноват!..

Старые гранды, хозяйева Монтерея, еще не забыли, как давным-давно сюда ворвался под парусами русский корабль, с него сошел на берег дипломат царя Николай Резанов, а донья Кончита, юная дочь коменданта, тогда же отдала ему руку и сердце, поклявшись ждать, когда он вернется снова, чтобы увезти ее в заснеженную Россию. Но с тех пор минуло сорок лет, Резанов не возвратился, а Кончита, старея, все ждала его, все ждала, ждала...

Иногда она в печали слышала безгласный зов.
— Он придет, — цветы шептали.
— Никогда, — несло с холмов.

— Нет, жених не виноват! — провозгласил сэр Джордж Симпсон. — У нас в Лондоне хорошо знают его историю. Резанов, влюбленный в юную испанку, скакал через Сибирь как бешеный, зная, что невеста обязалась ждать его два года, и во время скачки он выпал из

седла и разбился насмерть. Думаю, пыльная испанка, прождав два года, давно забыла о нем! А жива ли она? — вдруг спросил Симпсон.

Разом все стихло. Из-за стола поднялась пожилая, но еще красивая испанка — вся в черных одеждах.

— Это... я! — сказала она, и стало еще тише. — Нет, сэр, не два года, а двадцать раз по два года я жду, все СОРОК ЛЕТ...

Джордж Симпсон растерялся, никак не готовый встретить испанскую Пенелопу, почти полвека ожидавшую своего Одиссея.

— Простите, — единственное, что он мог ей сказать.

— Все кончено, — отвечала ему Кончита Консепсьон, выходя из-за стола, — и теперь мне уже некого ждать.

— Простите, — еще раз повторил британец.

А под белым капюшоном на него глядел в упор
Черным углем пережженный женщины безумный взор.
«А жива ль она?» — Кончиты раздалися тут слова:
— Нет, синьоры, вы считайте, что отныне я мертва...

— Мертва, мертва, а я один. Зачем ты покинула меня?

Так рыдал над гробом жены Николай Петрович Резанов, и мы, читатель, возвращаемся в осень 1802 года, когда на кладбище Петербурга выросла новая могила. Сенатский обер-прокурор похоронил свою жену Анну, дочь знаменитого Шелихова, которая оставила ему малолетних детей, в том числе и младенца — дочь Олю, которой исполнилось лишь 12 дней...

Николай Петрович навестил поэта Державина:

— Гаврила Романыч, — сказал он ему, рыдающий, — чувствую, жизнь покидает меня. А на детей глядя, едино лишь растравляю свои сердечные раны... Что делать? Подскажи!

Резанов был автором проекта о посольстве в Японию, он же ратовал о коммерческих связях Русской Аляски с русскими в Калифорнии, и Державин сказал, что развеять свою горе вдовец может лишь в дальнем путешествии, какое и готовится:

— Думаю, государь одобрит твоё назначение...

Александр I согласился, добавив:

— С тех пор как еще во времена моей великой бабки Екатерины берега Японии посетил наш корабль лейтенанта Лаксмана, японцы соглашались принять наше посольство. Мало того, у нас давно живут немало японцев, которых бурями прибило к берегам России, и надобно бы вернуть их на родину...

Предстояло первое кругосветное путешествие россиян. Кронштадт снаряжал корабли «Надежда» и «Нева», которыми командовали капитан-лейтенанты Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, а в Петербурге Резанов собирал штаты посольства, ученых, врачей,

ботаников и «кавалеров», столь необходимых для вящей пышности, при этом в «кавалеры» попал и буйный поручик гвардии граф Федор Толстой, которого позже обессмертил Грибоедов в строфах из «Горе от ума»: «ночной разбойник, дуэлист... и крепко на руку нечист...»

— Я тоже не сижу без дела, — сказал Резанову император, — составляю послание на имя японского императора, которое будет писано чистым золотом на веленовой бумаге в окружении даров природы, а вы подумайте о щедрых презентях...

Список подарков для микадо лежит передо мною, занимая целую страницу печатного текста. Выделю главные: сервизы и вазы из фарфора, ценные ковры, меха лисиц и горноста, парча, атлас и бархат, «кулибинские» фонари для освещения улиц, ружья, сабли и пистолеты, гарнитуры пуговиц, генеральные карты Российской империи и прочее. Резанов, думая о жителях Русской Аляски, не забыл погрузить на корабли и целую библиотеку, в которой были стихи и книги по экономике, «скотский лечебник» и херасковская «Россияда»... Ах, как много людей чаяло попасть в эту экспедицию! Просились персоны важные и мелкотравчатые людишки: «Ревность к службе и любовь к Отечеству суть главные причины, побудившие меня утруждать начальство об удостоении меня иметь честь быть в числе избранных к свершению столь славного подвига, труды и опасности коего не в силах умалить моего патриотического усердия...» Сейчас так не пишут!

27 июля 1803 года якоря были выбраны, паруса подняты.

Лондон в ту пору забавлялся карикатурами на молодого Наполеона, угрожавшего англичанам высадкой десанта. Английские многопушечники, встретив у своих берегов русские корабли, сначала приняли их за французские, но, распознав ошибку, прислали бочонок рому, а русские отдарились от них бочкою с клюквенным вареньем. В конце октября «Надежда» и «Нева» были уже на Канарских островах, которые издали казались сущим раем. Но, попав на берега, матросы увидели, что много канарцев спят прямо на улицах, никогда крыши над головой не имея. Крузенштерн записывал: «Всеобщая бедность народа, небывалый разврат женщин и толпы тучных монахов, шатающихся ночью по улицам для услаждения чувств своих, — суть такие отличия сей страны...» В конце ноября, когда над крышами русских деревень задували снежные вьюги, русские корабли, изнуренные жаром и штилями, пересекли экватор, а матросы, разбежавшись по вантам, трижды провозгласили «ура»... Впереди лежала Бразилия!

Крузенштерн и Лисянский распорядились:

— Все матросы в Бразилии получают от нас по пиастру...

Четыре недели оставались возле острова Санта-Екатерина, ремонтировались после штормов. Именно здесь, в видимости берегов Бразилии,

стали портиться отношения Резанова с командирами кораблей и офицерами. Николай Петрович, поставленный во главе всей экспедиции, не вмешивался в дела Крузенштерна и Лисянского, тактично считая себя лишь «пассажиром». Вражда возникла по вине «кавалера» графа Толстого, который объявил Резанову «матерную войну» и часто, будучи пьяным, оскорблял Резанова, не стыдясь матросов, а моряки пока что не вмешивались в дела посольства, наверное, полагая, что брань графа — дело не морское, а из лексикона дипломатического.

— Во как заливает! — смеялись матросы. — А ведь граф... Таки-то слова у нас и в деревне отродясь не слыхивали...

Николай Петрович не раз грозил Федору Толстому:

— Только бы нам до Камчатки добратся, ваше сиятельство, там-то, граф, вы в остроге у меня насидитесь...

(Об этом, читатель, Грибоедов не забыл помянуть: «В Камчатку послан он, вернулся алеутом...») Глядя на поведение «кавалера» посольства, и офицеры кораблей стали относиться к Резанову без должного респекта, а скоро дипломат рассорился с Крузенштерном. Существует большая литература об этой ссоре, о которой раньше много писали, а наши историки о ней нарочито умалчивают, оберегая бесспорные авторитеты участников экспедиции. Суть же разногласий была такова: Крузенштерн, не имея на то никаких прав, требовал от Резанова подчинения ему, а Резанов, имея полномочия посланника и начальника всей экспедиции, не желал подчиняться капитан-лейтенанту. Однако, вдоволь наглядевшись на то, как вечно пьяный «кавалер» посольства Толстой оскорбляет своего же посла, Юрий Лисянский перестал принимать от Резанова почту, говоря, что чужих писем читать не любит, а распоряжения принимает лишь от Крузенштерна.

— Чужих писем читать и я не привык, а что касемо важных распоряжений, так ожидаю и таковые токмо от Крузенштерна...

Читатель, надеюсь, догадался, что конфликт назрел, достаточно одного неосторожного слова, чтобы скандал разразился. Однако впереди предстояло огибать проклятый мыс Горн, где блуждала легендарная тень «летучего голландца», и, обогнув этот мыс, корабли из Атлантики перешли в Тихий океан, а там гляди, как бы не проскочить мимо острова Пасхи, а в пути до Пасхи корабли потеряли один другого, — посему всем, кроме беспутного графа Толстого, было не до выяснения отношений, и Крузенштерн, усталый от недосыпания, наказал вахтенному офицеру:

— Впереди архипелаг Маркизовских островов, так вы, любезный, не проскочите мимо Нука-Гива, где наверняка нас ожидает «Нева» Лисянского, дабы следовать совместно далее...

Нука-Гива открылась гремящими со скал водопадами, «Нева» уж стояла на якоре, поджидая «Надежду», вокруг кораблей плавали

множество островитян, предлагая в обмен на куски железа кокосы и бананы. Крузенштерн выступил перед матросами с призывом:

— Дикарей не обижать! Помните, что российский флот здесь видят впервые, и я уверен, что мы покинем Маркизовы острова так, чтобы оставить по себе только самую добрую память...

Но, призывая не обижать дикарей, Крузенштерн здорово обидел Резанова, человека от дикости далекого. Случилось это так. Пока команды выменивали плоды и фрукты, Резанов велел выменивать у островитян предметы их обихода — для этнографической коллекции Петербургской Академии наук. Но Крузенштерн ученых, что подчинялись Резанову, разругал, велел им не заниматься «глупостями», а все, что они собрали, отнял у них. Не понимаю — зачем?

2 мая 1804 года Резанов сказал Крузенштерну:

— Не стыдно ли вам *ребячиться*, свою власть показывая и не позволяя мне исполнять то, что положено экспедиции?

«Вдруг закричал он (Крузенштерн) на меня:

— Как вы смели сказать, что я ребячусь?

— Весьма смею — как *начальник* ваш.

— Вы начальник? А знаете ли, как я поступлю с вами?..»

Этот волшебный диалог имел продолжение. Крузенштерн вломился в каюту посланника, угрожая ему расправой, потом вызвал на борт «Надежды» Лисянского с его офицерами, и теперь офицеры двух кораблей стали кричать:

— На шканцы его! Вот мы проучим этого самозванца.

— Дайте мне молоток и гвозди! — кричал граф Федор Толстой. — Я заколочу дверь в его каюту, и пусть он там сдохнет...

«Граф Толстой, — писал Резанов, — бросился было ко мне, но его схватили и послали лейтенанта Ромберга, который пришел ко мне сказать: «Извольте идти на шканцы...» Резанов послал его подальше. Тут вломился к нему сам Крузенштерн и стал кричать, чтобы шел наверх и доказывал, что он здесь начальник. Делать нечего — Николай Петрович поднялся из каюты на шканцы, захватив с собою шкатулку с государственными бумагами:

— Слушайте! Читаю вам, что подписано самим императором...

Александр I писал: «Сии оба судна, — то есть «Нева» и «Надежда», — с офицерами и служителями поручаются начальству *Вашему*». Когда Резанов прочел эти слова, раздался хохот и выкрики.

— Кто подписал? — требовали офицеры.

— Сам государь император, — отвечал им Резанов.

— А кто писал? — ехидно спросили его.

— Имени писаря не знаю, — сознался Резанов.

Тут раздался торжествующий выкрик самого Лисянского:

— То-то и оно-то! Мы хотим знать, кто писал, а подписать, мы знаем, император любую чепуху подпишет...

Один только лейтенант Петр Головачев вступился за Николая Петровича (за что потом он и поплатился своей жизнью на острове Святой Елены), а все остальные офицеры говорили:

— Ступайте со своими бумагами, мы таких начальников не знаем, а подчиняемся только своим капитан-лейтенантам.

«А лейтенант Ратманов, ругаясь, при этом говорил: «Он еще и прокурор, а законов не знает», и, ругая (меня) по-матерному, Ратманов кричал: «Этого-то скота заколотить в каюту!» Граф Федор Толстой уже стоял наготове — с молотком и гвоздями...

— Вы еще раскаетесь, — сказал Резанов, покидая шканцы.

В каюте духота, зной тропический, посланник на палубу уже не выходил, ибо матросы, жалеючи его, предупредили, чтобы не высывался, — граф Толстой и за борт спихнуть может, — а в это время, когда Резанову было плохо, Крузенштерн запретил врачам навещать его, «хотя на корабле все знали, что посланник сильно занемог». Без его участия офицеры принимали короля Нука-Гива, который в обмен на топор и бразильского попугая дал морякам двух свиней. Матросы огорчились таким обменом:

— Мяса нет, а одними бананами сыт не будешь...

Крузенштерн тоже побаивался — как бы экипаж не свалила цинга. Он надеялся раздобыть свежей провизии на Сандвичевых островах, но тамошние жители на железки уже не глядели, требуя сукно.

— А сукна у нас нет, — опечалился Крузенштерн...

Здесь корабли расстались: Лисянский увел свою «Неву» на остров Кадьяк, а Крузенштерн направил «Надежду» в порт Петропавловска-Камчатке... Почему не в Японию? Да по той причине, что сам же Резанов не захотел являться японцам в дурном виде:

— В таких склочных условиях, когда все перегрызлись, будто собаки худые, да еще изнуренный болезнью, я никак не могу выявить достоинства посла российского... Лучше уж на Камчатку! Там мы и разберемся — кто тут начальник, я или вы?

Вместе с русскими плыл сплошь покрытый татуировкой француз Жозеф Кабре, который женился на дочери короля Нука-Гива, одичал, но по пьяному делу не сошел вовремя на берег, а когда очнулся, вспомнив о женах и детках, «Надежда» уже плыла в открытом океане. Этот француз и разглядел берега Камчатки.

— Мне здесь нравится, — сразу заявил он... Странное желание! Может, после Нука-Гива и Камчатка кажется раем — этого я не знаю, но об этом желании Жозефа Кабре посол Резанов доложил лично русскому императору.

Резанов сразу же съехал на берег, никак не желая вмешиваться в дела корабельные. Павел Иванович Кошелев, генерал-майор и тогдаш-

ний начальник Камчатки, решил сразу же «образумить» бунтовщиков-офицеров, явив перед ними свою грозную силу — солдат гарнизона, а графа Толстого, яко главного заводилу и матерщинника, отправили в Петербург, дабы служил в полку и далее. Резанов из штатов посольства Толстого сразу же выключил:

— Для вас, граф, ничего нет на свете святого, и я вынужден сообщить в Петербург, что вы еще на Сандвичевых островах решили остаться ради голых красоток, об отечестве мало думая. Уезжайте прочь, дабы не осквернять своим присутствием даже эти несчастные окраины матери-России... Вон!

Кошелеву посланник признался, что поставлен в очень трудное положение тем, что был оскорблен офицерами кораблей.

Он откровенно признался, что опасается исполнить свою миссию в Японии и подумывает даже о том, чтобы вернуться в Петербург, не исполнив своего долга:

— Поймите! Я, назначенный посланником, поставлен за время плавания Крузенштерном и его офицерами в униженное положение, и, появившись в Иеддо — столице японцев, мне попросту будет стыдно являть перед японцами весь сор, вынесенный из нашей русской избы... Ладно уж на родимой палубе глумились надо мною, но что будет, если станут глумиться и на японской земле?

Кошелев согласился.

В недостойном поведении корабельных офицеров генерал Кошелев усмотрел «оскорбление» всего посольства и сразу начал следствие. Конечно, читатель помнит Крузенштерна — уже отлитым в бронзе — на берегах Невы, и мне, автору, даже неловко тревожить его величавый образ просвещенного мореплавателя на этом пьедестале памятника, которого он и заслуживает. Однако надо знать правду: Иван Федорович сам признал перед Кошелевым свою вину и вину своих офицеров, которые вдали от Кронштадта и начальства распустились, а он потакал их распушенности. Кошелев сказал Крузенштерну, что имеет право лишить его командования кораблем и отправить в Петербург под конвоем:

— Как и Резанов отправил сего «анфант терибля» Толстого.

— Я очень сожалею о случившемся, — просил его Крузенштерн, — и прошу ваше превосходительство примирить меня с господином посланником... Поверьте, я искренен в этом желании.

— Николай Петрович, — отвечал Кошелев, — согласен забыть прошлое, но вам придется перед ним извиниться...

8 августа 1804 года все офицеры «Надежды», в парадных мундирах и при шпагах, явились к Резанову и просили у него прощения, раскаиваясь в содеянном ранее. Резанов обнял Крузенштерна, сказав, что зла не имеет, желая забвения худого, при этом офицеры кричали «ура» и стали качать посланника, высоко подбрасывая его над собой, а матросы,

выстроенные на шканцах, дружно аплодировали этой сцене. Резанов сразу же известил Кошелева, что теперь он согласен плыть в Японию, «а польза Отечеству, — писал он, — на которую я уже посвятил жизнь мою, ставит меня превыше всех личных оскорблений — лишь бы успел я достичь главной цели...». В этот день всеобщего примирения вместе с русскими радовались и японцы, давно жившие в России, а теперь Резанов сулил им скорое возвращение на родину... Николай Петрович указал Крузенштерну готовить корабль к плаванию, дружески говоря, что здоровье — после смерти жены — стало никудышным, а после Японии ему предстоит еще экспедиция на Аляску и в Калифорнию — по делам Российско-Американской компании.

— Мне уже сорок лет, — печалился он, — а на скрижалях российской гиштории еще не оставил своего имени... Что делать, я честолубив! — признался Резанов даже с оттенком гордости.

Был конец августа, когда «Надежда» покинула Камчатку, оставив вдалеке родные берега...

Перед отплытием он взял у Кошелева самых рослых солдат с барабанщиком (для «представительства»), навсегда оставив под сенью Авачинской сопки сплошь татуированного Жозефа Кабре, и 15 сентября, миновав Курилы, моряки увидели японские берега. Резанов просил Крузенштерна собрать всех людей на шканцы и произнес перед ними речь, начало которой я привожу здесь, дабы читатель вкусил от аромата языка той давней эпохи.

— Россияне! — цитирую я Резанова. — Обошед вселенную, видим мы себя наконец в водах японских. Любовь к Отечеству, мужество, презрение опасностей — вот суть черты россиян, вот суть добродетели, всем россиянам свойственные. Вам, опытные путешественники, принадлежит благодарность наших соотечичей, вы уже стяжали ту славу, которой и самый завистливый свет никогда уж лишит вас не в силах...

Перед входом в бухту Нагасаки «Надежда» встретила японские лодки, и рыбаки, почти испуганные, услышали, что с «Надежды» их окликнули по-японски. Рыбаки никак не ожидали увидеть своих земляков, возвращавшихся на родину после долгого жития в России. Между ними завязалась беседа, и японец Тодзие, уже достаточно поднаторевший в русском, переводил для Резанова:

— Мои японца сказал, что наша микадо давно и давно ждал русскэ, но зачем вы, русскэ, не приплыли к японца раньше?..

Оказывается, еще со времен Екатерины, когда Японию посетил лейтенант Лаксман, в Иеддо (будущем Токио) ждали русских четыре года подряд, а теперь ждать перестали... Выстрелом из сигнальной пушки Крузенштерн оповестил Нагасаки о своем появлении, и вскоре «Надежду» посетили местные чиновники, которым Розанов вручил записку на голландском языке, изъясняющую цели его прибытия.

Вечером весь рейд Нагасаки осветился разноцветными фонарями — в окружении великого множества джонок двигалось большое судно, на котором прибыли городские власти и переводчики. Незваных гостей они приветствовали поклонами, держась за колени и вежливо приседая. Японцы с удовольствием обозрели весь фрегат, надолго задержавшись подле русских солдат-богатырей, коих генерал Кошелев дал Резанову для «представительства». Крузенштерн сказал, что это солдаты с Камчатки:

— А если ехать с Камчатки по направлению к Петербургу, то рост наших людей становится все выше и выше...

Вместе с японцами прибыли и купцы голландской фактории в Нагасаки, которую возглавлял Генрих Дёфф: голландцы уже 200 лет торговали с японцами, будучи единственными европейцами, которым это было дозволено. Факторы находились в униженном положении, им даже не разрешали изучать японский язык, а голландский язык изучали сами японцы... Раздался могучий крик:

— Начальник Дёфф рад приветствовать великого господина!

При этом Дёфф мигом согнулся в дугу, не смея поднять глаз на Резанова, его помощник кинулся на колени и не вставал, а подчиненные им легли на палубу и более не поднимались. Указывая на членов фактории, японцы с удовольствием сообщили:

— Голландцы — наши старые друзья, и вы сами видите, как почорны они нашим обычаям, чтобы выразить нам свое уважение... Согласны ли и вы, русские, следовать нашему этикету?

— Нет, — сразу же отвечал Резанов. — Мы, русские, слишком почитаем японскую нацию, потому я не желаю начинать великое дело безделицами. Если у вас издревле сложились такие отношения с голландцами, то мы приветствуем их, но у нас свои нравы, свои обычаи, кои тоже издревле сохраняются.

Затем японцы потребовали разоружить корабль, сдать запас пороха, все ядра и ружья, оставив только одну шпагу — ту самую, что висит на боку посланника.

— Нет, — отвечал Резанов. — «Надежда» — судно военное, караул ружей не сдает, а офицеры шпаг своих не сдадут...

Конечно, все офицеры и матросы, давно скучая по родным, желали порадовать их весточкой, для чего и приготовили письма, желая воспользоваться почтой голландской фактории, но японцы строгонастрого запретили голландцам принимать письма от русских. Сейчас их волновало иное — тревожил вопрос: где эти японцы, что приплыли в Японию на русском корабле?

— Мы их не прячем... вот же они! — сказал Резанов.

Но беседа чиновников с возвращенцами, для русских непонятная, очевидно, была мало радостной для тех, что побывали в России: они

сильно плакали, что-то показывая властям, а Тодзие сказал послу, что на берег родной земли им сходить запрещено. Ближе к ночи возле борта «Надежды» долго качалась рыбацкая джонка, японцы о чем-то тихо переговаривались с рыбаками. После этого Тодзие, как писал Резанов, «пожелал прекратить страдания свои лишением жизни и, схватя бритву, заколачивал ее себе в горло, но, к счастью, успели ее отнять и спасли его, ибо рана была несмертельна...». Резанов спрашивал:

— Скажи, Тодзие, в чем причина твоего отчаяния?

Выяснилось ужасное: те японцы, которых еще в 1792 году доставил на родину Лаксман, до сих пор сидят в тюрьме как «изменники», ибо японские законы запрещают японцам покидать пределы отечества.

Эта же участь ожидала и несчастных рыбаков, тайфуном выброшенных на русские берега. Тодзие просил:

— Мы плачем... Затем ли плыли на родину, чтобы закончить дни свои в тюрьме? Лучше отвезите нас обратно в Петербург.

Резанов как мог утешал японцев:

— Я привез такие богатые подарки вашему микадо, пусть он прочтет письмо нашего императора — и сердце его сразу растрогается, уверен, что он сменит гнев на милость...

На следующий день «Надежду» посетили городские чиновники, они указали Крузенштерну снять с мачт все паруса и реи, весь рангоут отвезти на берег под расписку, а своих единоверцев они обыскали, отобрав у них все вещи и деньги, после чего несчастных, горько рыдающих, отвезли в городскую тюрьму. Резанов в дела японские права вмешиваться не имел, надеясь, что вернет им свободу в Иеддо, куда собирался ехать для аудиенции перед престолом микадо. Но японцы о поездке в Иеддо помалкивали, говоря, что в Нагасаки уже спешит сам «великий сановник Ито». Этот великий Ито так спешил, что 1804 год закончился, настал и 1805 год, а он все спешил и спешил...

Между тем Резанов начал прихварывать: день за днем в душной каюте, а прогулки по шканцам фрегата — этого было мало. Ради здоровья он просил японцев, чтобы позволили ему пожить в городе. Японцы решили отбуксировать «Надежду» на внутренний рейд, с которого открывалась панорама города, а для посла обещали отвести место для прогулок на берегу. Такое место они отыскали на рыбном базаре в Мегасаки, на узкой песчаной косе залива, украшенной одиноким и скрюченным от старости деревом. Здесь для посла соорудили обширную хижину для проживания, а для прогулок отвели площадь косы — не более ста шагов в длину и сорока шагов в Ширину. Жилище посла было обнесено высоким бамбуковым частоколом, возле ворот стояли японские караулы при офицерах, а вдоль изгородей все время блуждали полицейские, надзиравшие за послом, чтобы он не убе-

жал? Когда же Николая Петровича доставили в Мегасаки, то на всех воротах сразу шелкнули замки, а в щелях между стволами бамбука тут же появились зоркие глаза надсмотрщика... Да-а, не почетный гость он здесь и не посол великой державы, а скорее почетный пленник.

— Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, — говорил Резанов. — И не мне менять здешние порядки...

Время своего «заточения» он использовал с толком. Резанов, знавший четыре языка, взялся теперь за японский. Еще во время долгого плавания вокруг света Николай Петрович начал составлять русско-японский разговорник, в чем ему помогали «возвращенцы», а теперь, во время своего заточения в Мегасаки, Резанов собрал уже более пяти тысяч слов. Наконец в Нагасаки прибыл «великий господин Ито», на 23 марта 1805 года была назначена первая с ним аудиенция...

В последние дни марта 1805 года Резанов и его свита появились в городе. Вдоль улиц шпалерами выстроились войска, но зато нигде не было видно ни единого жителя. В этот день им запретили покидать жилища, даже окна указали занавесить плотными шторами и не подсматривать за русскими. Резанова пронесли в паланкине, он держал в руке грамоту императора, подле него шагала посольская свита. Дом для переговоров был переполнен чиновниками, а в аудиенц-зале двумя рядами сидели на корточках переводчики, одинаково склонившие головы... Ито и Резанов раскланялись, после чего Ито заговорил. Он говорил очень тихо и медленно, а головы переводчиков склонялись все ниже и ниже. Порою казалось, что им просто стыдно переводить для посла России речь своего «великого сановника», приехавшего из Иеддо:

— Наш повелитель удивлен вашему появлению у берегов Японии... всем, кроме голландцев, запрещено посещать порты Японии... наш император в посольстве России не нуждается... торговать не желает... он просит вас покинуть нашу страну!

«Переводчики, — отписывал Резанов для Петербурга, — не ожидая такого отказа, сами остолбенели, и, наконец, едва перевели они мне, как я не мог удержать себя и сказал:

— Удивлен вашей дерзости! Разве один государь не вправе писать другому? Не нам и решать — кто из них более велик... Уж не думают ли в Японии, что русских можно унижать, словно голландских факторов, кои же ради торговых прибылей готовы даже на полу лежать животами?»

Переводчики пересказывали его речь, а Резанов улавливал на слух промахи в переводе, смягчавшем его выражения, и он сам иногда вставлял нужные слова, чтобы речь не теряла первоначальной резкости. Ито ответил Резанову, что переговоры лучше перенести на другой день... «С великим удовольствием, — сказал я и вон от них вышел. Хотели меня угощать чаем, табаком и конфетками, но я отказался, а переводчики, тяжко вздыхая, говорили — ах какие несчастливые будут последствия...»

На другой день Ито стал говорить более конкретно:

— Вот уже двести лет японцам запрещено выезжать в чужие страны и неапонцам, кроме голландцев, запрещено даже плавать вблизи берегов Японии... Нам от торговли с вами нет выгод. Впрочем, благодарю за возвращение наших японцев, которых вы вернули в прежнее подданство...

Резанов тоже говорил по существу дела:

— Как быть? — спросил он. — Впредь, ежели ваши рыбаки потерпят бедствие возле берегов наших, то неужто лучше оставлять их в России, чтобы вы не сажали их в тюрьму, яко изменников? Наконец, — заострил он эту тему, — как поступите вы, ежели буря выкинет у ваших берегов наших мореходов.. Неужели тоже посадите в тюрьму, как и своих сажаете...

Ито подумал и сказал, что на этот вопрос последует ответ в письменном виде, но какой дать ответ — он не знает, а пошлет чиновников за ответом в Иеддо, где ответ и напишут.

— Передайте своему императору, что в его подарках микадо не нуждается и возвращает их обратно, ибо Япония не столь богата, чтобы ответить равноценными дарами. Японцы очень скромны в своих потребностях, а потому в предметах европейской роскоши они не нуждаются... Из уважения к нашим древним законам мы просим вас покинуть страну и более не навещать нас!

Впрочем, японские власти щедро снабдили «Надежду» провизией и брать за нее деньги отказались. Резанов хотел было подарками императора рассчитать за все продукты, но японцы и подарков не желали. А между тем в Нагасаки уже съехались немало купцов, желавших торговать с русскими. Конечно, им было бы выгоднее торговать с близкой Россией, нежели с далекой Голландией, но власти Иеддо признавать этих выгод не пожелали. Великое множество простых японцев подплывали к русскому кораблю на лодках, вежливо выражая нашим матросам самые добрые чувства, они говорили, что русских в Японии очень любят, хотя и мало знают. Наконец, каюту Резанова буквально завалили легкими, как пух, связками нежных и белых вееров — чтобы он, посол, поставил на них свои автографы. («Чтобы подписал я им свое имя и день прихода нашего в Нагасаки, и будут они те веера сохранять, как драгоценность...»)

6 апреля с грохотом были выбраны якоря, многие сотни джонок провожали «Надежду» — до самого открытого моря. А когда берега Японии совсем пропали за чертой горизонта, Крузенштерн предложил Резанову выпить и утешил посла словами:

— Все равно! Рано или поздно, а наша соседка Япония разложит свои товары и распахнет объятия для послов наших...

Скоро забелели над морем белые шапки гор острова Цусима, положение которого Крузенштерн определил на карте астрономически

точно, а потом, блуждая в сахалинском заливе Анива, они видели ряды виселиц — это японцы, живущие вдали от мира, для всех непроницаемы и загадочны, вешали сахалинских айнов, которым некому было пожаловаться. Сильный ветер с Камчатки летел навстречу «Надежде», и фрегат лавировал, чтобы двигаться даже против ветра — углами, зигзагами, но все равно вперед, только вперед, где Резанова ждали иные чудеса...

До сих пор я ничего не сказал о заслугах Николая Петровича Резанова. Кто же он такой? Один из учредителей Российско-американской компании, почетный член Российской Академии наук, писатель, экономист, дипломат, лингвист, путешественник, поэт и начальник канцелярии поэта Гаврилы Державина... Разве этого мало, чтобы не забывать о человеке?

Но... забыли. Странно, что Резанова лучше помнят в Америке, о нем в США выходят книги, а у нас он словно «разбросан» по отдельным изданиям, где о нем зачастую если и упоминают, то мельком, как бы между прочим. Стыдно сказать — до сих пор пылится в архивах так и не изданный громадный труд врача Генриха Лангсдорфа о кругосветном путешествии русских моряков, которое официально возглавляет опять-таки он, Николай Петрович Резанов. Совсем недавно Ван Дерс, адмирал флота США, сказал о нем то, что сегодня нам, читатель, может казаться забавным парадоксом: «Кто знает, если б не его случайная смерть, то, возможно, Калифорния была бы сейчас не американской, а — русской...» И вспомнились мне стихи Сумарокова:

За протоком окняна
Росска зрю американа
С азиатских берегов...
Увидев Росски корабли,
Америка, не ужасайся!

«Надежда» бросила якоря на рейде Петропавловска-на-Камчатке, а Резанову предстоял еще долгий путь — на Аляску и в Калифорнию. Опять что-то неладное стряслось у него в отношениях с Крузенштерном, и, кажется, именно тогда Крузенштерн винил Резанова в его неуступчивости японцам. Вряд ли ошибусь, если из мрака давности извлеку главный упрек Крузенштерна:

— Камергер, будучи зятем самого Шелехова, конечно, более озабочен выгодами Компании за океаном, нежели прямыми политическими интересами петербургского кабинета...

Так или не так, я сам не уверен в этом, но вот свидетельство забытого нами историка А. Сгибнева: «Резанов, во избежание новых

интриг Крузенштерна, решил уже возвратиться в Петербург, даже не побывав в колониях» — Аляске и Калифорнии.

Но тут с моря пришел бриг «Мария», принадлежавший Компании, и это изменило все его планы... Крузенштерну он повелел:

— Я покину вас на «Марии», а вы следуйте до Кантона, после чего можете возвращаться в Кронштадт. Доброго пути!

Сгибнев писал, что «ни Крузенштерн, ни его офицеры ни разу не навестили больного посланника и даже при уходе его на «Марии» в Америку никто не пришел с ним проститься». Никто не пожал ему руки, кроме лейтенанта Головачева.

«Мария» вышла в открытый океан, и в пути к берегам Америки корабель поведали Резанову, что русская жизнь на Аляске течет своим чередом: построили дом библиотеки, алеуты и даже индейцы изучают в школах французский, географию и математику, а в Кадьяке растет редкий фрукт — картофель.

— Одно плохо: попались в капкан белые лисицы, предвещая несчастья. Так и случилось. Дикие из племени колошей стали скальпы снимать, а тут и голод в Ситхе — не приведи Господи...

С дипломатией было покончено — теперь Резанов выступал в роли инспектора Российско-американской компании, владения которой раскинулись широко, и богатствам ее мешали пираты Карибского моря, стрелявшие с моря, завидовали Компании англичане и купцы Бостона, что были конкурентами русских, а король Гавайских островов звал русских в свой волшебный рай Океании, дарил плащи из перьев невиданных птиц, обещая завалить Аляску дешевыми кокосами и жирной свиной... Все было так!

Но Резанов застал Ситху в не лучшую пору: вновь прибывших встретили как «лишних едоков», тогда как сами не знали, будут ли завтра сыты. Болели цингой, а «пиво» из словых шишек не помогало... Странный был этот мир! Улицу освещали «кулибинские фонари» (пржекторы будущего), а из лесного мрака вылетали стрелы диких нуткасов, у которых лица были обсыпаны толченой слюдой; в карманах жителей звенело серебро испанских пиастров, пили только бразильский кофе, местные креолы-подростки мечтали учиться в кадетских корпусах Петербурга, китайские шелка на женщинах извивались хищными драконами, а жители жаловались:

— Одной лососяной да грибами сыт не будешь... Эвон, зубы у тетки Марьи снова шатаются, а ведь еще молода: всего-то в третий раз замуж выходит...

Резанову повезло: с моря вошел на рейд Ситаи бостонский купеческий корабль «Юнона», а в трюмах его была провизия. Николай Петрович не пожалел рому, угощая шкипера:

— Покупаю. Весь корабль. Со всем добром, что в трюмах. Даже не глядя. Сколько бы все это ни стоило...

Зиму кое-как перебились. Резанов известил Петербург о своем пылком желании навестить Калифорнию ради выгод от торгов negociации с нею, «пустясь с неопытными и цинготными людьми (экипажа) в море на риск с тем, чтоб или спасти области (Аляски) или ...погибнуть!». В конце февраля 1806 года он велел лейтенанту Хвостову поднять паруса — пошли. Страшное было плавание: половина экипажа валялась в кубриках, страдая цингой-скорбутом, а другая половина едва справлялась с парусами. Плыли целый месяц с такими приключениями, о которых и рассказывать тошно. Наконец рано утром прямо по курсу забрезжила бухта Святого Франциска, где угадывался контур будущего Сан-Франциско.

Командовал «Юноной» молодой лейтенант Хвостов.

— Прибавьте парусов... вперед, — велел ему Резанов.

— Вон батареи, — показал Хвостов. — Разве не знаете, сколь подозрительны испанцы? Коли не остановимся при входе на рейд, вмиг с батареи этих расколют нас ядрами.

— Что за беда! — отвечал Резанов. — Просить у них позволения — откажут. Так лучше получим два-три ядра в борт, зато спасем экипаж от смерти скорбутной в море открытом...

С берега уже слышался барабанный бой — тревога.

— Испанский-то кому ведом, чтобы отбрезаться?

— Веди, лейтенант! Мне двух слов хватит...

Пошли — на прорыв. С береговых фортеций испанцы окликали их в медный рупор, спрашивая — кто такие, чей корабль?

— Россия, — отвечал им Резанов.

— Бросайте якоря, иначе расстреляем из пушек.

— Не понял, сеньор, — отвечал Резанов по-испански.

— Долой паруса... стойте, — призывали их с берега.

— Си, сеньор, си, — отвечал Резанов...

Под всеми парусами пронеслись мимо под жерлами пушек и бросили якоря напротив неказистого испанского поселка. Было видно, как к берегу скачут расфранченные всадники, еще издали крича что-то воинственное... На берегу встретились русские с испанцами, завязалась беседа.

— Мы шли сразу в Монтерей, столицу всей вашей Калифорнии, — сказал Хвостов, — но обстоятельства вынудили нас искать убежище в первой же гавани... вот и оказались в бухте Франциска!

Резанов как дипломат весомо добавил:

— Петербург извещен о нашем плавании, и потому я уверен, что Мадрид предупредил губернатора Сан-Франциско о нашем скором прибытии... Испанцы и русские — давние соседи! Только наши владения в Калифорнии не имеют ни крепостей, ни столицы.

Как бы ни были шепетильны испанцы, гордые в вопросах чести, но они не стали попрекать офицеров «Юноны» за их дерзкий прорыв

в гавань — под прицелами пушек. Напротив, «гишпанским гитара́м, — как сообщил Резанов, — отвечали мы русскими песнями». Совместно проследовали в крепость Сан-Франциско, а там русских встретил сам комендант Хосе дон Аргуэлло, из Монтерея приехал и губернатор испанской Калифорнии. О чем говорили? Конечно, о безродном корсиканце Наполеоне, над челкой которого еще не взошло солнце Аустерлица... Николай Петрович плохо владел языком хозяев, но с помощью французского он все-таки высказывал главное:

— Мы, живущие в России, хорошо знаем, что Мадрид не желает, чтобы вы, живущие в Калифорнии, занимались коммерцией, но какие же мы будем соседи, если откажемся торговать друг с другом? А разве двор испанского короля, в котором так много красавиц, откажется от наших мехов с Аляски?

— Об этом, — уклончиво отвечал дон Аргуэлло, — вы лучше договоритесь с нашими монахами-францисканцами...

Николай Петрович, человек умный, намек понял: с тех пор как в 1770 году миссионер Жюниперо воздвиг крест на этих вот прекрасных берегах, монахи уповали на торговлю с русскими соседями, не смотря на все запреты королевской власти в Мадриде, — вот с ними, с этими меркантильными францисканцами, Резанов и договорился, чтобы у жителей Русской Америки впредь никогда не шатались зубы от скорбута...

Резанов был человеком обязательным, внешне приятным, умеющим говорить и слушать; не прошло и недели, как он легко вошел в семью коменданта Сан-Франциско, став в ней своим человеком, и допоздна не угасали свечи в испанской «президии», где звоны гитар перемежались звоном бокалов.

Но однажды... однажды он сильно вздрогнул!

Из внутренних покоев вышла дочь коменданта — совсем еще юная испанка, это и была Мария Кончита Аргуэлло, которой в ту пору исполнилось лишь шестнадцать лет. Резанову было сорок, он уже вдовец, у него двое детей. Это ли главное?

Красавице он был представлен в иных словах:

— Камергер двора русского императора, командор большого креста славного Мальтийского ордена, главный комиссар Российско-американской компании и... наш друг!

Этого достаточно. На следующий день Кончита протянула ему цветы, которых он никогда не видел на своей далекой родине. Наверное, все-таки был прав старик Державин, говоривший Резанову, что горе от потери жены можно излечить в дальних странствиях, — и я, конечно, не знаю, она ли первая влюбилась в русского гостя или он влюбился в нее?.. Скоро вся Калифорния только и говорила о том, что дочь благородного коменданта «сошла с ума «от любви». Те же самые францисканцы, пыл-

ко желавшие торговать с русскими, ни в какую не соглашались на брак католички с русским скизматом, но Кончита думала только о любви, она верила только в любовь, говорила она только о любви:

— Он обещал везти меня в свою Россию, всю засыпанную белым пушистым снегом, и я, полюбившая его, уже полюбила и эту страну, о которой он так чудесно рассказывает мне...

Видя такую непреклонность в дочери, родители Кончиты уступили ей первыми, а потом — ради торговых выгод — сдались и францисканцы, еще долго ворчавшие о том, что этот брак не позволит папа римский, но влюбленные настояли на церковной помолвке, и с того времени... Впрочем, об этом сам Резанов с юмором докладывал в Петербург: «Поставя себя коменданту на вид близкого родственника, управлял уже я портом Католического Величества так, как того требовали пользы мои, и Губернатор (Монтерея) крайне изумился... что и сам он, так сказать, в гостях у меня очутился». Да, Резанов стал в Калифорнии почти всесилен, и при нем Форт-Росс, выросший на берегах Русской Славянки, текущей в океан вровень с испанской рекой Сакраменто, эта славная цитадель русских поселен в Калифорнии, стал обителью русского духа... Россия, вольно или невольно, смыкала свои границы с испанскими рубежами в Америке.

Но вот затихли гитары, умолкли русские песни...

— Я спешу, — сказал Резанов Кончите, — мне надобно срочно быть в Петербурге, чтобы сделать личный доклад царю о наших владениях в Калифорнии, чтобы получить от него личное одобрение на брак с тобою... Скажи, ты согласна ждать?

— Да, — разомкнулись губы для прощального поцелуя.

Это и был их первый и последний поцелуй в жизни.

Никогда еще Резанов так не спешил... Две мысли (только две!) преследовали его в дороге, подгоняя в пути — быстрее, быстрее, быстрее. *Первая:* утвердить, пока не поздно, русское владение в Калифорнии, «ежели и его упустим, — писал он, — то что скажет потомство?». *Вторая мысль:* Кончита поклялась ждать, Кончита любит его, надо спешить... Ему казалось, что ветер не так уж сильно раздувает паруса корабля, а потом, уже на сибирских просторах, казалось, что лошади бегут слишком медленно. Предстоял долгий-долгий путь — до Петербурга, а затем и обратно — до Сан-Франциско. Его измучило нетерпение:

— Ах, как тащатся эти лошади в непролазной грязи...

Была весна, дороги развезло, однажды он попал в полынью, мучился простудной горячкой, но гнал и гнал лошадей без устали — вперед, ибо Кончита ждет... Подъезжая к Красноярску, Николай Петрович не вытерпел и, покинув кибитку, пересел в верховое седло, подгоняя коня хлыстом. Где-то лошадь оступилась о камень, и Резанов вылетел из седла...

Почти без чувств, жестоко израненный о дорожные камни при падении, Резанов был привезен в Красноярск, где и скончался в яркий весенний день... Он умер в полном сознании, рассказывая, что в далекой Калифорнии его будет ждать юная Кончита!

Сорок лет ожидания закончились разом... Сэр Джордж Симпсон сказал о Резанове все, что знал, и тогда Кончита донья Мария Аргуэлло поднялась из-за стола.

— С этого момента я больше не жду его, — сказала она в тишине, — и с этого же момента считайте, что я мертва!

Она сразу удалась в монастырь и умерла монахиней. Год ее смерти остался для меня неизвестен... А место вечного успокоения Резанова нашлось в том же Красноярске — ограде городского собора: поначалу оно было отмечено скромною чугунной плитой. Но слишком значителен был этот человек в истории государства, и потому в 1831 году великий скульптор Мартос спроектировал над могилой Резанова мавзолей из гранита, увенчанный коринфскою вазой. Все жители города хорошо знали, кто погребен под этим мавзолеем, родители приводили сюда своих детей, говоря им:

— Здесь лежит дядя Резанов, и когда ты вырастешь, ты прочитаешь о нем в интересных книжках...

Но вот настали «времена всеобщей свободы и расцвета пролетарской культуры»: собор для начала разгромили, а внутри собора устроили комсомольский клуб. Потом взялись за кладбище, уничтожая могилы предков, и скоро на месте мавзолея и надгробия возник пустырь. Конечно, так долго продолжаться не могло, и в соборе разместили цех механического завода, а кладбище превратили в городскую свалку.

Ладно, думаю я, если вы дураки и Резанова не знаете, то, может быть, вам знакомо хотя бы имя гениального Мартоса, автора этого мавзолея? Нет, местные власти оказались умнее всех на свете — и даже Мартоса не пощадили. «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем...» А что затем?

Затем, как я слышал, собираются вообще снести собор с лица земли, оставив ровное поле, и на месте кладбища желают соорудить торжественное здание концертного зала.

Чувствуете, читатель, как растет наша культура?

— Сначала собор и кладбище, потом клуб с площадкой для танцев, затем цех завода и свалки, а теперь мы пойдем слушать музыку.

Только нам-то от всего этого не до музыки...

Куда делась наша тарелка?

Я был принят в Союз еще молодым парнем — вскоре после выхода в свет моего первого «кирпича»; тогда же меня избрали в члены военной комиссии ССП, и, помню, первое заседание возглавляла поэтесса Людмила Попова, объявившая:

— Товарищи, кто из вас желает в авиацию, кто на флот, кто в десантные войска, кто...?

Писатели старшего поколения, уже солидные мэтры, быстро расхватывали литературные шефства над летчиками, танкистами, саперами, и Попова смущенно сказала:

— Товарищи, у нас есть заявка и от пожарников.

Но тушить пожары никто не желал, возникло неловкое молчание, и тогда я, как школьник, поднял руку:

— А можно я?..

С тех пор прошло много лет, но в своем выборе никогда не раскаиваюсь: я повидал при тушении пожаров много такого, о чем обыватели не подозревают. Запомнилось даже мое первое появление в штабе пожарных частей Ленинградского округа, когда я в разговоре с начальством употребил слово «пожарник», тут же уличенный в безграмотности.

— Писатель, а не знает разницы между пожарным и пожарником!

— А разве есть разница? — недоумевал я.

— Еще какая! «Пожарный» — это тот, кто тушит пожары, а «пожарник» — это нищий погорелец, собирающий милостыню в городах для строительства новой деревни вместо сгоревшей...

С тех пор, вдохнув трагического дыма случайных пожаров и преступных поджогов, я остался навеки влюбленным не в пожары, конечно, а в тех мужественных людей, что гасят адское пламя. Много лет я выискивал и находил в своей библиотеке сведения о роковых пожарах в России, уничтожавших целые города и сохранившихся в народной памяти. Сейчас, насколько мне известно, самые страшные пожары случаются в универмагах, а раньше немало жертв огонь похищал в театрах или балаганах. Но я хочу рассказать об одном лишь пожаре, о котором почти все знают, но, быть может, не всем известны его подробности...

Начинался морозный день 17 декабря 1837 года. С утра в Зимнем дворце было шумно и тесно от сборища молодых и здоровых рекрутов, из которых выбирали самых здоровущих для служения в гвардии. Дежурный флигель-адъютант Иван Лужин выслушал старого камердинера, который сообщил, что вся прислуга дворца давно ощущает запах дыма:

— То ли опять сажа в дымоходах горит, то ли...

Лужин велел дворцовым пожарным осмотреться в печах, а на крышу дворца послал трубочистов, чтобы своими чугунными шарами с «ёжиками» они прочистили дымоходы. Министр императорского двора князь Петр Волконский, ленивый сибарит, сказал:

— До чего же вы, Лужин, беспокойный! Да пошлите по залам скороходов с курильницами, чтобы забили дурной запах...

Аромат благовоний на время заглушил подозрительный запах дыма. Вечером того же дня император с женою отбыл в театр, где давали оперу с балетом «Влюбленная баядерка», а Мария Тальони была, как никогда, очаровательна. В середине представления в царскую ложу бочком протиснулся тот же Иван Лужин, и Николай I с неудовольствием оторвался от сцены, на которой порхали придворные сильфиды.

— Что случилось? — тихо спросил царь.

— Ваше величество, что-то неладное в Зимнем дворце, в Фельд-маршальской зале уже полно дыма.

— Сейчас приеду, — еще тише ответил царь и шепнул жене, чтобы ехала не в Зимний, а в Аничков дворец...

На выходе из театра Лужина перехватил Волконский:

— Зачем беспокоили нашего государя? Был дым, нету дыма — велика важность, первый раз, что ли, у нас дымом пахнет?

Николай I, не расставаясь с театральным биноклем, покинул ложу, в которой оставил жену, и удалился. В зале сразу это заметили, начались шепоты и догадки, публика начала расходиться, уже не шепотом, а во весь голос люди заговорили:

— Беда, беда! Зимний дворец горит... пожар...

...События в этот день развивались так. Уже не дымный запах, а явная струйка дыма появилась в камердинерской, явственно сочившаяся из-за печки. Ниже размещался архив, но там было сыро и холодно, а дыма совсем не ощущалось.

— А что под архивом? — спросил Лужин у камердинера.

— Аптекарская...

Я задам читателю странный вопрос: кто жил в Зимнем дворце?

Помимо царской семьи и многочисленной челяди, дворец населяли тогда около трех с половиною тысяч человек посторонних (именно такую цифру приводит шеф жандармов Бенкендорф, ее подтверждает и знаменитый архитектор Монферан). Выражаясь современным языком, дворец напоминал громадное столичное «общежитие»: среди его жителей можно было встретить бездомных офицеров, ветеранов Суворовских походов, было много одиноких старух, дворец давал приют даже солдатам-инвалидам, наконец, на его чердаках издавно проживало немало дворцовой прислуги вместе с женами и детьми, они там — на чердаке — разводили даже поросят и держали куриные выводки... Лужин проник в полуподвальную «аптекарскую», где провизоры готовили лекарства для нужд двора и бедных петербуржцев. Выветривая дурные запахи через отверстие, пробитое ими в дымоходе, фармацевты часто выстуживали свою лабораторию, что не очень-то нравилось дровотаскам, здесь же всегда ночевавшим. Они заткнули вентиляцию скомканной рогожей, но рогожа провалилась в трубу дымохода и загорелась от раскаленной сажи. Пожарные вы-

ташили рогожу, изматерили дровотасков, дымоход залили водой, и поначалу казалось, что все в порядке. Запах исчез, а потом вдруг заполнил Фельдмаршалский зал, и вот тогда Иван Лужин потревожил Николая I в театре. Накинув шинель с бобровым воротником и надев шляпу с высоким султаном, он указал Лужину:

— Весь резерв пожарных частей поднять по тревоге...

Он подкатил на санках к дворцу, когда Дворцовая и Адмиралтейская площади уже были заполнены народом, от Певческого моста до Александровской колонны стлы на морозе полки гвардии — павловцы и семеновцы. В толпе горожан находился и крепостной живописец Иван Зайцев, сохранивший до старости свое главное впечатление: «Несмотря на многие тысячи народа, тишина на площади была страшная», — это и неудивительно, ибо весь ход российской истории, вольно или невольно, был связан с этим великолепным дворцом, которому грозило уничтожение, как угрожало оно и примыкающему к нему Эрмитажу...

Когда пожарные стали вскрывать паркет в Фельдмаршалском зале, то — с первых же ударов ломами в пол — с грохотом обрушились зеркальные двери, из их проемов вырвались громадные факелы пламени. Огонь мигом охватил потолок, ярко полыхнули золоченые люстры, с хоров посыпались жарко горевшие стойки вычурной деревянной балюстрады...

— Гвардии народ ко дворцу не допускать, — повелел в этот момент Николай I. — Солдатам выносить что можно и все спасенное складывать на площади. А окна в Фельдмаршалском зале разбить, чтобы вытянуло на улицу дым...

Ночной мрак окутывал толпы горожан, затаивших дыхание, во тьме смутно белели и лица солдат в четких шеренгах гвардии. Но когда вылетели стекла вместе с оконными рамами, то могучий сквозняк сразу раздул пламя на сгорающих шторах, а сам дворец осветился изнутри, как волшебный фонарь; при этом дворец осветил и людей. Очевидец писал: «Эта внезапность превращения дворца из мрака — в огненный, произвела то, что весь люд, находившийся на площади, народ и войско, одновременно, единым возгласом, все разом а х н у л и...»

С этого времени пожар начал свое победное торжество!

Его громадное зарево увидели за полсотни верст от Петербурга — и жители окрестных деревень, и путники, подъезжавшие к столице; его наблюдал из окна кареты и придворный поэт Жуковский, имевший жительство в «шепелевской» части Зимнего дворца. Именно это грозное пламя послужило для солдат как бы сигналом — они скопом хлынули во дворец, разбегаясь по лабиринтам его коридоров и помещений, начали спасать все подряд, будь то книги или ковры, канделябры или вазы, фарфор или стекляшки, иконы и белье. Конечно, что тут самое ценное, а

что и гроша не стоит — этого они не понимали, с одинаковым рвением стаскивая со стен портреты Каравакка или Виже-Лебрена, но, спасая шедевры живописи, солдаты героически тащили из огня и сундук придворного сапожника с ошметками разноцветной кожи...

Николай I (отдадим ему должное) за чужие спины не прятался, его видели в самых опасных местах. Все спасенное сваливали у подножия Александровской колонны, и ангел-хранитель на ее вершине осенял крестом царское имущество. Император как отец уже разбудил своих детей, отправив их в Аничков дворец, сам же остался командовать, при этом он почему-то не расставался с театральным биноклем. Его зычный голос был далеко слышен:

— Где Пинкертон? — взывал он из облаков дыма.

— Кто видел Пинкертона? — подхватывали в свите. — Почему механик не заводит паровую машину для подачи воды?

Пинкертон куда-то исчез, а паровая машина, как выяснилось позже, оказалась забитой льдом. Воду завозили бочками от прорубей на Неве, но брандспойты не справлялись с огнем, а ручные насосы работали на мускульной силе тех же солдат и горожан, причем каждый насос требовал усилий не менее сорока человек. Ближе к полуночи Бенкендорф догадался сказать царю:

— Ваше величество, огонь уже возле дверей вашего кабинета. Не пора ли выносить из него важные государственные бумаги?

— Пошел ты... — пустил его царь по матушке. — Это у тебя кабинет завален недописанными бумагами, а я любой вопрос разрешаю сразу, и все бумаги с моего стола мгновенно следуют к исполнению...

В одном из залов солдаты, уже в дымившихся на них шинелях, явно рисковали жизнью, стараясь оторвать от стены громадное зеркало времен великой модницы Елизаветы, окруженное великолепной золотой рамой.

— Тяни, братцы... еще... взяли! Трещит, зараза...

— Пантелей, я справа, а ты слева... давай.

— Дураки! — обрубил их царь. — Вы же сгорите. Прочь...

Но солдатам, вчерашним парням из деревень, такое зеркало казалось неслыханной роскошью, и они не повиновались царю, силились отодрать его от стены. Тогда император швырнул в зеркало свой бинокль, оно разлетелось в куски, и лишь тогда упрямцы оставили свои потуги... Сергей Кокоскин, обер-полицейстер Петербурга, угодил в страшный «прогар», паркет под ним обрушился, генерал со второго этажа оказался в первом, сверху на него сыпались горящие плашки вошеного паркета.

— Жив? — осведомился император.

— Жив. Но вроде бы очумел в полете.

— Тащите его на площадь. Пусть очухается...

Зато уж намучились солдаты со статуей работы гениального Кановы — его бесподобная Парка из чистого мрамора, как и много веков назад, задумчиво пряла золотую нить своей судьбы, а гвардии никак не удавалось оторвать ее от пола.

— Братцы, так эфта девка привинчена! — догадались они.

Статую раскачали, ее пьедестал с «мясом» отодрали от паркета и поволокли — в огне и в дыму — на улицу, крича:

— Так-так, осторожнее... бери влево... держи справа!

Но при этом бедная Парка лишилась руки, что в таком положении даже неудивительно. Гора спасенных сокровищ и всякого барахла безобразной кучей громоздилась на площади, и вдруг — в этом невообразимом хаосе, среди воплей ужаса и проклятий — раздалась музыка жеманного котильона: это сами собой вдруг заиграли музыкальные часы... Страшный грохот оборвал старомодный мотив: с крыши Зимнего дворца обрушилась телеграфная вышка, установленная на крыше дворца, сигналы которой были видимы даже из Кронштадта, и вся эта «техника» рухнула прямо в кабинет императора, сокрушая на своем пути перекрытия межэтажных настилов, довершая всеобщий хаос.

— Выносить штандарты и знамена гвардии.

— Где они? — слышалось.

— В зале Арабском, там же и боевые литавры.

— Туда уже не пройти, — кричал кто-то.

— Русская гвардия везде пройдет, — звучало ответное...

Всюду что-то трещало и рушилось, потолки обвалились, осыпая людей обломками купидонов с колчанами любовных стрел и амурчиков, прижавших пальчики к губам. Огненные сквозняки неслись людям навстречу с каким-то ужасающим завыванием, в этом хаосе все ломалось, корежилось, тут же вспыхивало, а дым иногда был настолько густ, что люди, глотнув его единойды, тут же падали замертво. Беда была еще и в том, что солдаты — не придворные, откуда им знать, куда ведут двери и лестницы, где вход, а где выход, куда бежать, где спастись...

Зимний дворец, заложенный еще во времена Анны Иоанновны и распахнувший свои двери в 1762 году перед молодой Екатериной, еще не ставшей тогда «Великой», этот строенный и не раз перестроенный дворец, правда, был перенасыщен сокровищами дома Романовых, которые давно потеряли счет своим богатствам, но зато Зимний дворец не имел главного, что необходимо для всех капитальных зданий, — он не имел брендмауэров, которые бы перегораживали его изнутри пожароустойчивой кирпичной кладкой, подобно тому, как водонепроницаемые переборки делят корабль на отдельные отсеки, делая его непотопляемым.

Пожар усиливался! Славу богу, вовремя догадались послать солдат в Военную галерею Героев 1812 года: вынутые из плафонов портреты

были вынесены на площадь, сложены на бархатных диванах императрицы, и героини нашего Отечества пасмурно взирали с полотен на окружающие их малахитовые шкатулки, на лепнину и бронзу, антикварные безделушки для забавы императрицы. Николай I загодя пробился в спальню своей жены, чтобы спасти ее бриллианты. Ящик, в котором они хранились, был уже открыт и... пуст. «По выражению его лица, — вспоминал очевидец, — видно было, сколь это обстоятельство его огорчило, но он ни единым словом не высказал своего неудовольствия» (а потом выяснилось, что еще в начале пожара все бриллианты царицы вынесла ее доверенная камер-фрау). Возле спасенных вещей императрицы дежурил, словно хороший Цербер, статский советник Александр Блок — прадед нашего знаменитого поэта.

— Что несете, братцы? — окликнул он солдат.

Мимо него протащили какой-то чурбан, весь черный от копоти и дымившийся, словно головешка, и только пальцы, торчавшие из сапога, поражали удивительной белизной. Это был полицмейстер столицы Кокошкин, угодивший в роковой «прогар».

— Куда класть-то его? — спрашивали у Блока.

— Ах, милый Сергей Александрович! — заохал Блок. — Никак вы? Да кладите его на диван...

— Спасибо, — закашлялся Кокошкин. — Спасибо и солдатикам, что откопали меня, и теперь я будто вторично рожденный.

Пошел третий час ночи, когда Николай I и его опаленная свита покинули Зимний дворец, убедившись, что спасти его невозможно. Императорский трон, символ величия и могущества Российской империи, вынесенный на площадь, сиротливо затерялся в свалке разных вещей, а меж благородной позолоты, поверх бархата и хрусталя дворцовые служители складывали свое барахлишко, а заботливый чиновник Блок водрузил на сиденье трона клетку с попугаем, который молчал, перепуганный, нахохлившись, а потом вдруг разинул клюв и стал орать: «Добрый вечерrrrr!..»

Император потерянно бродил среди своего имущества, долго отыскивая в вещах жены какую-то акварель, которую императрица очень любила, потом безнадежно махнул рукой и объявил свите:

— Делать нечего! Впустите во дворец народ... Пусть каждый вынесет хоть малую толику — и на том спасибо!

Чуть ли не впервые за всю историю России народ был допущен в обиталище Романовых, и многочисленная толпа горожан, дотопевшая на морозе, притопывая по снегу валенками, вдруг с каким-то торжествующим ревом, словно могучий океанский прибой, разом накатила на пылающий дворец, проламываясь в огненные ворота столь бесстрашно, будто штурмовали неприступную цитадель, которая перед ними разом капитулировала...

Кокошкин оживился, соскакивая с дивана, и кричал:
— Эй, православные! Только не воровать...

Памятная записка Бенкендорфа, письма графа Ал. Орлова, донесение Модеста Корфа, старческие воспоминания Ивана Лужина, генерала Льва Барановича, мемуары семеновца Дмитрия Колокольцева, корнета Мирбах — всего нам не перечислить, и все об одном и том же: о том, как погиб в одну ночь Зимний дворец и как был спасен Эрмитаж, составляющий единое целое с Зимним дворцом, почти кровный близнец ему...

Полтысячи пожарных геройски сражались с пламенем, но царь, понадеясь на свою гвардию, в их работу не вмешивался. Конечно, он понимал великое значение брандмауэров, и усердный генерал Клейнмихель велел егерям таскать кирпичи, из которых спешно выкладывали внутри дворца новые стенки, чтобы остановить продвижение огня. Но огонь оказался пронырлив и, упершись в стенку кирпича, он быстро скакал на чердак, откуда и полыхал далее, завоеывая для себя все новые пространства.

Брандмейстер доложил императору:

— Ваше величество, огонь-то на пороге Концертного зала, а там недалеко и до Эрмитажа... Что прикажете делать?

— Тушите, — почти вяло отмахнулся царь, уже смирившись с тем, что дворец обречен, и побрел к саням, чтобы отъехать в Аничков дворец, где по нему изнылась императрица...

Вестимо, пожарные могли и не знать о гении Рафаэля, а солдаты никогда не слышали о Корреджио, но, кажется, все люди инстинктивно осознали подлинное значение Эрмитажа, соединенного с догорающим дворцом крытою навесной галереей. Миллионная улица, ведущая к дворцу, была забита запаренными лошадьми, заставлена обледенелыми бочками, тесно было от горожан-добровольцев, которые час за часом непрестанно вручную качали тяжелые оглобли насосов, чтобы заранее окачивать Эрмитаж ледяною водой. Ветер, раздувая свирепое пламя, уже закутывал Эрмитаж едкими клубами дыма, он уже перебрасывал на его крышу снопы раскаленных искр и летящие по воздуху головни, полыхавшие в полете, словно «конгресские» боевые ракеты. Начиналась последняя, решающая битва, а водометные трубы, устремленные ввысь, теперь напоминали жерла грохочущих орудий...

Переход из дворца в Эрмитаж заранее был разрушен — от навесной галереи остались только железные брусья, на которых теперь сидели пожарные и солдаты с трубами в руках. Они заливали водою огонь, рвавшийся из руин дворца, чтобы он не переметнулся далее — на сокровища Эрмитажа. Время от времени напор пламени, выметнув из дворца длинный и жаркий язык, будто «слизывал» людей с брусьев, они с высоты падали наземь, разбиваясь об камни насмерть. Но тут же на смену павшим влезли на брусья другие, снова вонзая в алчное пекло пожара острые бивни водяного напора.

— Качай, качай! — орали сверху. — Качай, родимые...

По Миллионной неслись потоки воды, как в наводнении, а сами добровольцы-качальщики были мокрыми до нитки на морозе и даже не ощущали мороза, качая, качая, качая... Старики, бывшие в 1837 году молодыми, на старости лет вспоминали, что в людях возникло какое-то озлобление, столь необходимое для битвы: «Это был бой с силою огненной стихии, который ни с каким боем в мире сравниться не может. Тут все люди, без малейших задних помыслов, приносили себя в жертву, и преданность нашего солдата здесь выказалась начистоту...»

Нескладно это сказано, зато уж верно!

К пяти часам утра, когда люди и лошади, подвозившие воду от Невы, уже валялись с ног от усталости, Эрмитаж удалось отстоять. Но Зимний дворец еще горел и догорал еще трое суток подряд. От сказочного создания Расстрелли остались закопченные стены, а внутри он был завален грудами тлеющего мусора, в котором намертво запеклись черные, как уголь, безымянные трупы. Потом день за днем множество подвод — обозами! — вывозили этот ужасный «шлак» тысячами пудов на загородную свалку, а могил погибших в неравной битве с огнем не сохранилось: свалка стала их кладбищем. В газетах о количестве жертв помалкивали, в городе об этих жертвах лучше всех знали, пожалуй, одни лишь солдаты гвардии, которые долго разгребали тлеющие завалы внутри Зимнего дворца.

Через несколько дней после пожара в Аничковом дворце, где временно расселилась царская семья и придворные, появился поэт Жуковский. Известно, что Василий Андреевич был человек учтивый, любезный и крайне деликатный. Потому-то, наверное, он и навестил императора, смущенный, чувствуя себя виноватым.

— Ваше величество, — было им сказано, — у меня нет слов, дабы выразить вам свое сочувствие, но... Желаю принести к подножию вашего престола свои глубочайшие извинения.

— Жуковский, не пойму, о чем просишь ты?

Поэту было неловко, что царь остался «бездомным погорельцем», а он, придворный поэт, имевший во дворце казенную квартиру, нисколько не пострадал от пожара. Надо же так случиться! Стихия оказалась большой шутницей: огонь пожрал в Зимнем дворце все, что оказалось ему доступно, но чудесным образом он миновал жилище поэта, оставив его невредимым.

— Мне так неловко перед вами, — говорил Жуковский, — но, видит Бог, я нисколько не виноват в том, что огненная гидра не навестила мою скромную поэтическую обитель...

Пожар в Зимнем дворце начался 17 декабря, первое совещание комиссии по реставрации дворца состоялось 21 декабря, а 29 декабря уже было издано «Положение» о порядке воссоздания дворца в прежнем виде (и через год он возник снова, как сказочный Феникс, на том же месте, где и стоит поныне). А пока разгружалась Дворцовая площадь от завалов

спасенного имущества, министерство императорского двора занималось подсчетом убытков и неизбежных пропаж. Князь Петр Волконский, как и чиновники его министерства, думали одинаково плохо:

— Конечно, пока вещи выносили солдаты гвардии, тут, надо полагать, все сойдется в идеальном ажуре. А вот когда его величество соизволил разрешить доступ во дворец народа, тут...

Так думали они, своего народа не знавшие!

Спору нет, во всеобщей суматохе пожара многое оказалось безвозвратно утеряно, много добра погибло в пламени, многое было просто переломано в спешке. Среди всякой ерунды недосчитались и царского кофейника. Как выяснилось, его украл солдат гвардии. Украл ради наживы, думая, что этот кофейник продаст с выгодой для себя. Но — вот беда! — во всем большом городе не нашел ни единого покупателя.

— Эвон, — тыкали пальцем, — никак герб туточки? Украл, рожа поганая? Так и ступай прочь — нам краденого не надобно...

Кончилось это тем, что солдата схватили вместе с кофейником и поволокли под белы ручки в полицию, чтобы выдрать его во славу Божию. Официальное заключение Бенкендорфа гласило: «Кроме этого кофейника, ничего не было ни похищено, ни потеряно из всей гигантской груды драгоценного убранства дворца, которая и валялась под открытым небом на площади, доступная всем и каждому».

Так что часовых с ружьями ставить не пришлось! Правда, вскоре придворные лакеи подняли великий шум из-за одной паршивой тарелки из царского сервиза:

— Мы уж все обыскали, нету тарелки. Небось украли! До чего же нонеча бессовестный народец пошел.

— Небось сами вы и стащили, — сказал им Волконский.

— Вот-те хрест святой — мы не брали.

— И бог с ней, с этой тарелкой, — зевнул министр...

А весной, когда стаял снег на Дворцовой площади, тарелка сама по себе объявилась под лучами майского солнышка, целехонькая и невредимая. Такова, читатель, была нравственность тогдашнего простонародья — в то далекое от нас время, когда до 1937 года народу оставалось жить ровно столетие.

Теперь оставьте свою тарелку на улице, а потом спрашивайте:

— Куда делась наша тарелка?

А куда, читатель, спрашиваю я вас, делась и наша совесть?

Рязанский «американец»

Возможно, я не стал бы писать о Лаврентии Загоскине, если бы в Америке его не ценили более, нежели у нас.

Наверное, не стал бы писать о нем, если бы улицу в Рязани, на которой он жил и умер, назвали бы «Загоскинской», а не улицей не-

мецкого еврея Карла Либкнехта, который к древней Рязани абсолютно никакого отношения не имел и не имеет.

Может быть, и не стал бы писать о нем, если бы его пронское имение Абакумово, где он рассадил величавые сады, ничуть не хуже мичуринских, не превратили бы в колхоз «Пионер», в котором эти сады исчезли, — и всюду, чего ни коснись, имя этого человека постыдно затоптано, предано забвению. Впрочем, так у нас поступают почти всегда, дабы лишить русский народ русской же истории, чтобы вытравить память о прошлом России.

Сразу же сообщая: Лаврентий Алексеевич Загоскин приходился троюродным братом известному романисту Михаилу Николаевичу Загоскину, служившему директором Оружейной палаты. Отец его из пензенских дворян, был секунд-майором в отставке, а прадед (тоже Лаврентий Алексеевич) был женат на Марфе Андреевне Эссен, дочери шведского генерала, плененного при штурме Нарвы. Обещаю читателю больше не утомлять его генеалогией.

«Морской Его Величества Корпус»! — Прежде я вновь перелистал мемуары бывших гардемарин и того же Лаврентия Загоскина — о том, как они учились и что с ними там делали. Общая картина такова: с утра и до позднего вечера все дралось. Это было время, когда Морской Корпус выковывал в своих исторических стенах будущих адмиралов — героев обороны Севастополя и Камчатки. В кадеты брали малолетних дворян и до расцвета гардемаринской юности, пока не осияют их мичманские эполеты, кадеты не вылезали из потасовок, а начальство даже не вмешивалось, мудро рассуждая:

— Помилуй Бог! Ведь для того их и готовят, чтобы драк не чурались... без «задорства» на флоте не обойтись.

Начальство со своей стороны тоже посылало «взбадривало» неуповающих в учебе розгами. Это ерунда, будто розги для экзекуций заранее отмачивались в соленой воде, — в Морском Корпусе их готовили с вечера в общественных писсуарах (и дешево, и сердито!). Если говорить о традиционном мордобое на флоте, когда офицер свободно отпускал «леща» матросу, то это, наверное, наследие воспитания, ибо офицер старого русского флота не признавал иного права, кроме кулачного... Николай I в учебный процесс не вмешивался, ибо бомбар-шкоты или фор-марс-реи давались ему с трудом, но однажды, посетив Корпус, он спросил — где кадетские дортуары? Адмирал Рожнов понял это слово в ином русском значении:

— Вокруг всего Корпуса, ваше величество.

— Это плохо, — огорчился император...

Николай I, покидая Корпус, подозрительно принюхивался, не пахнет ли где «дортуарами», а затем приказал: «Кадет выстричь, вы-

брить, дать им бодрую осанку, а взгляд должны иметь молодецкий». С бритьем и стрижкой управились быстро, осанка тоже не подвела, зато вот с «молодецким взглядом» намучились:

— Смотри веселее, но зриай на меня со смыслом, а не как баран на новые ворота... Или не слышал царского приказа?

Среди кадетов и гардемаринов процветала поэзия:

Проснись, Великий Петр! Дай правнуку дубину,
Чтоб отдубасил он Рожнова в спину...

Лаврентий Загоскин прошел все стадии воспитания, достигнув разрешения вшить в брюки «клинья», чтобы штаны были с клешами (эта мода сохранилась на флоте до наших дней). Наконец, по праву «старика», Загоскин обрел право гардемарина — съедать за ужином сразу пять порций крутой гречневой каши (считалось, что гардемарин обязан быть обжорой вроде Гаргантюа!). Продолав четыре летних кампании в море, Загоскин был готов стать офицером. Напротив Корпуса заранее поставили фрегат, самый верхний рангоут его обвешали трактирными шкаликами, словно новогоднюю елку игрушками, и, чтобы раздобыть шкалик, надо было лезть на высоту — аж до самого клотика. Храбрецы! Через полчаса ни одного шкалика под облаками не осталось. Потом гардемаринам присвоили мичманские чины, стали распределять их по флотам и флотилиям. Загоскина спросили:

— Небось желаете на Балтике остаться?

— Мне бы чего попроще! Хочу сразу на «каторгу»...

«Каторгой» среди морских офицеров называлась служба на Каспийской флотилии. В желании Загоскина была и личная подоплека: проездом до Астрахани можно завернуть в пензенскую деревню, чтобы обнять сестриц и братца, чтобы по-сыновьи всплакнуть на груди родителей. Осенью 1826 года Загоскин отъехал... Матушка плохо разбиралась в географии, но отец, бывалый офицер, жалел сына: в ханствах прикаспийских шла война непрерывная, там в кустах шипят змеи гремучие, лихорадки живут в колодцах, а в болотах скачут «кикиморы» малярийные...

— Пропадешь, сыночек родненький, — горевал папенька. — Нешто в Балтике близ дворца царского было тебе не остаться?

— Я, батюшка, по своей воле выбрал каспийскую «каторгу». Если уж страдать, так лучше отстрадать смолоду...

Летом 1827 года, будучи в Астрахани, он стал командиром шкоута по имени «Мария»: первый корабль в жизни юного офицера — что может быть прекраснее! Но Загоскин, увидев свою «Марию», чуть не свалился в воду от смеха, ибо шкоут напомнил ему деревенскую... и з б у. Не иллюминаторы, а окошки в бортах напоминали о сельском

трактире, корму же украшали странные фигуры с головами людей, но с хвостами дельфинов. На клотике грот-мачты поселился резной из дерева петя-петушок, который, исполняя роль флюгера, крутился по ветру. Ходовая же рубка шкюута была похожа на деревянную баню, внутри нее была сложена деревянная печь, топившаяся дровами, дым вылетал из рубки через кирпичную трубу. Переборки в каюте командира сплошь расписаны фантастическими деревьями, среди которых блуждало какое-то странное создание в халате.

— Что же тут такое? — спрашивал Загоскин.

— Это шах персидский, — пояснил боцман.

— А чего он тут делает... в каюте моей?

— Изволит наслаждаться гуляньем.

— Ну, ладно. Моцион шаху необходим. Аллах с ним...

Начиналась каспийская «каторга», затянувшаяся на долгие восемь лет. Загоскин не раз водил «Марию» под парусом в Баку, плавал даже по реке Куре, доставляя — под пулями! — припасы для кавказского воинства. В 1832 году он выслужил чин лейтенанта, стал командиром военного парохода «Аракс». Угрозило же его повздорить с астраханским адмиралтейством, но все бы, наверное, обошлось, если бы не пожар на «Араксе», в результате которого он сгорел, как сухое березовое полено. С плеч Загоскина сорвали эполеты, велели отцепить от пояса офицерский кортик:

— Бывший лейтенант флота Его Императорского Величества за сгорение своего парохода разжалуется в матросы... Стоять смирно! Грудь держать колесом! Смотреть веселее!

Тут уж не до веселья. Переведенный в Балтийский экипаж, матрос Лаврушка Загоскин весной 1835 года был восстановлен в прежнем звании, теперь Лаврентий Алексеевич ходил в крейсерские плавания на фрегатах «Кастор» и «Александра». Кронштадт, в окружении льда, каждую зиму застывал в изоляции, словно отрезанный от света, хотя, казалось бы, до Петербурга и рукою подать. Офицеры, лишенные общества, мучились в гарнизоне острова безысходной тоской, сходили с ума без женщин и удовольствий большого света. Загоскин глушил тоску неустанным чтением, сам начал писать, скоро столичный журнал «Сын Отечества» напечатал его «Воспоминания о Каспии».

— Господа, — говорили зевающие офицеры, печально озирая массивные льды, окружавшие Кронштадт, — да ведь так и с ума можно сойти... Что делать? Какой фокус выкинуть?

«Выкинули!» Во время осеннего ледостава, когда связи Кронштадта прервались до будущей весны, молодые офицеры «слушали и постановили»: выпить все вино в Кронштадте, какое бы ни было, будь то гремучая сивуха или шампанское марки «Мадам Клико». Дабы придать своим деяниям особое мистическое значение, офицеры прежде образовали в Кронштадте тайную масонскую ложу «святого Афония»

(был в Кронштадте такой кабатчик Афонька). И что ж вы думаете? Слов моряки на ветер никогда не бросали: поклялись, что выпьют все вино в городе — и они, черт побери, его выпили! Члены этой масонской ложи «святого Афония» — в ознаменование этого беспримерного подвига! — стали носить в петлице мундира бутылочную пробку на Владимирской ленте, а паролем для них стал вопрос и ответ:

— Жив Афонька?

— Жив, стервец. Не помирает..

Об этом обществе «кавалеров пробки» писал сам Лаврентий Загоскин, и я подозреваю, что в этом винном ритуале он принимал самое горячее участие. Дабы бежать от одуряющей тоски Кронштадтского гарнизона, он подал рапорт в Главный Морской штаб, чтобы из списков флота его временно исключили.

— Желаю, — объявил он начальству, — в том же чине перейти в услужение Российско-Американской торговой компании.

— Карьерой рискуете, — предупредили его.

— Не о ней пекусь, — отвечал Загоскин...

30 декабря 1838 года он простился с Петербургом, ночевал же в Крестцах, в доме станционного смотрителя, наспех записывая: «Соловей поздравил меня с Новым годом. Любой римлянин счел бы это добрым предзнаменованием, но меня соловей усыпил и только на рассвете самовар своим змеиным шипением пробудил меня к дальнейшей дороге», — по этим строчкам читатель может судить о литературном слоге, каким в совершенстве владел Загоскин. По дороге в Русскую Америку он, конечно, завернул в пензенские края, чтобы повидать престарелых родителей. Село Краснополье, где они проживали, поразило Загоскина запустением, старики жаловались сыну на бедность. Мать плакала: родители не понимали устремлений своего сына, ехавшего на край света.

— Неспокойный ты у меня! — говорил секунд-майор. — То тебе Каспия возжаждалось, то в Америку зашвырнуло..

Простился и, приняв родительское благословение, Загоскин уселся в коляску. За околицей дурное предчувствие охватило душу. «Стой!» — крикнул ямщику. Припал к одинокой березе в поле и рыдал, рыдал, рыдал... Успокоясь, вернулся в коляску.

— Да что с вами, барин? — спросил ямщик.

— Чует мое сердце, что в последний раз видел я папеньку с маменькой... Ну, гони!

Мы, читатель, знаем «Боже, царя храни», но забыли о том, что у жителей Русской Америки издавна существовал собственный гимн, созданный А. А. Барановым в 1799 году, намного раньше официального, сложного композитором Львовым:

Ум российский промыслы затеял,
Вольных россиян в морях рассеял.
Места познавати, выгоды искати.
Аргонавты блеском обольстились,
Позлащенных шкур искать пустились,
Бог всеильный нам здесь помогает,
Русскую отвагу всюду укрепляет...
Нам не важны здесь чины, богатства,
Только нам согласное бы братство...

Потомки наших предков, поморов и сибиряков, еще проживают там, не забывая об истоках своих. Кстати уж, труды Загоскина переводила на русский язык в 1935 году аляскинская жительница Антуанетта (Тонечка) Готовицкая. Конечно, нам сейчас странно, что русские американцы доньше отбивают в церкви поклоны перед иконою Богоматери, образ которой создал наш знаменитый живописец Боровиковский — именно для них, для наших американцев. Корреспондентам, недавно посетившим Аляску, странно было видеть женщин, идущих к реке за водою с коромыслами на плечах, совсем как в русской деревне. Уцелели там и древние погосты, надмогильные кресты с русскими именами: Иван да Марья. Местные индейцы когда-то диких племен и креолы, в жилах которых течет частица русской крови, доселе употребляют русские слова, переименованные на свой лад: маслак — масло, блютса — блюдо, сайникак — чайник, нузик — ножик, сасы — часы... Невольно мне вспоминается юность, проведенная в Беломорье, где говорят, что сдал «цасы в поцинку». И течет, как встарь, величавый Юкон, еще нерушими дебри золотого Клондайка, при этом память сразу подсказывает Брег Гарта и Джека Лондона, а допрежь них возникает тень лейтенанта Лаврентия Загоскина...

Лаврентий Алексеевич прибыл в Русскую Америку на бриге «Охотск», который от Охотска же плыл до Аляски долгих два месяца, выстояв под проливным ливнем, а по ночам на северных румбах сказочный павлин распускал свой феерический хвост — это сверкало северное сияние. Ново-Архангельск был тамошней столицей, внешне очень похожий на губернский город русской провинции: был дворец управителя Компании (скажем, что местного губернатора), были театры, общественная библиотека, школа юных мореходов, больница с аптекой, магазины, арсенал и даже своя обсерватория. Наконец, было полно всяких девиц, желавших стать женой лейтенанта, и были дамы, приятные во всех отношениях, всегда согласные пококотничать. Не хватало лишь соли, за которой русские плавали в Гонолулу, добывая соль в кратерах погасших вулканов.

Управителем был тогда Адольф Карлович Этолин, капитан 1-го ранга (потом адмирал), старожил американских владений.

— Поплаваете, а там видно будет, — сказал он при встрече.

Гавайские острова и Калифорния (будущий штат Америки) тогда скупали аляскинский лес; но в самой Калифорнии, особенно в Сан-Франциско, оставалось множество русских, и они, эти русские, были в числе тех бездомных бродяг, что поднимали над крышами Сакраменто вольное знамя «Республики Звезды и Медведя». Загоскину довелось не раз плавать к берегам Калифорнии, он там всяких чудес насмотрелся. Повидал даже Пизарвилль (Город Повешенных), где линчевали людей, развешивая их на деревьях, словно в России шкалики на том фрегате. Клондайк еще не имел будущей славы, а Сакраменто уже трясло от «золотой лихорадки». Главным там был некий Слитер, бывший конокрад, державший в городе салун (кабак). Хочешь выпить стаканчик виски — прежде отсыпь ему горсть золота, а чашка дрянного кофе шла за четыре щепотки золотого песка, который и сыпали на прилавок хозяина, словно табак. Здесь же сидел трезвый ковбой, держа на взводе два пистолета, он открывал огонь из двух стволов сразу без предупреждения, если замечал, что за игрой в карты обнаружился шулер. Примерно такой была обстановка в Калифорнии — по словам знавшего ее Эгона Киша...

Уже тогда Загоскин живо описывал свои впечатления для петербургских журналов, и Этолин, распознав в нем грамотного любознательного человека, поручил ему экспедицию в почти неизвестные районы Аляски, дабы установить пути вывоза мехов, нащупать коммерческие связи индейцев, эскимосов и чукчей, а заодно проследить за отловом бобров в притоках Квихпака... Женщины в Ново-Архангельске жалели молодого лейтенанта:

— Куда же вы? Там же дикие колоши и краснокожие Великого Ворона, которые просто съедят вас.

— А я невкусный, — отшучивался Загоскин. — В лучшем случае пожуют и выплюнут. Стоит ли волноваться?..

Странный был этот край! «Русский человек, — по словам самого Загоскина, — всюду одинаков. Где ни изберет место, на Полярном ли круге, в прериях Калифорнии, везде ставит национальную избу, стряпню, баню... сюда же (в Русскую Америку) идут люди, видевшие свет не с полатей, потому и место, отгороженное забором, называют редутом, избу — казармой, а простое окошко для них уже бойница...» Начинался подвиг жизни Загоскина — именно подвиг, иначе не скажешь! Тысячи верст прошел лейтенант по Юкону и Кускоквиму, сделал подробное описание виденного, и, наверное, по этой причине в Америке помнят о нем лучше, нежели в нашей стране. Думаю, если бы Загоскин описал тогда Колыму или Индигирку, так о нем у

нас вспоминали бы почаще, но советская власть уже не нуждалась в описании Русской Америки, а потому и подвиг Загоскина не попал в наши исторические хрестоматии...

Всякое бывало! Юкон и Кускоквим, текущие в океан через непроходимые дебри, населенные полудикими или дикими племенами; залив Нортон, где Загоскин произвел опись берега, плавая на утлых байдарках, когда волны на берегах переворачивали камни; наконец, зимние походы на Коюкук, северный приток Юкона, на собачьих упряжках при таких морозах, когда в термометрах замерзала ртуть, полозья нарт резало жестким снегом, а собаки, отказываясь идти далее, ложились в сугробы, свертываясь калачиком, закрывая носы лапами. Всего не перескажешь! Страшное безлюдье окружало его — то самое безлюдье, которое кое-где сохранилось и в нынешней Аляске.

Вестимо, Загоскин не только встречался с индейскими племенами, но и подолгу жил в их вигвамах на берегах стремительных рек, которые буквально кипели при нерестах лосося. Вожди отдаленных племен встречали Загоскина выстрелами из ружей, приветствуя его, в косы вождей были вплетены перья ястребов, а черные пряди волос осыпаны пухом гордых орлов.

— Дай-ка ружьецо, — сказал Загоскин одному из вождей.

Ружье оказалось с тульских заводов. В тех же местах Аляски, где индейские племена ближе соприкасались с русскими, вожди племен носили черные сюртуки чиновников и фуражки офицеров с красным околышем, а водку почему-то упрямо именовали «квасом», от которого не отказывались. Чтобы сделать гостю приятное, индейцы садились в кружок и пели для него русскую песню:

Сама садик я садила —
Сама буду поливать...

Русские поморы со времен Мангазеи двигались вдоль Полярного побережья, осыпав эти ледяные края — на радость будущих археологов! — шахматными фигурами; эта игра была принесена и на Аляску, где почти все индейцы казались гениальными шахматистами, с которыми в наше время вряд ли справились бы Карпов с Каспаровым... Но вот что удивительно: какие бы дикие племена ни встречал Загоскин в своих путешествиях, какая бы дурная слава ни ходила об этих племенах, нигде и никогда Загоскина даже пальцем не тронули, всюду оказывая ему такое же радушие, которое можно было сравнить только с радушием простых русских людей.

Осенью 1844 года Лаврентий Алексеевич вернулся в Ново-Архангельск, отягощенный не только материалами экспедиции, но ему понадобился целый обоз, чтобы вывезти из глубин Аляски собранные

коллекции. Лицо лейтенанта задубенело от жгучих морозов и палящих лучей солнца, бакенбарды превратились в густую бородину, походка обрела легкость каюра, готового нагнать собачью упряжку. Вокруг него щебетали девицы и дамы:

— А мы, видит бог, и не чаяли танцевать с вами.

— Как видите, я был прав — меня есть не стали...

Зиму, проведенную в Ново-Архангельске, он посвятил писанию научных статей, составил «Пешеходную опись русских владений в Америке», которая сделает его лауреатом Демидовской премии, а через год покинул Аляску, вернувшись в Петербург. Поверьте, я мог бы пространнее изложить все походы Загоскина, но я не стану этого делать, ибо он сам подробно описал свои путешествия, а лучше Загоскина мне их не описать. Расскажу о другом. Обычно русские, отслужив срок в Российско-Американской компании, вывозили с Аляски горы всякой тамошней всячины, а вот Загоскин доставил в столицу драгоценные коллекции, в которых отразилась вся жизнь индейцев, алеутов и эскимосов. Барон Фердинанд Врангель, известный мореплаватель, даже расцеловал лейтенанта:

— Голубчик! Помяните слово мое, пройдут годы, и благодарное потомство соорудит вам нетленный памятник...

Памятника он, конечно, не дождался, а в тех краях, где он жил, ныне высится на постаменте ржавый трактор — памятник женщинам-трактористкам, ударницам колхозных полей. Но коллекции Загоскина, слава богу, уцелели: ныне они занимают почетное место в Музее этнографии при Академии наук и в Музее антропологии при Московском университете... Все остальное пошло прахом! После революции бумаги Загоскина хранились в сундуке Нади Гласко, его внучки. Дети повадились лазать в этот сундук, где нашли множество писем. Не сами письма, а лишь красивые иностранные марки привлекли их внимание, ради марок они не пожалели и писем. До конца своих дней Лаврентий Алексеевич переписывался с друзьями, которых немало осталось на Аляске, ставшей для него «заграницей». А ведь он очень много писал, до старости вел дневник... Где ныне все это? Конечно, пропало, как пропадало у нас и многое такое, чего нам уже никогда не вернуть.

Отступим во времени назад, а потом забежим вперед — так мне удобнее. Когда же русские появились на Аляске? Американские археологи в устье реки Кассиловой нашли остатки древнерусского поселения. Избы наших предков хорошо сохранились, широкие и высокие, даже с резьбой на крышах. Таких домов не строили ни эскимосы, ни индейцы. Это была деревня, созданная еще спутниками Семена Дежнева, которых штормом прибило к неизведанным берегам Нового Света, в котором они нашли себе жен-индианок и обросли потомством. Прошло с тех пор много-много лет, и вот настал памятный 1867 год...

Долгая история русских владений в Америке заканчивалась. Аляску продали. Немало есть версий о причинах этой сделки, но из множества версий выберу для читателя главную: Россия тогда противилась натиску англичан в Среднюю Азию; англичане зарились и на Аляску, чтобы присоединить ее к своей Канаде, благо Аляска была беззащитна, и вот царь продал Аляску американцам, желая оттянуть экспансию Англии от Средней Азии, заодно создав военное противостояние Англии и США на рубежах с Канадой, — кажется, это была скорее не коммерческая, а чисто политическая акция русского кабинета...

Русские на Аляске долго не знали, что Аляска продана, а проданные вместе с Аляскою, они становились «американцами». 18 октября 1867 года на Ситху пришла американская эскадра адмирала Руссо, адмирал Пещуров, командир русской эскадры, объявил Руссо, что готов спустить флаг и увести свои корабли.

— Сразу, как будет спущен российский флаг.

Губернатором Аляски был тогда князь Максутов.

— Флаг спустить! — рыдающим тоном провозгласил он.

Но фалы заело в блоках флагштока, флаг застрял на середине спуска, в строю матросов раздались выкрики:

— Русский флаг не желает уходить отселе...

Пещуров послал матроса на вершину флагштока, чтобы распутал фалы, но матрос попросту сорвал флаг, а ветер вырвал из его рук полотнище, и оно, шелестящее, широким саваном накрыло частокол солдатских штыков. Тут все стали рыдать, а княгиня Максутова рухнула в обморок. С кораблей двух эскадр, русской и американской, грянули государственные гимны, и музыка почти кошунственно смешалась с негодующими криками мужчин и рыданиями женщин. Итак, все было кончено. Максутов увел с площади свою жену, он же унес в кулаке русский флаг Аляски, которым вытирал свои слезы. Слышались голоса:

— Господи, праведный, а что с нами-то нонеча станется?..

Загоскин, когда все это случилось, уже пребывал в отставке, но до последних дней своей долгой жизни не смирился с продажей Аляски и много лет спустя, подвыпив, осуждал Александра II:

— Пятнадцать-то миллионов выручил... тьфу, псам под хвост.

Станный народ, эти американцы, почти все государство составили из покупок, у французов купили Луизиану, у испанцев Флориду, у мексиканцев Техас и Калифорнию, тут и до нашей Аляски добрались, а там, глядишь, и Панаму по дешевке сторгуют...

Но я, читатель, вернусь теперь в те годы, когда Загоскин еще только вернулся на родину. Навестив отчие пензенские края, он на кладбище Красноселья поплакал над могилами родителей, а с ними умерли сестры и брат, осталась несчастная сестрица Варвара, которая и сказала ему — даже с упреком:

— Ты вот там плавал да шиковал где-то, а горькой правды не ведаешь. Разорены мы вконец, а Красноселье заложено за грехи наши в Пензенском приказе призрения дворянского... Деньги-то, братец, привез ли из американских краев?

— Ах, Варюта! Не за деньгами мотался я там, не ради прибылей головой не раз рисковал...

С пензенскими чиновниками Загоскин перессорился, никаких отсрочек в платеже долга ему не давали, и тут лейтенант флота не выдержал — даже расплакался в канцелярии.

— Звери! — сказал он. — Я жывал в вигвамах краснокожих племени Великого Ворона, бывал в Городе Повешенных, головой за пятки цепляясь, с какими только бандитами в Сакраменто не пьянствовал — и никто меня не скальпировал, никто в мою сторону даже не плюнул. А здесь, у себя на родине, все вы... звери!

В уплату долга Загоскин продал родимое Красноселье, а всех крепостных разом отпустил на волю — живите и меня помните! Продав имение, стал писаться «беспоместным дворянином». Тут судьба и улыбулась ему — устами девицы, что приехала из Рязани навестить пензенских родичей. Загоскин женился, а жена одарила его приданым — селом Абакумовом в Пронском уезде Рязанской губернии, где ныне расположен колхоз «Пионер». Таким-то вот образом из пензенских дворян стал Загоскин дворянином рязанским. Мне осталось сказать о нем последнее — и не очень-то веселое, а скорее даже печальное...

В отставку он вышел в чине капитан-лейтенанта. Рязань встретила его приветливо, дворяне говорили:

— Надо бы его предводителем в Пронском уезде избрать, ибо у нас таких дворян негусто... Сами судите, господа: на Каспии воевал, на Аляске хвостами бобров питался, много печатается, член Географического Общества и, наконец, неужто не слышали? За свою «Пешеходную опись» удостоился Демидовской премии от Академии наук и был поставлен в один ряд с таким корифеем, каковым, господа, почитается наш знаменитый математик Чебышев.

— Куда уж выше! — говорили дворяне, усы покручивая...

Загоскин предводителем дворянства не стал, предпочитая служить мировым посредником, чтобы разбирать тяжбы и кляузы своих же соседей. Правда, война в Крыму снова призвала его под боевые знамена: он выступил в поход командиром 103-й сводной дружины ополченцев Пронского уезда. Зато после войны Загоскин нажил немало врагов, ратуя за принципы свободного труда раскрепощенных крестьян, приветствуя Освободительные реформы, о чем он открыто, не таясь, и заявлял в местной рязанской печати.

Летом 1864 года Лаврентий Алексеевич сказал жене:

— Маруся, а ну их всех к бесам! Все эти газеты, все эти клубы, вся эта болтовня... давай поживем в Абакумове. Нам спокойнее да и деточкам нашим куда полезнее...

Абакумово лежало в 14 верстах от Пронска подле старинного Скопинского шляха. Сидеть без дела и глядеть в окошко, как собаки дремотно мух на зубах щелкают, к этому Загоскин не был способен. Скорее его стараниями в Абакумове раскинулись громадные фруктовые сады, а слава «загоскинских» яблок вышла за пределы Рязанщины, на всероссийских и губернских выставках фрукты его награждались медалями, похвальными грамотами от ярмарок. Я даже не удивляюсь этому, ибо научное садоводство было у рязанцев в особой чести. Среди них даже конкуренция существовала, по улицам Рязани иногда скакали кавалькады юных прекрасных амазонок, во весь голос они расхваливали вишни или груши, яблоки Ренет или Рамбур из того или иного поместья. Стоит напомнить, что близ Абакумова — в селе Долгое — жили обнищавшие дворяне Мичурины, и был у них сынок Ваня по батюшке Владимирович, в честь которого даже город Козлов нарекли Мичуринском. Как хотите, но будущий «сталинский орденоседец» начинал-то свои опыты не с бухты-барухты, а присматриваясь к тому, что делал его сосед Загоскин, от владельца Абакумова он получил первые навыки садоводства. А у нас об этом историки помалкивали: словно воды в рот набрали. Но это уж так, читатель, — просто к слову пришлось!

А годы не шли, а летели, дети Загоскиных подросли. Была у них дочь Катя и трое сыновей, из которых только младшенький Петя дожил до наших времен, скончавшись в 1927 году. С остальными же сыновьями Лаврентий Алексеевич настрадался: Николаша, выпущенный из кадетов в офицеры, в 1888 году застрелился, а любимый сынок Алеша, тоже офицер, быстро спивался — не пришей кобыле хвост, — как высказался о нем отец.

Старику все прискучило, и он из Абакумова переехал на жительство в Рязань, где на Введенской улице, что носит ныне имя Карла Либкнехта, был у него домик-игрушечка. Не подумайте, что какие-то барские хоромы — совсем нет, вот передо мною лежит фотография этого дома, похожего на избу в три окошка. Неказисты в нем были палаты, зато снаружи он был украшен затейливой резьбой высокого мастерства, отчего, наверное, во времена оные начальство и не науськало на него отважные сталинские бульдозеры.

В этом-то домике в январе 1890 года и скончался герой Нового Света, имея от роду 82 года жизни. «Рязанские Губернские Ведомости» почтили его некрологом: «Покойный до преклонных лет сохранил ясность ума и юношескую пылкость... От природы очень добрый и всех любящий, он возмущался всякой несправедливостью, жестоко и резко порицая все нечестное и все дурное».

Где найти мне последние слова? Пожалуй, что суть официального некролога весомее всех моих слов.

Расстановка столбов

Пожалуй, необходима историческая справка...

Великое государство Китай в 1644 году покорили воинственные маньчжуры; последний император династии Мин с горя удавился на яблоне, которую потом казнили, заковав ее в цепи, отчего дерево и засохло. На престоле минских богдыханов воссела маньчжурская династия Цин, повелевшая всем китайцам, в отличие от маньчжуров, обязательно носить косы.

Естественной границей Китая на севере служила Великая китайская стена, — ни Мины, ни Цины никогда не владели землями, примыкающими к Амуру и Уссури. Лишь на исходе XVII века правители Пекина выстроили «ивовый палисад» — частокол, переплетенный прутьями ивняка. Но и этот забор отстоял от Амура на тысячу верст, а китайцам запрещалось селиться севернее «палисада». В те далекие времена русские люди уже осваивали Приамурье, от самого Нерчинска до Албазина и далее заколосились русские посевы... Это обеспокоило цинских богдыханов; маньчжуры (а не китайцы!) стали нападать на русские поселения, а послов из Москвы сознательно оскорбляли.

— Заставим тебя жрать собачье мясо! — Это, пожалуй, самое мягкое ругательство, какое приходилось выслушивать дипломатам. Остальные выражения таковы, что письмо запорожцев к турецкому султану может показаться ребяческим лепетом.

Цины называли русских «ла-чо» (демоны); других европейцев они именовали «варварами» или «дьяволами», что тоже не лучше. Русский канцлер князь Александр Горчаков горестно рассуждал:

— Богдыхан не допускает мысли, что где-то, помимо Китая, существуют цивилизация, наука и философия, несхожие с конфуцианством, — любую же нашу попытку вступить с ними в контакт мандарины Пекина воспринимают как добровольное признание Россией «вассальной» зависимости от Китая... Парадокс! Заносчивые Цины желали бы видеть весь мир своей колонией, но при этом они будто не желают замечать, что Англия с Францией уже превращают Китай в свою полуконию.

Настал 1858 год, и на скрижалях истории появились два договора: граф Муравьев-Амурский заключил Айгунский договор о размежевании границы с Китаем, адмирал Путятин подписал Тяньцзинский трактат о расширении с Китаем торговли. Из этих документов непременно должен родиться третий, чтобы узаконить и *навечно* закрепить русские границы по Амуру и Уссури. В это же время Цинская династия переживала кризис: с моря на Китай давили англичане с французами — начиналась очередная «опиумная» война, а изнутри Китая насаждали на Пекин народные толпы — вос-

стали тайпины. Занимая города, тайпины выбрасывали из домов всю мебель, складывая ее в гигантские костры. «Если не у всех есть мебель, — говорили они, — пусть ее ни у кого не будет!» Из сундуков богачей они выгребали груды бесценного жемчуга, в котлах толкли его в мелкий порошок, потом варили нечто вроде жемчужного супа и, хлебая это варево, объясняли народу: «Никому нельзя богатеть, а чтобы жемчуг не достался другим, мы лучше съедим его...» За этой утопической «уравниловкой» тайпинов чуялось нечто новое: китайский народ пробуждался! А небывалая протяженность рубежей между Россией и Китаем русскую политику ко многому и обязывала...

Весна 1859 года закружила Санкт-Петербург метелями, князь Горчаков, ведая иностранными делами России, вечером был на рауте в доме английского посла Френсиса Нэпира; принимая с подноса лакея чашку с чаем, он брюзжал недовольно:

— Чай — это, наверное, единственное, что мы имеем от богдыханов, если не считать еще целой кучи бесплодных неприятностей... А какие, простите, у Лондона основания для того, чтобы распускать паруса своего флота в низовьях Амура?

Нэпир отвечал: Англия имеет в Китае немалые штаты чиновников, которых необходимо защищать от ярости тайпинов.

— Странно! — фыркнул Горчаков. — Россия тоже имеет в Лондоне посла и много чиновников, но я никогда не подозревал, что это дает мне право вводить русский флот в устье Темзы, дабы защищать их от гнева ирландских фениев, восстающих против диктата лондонского парламента...

Русская политика хранила достойное хладнокровие; газеты Европы часто цитировали слова Горчакова, что Петербург «не присоединится ни к каким насильственным мерам колонизаторской политики Англии и Франции по отношению к народам великого Китая». Горчаков откровенно декларировал:

— России удобнее иметь дело с Китаем китайским, нежели с Китаем англо-французским. Но мы должны раз и навсегда расставить пограничные столбы в тех забытых Богом краях. Прошу пригласить ко мне Николая Павловича Игнатьева.

Николай Павлович приходился родным дядей известному в нашей стране генералу и писателю А. А. Игнатьеву, автору книги «Пятьдесят лет в строю». Еще молодой офицер, он из пажей почти сразу сделался военным атташе в Лондоне, где имел неосторожность положить в карман унитарный патрон от английского ружья новой системы. Старательно вникая в политику Европы, он предсказал восстание сипаев в Индии, предвидел военное вмешательство Англии в дела Китая и после неудачи в Лондоне путешествовал по странам Востока. С берегов Нила его отозвали на берега Амударьи, где он провел

картографическую съемку земель, промерив глубины неосвоенного фарватера. Прибыв в разбойничью Хиву, Игнатьев провел с ханом переговоры (имея буквально нож, приставленный к горлу), а из Бухары вывел тысячи русских невольников и... слона для зоопарка русской столицы. Его давно считали погибшим, а его свиту вырезанной текинцами, когда он появился в петербургском свете.

В возрасте 26 лет генштабист стал генерал-майором...

Князь Горчаков встретил Игнатьева вопросом:

— Как вы думаете, куда я пошлю вас далее?

— Думаю, что в Персию, куда залезают англичане.

— Думайте о Китае, куда они уже залезли. — Горчаков был мастер монологов, и сейчас он охотно говорил. — Если из Бухары вы вернулись на слоне, то в Пекин должны въехать на двух слонах — это договоры Айгунский и Тяньцзинский... Мой предшественник Карл Нессельроде (прости его, Боже) считал Россию вроде образцовой пожарной команды, обаянной гасить в Европе пожары революций, а все, что лежало за Уралом, виделось ему дурным сном. Он не допускал мысли, что Сахалин является островом, а нашим морякам запрещал плавать по Амуру, как бы заранее уступая эту реку для британских канонерок. Старинные карты Амура, от предков наших оставшиеся, Карлушка спрятал столь успешно, что мы перерыли все архивы — и не нашли их! Не удивлюсь, если узнаю, что канцлер Нессельроде, служивший не русскому народу, а лишь императору Николаю, попросту их уничтожил. Россия до сих пор не имеет в Пекине своего посольства, зато там издавна расположена наша духовная миссия.

Горчаков выговорился. Устал. И вяло обмяк в кресле.

— Итак... Пекин? — стройно поднялся Игнатьев.

— Да. Вы поедете в Пекин, где вам будет очень и очень трудно, ибо Цины, убежденные в своей мудрости, станут считать вас вроде Иванушки-дурачка. Но ваша миссия облегчается именно тем, что Россия никогда не торговала в Китае отравой опиума, мы никогда не нуждались в дешевом труде китайских кули. Единственное, чего мы добиваемся, это — юридического закрепления наших рубежей на Дальнем Востоке...

Цины считали свою страну Поднебесной империей на том основании, что только над Китаем есть небо — другие же страны имеют над собой бесформенные дырки. Мандарины без тени юмора полагали, что мир целиком подвластен Цинской династии, а все народы лишь покорные данники богдыханов. При таком положении Цины не удосужились обзавестись даже ведомством иностранных дел, имея «лифаньюань» — палату по управлению «вассалами», наивно убежденные, что Россия (как и вся Европа) тоже состоит в китайском подданстве. Когда же англичане с французами высаживали десанты в Кантоне и Шанхае, рядовые китайцы думали, что это покорные «рабы» идут на

поклон к богдыхану с подарками. Но почему, идя платить «дань», эти жалкие, ничтожные «вассалы» заодно уже стреляют по ним из пушек картечью, этого цинский двор объяснить народу не мог.

Время для дороги через Сибирь было неудобное: весна!

Пограничная Кяхта славилась как столица чаоторговцев; здесь Игнатиев задержался, ибо Пекин не разрешил двигаться далее; посол лишь в мае пересек границу. Пекин произвел на молодого дипломата тягостное впечатление. Дворец цинских богдыханов, окрашенный в розовый цвет, благоухал от нечистот, сваленных в кучи. На деревьях висели в клетках истлевшие головы казненных тайпинов. Вокруг дворца «Запретного Города» размещались лавки и харчевни с флагами и девизами: «Испытай радость всех живущих» или «Утешение и без того счастливых». Между харчевен бегали тощие запуганные собаки. Никто из цинских чиновников не знал иностранных языков (и не хотел их знать), а потому драгоманами служили миссионеры, изучившие язык китайский. Они же предупредили Игнатиева:

— Вам предстоит набраться терпения, ибо китайцы большие мастера по переливанию из пустого в порожнее...

Игнатиева приняли в Пекине открыто враждебно!

Как раз накануне его приезда англичане с французами пытались пройти к Тяньцзину на военных кораблях, но форты Таку открыли губительный огонь, заставив союзников убраться в Шанхай. А теперь, плохо разбираясь в политике стран Европы, Игнатиева упрекали, будто он и послал против них англичан с французами. Зато англичане, дабы оправдать свое позорное поражение, пытались уверить мир, что батареями Таку командовали русские офицеры, привезенные Игнатиевым, а с кораблей якобы даже слышали возгласы русских советников на берегу: «Эй, насыпайте больше пороху!..»

Николай Павлович делился со своей свитой:

— Победа над союзной эскадрой сделала Цинов чересчур самоуверенными в собственных силах, и теперь они не хотят признавать никаких договоров, заключенных с нами. Мало того, они отказывались принять из России целый обоз с ружьями и пушками, которые Петербург послал для Китая, чтобы он успешнее отбивался от насилия захватчиков...

Добиться аудиенции у самого богдыхана было невозможно. А мандарины говорили послу, что Айгунский и Тяньцзинский трактаты «глупые» и подписаны «по ошибке»!

— Но уже ратифицированы вами, — отвечал Игнатиев, — а наши кресты уже давно пашут землю на берегах Амура.

Он показывал карты. Мандарины отворачивались с таким целомудрием, будто им предъявили неприличные картинки:

— Ваши чертежи мира фальшивы, ибо Поднебесная империя изображена не в самом центре Вселенной, а владения нашего богдыхана вы нарисовали непростительно маленькими...

Мандарины долго муржили Игнатьева бесплодными разговорами. Своей нетерпимостью и даже издевками они, казалось, сознательно вынуждали посла к отъезду. Петербург переслал твердые инструкции — оставаться в Пекине, придерживаясь «строгого нейтралитета во время неприязненных действий французов и англичан с китайцами...» Между тем союзники готовились к новой боевой кампании, а потому Игнатьев решил выждать результатов неизбежной войны. А пока, чтобы оградить Дальний Восток от нападения англичан, граф Муравьев-Амурский указал кораблям быть наготове, в бухте Золотой Рог появился в это время новый военный пост — будущий город ВЛАДИВОСТОК.

Русским было ясно, что из Китая может получиться «вторая Индия»: союзники пришли с большим флотом, их десанты высаживались в Шанхае и Гонконге, они размещали базы в портах Печелийского залива — на подступах к Пекину. Вряд ли цинские заправилы, ослепленные своим мнимым величием, осознавали всю мощь двух сильнейших государств Европы, — сейчас тайпины казались им опаснее иностранной агрессии. Николай Павлович жил на подворье русской православной миссии, монахи снабжали посла информацией, служили ему переводчиками.

Архимандрит Гурий Карпов делился мыслями:

— Никак не возьму в толк, что такое Китай — или старец, у коего от дряхлости очеса смежились, или дите малое, кое все видит, но ничего еще не смыслит... Наполеон, помнится, говорил: «Китай спит, и пусть он спит далее. Не дай бог, если Китай проснется...»

Чтобы разом изменить обстановку, Игнатьев проскакал к морю, где его принял на борт русский фрегат «Светлана»: пусть эти пекинские мудрецы думают о нем что хотят! Но при этом Николай Павлович сознавал: нашествием на Пекин англо-французы не ограничатся и, подчинив себе Китай, станут натравливать Цинов против России, а сами будут хозяйничать на берегах Амура, как у себя дома... вот это опасно!

Посредничество к миру всегда сулит немалые выгоды посреднику, но сейчас мира не желали ни союзники, ни сами китайцы, уверенные в своих силах. Игнатьева в Шанхае спрашивали, примет ли русский фрегат участие в бою против китайцев?

— Россия войны с Китаем не ведет, — отвечал он. — Для нас важнее всего спокойствие наших дальневосточных границ.

— Но Пекин ведь отвергает ваши прежние трактаты!

— Не спорю, — говорил Игнатьев союзникам. — Однако у меня в кармане мундира проект нового договора...

«Мы, — утверждал Игнатьев, — не ищем распространения нашего политического влияния в Китае, мы не желаем территориальных приобретений, а хотим только твердого и ясного определения наших границ...» Общаясь с англичанами и французами, он вел себя крайне сдержанно, одинаково вежливо с европейцами и с китайцами, его

знание обстановки в Пекине подкупало даже надменных англичан. Они ознакомили его с воззванием Цинов, призывающих уничтожить европейцев, «как зловредных гадин»:

— Неужели вы не устрашитесь вернуться в Пекин?

— Но я же не «зловредная гадина!» — отвечал Игнатъев. — Я ведь только начал свой диалог с Пекином, однако его не закончил, а моя голова в Китае ценится намного ниже вашей...

На подступах к Тяньцзину все пруды и колодцы, все домовые чаны для хранения питьевой воды были заполнены трупами убитых жителей. Игнатъев вызвал симпатии китайского населения тем, что открыто восставал против варварства, и ни один китаец не бросил в него даже камня. Он докладывал канцлеру Горчакову: «Местные жители, простонародье, встречали нас, русских, как своих приятелей и избавителей, прося у нас же защиты от разоряющих их союзных войск; нам выносили из деревень фрукты и свежую провизию, с трудом китайцы соглашались брать за это деньги...» Между тем англичане открыто похвалялись:

— Для нас ничего не стоит свергнуть династию Цинов, а власть над Китаем перепоручить тайпинским вождям. При этом столицу из Пекина мы перенесем ближе к морю — в Нанкин, чтобы легче было управлять этой дикой страной...

Британский адмирал Хоуп предупредил Игнатъева:

— Вы можете оставаться на фрегате «Светлана» или ехать куда вам угодно, но мы отправляемся в поход — прямо на Пекин, дабы принудить китайцев подписать наши условия договоров.

— Вы чем-то встревожены, адмирал? — заметил Игнатъев.

— Да! Мандарины захватили тридцать семь наших чиновников и увезли их с собою на арбах, дно которых было истыкано острыми гвоздями... Итак, решено — мы штурмуем Пекин! Где бесполезны слова, там убеждают пушкими...

Игнатъев срочно повернул обратно в Пекин.

— Зачем? — недоумевали в его свите.

— Затем, чтобы спасти Пекин...

Вскоре союзная армия подошла к мраморному мостику Бали-Цяо, ведущему в столицу; здесь их поджидала «восьмизнаменная, непобедимая и всепобеждающая» (так она называлась) армия маньчжуров в 60 000 воинов, оглушенных звоном боевых бубенчиков и ошалевших от курения опиума. Отряд европейских колонизаторов, оснащенных новейшим оружием, сразу опрокинул эти несметные полчища, и маньчжуры, побросав бубенчики и луки с колчанами, разбежались во все стороны. Прослышав об этом, богдыхан скрылся в безводных степях Внутренней Монголии и в Пекин более никогда не вернулся. Вместо него главным в столице остался принц Гун, который уже ничего не делал без одобрения русского посла. Представляя могучую и нейтраль-

ную Россию, Николай Павлович стал вроде арбитра двух враждующих сторон, отчего высоко поднялся его личный престиж. Все разом переменялось, и отныне мандарины кланялись ему, словно богдыхану...

Колонизаторы, потребовав выдачи захваченных заложников, угрожали, что оставят от Пекина одни головешки. На это китайские чиновники отвечали им в прежнем повелительном тоне:

— Вы наши взбунтовавшиеся вассалы, и вам не следует употреблять таких дерзких выражений, иначе может возникнуть нежеланная суматоха, во время которой головы ваших парламентаров нечаянно отделятся от туловищ...

А растерянный принц Гун спрашивал Игнатьева:

— Рассудите сами, что нам теперь делать?

Игнатьев обещал договориться с англо-французами:

— Я приложу все старания, чтобы они не штурмовали Пекин, а вы берегите свои политические архивы...

Но союзники уже захватили Юань-мин-Юань, летнюю резиденцию богдыханов, расположенную в пригороде Пекина среди прохладных прудов и древних парков. Игнатьев делал все, что мог, дабы спасти китайцев от зверств и насилий, но это ему не всегда удавалось... Победители уже с головой зарылись в сундуки из красного дерева, где хранились сокровища китайских императриц. Они тащили и распарывали груды прекрасных шелков, рассовывали по карманам мундиров или ссыпали в свои фуражки рубины, сапфиры, жемчуга, изделия из горного хрусталя. Солдаты с ног до головы обвешивались драгоценными ожерельями. Саперы же орудовали топорами, в цепки раскалывая дивную мебель, чтобы выбрать из нее редкостные изумруды, которыми она была богато украшена. Залезая в громадные лари с ювелирными украшениями, союзники невольно сталкивались лбами при дележе добычи. Тогда гордый сын Альбиона рвал из рук доблестного парижанина кусок ценной парчи, француз в ярости кусал англичанина за нос, а британец бил в ухо своего союзника. Когда же все было разгромлено и предано поруганию, тогда европейские вандалы предали Юань-мин-Юань беспощадному пламени...

Один из офицеров свиты Игнатьева писал, что союзники «превратились в шайку грабителей: каждый думает составить себе состояние за счет Китая... французский лагерь похож на базар, где продают все, начиная с нефритовых безделушек до соболиных шуб, платьев богдыхана и его супруги. Мне самому случалось видеть у одного капрала сразу четыре громадные вазы, сделанные из чистого золота...»

Архимандрит Гурий Карпов, глава духовной миссии в Пекине, искренно переживал за страдания народа:

— Вы, генерал, заслужили уважение несчастных китайцев как их защитник. Что вы можете сделать для них теперь, когда европейские жулики уже занимают северные ворота Пекина?

— Я сам поеду к воротам, — отвечал Игнатьев...

С конвоем из 13 казаков он выехал на свидание с английскими генералами, отговорив их от штурма Пекина.

— Не забывайте, что в Пекине издревле проживает русская духовная миссия, а я головой отвечаю за жизнь подданных России... Наконец, — заключил Игнатъев, — не пора ли обуздать звериные инстинкты солдат цивилизованных государств, ведущих себя в Китае подобно испанским конкистадорам в Америке!

Когда он вернулся, на подворье миссии его поджидали цинские мандарины, умоляя Игнатъева примирить их с союзниками.

— Постараюсь, — заверил их Николай Павлович, — но прежде пусть ваш принц Гун обязуется признать силу Айгунского договора, а вы не станете тянуть дело с заключением нового мирного трактата, дабы точно и навсегда обозначить наши границы...

Англичанам он советовал вообще удалить свои войска обратно к Тяньцзину; принцу же Гуну посол заявил:

— Вы не станете отрицать, что я спас Пекин от участи, постигшей Юань-мин-Юань. Надеюсь, вы поняли, что ваша соседка Россия не заинтересована грабить вас по примеру англичан и французов. У меня иные цели, официально заверенные русским кабинетом: во избежание будущих конфликтов окончательно закрепить наши рубежи, расставить пограничные столбы как надо...

Пекинский трактат был подписан глубокой ночью на подворье русской миссии, монахи которой служили отличными переводчиками. В развитии добрососедских отношений между Россией и Китаем открывалась новая страница — дружественная.

— Все-таки, — сказал под конец Игнатъев принцу Гуну, — вы подумайте о создании в Китае министерства иностранных дел, и пусть ваша «Поднебесная» империя не считает весь мир состоящим из покорных вам «вассалов». Такое самомнение дорого вам обойдется. С тайпинами же разбирайтесь сами: это внутреннее дело Китая, и Петербург не станет вмешиваться в ваши дела...

На родине Игнатъева поджидал канцлер Горчаков

— Вы себя обессмертили, — сказал он, обнимая его. — За наше поражение от англо-французов под Севастополем вы хорошо расплатились с ними своим превосходством в Пекине!

Такая трагическая история, очевидно, нуждается в легкомысленной разрядке, и я нашел ее — только не в Китае, а в Европе... Павел Дмитриевич Киселев, посол в Париже, привык посещать антикварные лавки, где в последнее время появилось немало китайских драгоценностей из разграбленных дворцов пекинских богдыханов. Однажды дипломат случайно приобрел китайского божка мудрости и нечаянно заметил, что владелец лавки, боевая усатая француженка, заворачивает купленного идола в лист плотной рисовой бумаги, исписанный РУССКИМ текстом.

Это сразу настрожило опытного дипломата.

— Позвольте, мадам, взглянуть на обертку...

Оказалось, что это подлинник Тяньцзинского договора, скреплявшего отношения двух государств, русского и китайского. Павел Дмитриевич держал в руке документ международного значения и не верил своим глазам. Наконец справился с волнением.

— Откуда он у вас, мадам? — спросил Киселев.

— Ах, все оттуда же... из Пекина! — Торговка объяснила, что ее возлюбленный сержант привез немало китайского фарфора, а чтобы фарфор не поколотился в дороге, он бережливо завернул его в бумагу. — Как раз вот в эту... А в чем дело, месье?

Киселев имел неосторожность сказать, что это не просто бумага, а документ огромной политической важности:

— Можно я заберу у вас этот манускрипт?

Француженка быстро сообразила:

— За пятьсот франков, пожалуйста, забирайте.

— Помилуйте, для вас это лишь обертка.

— Но слишком дорогая, месье... Вы же сами сказали, что без этой бумажки мир, черт бы его побрал, сразу треснет!

Договорились на божеской цене, и в тот же день Киселев отправил в Петербург дипкурьера. Вскоре он появился в кабинете канцлера; шелкнув застежками на кожаной сумке, усталый курьер извлек из нее Тяньцзинский договор России с Китаем.

— Это ни на что не похоже! — воскликнул князь Горчаков, потрясенный, и вставил указательные пальцы в седеющие виски, словно воткнул в них дула убийственных пистолетов. — Недаром же Игнатьев предупреждал мандаринов, чтобы они берегли свои политические архивы от варварского разграбления...

...Восемь лет продолжалась установка пограничных столбов вдоль Амура и Уссури, и они встали там прочно — на века!

КОММЕНТАРИИ

В романе «Битва железных канцлеров» отражена картина сложных русско-германских отношений в пору тяжелейших европейских политических кризисов 50—70-х годов прошлого века, когда канцлерами с разных сторон были князь Александр Михайлович Горчаков и Отто Бисмарк.

Произведение явилось логическим продолжением ранее уже опубликованного романа-хроники «Пером и шпагой». И не случайно, что «Битва железных канцлеров» впервые вышла в Лениздате в сборнике, включающем в себя эти два романа, объединенные общей темой — историей русской дипломатии. Название сборнику дал новый роман. Было это в 1977 году.

Книга вышла тиражом 100 тысяч экземпляров, объемом 42 авторских листа, из которых на долю «Железных канцлеров» приходилось всего 16 авторских листов. Надо сказать, что первый вариант романа имел объем в 21 авторский лист. Издательство это не устраивало, так как в один запланированный

редакцией том роман не вмещался; на автора был произведен «нажим», и из рукописи, по выражению Валентина Саввича, пришлось «выпустить кровь», чтобы она похудела до нужных размеров.

При сокращении автором был исключен или урезан целый ряд сюжетных линий, не просто интересных, но и весьма важных для глубокого понимания истории вообще и истории России в частности. Среди них такие:

— создание Суэцкого канала и русская политика в этом регионе;

— роль русской дипломатии в возникновении самостоятельного государства Румынии;

— русско-китайские отношения, Пекинский трактат 1860 года и юридическое закрепление наших границ по Амуру;

— русско-американские отношения, оказание Россией помощи и поддержки Аврааму Линкольну в его борьбе против рабства в Америке и взаимный обмен эскадрами (Лесовского и Фрона);

— дружеские отношения России с Японией и конфликт с Лондоном в связи с обоснованием русского флота на острове Цусима, приведший к политическому единороству России и Англии на океанских коммуникациях;

— и некоторые другие, менее значительные эпизоды.

Читатель с огромным интересом принял роман. Вряд ли какая-либо иная продукция Лениздата пользовалась таким же спросом.

Следует отметить, что книги В. Пикуля наряду с добрым эффектом дали толчок развитию негативных явлений. На них росли культура и патриотизм, на них же набирал силу криминал: снимались уличенные в нарушении правил торговли директора книжных магазинов, потирали руки спекулянты и книгомафиози. Часто маскирующиеся под благородной вывеской книголюбков. Ведь первые так называемые договорные цены устанавливались именно на книги.

В 1978 году Лениздат повторил выпуск книги, увеличив тираж до 400 тысяч экземпляров. В этом издании автор поместил совсем небольшую (всего шесть страниц), но очень давно ожидаемую любознательными читателями заметку «Ночной полет». Это была первая и последняя попытка Валентина Саввича письменно рассказать о себе.

В 1979 году Владивостокское книжное издательство выпустило стереотипное издание книги тиражом 40 тысяч экземпляров.

В последующие годы было осуществлено еще несколько изданий книги на русском языке: ташкентским издательством «Укитувчи», кишиневским «Картя Молдовеняскэ», московским «Современником».

На латышском языке роман «Битва железных канцлеров» увидел свет в 1985 году благодаря издательству «Лиесма».

Роман перешагнул и через границу нашей страны. В чехословацком городе Братислава в 1981 году он вышел в издательстве «Правда». А когда красиво оформленный (по рассказам моряков-загранчиков) томик романа появился на прилавках Великобритании, Валентин Саввич был сильно удивлен. И понятно, ведь это было его первое знакомство с зарубежными «пиратами». До сих пор он думал, что они процветают только у нас.

В конце 1988 года ВААП попросил В. Пикуля написать заявление с тем, чтобы английская адвокатская фирма защитила интересы автора и нашей страны ввиду нарушения этих прав. Но оказалось, что для отстаивания прав автора у страны не хватает валюты. Так Валентин Саввич еще раз убедился, что бороться с мафией не только у нас, но и во всем мире — довольно проблематично. И это вызвало у него протест и вдохновляло на новые схватки с пороками и нечистыми силами общества.

Содержание

| | |
|-------------------------------------|-----|
| БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ | |
| Последний лицейст | 5 |
| Часть первая | |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ | 11 |
| Германия, где ты, Германия? | 11 |
| С ногою в стремя | 16 |
| Венская прелюдия | 20 |
| Капризная русская оттепель | 25 |
| Париж и Парижский мир | 31 |
| Проба голоса | 37 |
| Горчаковский циркуляр | 44 |
| Это роковое слово — Польша! | 49 |
| Нешадное курение в бундестаге | 55 |
| Осложнения со взрывами | 61 |
| Внутренние дела — душевные | 66 |
| Посол прусского короля | 70 |
| Странное русское «ничего» | 76 |
| Война и мир | 81 |
| Заключение первой части | 88 |
| Часть вторая | |
| СОТВОРЕНИЕ КУМИРОВ | 89 |
| Популярность | 89 |
| В предчувствии перемен | 95 |
| Среди больных котов | 101 |
| Завершение этапа | 108 |
| Бульвары и катакомбы | 114 |
| Новая глава истории | 118 |
| Бульдог с тремя волосками | 120 |
| «Еще Польска не згинела...» | 125 |
| Жареного гуся больше не будет | 131 |
| Нечто очень печальное | 136 |
| Развитие агрессии | 148 |
| Садовая — Кёнигсретц | 153 |
| Война — дело прибыльное | 158 |
| Париж — ЭКСПО-67 | 164 |
| Заключение второй части | 170 |
| Часть третья | |
| ЖЕРНОВА ИСТОРИИ | 172 |
| Три дамы и Бисмарк | 172 |
| Дела и дни Горчакова | 178 |
| Загадка эмской депеши | 182 |
| Furor teutonicus | 188 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Разбитые вдребезги | 194 |
| Флоту быть в Севастополе..... | 200 |
| Под Парижем без перемен..... | 205 |
| Империя — железом и кровью..... | 209 |
| Накануне..... | 215 |
| Поездка в Каноссу..... | 221 |
| Бегом из Каноссы | 225 |
| Пустынный марш | 230 |
| Боевая тревога..... | 236 |
| Разведка боем..... | 242 |
| Артиллерийская подготовка | 248 |
| Битва железных канцлеров..... | 254 |
| Заключение третьей части | 260 |

Вместо эпилога

| | |
|-------------------------|-----|
| ПОСЛЕДНИЙ КАНЦЛЕР | 262 |
|-------------------------|-----|

МИНИАТЮРЫ

| | |
|--|-----|
| Дорогой Ричарда Ченслера | 268 |
| «Вечный мир» Яна Собеского | 276 |
| Ястреб гнезда Петрова | 286 |
| Старые гусиные перья | 295 |
| Каламбур Николаевич..... | 303 |
| Кровь, слезы и лавры..... | 314 |
| Секретная миссия Нарбонна..... | 329 |
| Судьба баловня судьбы..... | 338 |
| Железные четки (Под монашеским клобуком) | 352 |
| Резановский мавзолей..... | 366 |
| Куда делась наша тарелка?..... | 383 |
| Рязанский «американец» | 392 |
| Расстановка столбов | 404 |

| | |
|------------------|-----|
| КОММЕНТАРИИ..... | 412 |
|------------------|-----|

Литературно-художественное издание

Полное собрание сочинений

Пикуль Валентин Саввич

**БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ
МИНИАТЮРЫ**

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Верстка *И.В. Хренов*

Корректор *Н.К. Киселева*

Оформление обложки *Д.В. Грушин*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 29.01.2015. Формат 84 × 108 ½.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная.
Печ. л. 13. Тираж 5000 экз. Заказ № 10145.

ООО «Имидж Принт»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО «Тульская типография»
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.



В одном из шедевров исторической прозы Валентина Пикуля — романе «Битва железных канцлеров» — отражена картина сложных русско-германских отношений в период острейших европейских политических кризисов 50—70-х годов XIX века, когда канцлерами с разных сторон были князь Александр Михайлович Горчаков и Отто Бисмарк. В книгу также вошли прекрасные миниатюры автора о дипломатах и дипломатических отношениях.



ISBN 978-5-4444-2872-6



9 785444 428726

